



# IMAGINES MUNDI



Серия  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ИСТОРИЯ

Издается с 2001 года

Главный редактор  
доктор исторических наук  
профессор А. Г. Чевтаев

Редакционная коллегия серии:

- В. А. Бабинцев, кандидат исторических наук, доцент;  
Н. Н. Баранов, кандидат исторических наук, доцент;  
В. В. Высокова, кандидат исторических наук, доцент  
(гл. редактор серии);  
Ю. С. Кирьяков, кандидат исторических наук, доцент;  
Т. В. Краева, кандидат исторических наук;  
Н. А. Кручинина, кандидат исторических наук, доцент  
(отв. за выпуск)

Серия основана в 2003 году

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО

# IMAGINES MUNDI

Альманах  
исследований всеобщей истории  
XVI—XX вв.  
№ 7

Серия  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  
Выпуск 4

Екатеринбург  
Издательство Уральского университета  
2010

УДК 9  
ББК ТЗ(0)  
I 55

Рецензенты:

кафедра истории и социально-политических дисциплин Уральского государственного лесотехнического университета (зам. заведующего кафедрой кандидат исторических наук, профессор С. М. В е р з и л о в);

И. В. Ж у к о в а, кандидат исторических наук, доцент (Уральская академия государственной службы)

I 55 **IMAGINES MUNDI** : альманах исследований всеобщей истории XVI—XX вв. № 7. Сер. Интеллектуальная история. Вып. 4. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 424 с.

ISBN 978-5-7996-0555-1

Очередной выпуск альманаха посвящен теоретическим проблемам историографии как самостоятельного раздела исторической науки: историографии источниковедения, источниковедению историографии, методологическим аспектам исторической науки и их практическому применению. Историографические практики рассматриваются авторами как классический пример для отработки и углубления подходов интеллектуальной истории к проблемам интерпретации исторического процесса и характеризуются стремлением упорядочить накопленное знание о прошлом.

Для научных работников: историков, философов, культурологов, студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений.

УДК 9  
ББК ТЗ(0)

ISBN 978-5-7996-0555-1

© ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького», 2010

# СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ .....	8
----------------------	---

## ЭПОХИ, СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

<i>Ковалева В. Т., Солдаткин Н. В.</i> «Высекающий молнию»: к истокам ведийского бога Индры .....	11
<i>Мохов А. С., Степаненко В. П.</i> Провинциальная администрация Византийской империи в середине XI — начале XII в.: военно-административный аспект .....	19
<i>Нуждин О. И.</i> Ланкастерский переворот 1399 г., его причины и последствия в оценках историографии XIX — начала XXI в. ....	34
<i>Поляковская М. А.</i> Энигматичность артефактов поздневизантийского обрядника и историографический опыт их идентификации .....	47
<i>Бородина Е. В.</i> Судебная реформа Петра Великого в трудах историков «государственной школы» .....	55
<i>Сидорова О. Г.</i> Первые русские учебники английского языка: социокультурный аспект .....	67
<i>Макрушина К. А.</i> Парадокс феномена Джейн Остен: наследие писательницы в XX — начале XXI в. ....	81
<i>Савинов И. А.</i> «British raj» в произведениях русских путешественников второй половины XIX — начала XX в. ....	89
<i>Соколова Е. С.</i> Villa Suburbana перед лицом времени: историографические споры вокруг текстологических кодов Хельбрунна .....	92
<i>Земцов В. Н.</i> Историография Отечественной войны 1812 г.: 200 лет поиска истины .....	105
<i>Поршинева О. С.</i> «Враги второй очереди»: союзники глазами российского общества в период Первой мировой войны (историография проблемы) ....	117
<i>Быкова С. И.</i> Материалы политического следствия 1930-х гг.: от фальсификации к мистификации .....	130
<i>Нестеров А. Г.</i> Итальянская Социальная Республика: поле битвы идей в итальянской историографии .....	146
<i>Лабаури Д. О.</i> Межэтнический конфликт в Косово в оценках французской прессы (1999—2004) .....	155

## УНИВЕРСАЛИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

<i>Алеврас Н. Н.</i> Предмет историографии: версии современной науки .....	173
<i>Побережников И. В.</i> Параллели в эволюции теорий макроисторической динамики .....	190
<i>Смирнов С. В.</i> Концепция «азиатских ценностей» как альтернатива западоцентристской теории модернизации .....	201
<i>Мереминский С. Г.</i> Исторические тексты англо-нормандской эпохи в английской историографии XVI — начала XXI в. ....	214
<i>Высокова В. В.</i> Эдвард Гиббон, «История упадка и гибели Римской империи» и британские историки XX в. ....	216
<i>Козлов А. С.</i> Еще раз о месте Иоганна Густава Дройзена в немецкой историографии .....	224
<i>Шаманаев А. В.</i> Организационные принципы деятельности Одесского общества истории и древностей .....	243
<i>Камынин В. Д.</i> Место историков «старой школы» 1920-х гг. в развитии отечественной историографии в XX в. ....	254
<i>Гаген С. Я.</i> История права как наука в трудах М. В. Шахматова (1888—1943) и современность .....	258
<i>Нестерова Т. П.</i> Феномен тоталитарной культуры: противостояние концепций в исторической науке .....	264
<i>Васютин С. А.</i> Ревизия сталинского марксизма в отечественных исследованиях социально-политической организации кочевников конца 1960-х — середины 1980-х гг. ....	271

ОТ УНИВЕРСАЛЬНОГО К УНИКАЛЬНОМУ:  
ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

<i>Куц Т. В.</i> Поздневизантийская интеллектуальность: историографический абрис .....	275
<i>Маловичко С. И.</i> Спор М. В. Ломоносова и Г.-Ф. Миллера как конфликт разных историографических культур .....	283
<i>Барлова Ю. Е.</i> «Вигский нарратив» и эволюция взглядов на «старое законодательство о бедных» в зарубежной историографии .....	297
<i>Чепурина М. Ю.</i> Заговор Бабёфа в освещении советской и французской историографии .....	315
<i>Баранов Н. Н.</i> К вопросу о современном состоянии немецкой историографии либерализма в Вильгельминской Германии .....	321
<i>Яхно О. Н.</i> Исторические интерпретации повседневной жизни начала XX в. (сквозь призму рекламы) .....	326
<i>Краева Т. В.</i> СССР 1930-х гг. в осмыслении современной французской историографии .....	334

<i>Баженова Т. А.</i> Происхождение «холодной войны»: ревизионистский «поворот» в американской историографии 60—70-х гг. XX в. ....	341
<i>Беляков С. С.</i> Творчество Германа Садулаева как источник для исследований феномена этнического национализма .....	346
<i>Черникова Л. П.</i> Основные направления исследований в современной китайской историографии (по материалам научной периодики) .....	363

## ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

### Конференции

Национальные историографические практики: уникальное и универсальное. III Всероссийская научная конференция (25 апреля 2009 г.) ( <i>В. В. Высокова</i> ) .....	375
Историк, текст, эпоха. IV Всероссийская конференция УрО РОССИИ .....	382

### Юбилей

История Востока в судьбе университетского преподавателя. К юбилею Валентины Николаевны Грак ( <i>А. Г. Четяев, С. В. Смирнов</i> ) .....	383
--	-----

### Новые издания

Уоррен Тредголд о ранневизантийских историках ( <i>А. С. Козлов</i> ) .....	394
Методология истории и ее когнитивные основания в последнем сочинении О. М. Медушевской ( <i>В. В. Высокова</i> ) .....	399
Западноевропейское средневековье: энциклопедическая инновация на рубеже тысячелетий ( <i>Т. В. Краева</i> ) .....	404
Элитное образование в имперской Вене: опыт социально-исторического исследования ( <i>Н. Н. Баранов</i> ) .....	406

### Мемориа

Памяти Ивана Никаноровича Чемпалова .....	408
---	-----

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ .....	413
-------------------------	-----

ОБ АВТОРАХ .....	414
------------------	-----



## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Современное состояние исторической науки определяется как «историографическая революция» и знаменует эпистемологический «поворот» в развитии исторического знания 90-х гг. XX — начала XXI в. В ситуации информационного «взрыва» и всеобщей глобализации историческая наука переживает переход в новое качество «собирания воедино» накопленного знания о прошлом, приведение его к универсальному методологическому «знаменателю». Продвижение в этом направлении выявляет конфликтующие интерпретации прошлого, различие методологических позиций, источниковую вариативность. Стремление очертить характер и содержание этих противоречий, а также отчасти снять их объединяет авторов данного выпуска серии «Интеллектуальная история» альманаха «IMAGINES MUNDI».

В первом разделе «Эпохи, события, явления: историографические интерпретации» представлены исследовательские опыты историков по изучению явлений, событий и других «остатков» прошлого. Они реконструируются на основе исторических источников и фиксируются в чистом виде только в исторических сочинениях историков. В данном разделе сборника в качестве объектов исследования выступают слова - в е щ и, исчезнувшие со временем из активного словоупотребления; с о б ы т и я, как, например, Ланкастерский переворот 1399 г. или Отечественная война 1812 г.; я в л е н и я, как в случае «british raj» или Итальянской Социальной Республики. Энигматичность артефактов прошлого, история их изучения и современное состояние исследований показаны в первом разделе сборника.

Второй раздел «Универсалии исторического познания» имеет принципиальное значение в текущей ситуации историографической революции начала XXI в. Казалось бы, сущностной ее характеристикой, по общему мнению, является методологический плюрализм

в исторической науке. Однако опыт отечественной историографии последних двадцати лет дает все основания оценивать состояние в области теории истории как состояние методологической неопределенности, процветания спекулятивных рассуждений о том, «как думают историки». Позиция редколлегии сборника заключается в следующем. Суть эпистемологического поворота определяется достижением историей статуса «зрелой науки», это означает, что ее понятийный и категориальный аппарат обретает устойчивое, т. е. универсальное качество. История превращается в строгую науку, добывающую достоверное знание о прошлом. Да, она создает интеллектуальные продукты, но посредством строго рационально-логического метода. Во втором разделе сборника поднят вопрос о предмете историографии как разделе исторической науки. Концепции и их эвристические возможности также объективно попали в центр внимания авторов. Кроме того, сюда вошли статьи, посвященные преемственности в национальных историографических традициях. Здесь выдвинут на обсуждение вопрос об универсальном характере добытого достоверного знания о прошлом. В момент фиксации в историческом сочинении факт, событие, явление обретают самостоятельный статус в истории, авторство же добытого артефакта превращается лишь в историографический факт.

В третьем разделе сборника «От универсального к уникальному: особенности историографических традиций» внимание авторов сконцентрировано на бесконечном многообразии историографических практик, определяющихся «вызовами» времени, конкретно-историческими условиями, уровнем развития самого исторического знания и источниковедческой эвристики, etc. Авторы данного раздела сосредоточились на особенностях национальных историографических традиций, которые выступают как однопорядковые понятиям «национальный характер», «национальный менталитет». Общество, государство и история сопрягаются уникальным образом в культурных традициях. Историографический ракурс, выбранный большинством авторов этого раздела, — встреча двух историографических традиций, встреча с «другим», «чужим», его адаптация в отечественной историографии. Следует ска-

зять, что тематически к материалам третьего раздела примыкают некоторые статьи второго раздела, посвященные британской и немецкой историографии.

И если говорить более точно, в данном сборнике получили разработку такие направления исторической науки, как историография источниковедения (раздел первый) и источниковедение историографии (второй и третий разделы). Особого пояснения требует последнее направление — здесь в качестве исторических источников выступают сочинения историков, которые интерпретируются с точки зрения их интеллектуальной биографии, историографических влияний и вклада в историческую науку. Подход к историографическим практикам как интеллектуальным был впервые сформирован и развивается таким современным направлением исследований, как интеллектуальная история. Таким образом, историографическая «революция» рубежа веков определяется стремлением упорядочить накопленное знание о прошлом.

# ЭПОХИ, СОБЫТИЯ, ЯВЛЕНИЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

*В. Т. Ковалева, Н. В. Солдаткин*

## «ВЫСЕКАЮЩИЙ МОЛНИЮ»: К ИСТОКАМ ВЕДИЙСКОГО БОГА ИНДРЫ

Любой мифологический персонаж имеет свою историю, которая включает в себя истоки образа, его трансформацию, а также историю заимствований и интерпретаций. В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты «биографии» главы ведийского пантеона, громовержца и устроителя мира — Индры. Согласно основному мифу Ригведы, Индра ежегодно сражается со змеем Вритрой, олицетворяющим преграду, хаос, тьму. Дубликатом этого мифа является миф Вала. Вала — скала, в которой демоны упрятали богатства. Выступающий в роли демиурга Индра убивает змея и раскалывает скалу.

Голландским ученым Ф. Б. Я. Кейпером была дана космогоническая трактовка древнейшего ядра Ригведы<sup>1</sup>, которая была поддержана и развита Т. Я. Елизаренковой<sup>2</sup>. В настоящее время предлагаются и иные варианты интерпретации основных мифов Ригведы. По мнению А. С. Майданова, в них нашла свое отражение история завоеваний ариями территории Индостана, а миф о Вритре содержит в себе информацию о крупном природном катализме<sup>3</sup>.

Нет сомнения, что основные мифологические представления, запечатленные в Ригведе, сложились намного раньше их фиксации в письменном источнике. Истоки этих представлений обнаруживаются еще в VI—V тыс. до н. э. — у раннеземледельческого

населения Ближнего Востока и Передней Азии. Важнейшими источниками, подтверждающими древность мифологических образов Ригvedы, являются данные археологии — в первую очередь дошедшие до нас графические символы, представляющие собой дописьменный способ фиксации различных представлений и идей в основном культового содержания.

Наше внимание будет сосредоточено на интерпретации древовидного антропоморфа, изображение которого было обнаружено на днище сосуда боборыкинской культуры позднего неолита Среднего Зауралья (IV тыс. до н. э.). В 1999 г. курганским археологом С. Н. Шиловым был открыт и исследован новый памятник в 12 км к югу от г. Кургана — Пикушка I. Авторы публикации этого памятника определили его как стационарное поселение, на котором производилась обработка продуктов охоты и были развиты домашние производства (обработка кожи, изготовление деревянных изделий)<sup>4</sup>.

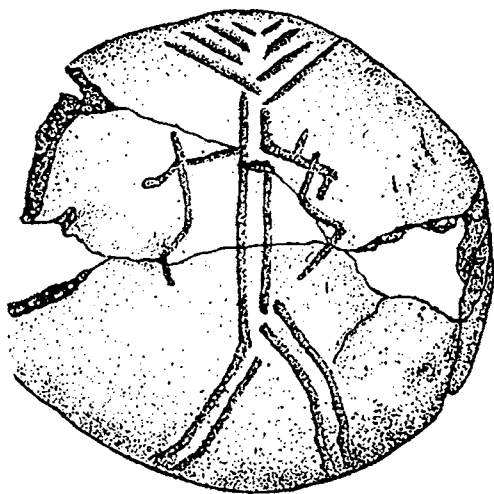
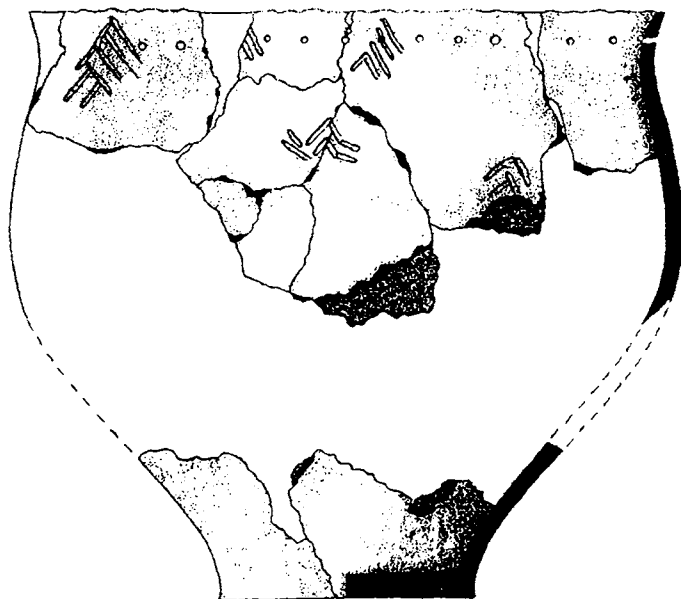
Однако факты склоняют нас интерпретировать остатки этого сооружения не как жилища или производственного центра, а как культового центра, который, по-видимому, находился за пределами одного или нескольких поселений. С этим выводом согласуется топография памятника: расположение на возвышенном останце, слишком малая площадь сооружения (10 кв. м); отсутствие входа и очага, большая концентрация находок, что не характерно для большинства стационарных поселений боборыкинской культуры. По-видимому, не случайна и планиграфия находок: в центре сооружения найдены пять развалов сосудов, размещенных цепочкой по линии север — юг. Символика орнаментов на посуде обращена к воде, дождю, грозе, земле, зерну, что соответствует типу культуры раннеземледельческих обществ.

Особый интерес среди артефактов памятника представляет сосуд, найденный к северу от сооружения. Это плоскодонный горшок с открытой горловиной и широким округлым туловом. Высота сосуда — 30 см, диаметр устья — 32 см, а дна — 13 см. По шейке сосуд орнаментирован пояском из ямочных наколов, поверх которых и ниже расположены мотивы из коротких отрезков

в виде «елочки». На внешней стороне днища сосуда нанесено контурное изображение антропоморфной фигуры с незначительным разворотом влево. Туловище и ноги выполнены схематично сдвоенными прочерченными линиями. Руки переданы в виде слегка наклонных линий, отходящих по обе стороны от туловища (развернуты в стороны). Правая рука прямая, вытянута в сторону от тела; ее пересекает вертикальная линия с плавным изгибом в нижней части. Левая рука составлена из двух отрезков, находящихся под прямым углом друг к другу (согнута в локте). На нее наложено изображение вертикального зигзага. Вместо головы — параллельные, симметрично расположенные наклонные отрезки, обращенные вверх, по четыре с каждой стороны (см. рисунок). Изобразительный образ антропоморфа ассоциируется с деревом: вершина его соотносится с головой, ствол — с телом, ветви — с руками, а корни — с ногами. Пол антропоморфа определяет позу: он изображен в так называемой «атакующей позе» — ноги широко расставлены, правая нога вытянута, а левая — согнута в колене. Такая поза характерна для персонажей мужского пола. Ю. В. Андреев подчеркивает, что женские фигурки эпохи неолита неуклюжие, тяжеловесные, статичные<sup>5</sup>.

Это пока единственный на Урале сосуд с графическим изображением необычного антропоморфа на днище, и дать ему адекватное толкование довольно трудно. У исследователя возникает, по меньшей мере, три вопроса: что изображено вместо головы — верхушка дерева, рога животного или головной убор? Что у него в руках? Почему он размещен на днище сосуда и скрыт от непосредственного обозрения?

Бесспорно одно — на сосуде представлен мифологический персонаж. Изобразительная деятельность в первобытности имела мифологическое содержание, а мифология являлась основным способом осмысления мира. Опыт науки показывает, что на каждой ступени первобытного творчества могло появиться не «все, что угодно», а лишь то, что было глубоко подготовлено коллективной практикой. Важнейшим показателем аутентичности отдельного объекта является его «генетическая сопряженность» со всем комплексом древней культуры<sup>6</sup>.



Пикушка I. Сосуд боборыкинской культуры  
(по С. Н. Шилову, С. Ю. Зыряновой)

Понять смысл этого изображения возможно только в контексте общей характеристики боборыкинской культуры. Ранее была высказана точка зрения о генетическом родстве населения боборыкинской культуры с раннеземледельческим миром Передней Азии и Ближнего Востока. Аналогии основным категориям находок, в том числе и культовым предметам, найдены в поздненеолитических культурах Северной Месопотамии, Южного и Западно-Кавказа и Закавказья<sup>7</sup>.

Интерпретация антропоморфа на боборыкинском сосуде уже была дана как прообраз бога Индры<sup>8</sup>. С критикой этой точки зрения выступил В. В. Сухих, увидевший в антропоморфе с Пикушки I богиню со змеями, покровительницу земли и растений. В. В. Сухих счел недопустимыми какие-либо ассоциации с Индрой Ригведы на том основании, что не доказана индоарийская принадлежность боборыкинской культуры, при этом почему-то он допускает правомерность сопоставления антропоморфа с другим ведийским персонажем — Варуной, как покровителем нижнего мира<sup>9</sup>. В публикациях исследователей древней символики нередко имеет место логическая необоснованность суждений, произвольное толкование графических изображений. К сожалению, в работе В. В. Сухих отсутствует какое-либо представление о контексте. Что касается этнической принадлежности боборыкинской культуры, то мы никогда и не пытались связать ее не только с индоариями, но и с индоевропейским языковым массивом. Кроме того, следует учитывать, что образ и прообраз отдалены как во времени, так и в пространстве. Речь идет лишь об общей функции божеств (хаосборцев), об их культе в разной этнической среде.

Уточнить семантическую интерпретацию этого образа помогают данные письменных источников и, прежде всего, хеттских «царских ритуалов». Описания ритуалов составляют одну из самых обширных групп хеттских клинописных текстов (XVII—XII вв. до н. э.) из архивов столицы Хеттского государства Хаттусы (современный Богазкей), обнаруженных Г. Винклером в 150 км от Анкары, во время раскопок в 1906—1907 и 1911—1912 гг. Дешифровка языка этих табличек была произведена выдающимся



чешским исследователем Б. Грозным, установившим принадлежность хеттского языка к индоевропейским, хеттские ритуалы принадлежат к числу самых архаичных письменно зафиксированных образцов культовой системы.

Наиболее почитаемым богом хеттской мифологии был бог Грозы, фигурирующий как убийца змея Иллуянки (с ним сравним скандинавский миф о Торе и Ермунганде, индийский миф об Индре и Вритре, греческий миф о Зевсе и Тифоне). Самые знаменитые храмы бога Грозы были найдены на равнине Северной Сирии, а это была та область хеттской империи, в которой преобладающую часть населения составляли хурриты. Исследователи отмечают сильное влияние в материальной и духовной культуре хеттов автохтонного населения Малой Азии — хаттов и хурритов, населявших Армянское нагорье, Северную Сирию, Северную Месопотамию, а также Загросские горы. И. М. Дьяконовым и С. А. Старостиным обоснован вывод о принадлежности хуррито-урартских языков к восточнокавказским. К ним относятся также дагестанские и ингушские языки<sup>10</sup>.

Сирийское искусство часто изображает бога Грозы так: он стоит один, в руках у него топор и символическая молния; в самой Анатолии его изображают правящим колесницей, которую быки тащат по вершинам гор, бык — его священное животное<sup>11</sup> (такое изображение очень схоже с описанием Индры в Ригведе). Бог Грозы у населения Ближнего Востока в неолитическую эпоху был связан не с небесным пространством, а с землей и атмосферой (изображение антропоморфа на внешней стороне дна сосуда также символизирует его связь с землей и земным пространством). Его основная функция — обеспечить плодородие земли. В ведении бога Грозы находились ливни, громы, молнии, ветры. Молния — метафора всеоживляющей весны. По древним поверьям, высекание молнии не только вызывало ливни, дожди, но и способствовало избавлению от злых духов. Вполне логично предположить, что основная функция бога Грозы у ранних земледельческих обществ была связана с культом плодородия. Хетты, заимствовав у местного населения культ бога Грозы, переосмыслили его образ и наделили его функцией змеборца. Таким образом, в качестве

прототипа Индры можно предположить ближневосточного бога Грозы, истоки этого персонажа, в свою очередь, уходят в культуру ранних земледельцев Передней Азии и Ближнего Востока.

На днище боборыкинского сосуда изображен, по всей видимости, жрец или царь, высекающий молнию. Неестественность позы антропоморфа объясняется тем, что изображается не «действительность», не «натуральный объект», а ритуальная действительность, которая характеризуется неестественностью. Ритуальное действие начинается с принятия определенной позы. Первоначальным элементом ритуала был жест, который для того, чтобы быть значительным, должен был быть противоестественным<sup>12</sup>. В правой руке антропоморфа, по всей вероятности, молот или дубина, а в левой — зигзагом обозначена молния. В хеттских текстах нашло отражение представление о «трехчленности» царя: корни — тело — «зеленая макушка». Верхняя часть царя — «зеленая макушка» — обозначается словом, которое употреблено в тексте ритуалов для наименования верхней части дерева<sup>13</sup>.

Была установлена связь царя с богом Грозы. Царь — «наместник» бога Грозы. «Зеленая макушка» не случайно ассоциируется с деревом. Дерево в древности было символом смены времен года или циклов. Увидев в растительной жизни смену смерти весенним возрождением, наши предки перенесли этот закон на собственное существование — как циклическое чередование стадий «жизнь — смерть — возрождение». Главным праздником в первобытности был Новый год, чаще всего приуроченный ко дню весеннего равноденствия. По всей вероятности, именно с Новым годом связан календарный миф о борьбе бога Грозы со Змеем. Светлое божество — хаособорец — ежегодно высекает молнию или победоносно совершает свои битвы с силами хаоса. Победить хаос невозможно, поэтому борьба змеборца оказывается вечной. Новогодние мистерии должны были поддерживать равновесие сил добра и зла. Вера в могущество ритуалов и церемоний сохранилась надолго и нашла отражение в письменных источниках.

Итак, по всей вероятности, из всех известных мифологических образов бога Грозы хурритский является древнейшим и восходит к неолитической эпохе. Изображение бога Грозы с «зеленой

макушкой» и «высекающим молнию» у неолитического населения Зауралья могло появиться только в результате миграции населения из районов раннеземледельческих культур<sup>14</sup>. Данные археологии позволяют расширить наши представления о древнейших периодах истории Урала. В конце каменного века его культура оказалась связанной с культурой передовых центров производящей экономики и, прежде всего, с колыбелью цивилизации Ближнего Востока.

<sup>1</sup> Кейпер Ф. Б. Я. Основополагающая концепция ведийской религии // Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 28.

<sup>2</sup> Елизаренкова Т. Я. «Ригведа» — великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989; *Ее же*. Мир идей ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V—VIII. М., 1999.

<sup>3</sup> Майданов А. С. Тайны великой «Ригведы». М., 2002. С. 46.

<sup>4</sup> Шилов С. Н., Зырянова С. Ю., Шаманаев А. В. Комплекс боборыкинской культуры поселения Пикушка I // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург, 2002. Вып. 24. С. 90—118.

<sup>5</sup> Андреев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III — начало I тыс. до н. э.). СПб., 2002. С. 58.

<sup>6</sup> Столяр Н. Д. Об основных аспектах исследований палеолитического изобразительного творчества как исторического источника // Археология в пути или путь археолога. СПб., 2001. Ч. 1. С. 81.

<sup>7</sup> Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Ближневосточный след в неолитической культуре Среднего Зауралья // Изв. Урал. гос. ун-та. 2007. № 49. Сер. 2, Гуманитар. науки. Вып. 13. С. 11—17.

<sup>8</sup> Ковалева В. Т., Шилов С. Н. Прообраз Индры: об интерпретации антропоморфного изображения на сосуде // Вопросы археологии Урала. Вып. 24. С. 119—126.

<sup>9</sup> Сухих В. В. Возможности семантического подхода в определении этнической принадлежности археологических культур // *Imagines mundi*: альм. исслед. всеобщ. истории XVI—XX вв. № 3. Сер. Интеллектуальная история. Вып. 1. Екатеринбург, 2004. С. 59—82.

<sup>10</sup> См.: Ардзинба В. Г. Послесловие // Герни О. Р. Хетты. М., 1987. С. 193—194.

<sup>11</sup> Герни О. Р. Указ. соч. С. 121.

<sup>12</sup> Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. С. 112—115.

<sup>13</sup> Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М., 1982. С. 94—95.

<sup>14</sup> Галан А. Миф и символ. М., 1993. С. 157.

А. С. Мохов, В. П. Степаненко

## ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В СЕРЕДИНЕ XI — НАЧАЛЕ XII в.: ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АСПЕКТ\*

Проблемы, связанные с военно-административной историей Византии середины X — начала XII в. постоянно привлекают к себе внимание исследователей<sup>1</sup>. За это время империя пережила период наивысшего военно-политического могущества (правление Василия II), значительно увеличила свою территорию и одержала ряд блестящих побед в войнах с давними противниками — арабами и болгарами. Однако период расцвета Византии был непродолжительным, и уже во второй половине XI в. она оказалась в состоянии тяжелого внутривосточного кризиса, подверглась внешнеполитическому разгрому и утратила треть своей территории.

В середине XI — начале XII в. в Византии происходили процессы постоянной трансформации военных и административных структур, которые коснулись не только центрального аппарата, но и провинциальных органов власти. Причин тому было несколько. Это и увеличение территории страны, и постепенный переход от активной наступательной внешней политики к обороне новых, более протяженных границ. В связи с этим исследование постоянно изменявшихся административных структур империи представляет значительную проблему и требует привлечения всего круга источников по истории Византии X—XII вв.

В исторических сочинениях XI—XII вв. содержится определенная информация по интересующим нас проблемам. В «Хроногра-

---

\* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (НИР «Византийская империя в периоды расцвета и упадка: политическое и социокультурное измерение», ГК 02.740.11.0578).

фии» Михаила Пселла<sup>2</sup>, «Истории» Михаила Атталиата<sup>3</sup>, «Советах и рассказах» Кекавмена<sup>4</sup> и, в особенности, в «Синописе историй» Иоанна Скилицы<sup>5</sup> можно почерпнуть некоторые сведения о внешней политике Византии, о войнах, которые она вела со своими соседями, о мятежах и восстаниях внутри империи. Однако ни один из вышеперечисленных авторов не ставил перед собой цели дать точное описание государственного и военного устройства страны. Кроме того, данные исторических хроник зачастую неточны и противоречивы, что еще более усложняет задачу исследователей.

Источником, который представляет объективную (до определенной степени) картину административного устройства Византийской империи, являются моливдовулы — свинцовые печати, которые использовались для опечатывания официальной и частной корреспонденции. Этот массовый источник (известно о более чем 80 тыс. моливдовулов) может существенно скорректировать данные письменных источников<sup>6</sup>. На основании сфрагистических материалов можно исследовать историю отдельных провинций или воинских формирований, выстраивать *cursus honorum* византийских чиновников и военачальников, изучать отдельные титулы и должности имперской придворной иерархии. Особенно незаменимы данные сигиллографии при рассмотрении проблем, связанных с историей византийских вооруженных сил и провинциальной военно-административной системы<sup>7</sup>.

Во второй половине X — первой четверти XI в. в Византии был проведен ряд значительных военных преобразований, которые в историографии обычно называют «военной реформой» императоров Никифора II Фоки, Иоанна I Цимисхия и Василия II. В результате в империи была создана уникальная для средневековья военная система, состоявшая из трех основных элементов: регулярных формирований (кавалерийских тагм и пехотных таксиархий), милиционных формирований (стратиотских ополчений фем) и регулярного военного флота. Основным принципом комплектования войск становится регулярный; именно из подразделений подобного рода были сформированы наиболее боеспособные

части византийских вооруженных сил — «полевые армии» Востока и Запада<sup>8</sup>.

«Военная реформа» привела также к появлению ряда новых высших и средних командных должностей. Среди них необходимо в первую очередь упомянуть посты domestikов схол Востока и Запада<sup>9</sup>, стратилатов Востока и Запада, стратопедархов Востока и Запада, архегетов Востока и Запада<sup>10</sup>. Время появления этих должностей четко фиксируется по данным сфрагистики — первые печати с их упоминанием датируются второй половиной X в.<sup>11</sup>

Другой существенной частью «военной» реформы стала реорганизация системы обороны границ Византии. В приграничных регионах было создано несколько крупных военно-административных округов (первоначально — четыре на Востоке и три на Западе), получивших названия дукатов (катепанатов). Каждое подобное командование создавалось для противодействия определенному противнику. Дука (катепан) получал под свое командование все военные контингенты, размещенные на подчиненной ему территории, вне зависимости от их статуса. Основная задача дук (катепанов) состояла в организации обороны границы, а также в проведении локальных наступательных операций в приграничной зоне на территории противника<sup>12</sup>.

В целом созданная в период «военной реформы» армейская структура просуществовала без серьезных изменений до конца правления императора Романа III Аргира (1028—1034)<sup>13</sup>. В дальнейшем она начинает медленно трансформироваться, постепенно утрачивает свою былую эффективность и в конечном итоге оказывается в состоянии глубокого кризиса и распада.

На основании данных письменных источников и, прежде всего, сфрагистического материала можно проследить основные этапы данного процесса. При этом основное внимание следует обратить на два аспекта: а) изменения в организационной структуре византийских вооруженных сил<sup>14</sup>; б) изменения в командном составе императорской армии<sup>15</sup>.

В 1034—1057 гг. (от гибели Романа III Аргира до прихода к власти Исаака I Комнина) организационная структура византий-

ской армии претерпела серьезные изменения. В этом отношении необходимо выделить три основных момента.

Во-первых, до 1048 г., т. е. до резкого ухудшения международной обстановки, система византийских территориальных командований (катепанатов, дукатов) значительно увеличилась территориально за счет присоединения к империи новых областей на Востоке. По своей структуре новые провинции не отличались от старых, что не может не свидетельствовать о сохранении традиционной системы пограничных военных командований<sup>16</sup>. Вместе с этим новые приграничные структуры отличались значительной нестабильностью. Нередкими были случаи объединения под единым командованием огромных территорий (например, Иверия, Васпуракан, Тарон или Болгария и Паристрион)<sup>17</sup>. Из одного дуката в другой постоянно передавались более мелкие административные единицы («малые» или «армянские» фемы, гарнизоны крепостей, куратории и пр.). По письменным источникам установить причину подобных реорганизаций не представляется возможным. Печати же только фиксируют сам факт существования этих временных административных образований<sup>18</sup>.

Во-вторых, после 1048 г., в связи с непрерывной войной на три фронта (с сельджуками на Востоке, с печенегами на Дунае и с норманнами в Южной Италии), укрупнение пограничных фем становится повсеместным явлением. Вне всякого сомнения, это принималось для того, чтобы увеличить их военные силы<sup>19</sup>.

В-третьих, в полевых армиях Востока и Запада вместо традиционных высших командных должностей начинают появляться экстраординарные, причем некоторые из них не упоминались до этого в источниках десятки лет (стратиг-автократор, этнарх, дука Запада)<sup>20</sup>. При острой нехватке войск значительно увеличилось количество наемников (отметим значительную группу печатей великих этериархов, датируемую XI в.)<sup>21</sup>. Кроме того, византийское правительство постоянно привлекает к участию в военных экспедициях союзные войска<sup>22</sup>.

Главным итогом указанного периода в организационном аспекте стала полная дезорганизация вооруженных сил в западной части империи. Они наиболее сильно пострадали как во внутриволи-

тических конфликтах (восстание болгар под руководством Петра Деляна, мятежи Георгия Маниака, Льва Торника, Исаака Комнина), так и во внешних войнах. Необходимо также указать на высокие потери в личном составе западных контингентов, причем среди командного состава они были особенно велики. Как следствие, к 1057 г. западная полевая армия перестала существовать как организованная военная сила. По всей видимости, остатки ее регулярных тагм были включены в состав контингентов дуката Адрианополь<sup>23</sup>.

В командном составе византийской армии также происходят значительные изменения. По сравнению с предыдущим периодом необходимо отметить резкое увеличение числа командиров — выходцев из столичной знати, а также наемников. Это связано, прежде всего, с политикой правительства, направленной на вытеснение провинциальной аристократии из руководящего состава вооруженных сил. Высшие военные должности на протяжении всего периода занимали либо придворные евнухи, либо доверенные лица императоров или их родственники<sup>24</sup>. Командиров — выходцев из провинциальной аристократии назначали на высокие посты чрезвычайно редко и только в периоды ухудшения внешнеполитического положения страны. В этих случаях за ними устанавливался жесткий контроль. Например, в правление Константина IX Мономаха обычной являлась следующая ситуация: пост доместика схол Востока занимал кто-либо из ближайшего окружения императора, а должности стратилата или стратопедарха Востока замещались профессиональными военными (Катакалон Кекавмен, Михаил Иасит, Аарон Болгарин). Военачальник реально руководил войсками и проводил боевые операции, а доместик схол лишь контролировал его действия и должен был пресекать любые попытки организовать военный мятеж<sup>25</sup>.

В связи с тем, что в 1034—1057 гг. византийская армия вела постоянные боевые действия и в источниках упоминаются имена большого числа военачальников, можно сделать определенные выводы, касающиеся не только высшего, но и среднего офицерского состава.



В конце 30-х гг. XI в. из армейского руководства исчезают военачальники, начавшие служить еще в правление Василия II. Им на смену приходит новое поколение военных, причем в ряде случаев можно отметить семейную преемственность — вместо офицера, командовавшего войсками в начале XI в., в рядах армии появляется его однофамилец (к сожалению, бесспорное подтверждение тесных родственных связей можно установить только в единичных случаях — Никифор Вотаниат, Василий Апокап, Исаак Комнин, Михаил Вурца, Роман Склир)<sup>26</sup>.

Наряду с притоком аристократов на военную службу в 1034—1057 гг. наблюдается сокращение числа командных должностей, что обусловлено расформированием ряда подразделений регулярной армии и роспуском стратиотских ополчений в некоторых фемах (ликвидация стратиотских контингентов в Иверии и Месопотамии при Константине IX)<sup>27</sup>. Отметим также, что от периода 30—50-х гг. практически не сохранились моливдовулы стратигов «старых» («греческих») фем Малой Азии, оказавшихся в глубоком тылу и тем самым утративших военное значение (Вукелларий, Пафлагония, Фракисий, Оптиматы)<sup>28</sup>.

В целом период с 1034 по 1057 г. ознаменовался значительным ухудшением состояния вооруженных сил Византии. Главная причина, на наш взгляд, заключается в полном отсутствии у правивших в это время императоров единой военной политики. При Пафлагонцах (Михаил IV и Михаил V) армия рассматривалась как источник доходов, при Константине IX Мономахе ее расценивали как враждебную политическую силу и сознательно ослабляли<sup>29</sup>. В правление императрицы Феодоры и особенно при Михаиле VI наметились тенденции к распаду старой системы византийской военной организации. 1056—1057 гг. стали временем, когда вооруженные силы империи впервые в XI в. оказались в состоянии глубокого кризиса. Тем не менее нельзя объяснить нарастание кризисных явлений исключительно внутренними причинами. Неудачи во внешних войнах также оказали серьезное влияние на эти процессы (особенно — катастрофическое поражение в Южной Италии в 1039—1040 гг. и неудачная война с печенегами в 1048—1053 гг.).

Можно констатировать, что к кризису византийские вооруженные силы привел целый комплекс причин.

Следующий период, который необходимо рассмотреть, — это время с 1057 по 1081 г. (от прихода к власти Исаака I Комнина и до воцарения Алексея I Комнина). Все эти годы кризис византийской армии продолжался и в конечном итоге привел к полной ликвидации старой системы военной организации. Проявление кризисных явлений просматривается в нескольких основных моментах.

Во-первых, начиная с 1059 г. территория империи неуклонно сокращается. Поражения в войнах с норманнами и сельджуками привели к исчезновению многих элементов военной структуры Византии (фемы Италия, Васпуракан, Великая Армения, Месопотамия, Сирмий, Паристрион)<sup>30</sup>. К 1072 г. прекратила свое существование и восточная полевая армия<sup>31</sup>.

Во-вторых, в правление Романа IV Диогена, в целях спасения государства от внешнеполитической угрозы, произошел возврат к военной системе, существовавшей до «военной реформы» середины X в. Все действия византийских войск приобретают ярко выраженный чрезвычайный характер, что подтверждается абсолютным преобладанием экстраординарных командований (стратиг-автократор, моностратиг, дука «всего Востока», дука «всего Запада»)<sup>32</sup>.

В-третьих, из новых, ранее не существовавших элементов военной организации необходимо отметить появление личных этерий у военачальников высшего ранга. Однако из-за недостаточности сведений об их внутренней структуре и системе взаимоотношений в этериях говорить о них как о «феодальном институте» не представляется возможным<sup>33</sup>.

Судя по сфрагистическим данным и свидетельствам письменных источников, в командном составе византийских войск в 1057—1081 гг. также произошли серьезные изменения. Значительно выросло число военачальников — выходцев из провинциальной знати. При Исааке I Комнине провинциалы полностью монополизировали командные должности, но позже, в связи с изменением воен-

ной политики Константином X Дукой, в войсках вновь появились представители столичной знати, наемники и придворные евнухи.

В 1057—1081 гг. в командном составе византийской армии вновь произошла смена поколений. На смену командирам, служившим в войсках с 30—40-х гг. XI в., пришла большая группа полководцев, выдвинувшихся при Романе Диогене (Феодор Алиат, Иосиф Тарханиот, Андроник Дука, Иоанн Комнин, Никифор Вриенний, Михаил Палеолог)<sup>34</sup>. Среди военачальников, начавших службу в 1057—1081 гг., преобладали представители знатных провинциальных фамилий, а также военачальники армянского происхождения (Филарет Врахамий, Василий Апокап, Никифор Василаки, Багат Вихкатци)<sup>35</sup>. Необходимо также констатировать, что при назначении на командные должности немаловажную роль начинают играть родственные связи. Лица, связанные родственными отношениями с влиятельными военачальниками высшего ранга, более успешно продвигались по службе (Андроник Дука, Никифор Мелиссин), чем офицеры, такого преимущества не имевшие<sup>36</sup>.

В 1057—1081 гг. византийские военные играли основополагающую роль во внутривосточной жизни государства. В правление Исаака I у власти находилась малоазийская группировка провинциальной военной знати, составленная из высших офицеров восточной полевой армии и фемной администрации. Удержаться у власти длительное время эта «партия» не смогла из-за разногласий внутри самой группировки. С приходом к власти Константина X она вообще прекращает свое существование.

С 1059 г. в командной верхушке вооруженных сил формируются следующие группировки: представители старой провинциальной знати (в этой партии основополагающую роль играли родственные связи) и группа военачальников — ставленников императора Романа Диогена, состоявшая в основном из лиц армянского и болгарского происхождения (здесь господствовал принцип личной преданности императору). В 1071—1072 гг. между данными группировками шла ожесточенная борьба за власть в государстве, завершившаяся победой старой провинциальной знати<sup>37</sup>.

После битвы при Манцикерте (1071) и «гражданской войны» между Романом Диогеном и Дуками армия была уже не в состоянии выполнять свою главную функцию — защиту страны от внеш-

ней угрозы<sup>38</sup>. Начавшийся еще в 50—60-е гг. XI в. процесс распада византийской военной системы вступил в завершающую фазу. Происходил он следующим образом. Боеспособные воинские формирования по большей части были отведены в район Константинополя, где и разместились в стационарных военных лагерях и крепостях вокруг столицы империи. Данная группировка преимущественно использовалась не для борьбы с внешними врагами, а для подавления постоянных мятежей в балканских и малоазийских провинциях (мятежи Никифора Вотаниата, Никифора Васибеки, Никифора Вриенния, Никифора Мелиссина)<sup>39</sup>. В состав этой «столичной» армии входили регулярные тагмы и гвардейские формирования. Однако преобладающим здесь элементом являлись отряды иностранных наемников (франки, немцы, англосаксы, русские, тюрки, арабы и др.). Постепенно признанным лидером этих воинских контингентов становится Алексей Комнин. Именно ему удалось подавить целый ряд мятежей, а затем, свергнув Никифора III Вотаниата, прийти к императорской власти. Необходимо отметить, что данные сфрагистики позволяют подробно проследить все этапы карьеры основателя династии Комнинов<sup>40</sup>.

Другая часть византийских сил не отступила на Запад, но осталась в Закавказье, Каппадокии и Киликии. В этих районах возникает ряд полунезависимых образований, во главе которых стояли в основном военачальники армянского происхождения (Филарет Врахамий, Феодор Гавра, Рубен и др.)<sup>41</sup>. В византийских источниках их, как правило, называют топархами. Формально признавая власть императора, имея высокие придворные титулы и должности (что подтверждается значительным числом печатей), реально они были самостоятельны в своей политике. Впоследствии часть подобных топархий была уничтожена турками, некоторые территории вернулись под контроль императорского правительства, но в единичных случаях они превратились в независимые армянские княжества, которые в дальнейшем играли существенную роль во время Крестовых походов<sup>42</sup>.

Подводя итоги, необходимо констатировать, что ликвидация «фемного строя» стала результатом не только внешних, но и внутренних процессов, происходивших в империи. Процессы трансформации, аналогичные тем, что происходили в вооруженных силах,

имели место и в гражданской администрации фем. Здесь в руках одного чиновника могли быть собраны тождественные функции в соседних провинциях. Это прослеживается на основании данных сфрагистики для следующих должностей: кураторы, экзакторы, преторы, анаграфевсы, асикриты и нотариусы (см. Приложение). Отметим также, что сфрагистический материал позволяет не только существенно дополнить и скорректировать данные письменных источников по истории империи и ее вооруженных сил во второй половине XI — начале XII в., но и предоставить ценнейший материал, без которого было бы невозможно рассмотрение этого ключевого периода византийской истории.

### *Приложение*

#### СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКИМИ ЧИНОВНИКАМИ И СТРАТИГАМИ ФЕМ ПО ДАННЫМ СФРАГИСТИКИ<sup>43</sup>

##### I. Балканские фемы Византии.

###### 1) Фракия и Македония:

Петр, протоспафарий, судья ипподрома Фракии и Македонии (XI в.)<sup>44</sup>.

Иоанн Радин, вестарх и судья Фракии и Македонии (70—80-е гг. XI в.)<sup>45</sup>.

Стефан, асикрит и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>46</sup>.

Николай Зонара, судья Фракии и Македонии (конец XI в.)<sup>47</sup>.

Иоанн Космотир, патрикий и дикаст Фракии и Македонии (XI в.)<sup>48</sup>.

Георгий, императорский спафарокандидат и анаграфевс Фракии и Македонии (XI в.)<sup>49</sup>.

Христофор Лихуд, проедр и дикайофилакс Фракии и Македонии (XI в.)<sup>50</sup>.

Константин Алоп, магистр, вест и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>51</sup>.

Евстратий, ипат, вест и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>52</sup>.

Иоанн, вест и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>53</sup>.

Лев, вестарх и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>54</sup>.

Михаил, судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>55</sup>.

Михаил Монокарит, императорский спафарий и судья ипподрома Фракии и Македонии (XI в.)<sup>56</sup>.

Иоколай Анза, магистр и судья Фракии и Македонии (XI в.)<sup>57</sup>.

## 2) Пелопоннес и Эллада:

Христофор, спафарокандидат, асикрит и судья Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>58</sup>.

Иоанн, спафарокандидат, асикрит и протонотарий Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>59</sup>.

Евстафий, протоспафарий, асикрит, императорский нотариус и судья Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>60</sup>.

Михаил, протоспафарий, великий хартуларий и судья Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>61</sup>.

Петр Сервлий, магистр, вест и судья Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>62</sup>.

Феодосий, вест, императорский нотариус и судья Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>63</sup>.

Артавазд, магистр и претор Пелопоннеса и Эллады (XI в.)<sup>64</sup>.

Михаил, куропалат и претор Пелопоннеса и Эллады (XI—XII вв.)<sup>65</sup>.

Григорий Каматир, протопретор Пелопоннеса и Эллады (XI—XII вв.)<sup>66</sup>.

Евмафий Филокал, мегадука и претор Пелопоннеса и Эллады (XI—XII вв.)<sup>67</sup>.

## 3) Стратиги балканских фем:

Дамиан Добромир, антифат, патрикий и дука Фракии и Месопотамии (X—XI вв.)<sup>68</sup>.

Лев Саракинопул, протоспафарий и стратиг Фракии и Иоаннополя (X—XI вв.)<sup>69</sup>.

Феофан, протоспафарий и стратиг Фракии и Иоаннополя (X—XI вв.)<sup>70</sup>.

Ставракий, протоспафарий и стратиг Фракии и Иоаннополя (X—XI вв.)<sup>71</sup>.

Никифор Ксифий, протоспафарий и стратиг Фракии и Иоаннополя (X—XI вв.)<sup>72</sup>.

## II. Восточные фемы Византии (здесь тенденция совмещения должностей также прослеживается достаточно ярко).

## Селевкия и Тарс:

Евстафий, асикрит и судья Селевкии и Тарса (X—XI вв.)<sup>73</sup>.

Иоанн Элладик, вест, судья Селевкии, куратор Тарса (XI в.)<sup>74</sup>.

Иоанн Элладик, вест, судья и куратор Селевкии и Тарса (XI в.)<sup>75</sup>.

Евфимий Карабициот, экзактор, судья ипподрома Селевкии, куратор и анаграфевс Тарса (XI в.)<sup>76</sup>.

Лев Благас, стратиг и анаграфевс Селевкии и Тарса (XI в.)<sup>77</sup>.

Феофилакт, императорский протоспафарий, судья и великий куратор Селевкии и Тарса (XI в.)<sup>78</sup>.

<sup>1</sup> См., например: *Glykatzis-Ahrweiler H. Recherches sur l'administration de l'empire byzantin aux IX<sup>e</sup>—XI<sup>e</sup> siècles // Bulletin de correspondance hellénique. 1960. Vol. 84. P. 1—66; Haldon J. F. Recruitment and Conscription in the Byzantine Army (550—950). A study on the origins of the Stratotika Ktemata. Wien, 1979; Kühn H.-J. Das byzantinische Heer im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. Wien, 1991; Koliass T. G. Nikephoros II. Phokas (963—969). Der Feldherr und Kaiser und seine Reformtätigkeit. Athens, 1993; Мохов А. С. Военные преобразования в Византийской империи во второй половине X — начале XI в. // Изв. Урал. гос. ун-та. 2004. № 31. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып. 7. С. 14—33.*

<sup>2</sup> *Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976—1077) / éd. É. Renaud. P., 1926—1928. T. 1—2.*

<sup>3</sup> *Michaelis Attaliothae Historia / ed. I. Bekker. Bonn, 1853.*

<sup>4</sup> *Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. / подг. текста, пер. и коммент. Г. Г. Литаврина. М., 1972.*

<sup>5</sup> *Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum / rec. I. Thurn. Berlin ; N. Y., 1973.*

<sup>6</sup> *О значении печатей для изучения истории Византии IX—XII вв. см.: Шандровская В. С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (на выставке «Искусство Византии» из собраний Советского Союза). Л., 1975.*

<sup>7</sup> См., например: *Laurent V. La chronologie des gouverneurs d'Antioche sous la seconde domination byzantine // Mélanges de l'Université Saint-Joseph. Beirut, 1962. T. 38. P. 261 suiv.; Юзбашьян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия (IX—XI вв.). М., 1988. С. 191 сл.; Степаненко В. П. Из истории византийской провинциальной администрации XI в. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2008. Вып. 38. С. 96—113.*

<sup>8</sup> *Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI в.: от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина / вступ. ст. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2004. Кн. 2, гл. VII; Koliass T. G. Op. cit. S. 211 sq.; Мохов А. С. Военные преобразования в Византийской империи... С. 30—33.*

<sup>9</sup> См.: *Kühn H.-J. Op. cit. S. 142—146; Oikonomidès N. L'évolution de l'organisation administrative de l'Empire byzantin au XI<sup>e</sup> siècle (1025—1118) // Travaux et Mémoires. 1976. Vol. 6. P. 142—143; Cheynet J.-Cl. Nouvelle hypothèse à propos du domestique d'Occident cité sur une croix du Musée de Genève // Byzantinoslavica. 1981. Vol. 42. P. 198—202; Мохов А. С. Доместики схол Запада второй половины X — начала XII в. по данным сфрагистики // Античная древность и средние века. Вып. 38. С. 164 сл.*

<sup>10</sup> *Подробнее об этих должностях см.: Guiland R. Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Les termes désignant le commandant en chef des armées byzantines // Guiland R. Titres et fonction de l'empire byzantin. L., 1976. VII; Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles. P., 1972. P. 329 suiv.*

<sup>11</sup> *Йорданов И.* Печатите от стратегията в Преслав (971—1088). София, 1993. С. 83—87; *Jordanov I.* Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. II : The Byzantine Seals with Family Names. Sofia, 2006. P. 287—289; Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / ed. by J. Nesbitt, N. Oikonomides. Vol. 1 : Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. Wash., 1991. P. 10—11.

<sup>12</sup> *Бартикян Р. М., Каждан А. П., Удальцова З. В.* Социальная структура восточных границ Византийской империи в IX—XII вв. // Actes du XIV<sup>e</sup> Congrès International d'Études byzantines. Bucarest, 1975. Vol. 2. С. 21—26; *Oikonomidès N.* L'organisation de la frontière orientale de Byzance aux X<sup>e</sup>—XI<sup>e</sup> siècles et le Taktikon de l'Escorial // Ibid. Bucarest, 1974. Vol. 1. P. 83—84.

<sup>13</sup> Подробнее см.: *Степаненко В. П.* Византийские моливдовулы как источник по истории византийской фемной администрации XI в. // Документ. Архив. История. Современность : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 11—12 окт. 2007 г. Екатеринбург, 2007. С. 234—239; *Мохов А. С.* Командный состав византийской армии в XI в.: правление Романа III Аргири (1028—1034) // Античная древность и средние века. Вып. 38. С. 173 сл.

<sup>14</sup> *Oikonomidès N.* L'évolution de l'organisation administrative... P. 142—143; *Glykatzis-Ahrweiler H.* Op. cit. P. 64—67; *Cheyne J.-Cl.* Du stratège de thème au duc: chronologie de l'évolution au cours du XI<sup>e</sup> siècle // Travaux et memoires. 1985. Vol. 9. P. 181—182; ср.: *Wasilewski T.* Les titres de duc, de catépan et de pronotès dans l'empire byzantin du IX<sup>e</sup> jusqu'au XII<sup>e</sup> siècle // Actes du XII<sup>e</sup> Congrès international des Études byzantines. Beograd, 1964. Vol. 2. P. 233—239.

<sup>15</sup> *Cheyne J.-Cl.* Dévaluation de dignités et dévaluation monétaire dans la seconde moitié du XI<sup>e</sup> siècle // Byzantion. 1983. T. 53. P. 192—194; *Крсмановић Б.* Успон војног племства у Византији XI века. Белград, 2001. С. 111 сл.

<sup>16</sup> *Shepard J.* Scilitzes on Armenia in the 1040s, and the Role de Catacalon Cesaumenos // Revue des Études Arméniennes. 1975—1976. Vol. 11. P. 269 sq.; *Юзбашян К. Н.* Армянские государства эпохи Багратидов... С. 197—198; *Арутюнова-Фиданян В. А.* Фема Васпуракан // ВВ. 1977. Т. 38. С. 80—85.

<sup>17</sup> *Василевски Т.* България и Византия IX—XII век. София, 1997. С. 164—167; *Йорданов И.* Печати на византийски сановници от арменски произход, намерени в България // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2000. Вып. 31. С. 123 сл.; *Степаненко В. П.* Еще раз о грузинском посольстве в Ани в 1045 г. (к генеалогии грузинских и армянских Багратидов и Арцрунидов Васпуракана) // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2003. Вып. 34. С. 267—271.

<sup>18</sup> *Zacos G.* Byzantine Lead Seals. Berne, 1984. Vol. 2, N 456; *Felix W.* Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055. Wien, 1981. S. 131—136; *Seibt W.* Miscellen zur historischen Geographie von Armenien und Georgien in byzantinischer Zeit // Handes Amsorga. 1976. T. 90. S. 635—638.

<sup>19</sup> *Бартикян Р. М.* О феме Иверия // Вестн. обществ. наук Академии наук Армянской ССР. 1974. № 12. С. 76—79; *Юзбашян К. Н.* Армянские государства эпохи Багратидов... С. 183; *Noyé Ch., Martin J.-M.* Les Villes de l'Italie byzantine



(IX<sup>e</sup>—XI<sup>e</sup> siècles) // *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*. P., 1991. Vol. 2. P. 202—203.

<sup>20</sup> *Cheyne J.-Cl.* Nouvelle hypothèse à propos du domestique... P. 198—202; ср.: *Wasilewski T.* Op. cit. P. 233—239; *Арутюнова-Фиданян В. А.* Армяно-византийская контактная зона (X—XI вв.). Результаты взаимодействия культур. М., 1994. С. 155 сл.

<sup>21</sup> *Васильевский В. Г.* Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII вв. // *Васильевский В. Г.* Труды. СПб., 1908. Т. 1. С. 181 сл.; *Miller D. A.* Byzantine Treaties and Treaty-Making: 500—1025 AD // *Byzantinoslavica*. 1971. Vol. 32. P. 62 suiv.; *Бибииков М. В.* Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004. С. 88 сл.

<sup>22</sup> *Юзбашян К. Н.* Завещание Евстафия Воилы и вопросы фемной администрации «Иверии» // ВВ. 1974. Т. 36. С. 82; *Бартикян Р. М.* Критические заметки к завещанию Евстафия Воилы (1059) // *Бартикян Р. М.* *Studia armeno-byzantina*. Ереван, 2002. Т. 1. С. 72—73. *Степаненко В. П.* Из истории византийской провинциальной администрации XI в. С. 101—103.

<sup>23</sup> *Мохов А. С.* К вопросу о византийской военной организации в период войны с печенегами (1046—1053 гг.) // Изв. Урал. гос. ун-та. 2005. № 39. [Сер.] Гуманитар. науки. Вып. 10. С. 15 сл.

<sup>24</sup> *Каждан А. П.* Характер, состав и эволюция господствующего класса в Византии XI—XII вв. Предварительные выводы // *Byzantinische Zeitschrift*. 1973. Bd. 66. S. 47—60; *Cheyne J.-Cl.* Dévaluation des dignités et dévaluation... P. 193.

<sup>25</sup> *Cheyne J.-Cl.* Pouvoir et contestations à Byzance (963—1210). P., 1990. P. 87 suiv.; *Kühn H.-J.* Op. cit. S. 153—155.

<sup>26</sup> Подробнее см.: *Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса Византии (XI—XII вв.). М., 1974.

<sup>27</sup> *Seibt W.* «Armenika temata» als Terminus technicus der Byzantinischen Verwaltungsgeschichte des 11. Jahrhunderts // *Byzantium and its neighbors from the mid 9<sup>th</sup> till the 12<sup>th</sup> centuries*. Papers read at the byzantinological symposium (Bechyne, 1990). Prague, 1993. S. 134—141; ср.: *Юзбашян К. Н.* Армянские государства эпохи Багратидов... С. 196 сл.

<sup>28</sup> См.: *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks...* Wash., 1994. Vol. 2.

<sup>29</sup> См.: *Мохов А. С.* Военная политика императоров-Пафлагонцев (1034—1042) // *Античная древность и средние века*. Екатеринбург, 2005. Вып. 36. С. 145—170.

<sup>30</sup> *Bănescu N.* Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie. Bucarest, 1946. P. 32—36; *Falkenhausen V. von.* Untersuchung über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert. Wiesbaden, 1967. S. 54—57, 115—116. См. также: *Jordanov I.* Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Vol. 1 : The Byzantine Seals with Geographical Names. Sofia, 2003. N 16.2—5.

<sup>31</sup> *Glykatzi-Ahrweiler H.* Op. cit. P. 64—67.

<sup>32</sup> Об этих должностях см.: *Oikonomidès N.* Les listes de préséance byzantines des IX<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles. P. 309 suiv.

<sup>33</sup> *Литаврин Г. Г.* Относительные размеры и состав имущества провинциальной византийской аристократии во второй половине XI в. (по материалам завещаний) // *Византийские очерки*. М., 1971. С. 152—168; *Юзбашян К. Н.* Армянские

государства эпохи Багратидов... С. 169—170; *Cheyne J.-Cl.* Fortune et puissance de l'aristocratie (X<sup>e</sup>—XII<sup>e</sup> siècles) // *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin*. P., 1991. Vol. 2. P. 199—213.

<sup>34</sup> См. о них: *Gautier P.* Le synode des Blachernes (fin 1094). Étude prosopographique // *Revue des Études byzantines*. 1971. Vol. 29.

<sup>35</sup> *Dédéyan G.* L'immigration arménienne en Cappadoce au XI<sup>e</sup> siècle // *Byzantion*. 1975. T. 45. P. 41—44.

<sup>36</sup> См.: *Polemis D.* The Doukai. A contribution to Byzantine Prosopography. L., 1968. P. 64 suiv.

<sup>37</sup> Подробнее см.: *Мохов А. С.* Византийская армия в правление Романа IV Диогена (1068—1071 гг.) // *Античная древность и средние века*. Екатеринбург, 2003. Вып. 34. С. 293—295.

<sup>38</sup> О состоянии византийских вооруженных сил после битвы при Манцикерте см.: *Cheyne J.-Cl.* Mantzikert: un désastre militaire? // *Byzantion*. 1980. T. 50. P. 421—423.

<sup>39</sup> *Степаненко В. П.* К датировке серебряной монеты (печати?) Никифора Водиниата // *Мир православия* : сб. ст. в честь 70-летия В. В. Кучмы. Волгоград, 2007.

<sup>40</sup> Βάρζος Κ. Γενεαλογία των Κομνηνών. Θεσσαλονίκη, 1984. Т. 1.

<sup>41</sup> *Cheyne J.-Cl.* Toparque et topotèrètès a la fin du XI<sup>e</sup> siècle // *Revue des Études byzantines*. 1984. Vol. 42. P. 215—223; *Idem.* Note sur l'axiarque et le taxiarque // *Ibid.* 1986. Vol. 44. P. 233—236.

<sup>42</sup> *Степаненко В. П.* Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке (1071—1176). Свердловск, 1988. С. 7 сл.

<sup>43</sup> Настоящая выборка призвана проиллюстрировать распространение практики совмещения должностей как в военной, так и в гражданской администрации Византийской империи в XI в.

<sup>44</sup> *Йорданов И.* Корпус на печатите на средновековна България. София, 2001. Т. 1. № 35.21.

<sup>45</sup> Там же. № 35.22.

<sup>46</sup> Там же. № 35.23.

<sup>47</sup> Там же. № 35.24.

<sup>48</sup> *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* / ed. by J. Nesbitt, E. McGeer, N. Oikonomides. Wash., 2005. Vol. 5, N 100.1.

<sup>49</sup> *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* / ed. by J. Nesbitt, N. Oikonomides. Vol. 1 : Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea. Wash., 1991. N 43.1.

<sup>50</sup> *Ibid.* N 43.2.

<sup>51</sup> *Ibid.* N 43.6.

<sup>52</sup> *Ibid.* N 43.7.

<sup>53</sup> *Ibid.* N 43.8.

<sup>54</sup> *Ibid.* N 43.10.

<sup>55</sup> *Ibid.* N 43.11.

<sup>56</sup> *Ibid.* N 43.12.

<sup>57</sup> *Ibid.* N 43.13.

<sup>58</sup> Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art / ed. by J. Nesbitt, N. Oikonomides. Vol. 2 : South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor. Wash., 1994. N 8.21.

<sup>59</sup> Ibid. N 8.36.

<sup>60</sup> Ibid. N 8.22—23.

<sup>61</sup> Ibid. N 8.25.

<sup>62</sup> Ibid. N 8.26.

<sup>63</sup> Ibid. N 8.28.

<sup>64</sup> Ibid. N 8.32.

<sup>65</sup> Ibid. N 8.33.

<sup>66</sup> Ibid. N 8.39.

<sup>67</sup> Ibid. N 22.15.

<sup>68</sup> *Йорданов И.* Корпус на печатите на средновековна България. Т. 1, № 35.14.

<sup>69</sup> Там же. № 35.15.

<sup>70</sup> Там же. № 35.16.

<sup>71</sup> Там же. № 35.17.

<sup>72</sup> Там же. № 35.18.

<sup>73</sup> Catalogue... Vol. 5, N 5.1.

<sup>74</sup> Ibid. N 5.3.

<sup>75</sup> Ibid. N 5.4.

<sup>76</sup> Seals Published, 1931—1986 // Studies in Byzantine sigillography. 1998. Vol. 5. P. 192. N 1019.

<sup>77</sup> Catalogue... Vol. 5, N 6.1.

<sup>78</sup> Ibid. N 6.20.

*О. И. Нуждин*

## ЛАНКАСТЕРСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1399 г., ЕГО ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ В ОЦЕНКАХ ИСТОРИОГРАФИИ XIX — НАЧАЛА XXI в.

События 1399 г. в Английском королевстве, которые привели к смене правящей династии еще с середины XIX в., стали объектом достаточно пристального внимания исследователей. Причинами этого можно считать не только устоявшиеся монархические традиции Соединенного Королевства, но также и сам тип политического устройства государства, основанный на взаимодействии

монархии и Парламента. Поэтому семидесятилетнее правление Ланкастеров, когда была предпринята попытка установления именно такого строя, нуждалось в особенно тщательном изучении.

В результате кропотливой работы публикаторов в руках исследователей оказались основные источники, на основе которых можно было составить максимально объективное представление о том, результатом каких событий стал так называемый Ланкастерский переворот. Уже в течение XIX в. определились два основных подхода к изучению последствий этого события для дальнейшей английской истории. Часть исследователей занималась им в рамках изучения конституционной истории Англии, другая — на фоне военно-политических событий англо-французского противостояния.

Формирование историко-правовых оценок правления Ланкастеров происходило в конце XVIII — XIX в. под прямым влиянием развития собственно английского парламентаризма. В XIX в. доминировала так называемая «вигская» концепция, основная идея которой базировалась на противопоставлении королевской власти и Парламента. Основоположителем ее принято считать Г. Холлема<sup>1</sup>.

Свое развитие идеи Г. Холлема получили в ставшем классическим сочинении У. Стаббса «Конституциональная история Англии в ее возникновении и развитии»<sup>2</sup>. Он отмечал, что результаты Ланкастерского переворота были чрезвычайно позитивны для Англии. Реальная власть в стране перешла к Парламенту, в первую очередь — в руки Палаты общин, которая стала представительницей нации. Она ограничивала власть монарха и поддерживала паритет интересов королевской власти и народа. С позиций формирования современного конституционного строя рассматривал проблемы правления Ричарда II и Генриха IV У. Стаббс<sup>3</sup>. Третий том его сочинения «Конституционная история Англии» начинается с характеристики политической системы периода Ланкастерского правления. В частности, отмечается, что элементы конституционализма, основанные на взаимодействии короля и Парламента, выразившиеся в балансе сил, просматриваются уже в XV в., хотя наиболее отчетливо проявились в более поздний период<sup>4</sup>. История Ланкастеров интересна не только с точки зрения формирования,

консолидации и краха династии и всей политической системы, но и с точки зрения проведения конституционного эксперимента. Его идея была выражена в речи архиепископа Арундела во время коронации. Суть ее сводилась к своеобразному договору между королем и Парламентом, основанному на обоюдных обязательствах. Король обещал править, руководствуясь не своей собственной волей, волюнтаристскими намерениями и личным мнением, а в согласии с общими желаниями и советом. Совместно они будут соблюдать законы, статуты и добрые обычаи Англии. Период правления Генриха IV стал временем формирования этой системы. На протяжении своего короткого правления Ланкастеры пытались использовать такой баланс сил, но народ оказался еще не готов к такой политической свободе<sup>5</sup>.

Выводы У. Стаббса в начале XX в. были поддержаны и развиты на новом историческом материале Т. Таутом, Дж. Адамсом и другими исследователями<sup>6</sup>. В рамках этой концепции пребывал и труд У. Черчилля «Рождение Британии»<sup>7</sup>. Прежде всего, автор считал свержение Ричарда II и захват власти Генрихом Болингброком безусловной узурпацией со стороны Ланкастера. Но одновременно У. Черчилль отмечал, что она была вынужденной, поскольку предопределялась абсолютистскими тенденциями конца правления Ричарда II. Они выражались в пренебрежении мнением Парламента, гонениях на представителей старой аристократии и покушениях на право собственности<sup>8</sup>. По этой причине права Генриха IV на престол не были неоспоримыми и держались на фундаменте союза с Парламентом. Это обстоятельство позволило У. Черчиллю именовать его «конституционным монархом».

Концепция У. Стаббса была подвергнута критике уже в начале XX в., когда вышли в свет работы Ф. Мейтланда и А. Ф. Полларда. Ф. Мейтланд предложил отказаться от противопоставления королевской и парламентской власти и рассматривать их существование и развитие в единстве. Король содействовал становлению парламентского государства в Англии, являясь верховным покровителем Парламента<sup>9</sup>.

В свою очередь А. Ф. Поллард в монографии «Эволюция Парламента» отверг идею так называемого «парламентского сувере-

нитета» и определение Парламента как органа сословного представительства<sup>10</sup>.

Эта идея получила свое развитие в другом сочинении А. Ф. Полларда — «История Англии»<sup>11</sup>. Автор весьма положительно относится к правлению Ричарда II, считая его человеком, борющимся с самовластием баронов за укрепление королевской власти. При этом А. Ф. Поллард именует Ричарда II «новым монархом, родившимся прежде своего времени». Этот король проводил политику, аналогичную тюдоровской, но у него не было реальной власти, чтобы удержать в подчинении государство. В немалой степени тому мешали его собственные нетерпеливость и поспешность. В отличие от конституционалистов, А. Ф. Поллард считал, что Генрих Ланкастер пришел к власти в первую очередь как «король пэров», а не как «король Парламента» и находился под постоянной угрозой восстаний и мятежей. Опорой его в борьбе с аристократией стали благодаря конституционной реформе Парламент и Церковь<sup>12</sup>.

Противостояние этих двух направлений в оценке роли Парламента в рамках идей, определенных У. Стаббсом, продолжалось в течение всего XX в.<sup>13</sup> В него включились исследователи Франции, США. Итогом стало формирование представлений о том, что в Англии уже в XIV в. сложилась парламентская ограниченная монархия.

Изучение Ланкастерского переворота в контексте внутренней и внешней политики началось в конце XVIII в. и получило свое развитие в XIX столетии. Пристальное внимание авторы уделяли выяснению причин, которые привели к событиям 1399 г., и определению их последствий. К трудам историков данного направления принадлежит монография Дж. Гэрднера «Дома Ланкастеров и Йорков: завоевание и утрата Франции»<sup>14</sup>. В качестве причин переворота 1399 г. автор называет нараставший деспотизм Ричарда II, проявившийся в стремлении избавиться от лордов-апеллянтов, выступивших против него в 1387 г. К этому добавлялось желание освободиться от опеки Парламента<sup>15</sup>. Кроме того, автор считает Ричарда II человеком, мало способным к управлению государством<sup>16</sup>. Непосредственным толчком к выступлению Генриха Лан-

кастера послужил захват его владений королем. Автор полагает, что у него первоначально не было желания свергнуть Ричарда II с престола, он просто желал вернуть себе владения и заставить короля править лучше<sup>17</sup>. Дж. Гэрднер особо отмечает роль Парламента, под влиянием которого Генрих Ланкастер взял корону по праву потомка Генриха III<sup>18</sup>.

Из исследователей XIX в., занимавшихся историей переворота 1399 г. в контексте общей истории Англии, следует назвать Ш. Тёрнера<sup>19</sup>. Довольно подробно описывая фактическую сторону событий 1399 г., автор отмечал, что Генрих IV пришел к власти не по собственному желанию, а под влиянием настроений и чаяний большинства нации<sup>20</sup>. Его провозглашение королем вызвало конфликты с Шотландией, Уэльсом и Францией, заговоры знати. Поэтому большую часть своего правления Генрих IV был вынужден потратить на умиротворение страны. Сходные взгляды высказывали Дж. Макинтош<sup>21</sup>, Т. Кейтли<sup>22</sup> и иные исследователи.

В этом же столетии и в начале следующего наряду с исследованиями истории Англии в целом появились и работы, посвященные изучению отдельных ее периодов. Среди них можно назвать монографии У. Дентона «Англия в пятнадцатом столетии»<sup>23</sup>, Л. Оуэна «Взаимоотношения между Англией и Бургундией в первой половине пятнадцатого столетия»<sup>24</sup>. Л. Оуэн сделал попытку связать между собой аспекты внешней политики Ричарда II и Генриха IV с их отношениями с Бургундией. В частности, автор отметил, что оппозиция герцога Бургундии Филиппа Храброго заключению договора 1396 г. между Францией и Англией после переворота 1399 г. привела к сближению Бургундии и Англии. Альянс с этим герцогством стал важным инструментом в политике Генриха IV по противостоянию Франции, которая считала его узурпатором<sup>25</sup>. Также Л. Оуэн подчеркнул, как на эту ситуацию повлияли традиционные англо-фландрские экономические отношения, которые постепенно эволюционировали в англо-бургундские<sup>26</sup>.

Одновременно зарождается и развивается жанр исторических биографий, персонажами которых становятся короли Ричард II и Генрих IV. Среди них в первую очередь следует отметить двух-

томную монографию А. Валлона «Ричард II»<sup>27</sup>. Ее 11-я и 12-я книги как раз посвящены событиям 1399 г. Автор высказал сомнение в отречении Ричарда от престола, состоявшемся в Конвее<sup>28</sup>. Поэтому все остальные события, включая провозглашение Генриха Ланкастера королем и его коронацию, были событиями беспрецедентными и экстраординарными<sup>29</sup>. При содействии Парламента была проведена революция, изменившая сущность английской королевской власти<sup>30</sup>.

Изучению правления династий Ланкастеров и Йорков посвящена работа Дж. Рамсея «Ланкастеры и Йорки: столетие английской истории»<sup>31</sup>. Автор избегает правовой оценки событий 1399 г., именуя их выражением «смена династий», но отмечает, что они привели к осложнениям во внешнеполитических отношениях, но несущественным. Единственные конфликты у Ланкастеров возникли с Францией и Шотландией, традиционными противниками Англии<sup>32</sup>.

XX век не лишил проблему Ланкастерского переворота научной привлекательности. Уже в начале столетия вышли монографии К. Х. Викерса и Ч. Омена, обобщившие накопленные предшественниками выводы. По мнению К. Х. Викерса, недовольство правлением Ричарда II было связано с его политикой в отношении Парламента и судов, а также со сближением с Францией. Общественное мнение было против этого, опасаясь, что Англия попадает в зависимость от мощной монархии Валуа<sup>33</sup>. Не прибавила популярности королю его расправа с лордами-апеллянтами, а также высылка Генриха Ланкастера<sup>34</sup>. И если первую половину 90-х гг. XIV в. автор называет временем «деспотизма», то последний этап правления Ричарда II, который пришелся на 1397—1399 гг., автор именует замаскированным абсолютизмом<sup>35</sup>. К. Х. Викерс выделил три правовые возможности для занятия Генрихом Ланкастером королевского трона — право завоевания, наследственное право и право народного избрания. Сам претендент склонялся к первому варианту, но, в конечном счете, победил последний. И до конца своей жизни Генрих IV терзался мыслью, что стал королем благодаря народному избранию<sup>36</sup>. Тем не менее К. Х. Ви-



керс полагал, что в 1399 г. произошло принципиальное для политического развития Англии событие — революция, осуществленная конституционными методами, которая наложила отпечаток на все правление Ланкастеров<sup>37</sup>. Особенность заключалась во взаимодействии с палатами Парламента, особенно с Палатой общин, что придавало устойчивость власти династии<sup>38</sup>.

Итоги более чем столетнему периоду исследования Ланкастерского переворота подвел в своем фундаментальном труде Ч. Омен. Он был посвящен периоду 1377—1485 гг.<sup>39</sup> и как составная часть вошел в четвертый том «Политической истории Англии» под редакцией У. Ханта и Р. Л. Пула<sup>40</sup>. В качестве одной из причин недовольства правлением Ричарда II автор называет вмешательство королевской власти в деятельность судов, Совета и Парламента, устранение неугодных людей. Как и его предшественники, Ч. Омен именует эту политику «тиранией»<sup>41</sup>. Характеризуя обстоятельства переворота, автор четко формулирует концепцию, согласно которой Ланкастеры пришли к власти благодаря поддержке народа и Парламента. Поэтому в своей дальнейшей политике они опирались на Парламент. Вследствие этого, как полагал Ч. Омен, есть все основания считать Генриха IV Ланкастера выборным монархом, а его правление «первым эпизодом, когда мы имеем конституционное правление в современном духе»<sup>42</sup>.

В качестве последствий Ланкастерского переворота Ч. Омен называет осложнение отношений с Францией вследствие разрыва родственных отношений между монархами. Король Франции Карл VI потребовал возврата своей дочери, жены Ричарда Плантагенета, и приданого в 200 тыс. франков. Вместе с тем с остальными государствами Европы, кроме Шотландии, никаких трений не возникло, они признали власть Ланкастера как свершившийся факт<sup>43</sup>. Крупные осложнения возникли внутри самой Англии, они были связаны с восстаниями Оуэна Глендоуэра и Генриха Перси<sup>44</sup>.

В монографии В. Г. Г. Грин «Поздние Плантагенеты»<sup>45</sup> дан подробный обзор особенностей правления династии Ланкастеров как боковой ветви Плантагенетов. Политический контекст выдержан в рамках традиции Ч. Омена и представлен как своеобразный

«конституционный эксперимент». Автор характеризует его как попытку королевской власти править совместно с Парламентом. Причина такого явления кроется в особенностях прихода к власти Ланкастеров, прежде всего основателя династии Генриха IV. Смещение с престола Ричарда II и легитимизация власти Генриха IV были возможны только с одобрения народа и в союзе с Парламентом. Следствием этого и стало взаимодействие короля и Парламента, придавшее политической системе Англии определенную устойчивость.

Изучение событий 1399 г. продолжалось на протяжении всего XX в. Исследователи, в основном пользуясь ранее сделанными выводами, старались дополнить их новыми доказательствами и фактическим материалом. Акцент в изучении проблемы все более смещался в сторону включения ее в общий контекст английской истории и истории международных отношений. Поэтому все чаще нерешенные проблемы в отношениях между Англией и Францией использовались историками для обоснования переворота Генриха Ланкастера. И редкая работа, посвященная Столетней войне, обходилась без хотя бы краткого экскурса в историю переворота 1399 г.

Так, М. Лабарг сделано предположение, что свержение Ричарда II и приход к власти Ланкастеров были следствием кризиса в отношениях с Францией из-за Гиени<sup>46</sup>. В свою очередь Д. Сьюард указывал, что одним из существенных аспектов политики Ричарда II было примирение с Францией, итогом чего стало подписание договора 1396 г. В свою очередь, это было обусловлено осознанием королем принципиальной невозможности покорения слабой Англией могущественного Французского королевства. Отказ от активной континентальной политики позволял Ричарду II уделить больше внимания внутренней. Одной из задач он ставил освобождение королевской власти от диктата Парламента и лондонского Сити. При этом он был готов пойти на крайние меры, не останавливаясь перед конфискациями земельных владений и строя планы переноса столицы из Лондона в Йорк<sup>47</sup>. Немалое значение уделяется и личным качествам короля, среди которых от-

мечают сумасбродство и манию величия, но никак не стремление к абсолютизму, как это присутствует в сочинениях представителей «государственного» направления.

Приход к власти нового короля связывался в общественном мнении с переменами в политике, в частности, с возобновлением грабительских походов во Францию. В воспоминаниях годы правления Эдуарда III неизменно выглядели как время изобилия, культурного и политического могущества Английского королевства. Для восстановления этого статуса общество было готово пойти даже на увеличение налогов. Поэтому, придя к власти, Генрих IV был вынужден возобновить претензии на французский престол. Уже во время церемонии коронации его провозгласили королем Англии и Франции.

Если говорить о планах Генриха Ланкастера, то единого мнения относительно этого вопроса также не существует. Известно, что свое возвращение из изгнания он начал с провозглашения намерения вернуть себе отцовское наследство. Но, почувствовав слабость позиций Ричарда II внутри страны, он выдвинул претензии на престол и осуществил этот план, основав династию Ланкастеров. Д. Сьюард отмечает эволюцию намерений Генриха. Автор полагает, что намерение вернуть наследство было вполне искренним, и на большее тот, отплывая из Франции, не рассчитывал. Но, получив поддержку от английской знати, Ланкастер пошел дальше, вознамерившись стать регентом при Ричарде II, способным контролировать всю проводимую королем политику. И только поддержка со стороны Парламента позволила ему пойти на крайний шаг — сместить Ричарда II с престола и занять его самому.

На противоречие теории и практики королевской власти, сложившееся после переворота 1399 г., указывал А. Р. Майерс. Он отмечал, что в теории король имел весьма широкие полномочия, но узурпация Ланкастеров внесла существенные поправки. Большое влияние на короля оказывал Парламент, вследствие чего он был вынужден управлять как «конституционный» или «парламентский» монарх<sup>48</sup>. Но если многие предшествующие исследователи связывали эти перемены в политической ситуации только с дея-

тельностью Парламента, то А. К. Майерс в немалой степени с изменением роли магнатов, действовавших через Королевский совет. И нелегитимность правления Генриха IV не придавала ему авторитета в глазах знати, позволяя последней пользоваться любым ослаблением королевской власти для укрепления своих позиций в Совете и роли в политике<sup>49</sup>.

М. Кин одной из важных проблем, требующих пристального внимания, поставил вопрос о том, когда у Генриха Ланкастера возникла мысль о возможности смещения Ричарда II с престола и захвате власти. Это могло быть после высадки Генриха в Англии, вероятно, после присоединения к нему Генриха Перси, может быть, в Честере. 10 сентября 1399 г. в его руки попала королевская печать, которой скреплялись все королевские документы<sup>50</sup>. М. Кин полагает, что Парламент от 30 сентября 1399 г. не был Парламентом в полном смысле этого слова, а только собранием парламентариев. Но именно этот орган сместил Ричарда II и объявил престол вакантным. Это же собрание выдвинуло на трон Генриха Ланкастера в обход ребенка — Эрла Марча<sup>51</sup>.

В целом автор оправдывает переворот, считая его целесообразным и правильным из-за недостатков предыдущего правления. Ричард II потерял престол частично вследствие собственной слабости и нерешительности, частично вследствие вероломства людей, которым доверял, а по большей части — из-за своей глупости и неправосудия<sup>52</sup>.

Еще одним важным последствием Ланкастерского переворота стало вовлечение достаточно широких масс населения в политическую жизнь. Это происходило через Совет и Парламент. В результате, как отмечает М. Кин, стало возможно формирование «общественного мнения», «политического сообщества» и «политического класса»<sup>53</sup>.

Королевский совет формировался из представителей высшего класса: пэров, магнатов, епископов, т. е. из доминирующей элиты. Те, в свою очередь, держали при себе слуг, арендаторов и клиентов, которые включались в состав местной или региональной администрации. Поэтому они выступали не только от себя лично,

но и от соответствующих сельских или региональных сообществ. Аналогичным образом представительным органом был и Парламент, но его деятельность была более формализованной. XV столетие стало важным этапом в существовании Парламента. Длительные войны с Францией заставляли королей Англии часто обращаться к нему за субсидиями, что сделало собрания Парламента регулярными. Как правило, сессии были короткими, в пределах пяти недель. Частыми становились пророгации, и работа растягивалась на две-три сессии. Это было необходимо для бизнеса<sup>54</sup>. Парламент получил возможность влиять на деятельность Совета, удаляя из его состава тех людей, которые, по его собственному коллективному мнению, утрачивали доверие короля. Такое положение Парламента при Ланкастерах позволяет говорить о своеобразном «парламентском эксперименте»<sup>55</sup>.

Из отечественных исследователей, занимавшихся данной проблемой, следует отметить в первую очередь Е. Р. Смирнова и Т. Г. Минееву. Е. Р. Смирнов занимался изучением Ланкастерского переворота в контексте проблемы формирования английского конституционного строя<sup>56</sup>. Т. Г. Минеевой в 2001 г. была опубликована монография, посвященная времени правления трех Генрихов из династии Ланкастеров<sup>57</sup>. Первые страницы этой работы посвящены детальному изучению событий 1399 г., а также их последствий. На основе исследования источников автор однозначно признает Генриха Ланкастера узурпатором и клятвопреступником<sup>58</sup>. Первыми политическими последствиями государственного переворота Т. Г. Минеева называет заговоры и восстания, начавшиеся уже с 1400 г. и продолжавшиеся вплоть до 1415 г. К долгосрочным последствиям отнесен рост влияния Парламента на внутреннюю и внешнюю политику государства, в том числе и через Королевский совет<sup>59</sup>. На это же указывает и О. В. Губанова в статье, посвященной финансам Английского королевства периода Столетней войны<sup>60</sup>.

Таким образом, в ходе более чем двухсотлетнего изучения событий 1399 г. исследователями был сделан ряд выводов, касающихся причин и последствий переворота. Они отметили важность

его для развития англо-французских и англо-шотландских отношений в период Столетней войны, а также для формирования современного политического строя Великобритании.

<sup>1</sup> *Hollam H.* A View of the State of Europe during the Middle Ages. L., 1818. Vol. I—II.

<sup>2</sup> *Stubbs W.* The Constitutional History of England in the Origin and Development. Oxf., 1873—1878.

<sup>3</sup> *Stubbs W.* The Constitutional History of England in the Origin and Development. Oxf. : Clarendon Press, 1906. Vol. II; *Idem.* The Constitutional History of England in its Origin and Development. Oxf., 1880. Vol. III.

<sup>4</sup> *Stubbs W.* The Constitutional History of England... Vol. III. P. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.* P. 5, 253, 255—257.

<sup>6</sup> *Tout T. F.* France and England. Their Relations in the Middle Ages and War. Westport, 1974; *Adams J. B.* Constitutional History of England. New Haven, 1920.

<sup>7</sup> *Черчилль У.* Рождение Британии. Смоленск, 2002.

<sup>8</sup> Там же. С. 394.

<sup>9</sup> *Maitland F.* Constitutional History of England. Cambr., 1908. P. 79, 86—88, 154—157.

<sup>10</sup> *Pollard A. F.* The evolution of Parliament. L., 1920.

<sup>11</sup> *Pollard A. F.* The History of England. A Study in Political Evolution. L., 2007.

<sup>12</sup> *Ibid.* P. 29—30.

<sup>13</sup> *Смирнов Е. П.* Идея конституционализма в Англии конца XIV — первой половины XV в.: историографический аспект // Вестн. Нижегород. ун-та. Вып. 1(6) : Идея конституционализма в РФ и за рубежом и практика ее реализации. Н. Новгород, 2003. С. 101—108.

<sup>14</sup> *Gairdner J.* The houses of Lancaster and York with the conquest and loss of France. L., 1875.

<sup>15</sup> *Ibid.* P. 48.

<sup>16</sup> *Ibid.* P. 57, 58.

<sup>17</sup> *Ibid.* P. 55.

<sup>18</sup> *Ibid.* P. 56.

<sup>19</sup> *Turner S.* The History of England during the Middle Ages. L., 1853. Vol. II.

<sup>20</sup> *Ibid.* P. 163.

<sup>21</sup> *Mackintosh J.* The History of England. L., 1832. Vol. I. P. 337—338.

<sup>22</sup> *Keightley T.* The History of England. Boston, 1840. Vol. I. P. 235—236.

<sup>23</sup> *Denton W.* England in the Fifteenth Century. L., 1888.

<sup>24</sup> *Owen L.* The Connection between England and Burgundy during the First Half of the Fifteenth Century. L., 1909.

<sup>25</sup> *Ibid.* P. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.* P. 5, 14—15.

- <sup>27</sup> *Wallon H.* Richard II. Épisode de la rivalité de la France et d'Angleterre. P., 1864. T. I—II.
- <sup>28</sup> *Ibid.* T. II. P. 292—294.
- <sup>29</sup> *Ibid.* P. 306, 309—310.
- <sup>30</sup> *Ibid.* P. 317.
- <sup>31</sup> *Ramsay J. H.* Lancaster and York: A Century of English History. Oxf., 1892. Vol. I.
- <sup>32</sup> *Ibid.* P. 16—17.
- <sup>33</sup> *Vickers K. H.* England in the Later Middle Ages. L., 1913. Vol. 3. P. 286.
- <sup>34</sup> *Ibid.* P. 291—292.
- <sup>35</sup> *Ibid.* P. 293.
- <sup>36</sup> *Ibid.* P. 302.
- <sup>37</sup> *Ibid.* P. 302—303.
- <sup>38</sup> *Ibid.* P. 322—323.
- <sup>39</sup> *Oman Ch.* History of England. From the accession of Richard II to the death of Richard III (1377—1485). L. ; N. Y. ; Bombay, 1906.
- <sup>40</sup> Political History of England / ed. W. Hunt and R. L. Pool. L., 1918. Vol. I—XII.
- <sup>41</sup> *Oman Ch.* Op. cit. P. 144—145.
- <sup>42</sup> *Ibid.* P. 154.
- <sup>43</sup> *Ibid.* P. 161.
- <sup>44</sup> *Ibid.* P. 168, 179—180.
- <sup>45</sup> *Green V. H. H.* Later Plantagenets: A Survey of English History between 1307 and 1485. L., 1955.
- <sup>46</sup> *Labarge M. W.* Gascony, England's First Colony, 1201—1453. L., 1980. P. 184.
- <sup>47</sup> *Сьюард Д.* Генрих V. Смоленск, 1996. С. 29—31, 35; *Перруа Э.* Столетняя война. СПб., 2002. С. 242—243.
- <sup>48</sup> *Myers A. R.* England in the Late Middle Ages. L., 1991. P. 132.
- <sup>49</sup> *Ibid.* P. 133—134.
- <sup>50</sup> *Keen M. H.* England in the Middle Ages. A Political History. L., [S. a.]. P. 302.
- <sup>51</sup> *Ibid.*
- <sup>52</sup> *Ibid.* P. 296—297.
- <sup>53</sup> *Ibid.* P. 326.
- <sup>54</sup> *Ibid.* P. 332.
- <sup>55</sup> *Ibid.* P. 333.
- <sup>56</sup> *Смирнов Е. Р.* Указ. соч. С. 101—108.
- <sup>57</sup> *Минеева Т. Г.* Политика и власть: Англия трех Генрихов (1399—1471). Н. Новгород, 2001.
- <sup>58</sup> Там же. С. 8, 10—12.
- <sup>59</sup> Там же. С. 21—22.
- <sup>60</sup> *Губанова О. В.* Столетняя война, финансы и Парламент // Англия и Европа: проблема истории и историографии. Арзамас, 2001. С. 60.

*М. А. Поляковская*

## ЭНИГМАТИЧНОСТЬ АРТЕФАКТОВ ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДНИКА И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ\*

Церемониальные книги как исторический источник привлекательны для исследователей своей информационной многослойностью. Наряду с яркой идеологической составляющей в обрядниках присутствует наполненный предметный ряд. Понять ритуал невозможно без адекватной идентификации называемых источником артефактов, которые должны представлять для исследователя зрительный образ эпохи.

Историографическую судьбу двух названных информационных пластов обрядника — идеологического и предметного — нельзя назвать равнозначной. Если проблема освященной свыше авторитарной императорской власти всегда была привлекательна для историков<sup>1</sup>, то предметный мир поздневизантийского императорского двора изучен далеко не в полном объеме, невзирая на то, что в последние два десятилетия интерес к артефакту у историков заметно повысился. Во многом это объясняется некоторой нечеткостью, двусмысленностью сообщений источника, что отнюдь не способствует идентификации отдельных артефактов.

В какой-то степени трудности интерпретации исследователями текста поздневизантийской церемониальной книги (издания 1588, 1596, 1625, 1647, 1839 гг.) были связаны с изначально неверным определением ее хронологии и авторства. Долгое время названного в источнике в качестве его автора некоего Кодиона<sup>2</sup> идентифицировали с куропалатом императорского двора Георгием Кодином<sup>3</sup> и в силу этого отождествления сам источник относи-

---

\* Работа выполнена в рамках проекта «Поздневизантийский церемониал как форма трансляции идеи могущества империи в условиях ее кризиса» при поддержке РГНФ (грант № 09-01-00158а).



ли к концу XIII в. Историографическая ситуация в значительной степени упростилась с появлением нового комментированного издания греческого текста с параллельным переводом его на французский язык<sup>4</sup>. Однако сложности идентификации названных в обряднике артефактов продолжают сохраняться.

Энигматичность отдельных артефактов, названных в обряднике, определяется тем, что исследователь зачастую лишен возможности найти им соответствующий адекват — словесный или изобразительный. Как издатель и переводчик текста поздневизантийской церемониальной книги Ж. Верпо, так и исследователи продолжают пользоваться греческими названиями предметов. Однако, упоминая эпилурик, минс, факеолиду, аир, каввадий, калиптру, лапатзу, скиадей, тампарий, селлу, мы можем только, ориентируясь на контекст, определить предмет как относящийся к одежде, головным уборам, столовым приборам или конной упряжи.

Какие же возможности для решения этой энигмы могут быть использованы исследователями? Наиболее очевидными при попытках идентификации отдельных артефактов являются два пути. Первым из них можно считать поиск словесного сходства в названиях идентифицируемого артефакта и уже известного предмета — по временной вертикали (вниз или вверх). Второй путь — это обнаружение визуальной близости исследуемого артефакта с соответствующим ему предметом, изображенным в каком-либо памятнике искусства. Приведем несколько примеров из накопленного в историографии опыта.

Наибольшее количество споров вызвал, пожалуй, скараник (τὸ σκαράνικον), упомянутый в рассматриваемой церемониальной книге 40 раз. Значимость скараника в ритуале была велика. Цвет скараника и имеющиеся на нем изображения были своего рода индикаторами социального статуса архонта. Псевдо-Кодин, автор поздневизантийской церемониальной книги, особо выделял красные скараники с изображением императора. Они были атрибутом костюма сановников и обладателей чинов первого разряда, стоящих на иерархической лестнице сразу за придворной элитой. Его описания в тексте отнюдь не лаконичны. К примеру, деспот «но-

сит скараник с золотым и серебряным орнаментом, драгоценными камнями и жемчугом, вставленным в оправу»<sup>5</sup>. Скараник великого доместика — «ало-золотой, вышитый золотыми нитками, имеет впереди и сзади искусно сделанное изображение императора — стоящего, коронованного, с ангелами справа и слева, обведенными кругом из жемчуга, и еще одно изображение императора... имеет в круге впереди линию, вышитую жемчугом»<sup>6</sup>. Столь же пространно описывает Псевдо-Кодин декор скараников других архонтов, особенно когда этот элемент костюма имел изображение василевса, что подчеркивало высокий статус придворного в императорском окружении. Скараник великого дуки «ало-золотой, украшенный золотыми листиками, имеет искусно сделанное изображение императора впереди, сзади — императора, сидящего на троне»<sup>7</sup>. Скараник великого примикирия, как его описывает Псевдо-Кодин, был из шелка абрикосового цвета, вышитого золотыми нитками, с изображением императора впереди — стоящего, сзади — сидящего на троне<sup>8</sup>. Скараник великого друнгарня, «как и у епарха, из желто-золотого шелка, вышитого золотыми нитками. Он имеет впереди изображение императора на троне со ступеньками, сзади — портрет императора верхом»<sup>9</sup>.

Но что же такое скараник — одежда или головной убор? Попытка решения этой энигмы породила много споров в научной литературе. Начало им было положено в 1924 г. известным русским византинистом-эмигрантом Н. П. Кондаковым. Он, ссылаясь на своих предшественников (Гретцера, Гоара и Дюканжа), исходил из сходства (не аналога!) слов «скараник — скарамангий» и счел скараник, как и скарамангий X в., парадным ездовым кафтаном. Таким образом, Н. П. Кондаков, спустившись в своих поисках вниз по хронологической лестнице на четыре столетия, счел возможным отнести изучаемый артефакт к виду одежды<sup>10</sup>.

Ответом на исследование Н. П. Кондакова явилось выступление А. П. Смирнова. В этом же 1924 г. им был сделан на заседании византийского разряда Российской академии истории материальной культуры доклад, где автор доказал, что скараник является парадным головным убором. Доклад А. П. Смирнова не был напечатан, но в журнале «Byzantion» за этот же год о нем появилась

информация<sup>11</sup>. А. П. Смирнов апеллировал в своем докладе к живописному изображению великого примикирия Иоанна на иконе Пантократора (ныне — Эрмитаж, № 515), к миниатюре, запечатлевшей великого дуку Апокавка в Парижской греческой рукописи (№ 2144), и к чеканному изображению Константина Акрополита на иконе Божьей Матери Одигитрии (ныне — Третьяковская галерея, № 22722).

Обе точки зрения нашли своих сторонников. Так, Ф. Кукулис, автор известного исследования по византийскому быту, считал скараник видом одежды<sup>12</sup>. Точка зрения Н. П. Кондакова и Ф. Кукулиса оказала влияние на представления о скаранике автора этих строк при написании соответствующей главы книги «Византия: быт и нравы»<sup>13</sup>.

Большинство же авторов по аналогии с живописными и чеканными изображениями архонтов поздневизантийского времени стали определять скараник как головной убор. Этой точки зрения придерживается автор статьи «Византиногерманика: каранос — скараникон» Ст. К. Каратцас<sup>14</sup>. Издатель текста «Трактата о церемониях» Псевдо-Кодина Ж. Верпо также определяет скараник как головной убор, уточняя, что он имел яйцевидную форму<sup>15</sup>. В подстрочном примечании Ж. Верпо, ссылаясь на неопубликованное мнение А. П. Смирнова, называет, кроме указанных докладчиком, изображение протосеваста Константина Комнина Рауля Палеолога из Типика Линкольнского колледжа и др. Во всех этих светских портретах на головном уборе яйцевидной или трапециевидной формы имеется схематическое изображение человеческой фигуры. Названные исследователи отождествили это изображение с фигурой императора, которая была, судя по тексту «Трактата» Псевдо-Кодина, украшением скараника. Правда, эта деталь в costume сохранившихся от палеологовского времени светских портретов настолько условна, что, к примеру, А. В. Банк, комментируя изображение великого логофета Константина Акрополита на серебряном окладе иконы Божьей Матери, написала, что на высокой шапочке укреплен металлическая пластинка с изображением Христа<sup>16</sup>, а не императора, как указано у Псевдо-Кодина.

Итак, главным аргументом в пользу того, что скараник представляет собой головной убор, является наличие в памятниках изобразительного характера на головных уборах светских лиц пластинки с человеческой фигурой.

Обе точки зрения на скараник (либо одежда, либо шапка) нашли отражение в «Оксфордском словаре по Византии», где он назван осторожно — элементом придворного костюма<sup>17</sup>. И невзирая на то, что более убедительной на сегодня является вторая версия (скараник — головной убор), аргументы *contra* не опровергнуты. Следует привести мнение знатока греческого языка (родился и жил в Афинах!) профессора Р. М. Бартияна, который в частном письме к автору этой статьи привел следующий сугубо грамматический аргумент. В обряднике в одном из пассажей при упоминании о скаранике использовано причастие от глагола ἔνδύω (одетый скараник), применяемого только по отношению к одежде<sup>18</sup>. В частности, произведенное от этого глагола существительное τὸ ἔνδυμα означает одежду.

В качестве окончательного решения историографического спора можно обратиться к вопросу об этническом происхождении скараника. Псевдо-Кодин считал, что скараник взят византийцами из Ассирии<sup>19</sup>. П. Фурикис выводил его из армяно-ассирийских основ<sup>20</sup>. Ст. К. Каратцас писал о германском происхождении скараника, который стал элементом официального костюма во времена Мануила I в силу сильного западного влияния<sup>21</sup>. Ф. Кукулис же считал скараник одеждой северного, может быть, славянского происхождения. Аналогию слову «скараник» он видит в валашском «царанико», как называют влахи деревенскую одежду<sup>22</sup>.

Как видно из приведенного перечня мнений, вопрос об этническом происхождении скараника не решает проблемы. Псевдо-Кодин, говоря о его ассирийском происхождении, не дает возможности установить его назначение; Каратцас и Фурикис, предлагая не совпадающие версии его происхождения, единодушны в признании его головным убором, а Кукулис, склоняясь к славянскому варианту происхождения скараника, видит в нем одежду.

Вышеизложенное не имело целью окончательно решить спор, а лишь показать, что вопрос о скаранике остается спорным и обе

точки зрения имеют право на существование. Хотя изобразительный материал склоняет автора этих строк к признанию не лишенных оснований выводов А. П. Смирнова и его единомышленников, однако показателем достоверности знания об обсуждаемом предмете может быть обязательное совмещение информации источника и свидетельств художественных памятников, современных обряднику. Пока эти два вида источников наших представлений о скаранике существуют в значительной мере изолированно друг от друга. Вернее всего искать решение вопроса в сфере уточнения аналогий с деталями костюма других народов, но не путем филолого-лексических построений (как это сделано П. Фурикисом, Ст. К. Каратчасом и Ф. Кукулисом), а на основе этнографического поиска.

Не разгадав, таким образом, энигмы скараника, обратимся к другим артефактам из предметного мира поздневизантийского двора. Почти все артефакты церемониального трактата Псевдо-Кодина имеют свой историографический шлейф.

Обратимся к слову «минс» (ὁ μίνσος), употребленному Псевдо-Кодином 18 раз. Из текста обрядника совершенно ясно, что этот предмет использовался за пиршественным столом<sup>23</sup>. «Минс» в какой-то степени можно назвать ключевым словом всего ритуала официальной трапезы, поскольку последовательность выдачи минса «от императорского стола», а также само качество минса (золотой, серебряный или менее изысканный) служили цели ранжирования присутствовавших на пиру архонтов и гостей.

Доместик стола, последовательно вызывая присутствовавших архонтов сообразно его ступени в иерархической лестнице, давал с императорского стола каждому полагающийся ему минс, который императорский слуга или слуга архонта (что тоже определялось значимостью чина) нес его к соответствующему рангу его господина месту за праздничным столом. Но поскольку пространство приемного зала Влахернского дворца (куда к рассматриваемому времени вынуждены были перебраться Палеологи) было не столь велико, чтобы всех усадить за пиршественным столом, обладатели менее весомых чинов, получив минс, покидали Триклиний. После обеда золотые и серебряные минсы возвращались

в сокровищницу, но те минсы, которые были получены непосредственно из рук василевса, могли считаться императорским подарком. Несколько озадачивает то, что некоторые минсы могли складываться на землю (ἐπ' ἐδάφους)<sup>24</sup>.

В отличие от слова «скараник», «минс» часто встречается в источниках IX—X вв., описывающих придворный церемониал. Оно означает либо сервировочное блюдо, либо поднос, либо смену блюд (первое, второе блюдо, десерт)<sup>25</sup>. Кажется бы, это освобождает исследователей от поиска словесной аналогии и идентификации этого артефакта. Однако некоторая ясность по поводу функционального назначения минса в рамках византийского церемониального обеда не освобождает от сомнений относительно нюансов в проявлении этих функций в каждом конкретном случае.

Эта неясность породила некоторый разнобой в переводе слова ὁ μίνσος. Издатель текста Ж. Верпо переводит это слово как «le plateau» (видимо, поднос), К. Дитрих как «das Gedeck» (столовый прибор), М. А. Андреева — как «блюдо». Если обратиться к лингвистическим поискам, то латинское слово «mensa» означает «стол», «кушанья», «трапеза»; в церковной практике «антиминс» означает «вместопрестолie». Слово «τὸ μίνσάλιον» означает «скартерть». То есть все слова, используемые для перевода и близкие по корню, относятся к одному смысловому «гнезду», что, впрочем, не добавляет окончательной ясности.

Все-таки — что же такое «минс»? Вернее всего, это был поднос. Но какой? С ручками, чтобы было удобно нести? Или плоскость на маленьких ножках? Обрядник не дает ответа на этот вопрос, изобразительный материал отсутствует. У нас нет зрительного образа предмета, который на протяжении сотен лет играл важную регламентирующую роль в церемониальных пирах.

Обратимся еще к одному слову — «аир» (ὁ ἀήρ — греч. «воздух»), имеющему отношение либо к форме головного убора, либо к его декору. Н. П. Кондаков считал, что «воздух» — это пустой объем внутри головного убора, несколько приподнимавший его над головой. По его мнению, объем головного убора формировался за счет проволочного каркаса<sup>26</sup>. Шведская исследовательница Э. Пилытц, считая «воздух» вуалью, стала, пожалуй, первой из исследователей поздневизантийских артефактов, кто позволил себе

прорисовку головного убора с аиром<sup>27</sup>. Может быть, это будет для историографов выходом на еще один путь поисков — путь зрительных ассоциаций, но все равно без новых аргументов не обойтись.

Приведенный материал позволяет сделать вывод о том, что мир поздневизантийских артефактов еще сохраняет свою загадочность для исследователей: предметный ряд, должный создать зрительный образ парадной жизни императорского двора, существует в большинстве случаев лишь в словах, не имеющих зрительного образа, и ждет своих исследователей.

<sup>1</sup> *Treitinger O.* Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell vom oströmischen Staats- und Reichsgedanken. Zweite unveränderte Auflage. Darmstadt, 1956; *Ostrogorsky G., Stein E.* Die Krönungsordnung des Zeremonienbuches // *Byzantion.* 1932. Т. 7. P. 185—233; *Hunger H.* Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden. Wiener byzantinische Studien. Wien, 1964. Bd. 1. S. 49—83; *Grabar A.* Pseudo-Codinos et les cérémonies de la cour byzantine au XIVe siècle // *Art et société à Byzance sous les Paléologues. Actes du colloque organisé par l'association internationale des études byzantines à Venise en septembre 1968.* Venise, 1971. P. 195—221.

<sup>2</sup> Codini Curopalatae de officialibus palatii Constantinopolitani et de officiis magnae ecclesiae liber ex recog. I. Bekker (*Corpus scriptorum hist. Byz.*). Bonn, 1839.

<sup>3</sup> См., например: *Treitinger O.* Op. cit. S. 5; *Вальденберг В. Е.* История византийской политической литературы в связи с историей философских течений и законодательства / подг. изд. В. И. Земскова. СПб., 2008. С. 412—416.

<sup>4</sup> *Pseudo-Kodinos.* Traité des offices / introduction, texte et traduction par J. Verreaux. P., 1976. P. 221.3—6 (далее — *Ps.-Kod.*).

<sup>5</sup> *Ps.-Kod.* P. 152.1—11.

<sup>6</sup> *Ibid.* P. 153.11—17.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.* P. 155.3—13.

<sup>9</sup> *Ibid.* P. 158.14—20.

<sup>10</sup> *Kondakov N. P.* Les costumes orientaux à la cour byzantine // *Byzantion.* 1924. Т. 1. P. 11—15; *Кондаков Н. П.* Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры. Прага, 1929. С. 238—239, 259.

<sup>11</sup> *Byzantion.* 1924. Т. 1. P. 726. Информацию о неопубликованном докладе А. П. Смирнова см. также: *Смирнов А. П.* Что такое «скараник»? К вопросу об одной спорной части византийского придворного облачения эпохи Палеологов // *ВВ.* 1991. Т. 52. С. 236—237.

<sup>12</sup> Κουκουλῆς Φ. Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός. Ἀθήναι, 1948. Т. 2. Σ. 8.

<sup>13</sup> *Поляковская М. А., Чекалова А. А.* Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. С. 207.

<sup>14</sup> *Caratzas St. C. Byzantinogermanica* (karanos — skaranikon) // *Byzantinische Zeitschrift*. 1954. Bd. 47. S. 321. Amn. 4.

<sup>15</sup> *Ps.-Kod.* P. 145—146.2.

<sup>16</sup> *Банк А. В. Прикладное искусство // История Византии : в 3 т. М., 1968. Т. 3. С. 295.*

<sup>17</sup> *The Oxford Dictionary of Byzantium*. N. Y. ; Oxf., 1991. Vol. 3. P. 1908—1909.

<sup>18</sup> *Ps.-Kod.* P. 239.21—31.

<sup>19</sup> *Ibid.* P. 206.19—21.

<sup>20</sup> *Phourikes P. A. Σκαραμάγγιον — καββάδιον — σκαράνικον // Λεξικογραφ. Ἀρχεῖον τῆς μέσος καί νεάς ἐλληνικῆς*. 1923. Τ. 6. Σ. 444—473.

<sup>21</sup> *Caratzas St. C. Op. cit.* S. 327—332.

<sup>22</sup> *Κουκουλῆς Φ. Βυζαντινῶν βίος καί πολιτισμός*. Τ. 2. Σ. 8.

<sup>23</sup> *Ps.-Kod.* P. 210—218.

<sup>24</sup> *Ibid.* P. 213.28—29.

<sup>25</sup> *См.: Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae byzantine libri duo graece et latine / e rec. I. I. Reiskii. Bonnae, 1830. LI. 86. P. 388.9; LIII. P. 521.7; LII. 3. P. 525.9; L. 27. P. 627.1; LII. 52. P. 748.12; 751.8 etc.; Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. P., 1972. P. 163.17, n. 132; 165.1; 177.9; 181.7; 189.11; 203.19.35.*

<sup>26</sup> *Кондаков Н. П. Указ. соч. С. 229—230.*

<sup>27</sup> *Piltz E. Le costume officiel des dignitaires byzantins à l'époque Paléoloque. Uppsala, 1994. P. 92—93.*

Е. В. Бородина

## СУДЕБНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЫ» \*

В отечественной исторической науке можно выделить ряд направлений, которые оказывали значительное влияние на практику научных исследований и в течение длительных периодов определяли генеральную линию изучения истории. Среди них следует отметить так называемую «государственную школу» («школу историков-юристов») второй половины XIX столетия.

---

\* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК 02.740.11.0578).



Данное направление сформировалось на том отрезке времени, когда российская историческая наука уже получила свои кафедры в университетах Российской империи. На повестке дня стояли важные вопросы по определению путей и методов дальнейшего развития страны, вылившиеся сначала в споры западников и славянофилов, а впоследствии в дискуссии о тактике и стратегии проведения либеральных реформ Александра II.

«Государственная школа» получила значительное влияние в России этого периода. Ее основатели — К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин — были лично знакомы со многими чиновниками — как либералами, так и консерваторами, занимались преподаванием в царской семье<sup>1</sup>. Не случайно И. Д. Ковальченко в свое время назвал «государственников» господствующим направлением в развитии исторической науки в 1840—1860-е гг.<sup>2</sup> Ученые этого течения первыми обратили внимание на проблему развития государственных институтов России в целом и на историю судоустройства и судопроизводства в частности.

Особое внимание «государственников» привлекал период правления первого российского императора, чьи реформы по масштабам и всеохватности напоминали современную им ситуацию подготовки и проведения «великих реформ» 1860—1870-х гг. Предназначением последних являлось качественное изменение общественных отношений в целом и отношений между государством и обществом в частности. Изучение судебных преобразований первой четверти XVIII в. вызывало интерес исследователей с точки зрения разработки и проведения судебной реформы 1864 г.

Цель данной статьи — выявить оценки судоустройства и судопроизводства петровского времени в работах историков «государственной школы» и близких им по духу ученых — историков права. Для создания более полной картины будут привлечены три группы исследований: 1) специальные работы; 2) сочинения по истории государственного управления и 3) работы, где характеристика судебной реформы Петра Великого дается в комплексе с анализом других преобразований. Обратимся к краткому обзору исследований первой группы, относящихся ко второй половине 1840-х — началу 1850-х гг.

Одним из первых уделил значительное внимание судебным преобразованиям Петра К. Д. Кавелин. Защищенная им в 1844 г. магистерская диссертация была посвящена анализу «начал русского судоустройства и гражданского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях»<sup>3</sup>. В рамках диссертационного исследования ученый обратил особое внимание на исторические моменты развития права, так как «законодательство в России было почти исключительно историческим»<sup>4</sup>.

В результате работы с нормативными правовыми актами, опубликованными в «Полном собрании законов Российской империи», К. Д. Кавелин выделил ключевые принципы судоустройства, внедряемые царем-реформатором. Среди них следует назвать «отдельное судебное управление купечества и мещанства от прочих классов; коллегиальное устройство судебных мест; отделение судебной власти от исполнительной; контрольное и инквизиционное начала»<sup>5</sup>. Кроме того, исследователю принадлежит первенство в выделении двух этапов изменений судебной организации петровской России: 1708—1719 гг. — период образования губерний и появления первых должностных лиц с судебными полномочиями (ландрихтеров); 1719—1725 гг. — период проведения крупной реформы в государственном аппарате управления<sup>6</sup>.

Сопоставив судебную систему первой четверти XVIII в. с предыдущими и последующими образцами, Константин Дмитриевич пришел к выводу, что, во-первых, главным направлением Петровских реформ была сфера «государственного права». Во-вторых, «из всех перемен, происшедших со времени Петра Великого в гражданском законодательстве, только те, которые относились к судопроизводству, имели постоянный характер и служили главным основанием тогда действующих законов»<sup>7</sup>. Таким образом, судебная реформа Петра Великого получила очень высокую оценку.

В этом же году увидел свет очерк К. А. Неволлина «Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого», в котором представлялась картина развития государственных структур за период, который охватывает более двухсот лет. На основе широкого использования нормативных источников ученый пришел к выводу, что губернская реформа 1719 г. оказалась незакончен-

ной: «образование губерний при Петре Великом не было завершено». Это повлияло на судьбу всех прочих преобразований на губернском уровне и на судебную реформу в частности<sup>8</sup>.

Работа К. Е. Троцины «История судебных учреждений» также получила обзорный характер. Структура администрации и суда на центральном и местном уровне в Петровский период представлена очень сухо, так как автор поставил перед собой задачу реконструировать состав судебных органов той поры, практически избежав оценок. Подводя итог судебным изменениям рассматриваемой эпохи, ученый отметил, что «при точном распределении правительственных предметов между коллегиями судебная часть все еще была лишена самостоятельного единства»<sup>9</sup>.

В исследовании А. Вицына «Краткий очерк управления в России от Петра Великого до издания общего учреждения министерств» описан порядок организации суда и управления. Его автор попытался ответить на вопрос, насколько западноевропейские новшества прижились на российской почве. «История показывает, что народы заимствовали иногда государственное устройство у наций более образованных, но также история показывает, что такая заимствованная организация государственного устройства уже потому только, что она не соответствовала степени развития народа, заимствовавшего ее, не пускала глубоких корней и мало-помалу вытеснялась элементами народными». В этом же ключе были рассмотрены судебные инстанции<sup>10</sup>. Историк пришел к выводу, что новая система управления государством оказалась «и правильнее прежней, и более давала ручательства за правосудие», кроме того, «была одновременной для всех концов обширной Российской империи»<sup>11</sup>.

Диссертация Ф. М. Дмитриева по истории судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства 1859 г. представляла на тот момент одно из подробнейших исследований по изучаемой тематике. Судебная реформа Петра Великого была рассмотрена на основе сопоставления с судостроительством и судопроизводством, которые существовали во времена правлений царя Алексея Михайловича и императрицы Екатерины Великой. Как и К. Д. Кавелин, историк осветил не только формальное преобра-

жение судебных структур, но и обратил внимание на изменения в системе судебного процесса<sup>12</sup>. Автор уделил им больше внимания, так как посчитал, что именно здесь первый российский император в наибольшей степени выразил себя (от частнообвинительного процесса произошел переход к уголовно-следственному розыску)<sup>13</sup>. При характеристике первого этапа реформ ученый отметил временность введения новой должности ландрихтера, так как посчитал, что Петр уже тогда задумал отделить суд от администрации<sup>14</sup>. Вторая административная реформа стала началом этого процесса. При распределении надворных судов, по мнению Ф. М. Дмитриева, реформаторы приняли во внимание географическое расстояние между надворными судами и населенность губерний<sup>15</sup>. В целом исследователь отметил отрывочность сведений, которые дошли до нас о судоустройстве того периода, так как из указов часто не видно, что «было коренным учреждением, а что временной мерой»<sup>16</sup>.

Историография судебных преобразований была бы неполной без характеристики второй группы трудов, касающихся истории государственного управления Россией. Несмотря на то, что данные работы в большинстве своем носят обобщающий характер, обнаруживают высочайшую степень формализации при анализе исторического материала и вышли уже в 1880—1890-е гг., они внесли значительный вклад в изучение данной темы.

Работы историков-юристов, выполненные в виде учебных пособий, очень многочисленны и дают возможность в кратком изложении познакомиться со взглядами ряда крупных ученых на судебную реформу. В большинстве этих работ судебная реформа рассматривается вкуче с преобразованиями административных учреждений первой четверти XVIII в.<sup>17</sup> Проанализировав содержание этих учебников, можно найти ряд схожих выводов о целях реформ и основных идеях, которые легли в их основу. В частности, в качестве ключевого положения требуется назвать следующее: «судебные учреждения Петра I в губернии не получили надлежащего осуществления»<sup>18</sup>.

Отметим наиболее важные мнения по вопросу о сущности и методах проведения судебных преобразований. И. Андреевский

считал, что до Екатерины II «точного стремления отделить в губернии суд от администрации не было»<sup>19</sup>. Э. Берендтс придерживался мнения, что «реформа отчасти осталась на бумаге»<sup>20</sup>.

Профессор В. В. Ивановский видел основными целями реформы ограничение произвола местных органов, подчинение их «высшим установлениям», более точное определение «предметов ведомств местных органов и проведение различий между делами местного управления и центрального»<sup>21</sup>. В. В. Ивановский называл отделение суда от администрации прогрессивным явлением<sup>22</sup>.

А. Д. Градовский отмечал одиночество императора-преобразователя, которому очень не хватало единомышленников. Главным недостатком реформ он считал чрезмерное расширение государственного аппарата<sup>23</sup>.

П. Н. Подлигайлов характеризовал Петра как самого неуклонного централизатора, который во всех своих начинаниях стремился к осуществлению лишь двух целей: «созданию самой полной административной централизации при единой верховной власти и к упрочению внешнего могущества государства». Это стало причиной организации особых центральных органов — коллегий — и расширения государственного аппарата, который не учитывал «местных нужд и польз»<sup>24</sup>.

А. Н. Филиппов заметил, что реформы отразились на характере самой местной администрации. Несмотря на свое несовершенство, новые органы оказались более приспособленными для управления<sup>25</sup>. Н. И. Лазаревский пришел к выводу, что в целом «время до Екатерины II было совершенно бесплодно в отношении к местному управлению». Причиной этому он указывал недостаточность «того культурного слоя населения, из которого можно было вербовать чиновников местных учреждений»<sup>26</sup>. М. Ф. Владимирский-Буданов увидел, что в ходе реформ была установлена «совершенно бюрократическая форма управления без всякого участия земского элемента»<sup>27</sup>. Это характеризовало и судебные учреждения Петра.

Несмотря на то, что все эти учебные пособия черпали свою источниковую базу из «Полного собрания законов Российской империи», что во многом предопределило их формализм, они способствовали укоренению ряда принципов и методов исторического

исследования. Большинство сочинений такого рода характеризуется систематичностью изложения материала, что дает возможность произвести сравнительный обзор развития государственных и правовых структур Российского государства.

Нельзя не заметить, что во многих пособиях сравнительный анализ протекает на фоне экономических, политических, социальных сюжетов. Такую последовательность можно обнаружить, например, в сочинении М. Ф. Владимирского-Буданова «Обзор истории русского права», впервые опубликованном в 1886 г. Во вступительной статье к многократно изданному труду этого историка К. Краковский отметил его особую приверженность к историко-сравнительному методу исследования, «так как при изучении национального права главная цель историко-сравнительного исследования заключается в выводе не только сходства, но и различий, составляющих национальные особенности». По замечанию автора предисловия, сам профессор не часто использует данный метод<sup>28</sup>. Тем не менее он стал одним из ведущих для большинства историков того времени.

Оценка судебных преобразований Петра I может быть также найдена в исследованиях, посвященных истории создания и функционирования новых учреждений центрального аппарата управления.

В 1866 г. в Санкт-Петербурге увидело свет сочинение А. Д. Градовского «Высшая администрация и генерал-прокуроры», посвященное определению места института прокуратуры среди государственных учреждений России XVIII в. Так как этот орган власти тесно связан с судом и управлением, ученым была дана краткая характеристика особенностей их организации. Александр Дмитриевич подчеркнул важность создания Камер- и Юстиц-коллегий, поскольку «через них правительство главным образом воздействовало на провинцию»<sup>29</sup>. Исследователь выделил основные причины, тормозившие проведение преобразований. Среди них он назвал низкий уровень образования чиновников становившегося государственного аппарата и отсутствие разграничения ведомств «по степени их власти»<sup>30</sup>. Историк полагал, что «коллегии внесли нам новую и лучшую администрацию, но не изменили начала старой

русской администрации, принципа поручений, поручений неопределенных, а потому и широких».

С. Петровский в монографии «О Сенате в царствование Петра Великого» (1875) произвел анализ эволюции полномочий высшего государственного учреждения в первой четверти XVIII в. По мнению С. Петровского, во время полного преобразования государственного аппарата России по шведскому образцу у Петра появляется «первая мысль и попытка отделения суда от администрации». «Но эта реформа оказалась еще преждевременною для России, она еще не в силах была вынести более правильную, более обеспечивающую права граждан, но зато более сложную и дорогую организацию управления»<sup>31</sup>.

А. Н. Филиппов, оставивший очерк о Сенате в царствование Петра I, также рассматривает судебные преобразования как первую попытку разделения властей. Тем не менее историк обратил внимание, что Сенат являлся высшей апелляционной инстанцией и в качестве первой инстанции рассматривал дела по первым двум пунктам<sup>32</sup>.

Исследования И. Андреевского и И. Блинова дают представление о деятельности глав местной администрации в различные периоды российской истории. Оба ученых попытались осветить все сферы деятельности административных лиц, основываясь на данных нормативно-правовых актов. Особое внимание в обеих монографиях уделено губернаторам, должность которых появилась в результате губернской реформы 1708 г. Анализ взаимоотношений между надворными судами и губернаторами привел обоих историков к выводу о том, что отношения судебной и административной ветвей власти не были достаточно четко определены и разграничены. Губернатор часто являлся и президентом надворного суда<sup>33</sup>. Это было одним из показателей непродуманности реформ Петра Великого.

Несмотря на то, что большинство ученых в качестве базы своих исследований использовали только законодательство, уже в середине XIX столетия появились работы, базирующиеся на обширном архивном материале. Одним из виднейших историков, создавших многотомный труд по истории Российского государства на широ-

кой источниковой базе, является С. М. Соловьев. Исследователь считал период преобразований Петра Великого важнейшим в истории России. Он разделял идеи К. Д. Кавелина о том, что Петр попытался ввести в управление принцип разделения властей. Но отделение управления от суда, по мнению С. М. Соловьева, было «делом чрезвычайно трудным, сколько по недостатку в людях и деньгах, столько же и потому, что люди высокопоставленные, сами господа Сенат, не признавали надобности этого отделения и не пропускали случая внушать государю о трудности, вреде и убыточности дела»<sup>34</sup>.

Историки «государственной школы» внесли большой вклад в изучение судебной реформы Петра Великого. В первую очередь на основе законодательных актов «Полного собрания законов Российской империи» была реконструирована судебная система 1720-х гг. Во-вторых, ученые этого направления впервые выдвинули идею о попытке Петра I внедрить в управление принцип разделения властей на исполнительную и судебную. В-третьих, они произвели анализ основ осуществления правосудия. В-четвертых, историки-юристы многое сделали для постановки ряда важных проблем о роли реформ в истории России, значимости анализа взаимоотношений между государством и обществом, а также между бюрократией и прочими категориями населения.

Философско-правовые взгляды «государственной школы» определили ее подход к русскому историческому процессу и роли государства в нем. Особое внимание это направление придавало диалектическому соотношению общества и государства, обзору их исторического развития. Историки государственной школы сделали акцент на поиске объективных условий, в которых протекал русский исторический процесс, анализе состояния общества, характеристике роли государства в русской истории. Эти ученые впервые выделили географический фактор в русской истории и оставили после себя множество его оценок.

Все научные изыскания «государственников» преследовали цель помочь переосмыслению исторического опыта, создать «основание» для развития современного им государства. В работах К. Д. Кавелина, М. Ф. Дмитриева, К. А. Неволина, К. Е. Троцины,



А. Вицына была предпринята попытка обобщить опыт управления предшествующих эпох. Во второй половине XIX — начале XX в. полученные знания были представлены в многочисленных учебных пособиях, предоставлявших не только набор специально подобранных фактов, но и их оценку.

Анализ исторической литературы позволяет отметить, что изучение истории административных учреждений в рамках «государственной школы» проходило в двух направлениях. Первое принадлежит историкам-юристам, которые в качестве источниковой базы исследования использовали только нормативные правовые акты. Благодаря историкам-юристам сформировался формально-юридический подход. Создателями второго подхода стали «чистые историки», строившие свои исследования на привлечении как законодательства, так и делопроизводственной документации. Судебная реформа рассматривалась ими в общеправовом контексте.

Изучение оценок судебной реформы Петра I представляется очень интересным, так как позволяет увидеть идеал устройства и функционирования современной историкам «государственной школы» судебной системы. В ходе исследования были получены следующие результаты.

Все ученые без исключения рассматривают судебные преобразования первого российского императора в рамках эволюционной концепции, выделяя новые элементы в судостроительстве и судопроизводстве России первой четверти XVIII в. В качестве одного из новшеств они выделяют либо организацию специализации управления (2 человека из 14), либо внедрение системы разделения властей (7 человек). Лишь два историка говорят о том, что четкого отделения суда от администрации в годы Петровских реформ не сложилось.

Вторым новым элементом историки-юристы (4 человека) видят введение определенной, единообразной системы управления в целом и судостроительства как ее частного элемента.

Все приведенные характеристики носят положительную окраску, которая однозначно видна в трудах лишь 28,5 % исследователей. Еще 14 % оценили проведенную Петром Великим реформу

суда как неоднозначную, выделив в ней как положительные, так и отрицательные стороны. Подавляющее большинство историков и юристов (57,5 %) отзываются о судебной реформе первой четверти XVIII в. крайне негативно.

Среди отрицательных сторон реформы назывались ее незавершенность (4 человека), неясность некоторых сведений о ней (1 человек), низкий уровень культуры людей, занявших судебские должности (1 человек), отсутствие разделения властей (1 человек). Особый акцент был сделан на то, что реформа суда не изменила сути существующей системы управления.

Таким образом, историки и юристы исследуемого направления критически подошли к изучению предыдущего опыта организации судебной системы. В первую очередь ими были выделены отрицательные черты петровского судоустройства, которых требовалось избегать при строительстве нового судебного здания. Во-вторых, «государственники» выделили ключевые принципы построения системы судов второй половины XIX — начала XX в., которые и были реализованы: единообразие и специализация управления.

---

<sup>1</sup> Кизельштейн Г. Б. Борис Николаевич Чичерин // ВИ. 1997. № 4. С. 57; Захарова Л. Г. Россия XIX в. в мемуарах Д. А. Милютин // Отечественная история. 2003. № 2. С. 38; Шаханов А. Н. Русская историческая наука второй половины XIX — начала XX века: Московский и Санкт-Петербургский университеты. М., 2003. С. 82—83; и др.

<sup>2</sup> Шмидт С. О., Ковальченко И. Д., Дмитриев С. С. и др. О предмете и содержании университетского курса историографии истории СССР // ВИ. 1963. № 8. С. 75.

<sup>3</sup> Кавелин К. Д. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях // Собр. соч. СПб., 1859. Т. 4.

<sup>4</sup> Там же. Ст. 209.

<sup>5</sup> Там же. Ст. 352—354.

<sup>6</sup> Там же. Ст. 357—362.

<sup>7</sup> Там же. Ст. 207.

<sup>8</sup> Неволин К. А. Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого // Полн. собр. соч. СПб., 1859. Т. 6. С. 245.

<sup>9</sup> Троица К. История судебных учреждений в России. СПб., 1851. С. 162.

<sup>10</sup> *Вицын А.* Краткий очерк управления в России от Петра Великого до издания общего учреждения министерств. Казань, 1855. С. 3.

<sup>11</sup> Там же. С. 9.

<sup>12</sup> «Мне хотелось только проследить, в главных чертах, те перемены, которые произошли в русском процессе под влиянием развития государства, и тем определить, хотя и поверхностно, сходство их и различие с историею судопроизводства на Западе. Думаю, что подобный труд может быть полезен даже своими недостатками, указывая на те проблемы, которые предстоит выполнить будущим исследованиям» (*Дмитриев Ф. М.* Сочинения. Т. 1 : История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1899. С. 1).

<sup>13</sup> *Дмитриев Ф. М.* Сочинения. Т. 1. С. 533.

<sup>14</sup> Там же. С. 440.

<sup>15</sup> Там же. С. 441.

<sup>16</sup> Там же. С. 442.

<sup>17</sup> См., например: *Латкин В. Н.* Учебник русского права периода империи (XVIII и XIX ст.). СПб., 1909; *Сергеевич В.* Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883.

<sup>18</sup> *Андреевский И.* Русское государственное право. СПб. ; М., 1866. Т. 1. С. 370.

<sup>19</sup> Там же. С. 372.

<sup>20</sup> *Берендтс Э.* Опыт системы административного права. Ярославль, 1898. С. 101.

<sup>21</sup> *Ивановский В. В.* Русское государственное право. Казань, 1898. Т. 1, ч. 2. С. 34.

<sup>22</sup> Там же. С. 40.

<sup>23</sup> *Градовский А.* Начала русского государственного права. СПб., 1883. Т. 3. С. 82, 92.

<sup>24</sup> *Подлигайлов П. Н.* Местное управление в России. СПб., 1884. С. 38.

<sup>25</sup> *Филиптов А. Н.* Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 2. С. 710, 713.

<sup>26</sup> *Лазаревский Н. И.* Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1910. Т. 2, ч. 1. С. 211.

<sup>27</sup> *Владимирский-Буданов М. Ф.* Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 267.

<sup>28</sup> *Краковский К.* Предисловие // Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 23—25.

<sup>29</sup> *Градовский А.* Высшая администрация и генерал-прокуроры. СПб., 1866. С. 99.

<sup>30</sup> Там же. С. 109—111.

<sup>31</sup> *Петровский С.* О Сенате в царствование Петра Великого : ист.-юр. исследование. М., 1875. С. 246—247.

<sup>32</sup> *Филиптов А. Н.* Правительствующий Сенат в царствование Петра Великого // История Правительствующего Сената за 200 лет, 1711—1911 гг. СПб., 1911. Т. 1. С. 326.

<sup>33</sup> Андреевский И. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864; Блинов И. Губернаторы : ист.-юрид. очерк. СПб., 1905.

<sup>34</sup> Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 17—18 // Соч. М., 1993. Кн. 9. С. 458.

О. Г. Сидорова

## ПЕРВЫЕ РУССКИЕ УЧЕБНИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

В конце XX — начале XXI в. статус английского языка как языка международного общения, глобального языка, современно-го *lingua franca* вызывает мало сомнений. Однако, как отмечает Д. Кристал, еще в середине прошлого века положение английского языка в мире резко отличалось от его современного статуса: «Все произошло очень быстро. Еще в 1950 году любое представление об английском как о глобальном языке в условиях политической нестабильности времен холодной войны и отсутствия определенности и целенаправленности было не более чем призрачной, туманной, теоретической возможностью. И вот пятьдесят лет спустя международный английский язык — это политическая и культурная реальность»<sup>1</sup>. На протяжении последних лет интерес к английскому языку в России также устойчиво растет. С этой точки зрения интересно обратиться к истории изучения английского языка в России, что мы и сделаем, проанализировав первые российские учебники английского языка.

Первые отечественные учебники английского языка появились в России во второй половине XVIII в. Причины их появления именно в этот период объясняются двояко. С одной стороны, период конца XVIII — начала XIX в. характеризуется активизацией русско-английских экономических, политических, культурных контактов: так, В. М. Аристова описывает этот период как время «наибольшей интенсификации англо-русских отношений», которое ха-

рактизуется «наличием англо-русского устного и письменного (книжного) билингвизма в России»<sup>2</sup>. Среди образованных людей растет интерес к английской литературе и культуре<sup>3</sup>. Оговоримся, однако, что господствующими иностранными языками в указанный период были немецкий и французский (с превалированием немецкого в XVIII в. и французского — в XIX в.). Вторая причина появления учебников английского языка может быть обозначена как внешняя по отношению к России, имеющая более общий характер, — это распространение английского языка за пределы Англии и создание учебников в разных странах Европы. Авторы фундаментального труда «История преподавания английского языка» отмечают, что интерес к английскому языку за пределами Англии возник в начале XVII в.<sup>4</sup> Этот интерес «сначала рос медленно, но начиная с середины века все быстрее, волнообразно распространяясь за пределы Британии. Сначала он распространился в странах, имеющих морские границы с Британией: во Франции, Нидерландах, Дании и Германии — в каждой из этих стран к 1700 г. уже были изданы местные учебники английского языка. Следующими стали страны, образующие “внешний круг”, расположенные на берегах Средиземного и Балтийского морей, и завершился этот процесс в конце XVIII в. в России»<sup>5</sup>.

Об авторах учебников. Автором первого в России учебника английского языка, который вышел в 1766 г. и получил название «Практическая английская грамматика», был Михаил Пермский. В «Истории преподавания английского языка» указывается, что это издание было переводом с неизвестного сегодня английского оригинала. Вслед за этим учебником в России появились следующие пособия: «Английская грамматика» (СПб., 1772) и «Новое руководство в английском языке» (СПб., 1776) П. Жданова, «Руководство к английскому языку» (М., 1791) и «Английская грамматика с прибавлением разговоров» (М., 1795) В. Кряжева, «Новые разговоры английские и российские, разделенные на сто тридцать уроков для употребления юношеству и всем начинающим учиться сему языку» (Николаев, 1803) П. Суворова<sup>6</sup>, «Теоретическо-практическая грамматика английского языка» (СПб., 1808. Ч. 1) М. Паренаго, анонимное пособие «Начала английских разго-

воров, с обычными и легкими разговорами, коим предшествует приличный словарь» в 2-х частях (СПб., 1817), «Английская грамматика» (М., 1812) И. Грузинова, а также разговорник И. Ф. Вегелина «Новые английские и российские разговоры» (М., 1822). Следует также отметить, что примерно за этот же период (мы рассматриваем первые пятьдесят лет с момента появления русских учебников английского языка) были изданы несколько двуязычных словарей, в частности: «Новый словарь английский и российский» (СПб., 1784) П. Жданова, «Новый англо-русский словарь, составленный по английским словарям Джонсона, Эберса и Робинета» (М., 1808) М. Паренаго, «Российский лексикон на английский язык» (СПб., 1811) И. Шишкова. Данные, приведенные в справочнике Й. Аава «Российские словари (словари и глоссарии, изданные в России в 1627—1917 гг.)», красноречиво подтверждают тот факт, что интерес к английскому языку в рассматриваемый период был заметно ниже, чем интерес к французскому и немецкому языкам: так, двуязычных словарей с французским языком было издано 64, с немецким — 58, с английским — всего 16<sup>7</sup>.

Авторы первых русских учебников английского языка заслуживают отдельного упоминания. Как указывается в «Словаре русских писателей 18 века», Михаил Пермский (1741—1770), происходивший из духовенства, обучался в Александро-Невской семинарии, был в 1758 г. направлен дьячком в церковь при русском посольстве в Лондоне, где и выучил английский язык, возвращен в Россию в 1760 г., поступил в Московский университет, где одновременно преподавал английский язык, по окончании университета был в 1765 г. зачислен учителем в Морской кадетский корпус, где и написал (перевел) учебник английского языка<sup>8</sup>. Вообще, М. Пермским было опубликовано значительное количество переводов с английского, среди которых и художественные произведения, и журнальные статьи (в частности, Р. Стиля и Дж. Аддисона). Сведений о коллеге М. Пермского по Морскому кадетскому корпусу Прохоре Ивановиче Жданове сохранилось меньше. Известно, что он умер в 1802 г. Авторы «Истории преподавания английского языка» предполагают, что в Морском кадетском корпусе он занимал более заметное положение, чем М. Пермский, так как

написал и издал два пособия по английскому языку, в 1772 и 1776 гг., переведя на русский язык известный учебник Томаса Дилворта 1751 г. (*Th. Dilworth «New Guide to the English Tongue»*). Отметим, что в мореходных учебных заведениях, в отличие от учебных заведений других типов, английский язык являлся обязательным предметом — традиция, которая восходит еще ко временам царствования Петра I и которая объясняется наличием преимущественно английской лексики в корпусе морской терминологии. Обратим внимание и на тот факт, что автором одного из первых англо-русских словарей, изданного в 1808 г., является адмирал и известный общественный деятель А. С. Шишков<sup>9</sup>.

Первые оригинальные учебники английского языка в России были созданы Василием Степановичем Кряжевым (1771—1832), известным педагогом, публицистом и переводчиком. В «Словаре русских писателей 18 века» отмечается, что «существенную роль в распространении знания английского языка сыграли учебники В. Кряжева (“Руководство к английскому языку”, 1791 г.; “Англинская грамматика... изданная в пользу обучающихся сему языку, в особенности в пользу благородных воспитанников в Пансионе при Московском университете”, 1795 г.) и хрестоматия (“Избранные сочинения из лучших английских писателей прозою и стихами для упражнения в чтении и переводе”, 1792 г.)». Пропагандируя английский язык, В. Кряжев указывал, что «он не так шумящ, как голландский, не так чрезвычайно нежен, как французский, но так же важен, как латинский, и по причине составления своих слов мало уступает греческому»<sup>10</sup>. Автор еще одного российского учебника английского языка и англо-русского словаря, Михаил Алексеевич Паренаго (1789—1832), служил в Министерстве иностранных дел, одновременно являясь известным издателем и переводчиком, а И. Е. Грузинов (1781—1813), автор фундаментальной английской грамматики 1812 г., был адъюнктом анатомии Московского университета и некоторое время провел в Англии, о чем он написал в предисловии к своему учебнику. М. П. Алексеев указывает, что И. Грузинов также является автором ряда медицинских сочинений<sup>11</sup>. Таким образом, авторами ранних русских учебников английского языка становились не только лингвисты, но и специали-

сты в других, часто далеких от лингвистики областях, такие как П. Суворов, который был известным математиком, и И. Грузинов. Несмотря на это, мы можем с уверенностью утверждать, что созданные ими учебники отличаются высоким уровнем освоения и предъявления материала, а также демонстрируют знакомство авторов с передовыми достижениями зарубежной лингвистики: в предисловии к своему учебнику И. Грузинов ссылается, в частности, на теоретические труды тех английских авторов, которые были взяты им за основу собственного сочинения.

Отдельно следует отметить французского преподавателя Московского университета И. Ф. Вегелина (*J. Ph. Wegelin*), автора знаменитого пособия «Новые разговоры французские и российские», которое было впервые издано в 1789 г. и выдержало в последующие годы (до 1829 г.) восемь изданий, что, несомненно, свидетельствует о его востребованности и популярности<sup>12</sup>. В этот же период времени было издано несколько немецко-русских изданий «Вегелиновых разговоров» (именно таким было популярное обиходное название данного пособия). Как несомненно положительный факт исследователи отмечают, что «в текст каждого из этих изданий автор вносил необходимые исправления, исходя из изменяющихся жизненных реалий»<sup>13</sup>. В 1822 г., однако, появилось английское издание «Разговоров», озаглавленное «Новые англинские и российские разговоры, разделенные на 130 уроков, для употребления юношеству и всем начинающим учиться сим языкам». Обращает на себя внимание двусторонняя дидактическая направленность разговорника: очевидно, целевая аудитория видится автору как состоящая из представителей двух национальных культур. В «Предуведомлении» (с. I—III) автор указывает на тот факт, что «Вегелиновы разговоры» существовали в тому моменту как во французском, так и в немецком вариантах, в результате чего «издатель рассудил переложить их и на Англинский. Российское Юношество обоего пола по справедливости славится знанием иностранных языков: некоторые разумеют четыре языка, многие два и три; а знать один и не диковинка»<sup>14</sup>. Обосновывая необходимость издания английских «Разговоров», издатель английского варианта упоминает более ранние издания английских учебников в России и вступает



с ними в полемику: «Есть у нас некоторые из сих разговоров в Англинских Грамматиках, как то Г. Жданова и Г. Кряжева, а может быть и в других», однако языковой уровень этих пособий, по мнению автора, не отвечает современным требованиям: «Есть нещастие помянутых Англинских разговоров, что многие слова в оных и выражения старинные и низкие, и вовсе неупотребительные, а некоторые и неблагопристойныя; на пр. *приветствовать* нельзя сказать на Англинском *to salute*»<sup>15</sup>. В подтверждение мысли о том, что ряд учебников английского языка (и не только русских) изобилует устаревшей лексикой, автор приводит по-английски обширную цитату Барри из предисловия к его учебнику — и переводит ее на французский язык, не давая русского перевода. Автор также не без гордости утверждает, что английское издание «Вегелиновых разговоров» было одобрено «самими англичанами»<sup>16</sup>.

Социально-культурный аспект. Отдельное изучение социально-культурного аспекта первых русских учебников иностранного (в данном случае английского) языка представляется правомерным и, несомненно, продуктивным по нескольким причинам. Во-первых, любое учебное пособие неизменно отражает уровень знаний и представлений, существующий на данный момент в обществе. Во-вторых, во второй половине XVIII в. в России книжное слово, литература приобретают особое значение. Ю. М. Лотман отмечает, что в эту эпоху в России проходит процесс активного приобщения и освоения европейской культуры: «Культурное и нравственное сотворение России еще предстояло завершить. А литература — книга, сцена — конструируемый конечный образ, конец пути. Поэтому жить надо по книге. Именно в ней (не в ее морализаторских проповедях, а в общем строе мыслей, чувств, в характере поступков населяющих ее людей) человек в России XVIII в. черпал модели душевных переживаний и нормы поведения... Для русской литературы XVIII в. характерно стремление слить эти сферы (литературу и жизненную практику. — О. С.) и перестроить бытовую по нормам идеальной... Речь шла о том, что литература требует от читателя определенного типа поведения, формирует читателя»<sup>17</sup>. Учебники, особенно учебники иностран-

ных языков, безусловно, относились к тому же ряду, поскольку они представляли ученикам-читателям образцы поведения и отношения к различным жизненным ситуациям, особенно если иметь в виду тот факт, что в каждый учебник этой эпохи обязательно включался раздел тематических диалогов/разговоров на разные темы. Сошлемся также на статью Ю. М. Лотмана «“Езда в остров любви” Третьяковского и функция переводной литературы», в которой, в частности, отмечается: «Петровская реформа изменила для русского дворянства сферу бытового поведения: свое было заменено чужим, стихийное и спонтанное — сознательным и нормативным. Бытовое поведение требовало таких же учебников и наставлений, как ритуальное, и таких же уставов, как рекрутское учение. Отсюда не только обилие метаязыковых инструкций по разным сферам деятельности, но и стремление любой текст использовать как такую инструкцию»<sup>18</sup>.

Галантный XVIII в. находит свое отражение не только в содержании, но и в оформлении учебников: так, пособие П. Жданова 1772 г. украшено виньетками и открывается «Приношением» (посвящением) «Его сиятельству... Графу Ивану Григорьевичу Чернышеву» (перечисление титулов и чинов которого занимает несколько строк). Текст «Приношения» как яркое свидетельство эпохи заслуживает быть приведенным в полном объеме: «Милостивый государь, не природа ваша знатная, но особливые блистающие в вас дарования, а паче покровительство, которое науки всякого рода от вас получают, побудили меня посвятить Вашему Сиятельству сии малые труды, следуя в сем примере ученых, которые в знак своего почтения и благодарности приносят свои труды благодетелям. Сверх сего благоденствия Ваши особливо мне учиненные требуют достодолжного признания; к исполнению чего удобнейшего способа не имею, как только все мне порученное от Вас с ревностным прилежанием исполнять, и прославляя имя Ваше с наиглубочайшим почтением пребывать, милостивый государь! Вашего Сиятельства всепокорный и всеусердный слуга Прохор Жданов»<sup>19</sup>.

Повторимся, что каждый из рассматриваемых учебников включал в себя раздел «Диалоги» или «Разговоры» — своеобразный

мини-разговорник, сконструированный по тематическому принципу. Учебники иностранного языка становились, таким образом, не только пособиями по изучению английского, французского или любого другого европейского языка — одновременно они приобщали русских учеников к европейской бытовой культуре, этикету, давали выразительные примеры поведения в разных ситуациях повседневной жизни. С этой точки зрения интересны сами темы представленных диалогов/разговоров, которые в значительной степени повторяются в разных учебниках с небольшими модификациями. Рассмотрим в качестве примера учебник П. Жданова 1772 г., в котором на с. 112—162 находится раздел «*Familiar Phrases / Употребительные речи*», на с. 163—299 — «*Familiar Dialogues / Употребительные разговоры*» (37 объемных, от одной до шести страниц, диалогов). Тематика представленных диалогов охватывает практически все сферы повседневной жизни человека:

общение дома с членами семьи, гостями и слугами: Dialogue (далее — D) 2 «*Before Going to Bed and After One is in Bed / Идучи спать и будучи на постеле*»; D6 «*To Make a Visit in the Morning / Посетить кого поутру*»; D7 «*To Breakfast / Завтракать*»; D8 «*Before Dinner / Перед обедом*» и др.;

общение в дружеском кругу: D23 «*Between two friends / Между приятелями*»;

общение вне дома с людьми своего круга: D1 «*To Salute and Inquire after One's Health / Поздравить кого и спрашивать о здравии*»; D17 «*To Retire or to Take One's Leave / Расставаться или прощаться*»; D20 «*Of news / О новостях*»; D24 «*To Write a Letter / Писать письмо*»; D26 «*To Play at Cards / Играть в карты*»; D35 «*Of Christening, Wedding and Burial / О крестинах, свадьбе и похоронах*»;

общение с теми, кто оказывает различные услуги — диалоги с портным, суконщиком, башмачником, конюшим, врачом, лекарем: D21 «*Between a Sick body, a Physician and a Surgeon / Между больным, доктором и лекарем*».

Кроме того, в диалогах представлен целый спектр разнообразных способов времяпрепровождения, выходящих за рамки вышеперечисленных вариантов: D27 «*To Go to Bathe or to Swim / Идти*

купаться или плавать»; D29 «*Going Upon a Journey* / Отправляться в дорогу»; D31 «*To Hire a Boat* / Нанимать бот» и др.

Любопытно, что воображаемому/идеальному «герою» предлагается не только отправиться в деревню, но также выбрать там занятие по душе из ряда перечисленных, т. е. соответствующих эталону вариантов: D32 «*Of Country Diversions, of Sports, especially of Hunting and Fishing* / О деревенских забавах или веселостях, а особливо о звериной и рыбной ловле»; D36 «*To Desire One to Sing* / Просить кого петь»; D37 «*At Jumping and Running* / Прыгать и бегать».

Отдельного упоминания заслуживают диалоги 32 и 34, в которых рассматриваются ситуации культурного досуга, а именно покупки книг и посещения театра («*To Buy Books* / Покупать книги» и «*To Go to See a Play* / Идти в комедию»).

Тематика диалогов, включенных в другие русские учебники иностранных языков, в значительной степени совпадает; отметим, однако, что в «Вегелиновых разговорах» (1822) усилен элемент морализаторства: так, урок 96 озаглавлен «Качества добродетельной женщины», урок 97 — «Слабости порочной женщины».

Таким образом, диалоги/разговоры, включенные в учебники английского языка второй половины XVIII — начала XIX в., описывают нормативный образ жизни образованного и, отметим, небедного дворянина, который преимущественно живет в городе, выделяя некоторые стандартные для данного образа жизни ситуации, и само перечисление тем диалогов приобретает инструктивный характер для того, кто будет пользоваться учебником.

Объемные разделы «Диалоги/Разговоры», включенные в учебники иностранных языков, базируются на многовековой традиции составления словарей-разговорников, восходящей к одному из направлений русской средневековой лексикографии. Г. А. Левченко полагает, что «словари-разговорники изначально ставили своей целью помочь живому общению с людьми, говорящими на иностранном языке, и составлялись, в отличие от других словарей, посредством записи “с голоса” иноязычных слов и выражений»<sup>20</sup>. Первые русские средневековые словари-разговорники отражали интенсивные (прежде всего, торговые и религиозные) связи рус-

ских с другими народами — с византийскими греками, с тюркскими народами и др.

Г. А. Левченко справедливо указывает на тот факт, что идеографические (составленные по тематическому принципу) словари неизменно обладали эксплицитной идеологической направленностью, отражая картину мира составителя словаря: «Недаром, по наблюдению Н. В. Дубыниной, во многих идеографических словарях, изданных в России в XVIII в., рубрикаторы-темы располагались в той последовательности, в которой они изложены в первой главе ветхозаветной “Книги Бытия” (Бог, небо, стихии, растения, животные, человек)»<sup>21</sup>.

«Разговоры» как отдельный жанр словарей приобретают в середине XVIII в. дидактический характер — их целью становится обучение русских читателей иностранному языку, поэтому авторы первых русских учебников английского языка с легкостью инкорпорируют разговоры/диалоги в свои сочинения, посвященные фонетическим, лексическим, грамматическим особенностям английского языка<sup>22</sup>. Отметим, однако, существенное отличие этих разделов от предшествующих разговорников с их сложившейся структурой: в учебниках расположение тем-рубрикаторов описывает, прежде всего, идеальный распорядок дня светского человека со всеми возможными вариациями. Вопросы религии и мироздания, характерные для более ранних разговорников, почти совсем не присутствуют среди тем диалогов, необходимые обряды, в том числе и религиозные таинства, вытеснены на периферию и трактуются создателями пособий, прежде всего, как светские ритуалы: см., например, диалог 35 из учебника П. Жданова «*Of Christening, Wedding and Burial* / О крестинах, свадьбе и похоронах». Несомненным в данном случае видится влияние идеологии Просвещения и пропаганда западного «галантного» стиля жизни.

Небезынтересны для анализа и сами тексты диалогов. Складываясь в единый свертхтекст в каждом пособии, они легко объединяются в общий метатекст на основании тематической, языковой и социокультурной близости.

Знакомясь с текстами диалогов, мы получаем детальную информацию о многих бытовых подробностях жизни людей исследу-

дуемого периода (одежда, туалет, еда, жилище, цены на товары и услуги и многое другое). Г. Левченко называет разговорник продуктом эпохи, но также и ее свидетелем, поскольку он «запечатлевает бытовые факты, возможно, более нигде не упомянутые»<sup>23</sup>. Приведем в качестве примера отрывок из диалога 4 «*To Dress One-self / Одеваться*» из учебника П. Жданова 1772 г.<sup>24</sup>:

Boy, light a candle.	Малый, засвети свечу.
Pray reach or give me my breeches,	Пожалуй, достаньте или подайте
Morning gown, stockings...	Мне штаны, шлафрок, чулки...
Silk stockings or Worsted stockings?	Шелковые или гарусные?
Thread...	Нитяные...
Comb my Wig or Perriwig.	Причеши голову, причеши парик.
The Combs are not clean.	Гребни не чистые.
Will you have a Horn-comb	Какой гребень вам подать,
or a Vox-comb?..	роговой или буковый?..

Далее в том же диалоге обсуждаются такие детали мужского туалета, как рубашка (которая могла быть «чиста, грязна или нагрета»), надушенный платок, галстук, «манжетные накладки или манишки», перчатки, шляпа, шпага, а также камзол и епанча. В ряде случаев напрямую обсуждаются вопросы моды: «Галстук с кружевом не в манере»; «Для чего вы камзола своего не застегнете? — Я люблю ходить расстегнувши грудь. Это в моде».

Анализ текстов диалогов позволят сделать еще несколько важных наблюдений социокультурного характера. Обращает на себя внимание разница между современными представлениями о вежливости и этикете и теми нормами и представлениями, которые присутствуют в анализируемых диалогах, а также о том, что следует/не следует включать в учебное пособие. Так, в современном учебнике или разговорнике едва ли будут обсуждаться вопросы свежести рубашек или дырок на чулках. Обсуждение возраста человека, интимных отношений и некоторые другие детали, которые не входят в сферу представлений современных учебных пособий в силу того, что данные темы не рекомендованы этикетом в качестве тем разговора в официальных ситуациях и едва ли соответствуют представлениям о приличиях, постоянно присутствуют в пособиях конца XVIII — начала XIX в. Например, в учебнике

П. Жданова находим: «О чем ваш двоюродный братец печалится? — Мать у него умерла. — ...Итак, отец у него теперь вдовец. — Я думаю, он не пробудет вдовцом долго. Он скоро опять женится... — Богаты ли будут похороны?»<sup>25</sup> Приведем еще один выразительный пример из диалога 23 «Между двумя приятелями»: «Я о чем-то задумался. — Может быть, вы задумались о своей любовнице? ...Может быть, вы задумались о своем должнике? Может быть, засадить его в долговую тюрьму?»<sup>26</sup>

Очевидно, что отдельно следует отметить такой важный элемент ранних русских учебников английского языка, как их патристический настрой. Во всех учебниках затрагивается тема отношения русского и английского языков, а также упоминаются ведущие российские писатели и драматурги: «Каких же стихотворцев желаете купить? — Ломоносова, Сумарокова и Князя Кантемира сочинения»<sup>27</sup>; «Кто сочинитель оной (*трагедии*)? — Господин Сумароков... — Господин Сумароков также славен своими комедиями. А эта трагедия (“*Синав и Трувор*”) доставляет ему имя хорошего стихотворца трагедии»<sup>28</sup>. Обратим внимание на тот факт, что учебник П. Жданова базируется на английском учебнике Т. Дилворта и трактуется авторами «Истории преподавания английского языка» как переводной. Полагаем, однако, что вышеприведенные примеры наглядно свидетельствуют о переработке некоторых элементов оригинального учебника (в частности, некоторых диалогов), предпринятой автором русского варианта с целью приблизить пособие к его русскоязычной аудитории.

Отношение русского и английского языков прямо обсуждается в диалогах и разговорах, а также в предисловиях к учебникам. Диалоги 10 и 11 в учебнике П. Жданова 1772 г. озаглавлены «Говорить по-русски» (с. 203—210) и «Говорить по-англиски» (с. 211—212), и не вызывает сомнений тот факт, что данные части пособия также претерпели определенную корректировку в русском издании по сравнению с английским. Диалог 10, в частности, представляет собой беседу русского и английского купцов, и необходимость знания русского языка объясняется экономическими требованиями: «Ибо сей язык (*русский*) весьма нужен в сем государстве, и без него весьма трудно здесь жить. Все российские купцы по большей части

говорят по-русски; одним словом, все здесь производится на русском языке. Следовательно, и иностранцам необходимо, надобно учиться по-русски. — Я тому верю, но он весьма трудный язык. Я думаю, что английский язык не так труден... только произношение русского языка приятнее английского... — Однако же он не столь изобилен и не так важен. — Вы в этом ошибаетесь, а он действительно никакому языку ни в чем не уступает» (с. 294—295). Продолжая тему межъязыковых контактов, герои диалога 10 обсуждают возможности изучения английского языка русским человеком: «Есть книги очень хороши, но какой Лексикон употребляете? — У нас нет никакого на английском с русским; иначе бы мы могли приискать много слов и сами; однако же мы теперь принуждены иметь им учителя, или не совершенно учиться наслышкою» (с. 206). Героем диалога 11 становится некий молодой человек, который родился в Москве, а позже провел полтора года в Лондоне, где и выучил английский язык: «Говорю не много, больше разумею, нежели говорю. — Англиский язык для русского человека очень труден. — Русский язык гораздо труднее для англичанина. — Я сомневаюсь в этом»<sup>29</sup>.

Таким образом, анализ первых русских учебников английского языка позволяет сделать вывод об особой социокультурной роли, которую они играли в период конца XVIII — начала XIX в. в России, поскольку призваны были знакомить русских учеников не только с английским языком, но и с европейским образом жизни, системой ценностей, моделями поведения, не принижая, а в ряде случаев пропагандируя отечественную светскую культуру Нового времени.

<sup>1</sup> Кристалл Д. Английский язык как глобальный. М., 2001. С. 9.

<sup>2</sup> Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты. Л., 1978. С. 44.

<sup>3</sup> См.: Алексеев М. П. Английский язык в России и русский язык в Англии // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1944. Вып. 9, № 72. С. 77—137.

<sup>4</sup> Howatt A. P., Widdowson H. G. A History of English Language Teaching. 2<sup>nd</sup> ed. Oxf., 2004.

<sup>5</sup> Ibid. P. 65.

<sup>6</sup> М. П. Алексеев пишет: «Неожиданное на первый взгляд место издания этой весьма любопытной книги, пригодной, между прочим, и в качестве самоучителя,



объясняется тем, что г. Николаев в те годы становится важным центром черноморского кораблестроительства и имел свою навигационную школу, в которой некоторое время преподавал Прохор Иванович Суворов, выдающийся математик, получивший образование в Оксфорде и впоследствии избранный в Члены Российской Академии Наук» (*Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 92).

<sup>7</sup> *Aav Y. Russian Dictionaries. Dictionaries and Glossaries printed in Russia, 1627—1917. Zug Switzerland, 1977.*

<sup>8</sup> *Левин Ю. Д.* Пермский Михаил // *Словарь русских писателей XVIII века* : электронные публикации ИРЛИ РАН [Электронный ресурс]. URL: <http://libpushkins.kijdom.ru>.

<sup>9</sup> *Шишков А. С.* Трехязычный морской словарь на английском, французском и русском языках : в 3 ч. СПб., 1795.

<sup>10</sup> *Левин Ю. Д.* Кряжев Василий Степанович // *Словарь русских писателей XVIII века*.

<sup>11</sup> *Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 93.

<sup>12</sup> Об этом пишут исследователи разных периодов, см.: *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904; *Левченко Г. А.* Словарь-разговорник в России: к вопросу об истории жанра // *Вестн. МГУ. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 2006. № 3. С. 145—156; *Рост Ю. Н.* Преподавание английского языка в российских университетах в первой половине XIX века // *Там же*. С. 104—114.

<sup>13</sup> *Левченко Г. А.* Указ. соч. С. 150.

<sup>14</sup> *Вегелин И. Ф.* Новые англинские и российские разговоры, разделенные на 130 уроков. М., 1822.

<sup>15</sup> Там же. С. II.

<sup>16</sup> Там же.

<sup>17</sup> *Лотман Ю. М.* Литература в контексте русской культуры XVIII века // *Лотман Ю. М.* О русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, история литературы. СПб., 2005. С. 117—118.

<sup>18</sup> *Лотман Ю. М.* «Езда в остров любви» Третьяковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века // *Лотман Ю. М.* Избр. статьи : в 3 т. Таллин, 1992. Т. 2. С. 27.

<sup>19</sup> *Жданов П.* Англиская грамматика. СПб., 1772. С. I.

<sup>20</sup> *Левченко Г. А.* Указ. соч. С. 146.

<sup>21</sup> Там же. С. 149.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Там же. С. 151.

<sup>24</sup> *Жданов П.* Указ. соч. С. 181—185.

<sup>25</sup> Там же. С. 294.

<sup>26</sup> Там же. С. 156.

<sup>27</sup> Там же. С. 281.

<sup>28</sup> Там же. С. 211—212.

<sup>29</sup> Там же. С. 294—295.

К. А. Макрушина

## ПАРАДОКС ФЕНОМЕНА ДЖЕЙН ОСТЕН: НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ В XX — НАЧАЛЕ XXI в.

Недавно в Великобритании был опубликован список самых популярных женских романов за последние сто лет. Первое место в нем занял роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение», в нем, как и в других ее произведениях, наиболее ярко выразился образ «идеального английского прошлого», столь дорогого сердцу каждого британца.

У нас этот роман, к сожалению, не пользуется такой популярностью, хотя и достоин находиться в числе лучших переводных романов как классической, так и женской литературы. Джейн Остен является символом английской культуры. Ее имя англичане ставят в один ряд с такими великими представителями английской нации, как Ч. Диккенс, В. Скотт, У. Теккерея, сестры Бронте. Историческая эпоха, современницей которой стала Джейн Остен (1775—1817), была богата на события: Война за независимость в Соединенных Штатах, Великая французская революция, Наполеоновские войны. Хотя всю свою недолгую жизнь писательница провела в провинции, Стивентоне, Бате, Чотэне, Уинчестере, лишь изредка наезжая в Лондон, большой мир с его событиями и катаклизмами постоянно врвался в жизнь семейства Остен. Но в своих романах писательница предпочитала освещать лишь хорошо знакомые ей категории, а именно — английское провинциальное дворянское общество.

Первая заметка о Дж. Остен на русском языке появилась в печати почти два столетия тому назад. Это было извещение о выходе «Эммы», напечатанное в «Вестнике Европы»<sup>1</sup> за 1816 г. Затем наступило долгое молчание, прерванное лишь в середине 30-х гг. XX в. Лишь в 1967 г. издательством «Наука» Академии наук СССР в серии «Литературные памятники» впервые на русском языке был опубликован роман «Гордость и предубеждение».

Вместе с тем огромный интерес представляют не только романы писательницы, но и ее письма, написанные в разные периоды жизни. Обращаясь к биографии Дж. Остен, перед нами встает много вопросов, ее нелюбовь к публичности привела к тому, что исследователи обладают весьма скухими сведениями о ее жизни. К тому же ее сестра Кассандра, то ли выполняя волю Джейн, то ли скрывая какую-то семейную тайну, а может, стремясь уберечь личную жизнь покойной от нескромных взглядов, уничтожила большую часть ее переписки и тем самым лишила исследователей ценнейшего материала. Из воспоминаний Кэролин Остен, одной из племянниц писательницы, Кассандра «просмотрела все письма и сожгла большую их часть за два или три года до своей собственной смерти. Она оставила часть себе и раздала оставшиеся племянникам, но и даже те, которые я сама видела, были в некоторых местах исправлены, а некоторые части вырезаны»<sup>2</sup>.

В Великобритании особое внимание к Дж. Остен проявляют не только литературоведы, но и историки, ее переписка — уникальный исторический источник для изучения жизни английского провинциального дворянства на рубеже XVIII—XIX вв. Эпистолярное наследие Дж. Остен на русский язык пока не переведено и доступно лишь на английском языке в электронном виде<sup>3</sup>. Данное издание — «Письма Дж. Остен»<sup>4</sup> — было подготовлено лордом Брабуорном (1829—1893), внучатым племянником Дж. Остен. В него вошли ранее неизвестные письма Дж. Остен к ее сестре Кассандре, написанные в разные периоды ее жизни, начиная с 1796 по 1816 г., всего 94 письма. Эти письма принадлежали леди Натчбулл (*Lady Knatchbull, of Provender, Kent*), племяннице Дж. Остен. После смерти матери все ее бумаги попали в руки сына, который «сравнив эти письма с теми цитатами из писем, которые использовал для написания “Memoir” (1869 г.) племянник Дж. Остен мистер Остен-Ли (*James Edward Austen-Leigh*), лорд Брабуорн понял, что эти письма никогда не были в его руках»<sup>5</sup>. Тем самым в 1884 г. эти письма были впервые представлены публике.

Среди этих писем была и переписка с принцем-регентом, правившим в годы безумия короля Георга III (1811—1820), «первым джентльменом Европы», впоследствии королем Георгом IV, и его

личным секретарем, преподобным Дж. С. Кларком. Зимой 1815 г., когда писательница гостила в Лондоне, Дж. С. Кларк передал ей разрешение принца-регента посвятить ему будущие романы. Всего четыре письма. В декабре 1815 г. выходит в свет «Эмма» с кратким посвящением: «Его Королевскому Высочеству Принцу-Регенту с разрешения Его Королевского Высочества труд этот с уважением посвящает Его Королевского Высочества Послушный и скромный слуга, Автор». Вскоре Дж. Остен получила от Дж. С. Кларка письмо, в котором делалась попытка повлиять на дальнейшее направление ее творчества.

«В марте 1816 г. Дж. С. Кларк направляет Джейн Остен еще одно письмо, в котором советует ей написать исторический роман, прославляющий деяния Саксен-Кобургского дома, с которым собирался породниться принц-регент, и сообщает, что такое произведение в данный момент было бы очень высоко оценено при дворе»<sup>6</sup>.

В ответ Дж. Остен пишет: «...я так же не способна написать исторический роман, как и эпическую поэму»<sup>7</sup>. Это была попытка оказать давление на писательницу, диктовать ей выбор тем и героев, определить направление ее дальнейшего творчества. Требовалось немалое мужество, чтобы противостоять этому.

Публикация писем писательницы подарила исследователям огромный материал для изучения не только собственно биографии Дж. Остен, но и самого духа того времени. Таким образом, все исследования, посвященные переписке Дж. Остен, условно можно разделить на работы биографического, исторического и литературного плана.

Среди наиболее известных исследований следует отметить работу П. Хонан «Джейн Остен: ее жизнь»<sup>8</sup>, где на основе переписки реконструируются внутрисемейные отношения Остенов.

Также к еще одной критической работе можно отнести исследование профессора Оксфордского университета К. Сазерленд<sup>9</sup>, в котором показано, как в Англии создавался и был канонизирован образ Джейн Остен. Рост популярности писательницы в конце XIX в. активно поддерживался и ее семьей, так, в 1869 г. Д. Э. Остен-Ли опубликовал работу «Воспоминание» («Memoir»), а в 1913 г.

Вильям и Ричард А. Остен-Ли — «Жизнь и письма» («Life and letters»). Дж. Остен представлялась ими как женщина-романистка (*Lady novelist*) из Хэмпширской сельской местности. К. Сазерленд говорит о том, что такой образ старательно поддерживался своего рода цензурой и в связи с этим остались неопубликованными ранние работы писательницы, которые отличались еще некоторой незрелостью, только во второе издание «Memoir» (1871) были включены незаконченные и неопубликованные рукописи Дж. Остен, а именно небольшие фрагменты романов «Сэндинтоны», «Леди Сьюзан» и «Уотсоны»<sup>10</sup>. Огромный интерес представляет исследование самого литературного творчества писательницы — как создавались романы — через обращение к сохранившимся рукописям и упоминаниям о них в письмах.

Но в чем же «парадокс феномена» Дж. Остен? При жизни самой писательницы ее романы не принесли ей какой-либо славы, как и многие другие женщины-писательницы, она предпочитала публиковать свои романы анонимно, и только в узкой среде аристократии ее авторство не являлось секретом. В свое время романы Остен считались модными в высшем обществе, но получили немного положительных откликов. Однако в середине XIX в. ее романами восхищались уже члены литературной элиты. Публикация ее племянником в 1870 г. «Memoir of Jane Austen» представила писательницу широкой публике как привлекательную личность — «дорогую тетушку Джейн», и ее работы были переизданы популярными изданиями.

В начале XX в. исследователи выпустили полное издание коллекции работ Дж. Остен — первое из британских писателей, но вплоть до 40-х гг. имя писательницы не было широко признано в академической среде как «великой английской писательницы» («Great English novelist»). Вторая половина двадцатого столетия ознаменована расширением научного интереса к мисс Остен, в центре исследований оказываются различные аспекты ее работ: художественные, идеологические и исторические.

Но популярность к Дж. Остен пришла также наряду с критикой. Так, уже в последней четверти XIX в. были опубликованы

первые работы, содержащие в себе критический анализ. В 1890 г. Г. Смит (*Godwin Smith*) публикует «Жизнь Джейн Остен», тем самым инициируя новую фазу критического переосмысления наследия писательницы. «Это означало начало официальной критики, которая рассматривала Остен как писательницу и анализировала ее стиль, который делал ее произведения такими уникальными»<sup>11</sup>.

Среди наиболее проницательных критиков был Ричард Симпсон<sup>12</sup>. Он описывал Остен как серьезного, а не ироничного критика английского общества. Он открыл две проблемы, требующие интерпретации, которые впоследствии стали основой научной критики работ писательницы: юмор как способ критики существующего социального порядка и ирония, позволяющая дать моральную оценку происходящему.

В середине XX в. появляются ревизионистские тенденции, исследователи начинают испытывать все больший скептицизм по отношению как к творчеству мисс Остен, так и к самой ее личности. Д. Хардинг доказывает в своей статье, что романы Дж. Остен не поддерживают *status quo* социальных отношений в английском обществе, а даже подрывают его. Ее ирония была не юмористической, а едкой, направленной на критику того общества, которое она описывала в своих романах. Использование Дж. Остен иронии было попыткой защитить свою честность как писателя и человека перед лицом тех социальных отношений, которые она отвергала<sup>13</sup>.

После Второй мировой войны наблюдается новый подъем в исследовании наследия Дж. Остен, так же как и появление новых критических подходов. Одним из наиболее интересных и спорных подходов было представление о Дж. Остен как о политическом авторе. Как объясняет исследователь Г. Келли<sup>14</sup>, «некоторые считают ее приверженцем консерватизма, потому что может показаться, что она защищает существующий социальный порядок. Другие считают, что она испытывала симпатию к радикальным политикам, которые бросали вызов установленным социальным отношениям в обществе, особенно их патриархальности... некоторые склонны считать, что ее романы по сути своей имеют

сложный характер, критикуя некоторые аспекты существующего социального порядка, в целом они направлены на поддержание стабильности и классовой иерархии»<sup>15</sup>.

В 1970—1980-е гг. большое влияние на изучение Дж. Остен оказали исследования Сандры Гилберт и Сьюзан Губар<sup>16</sup>. Их работа наряду с феминистскими работами об Остен прочно утвердила ее звание как *женщины-писательницы* (*Woman writer*). Столь сильный интерес к фигуре Дж. Остен привел к открытию и других имен женщин-писательниц того времени. Более того, после публикаций таких авторов, как М. Киркхэм<sup>17</sup>, К. Л. Джонсон<sup>18</sup>, исследователи не могли утверждать, что Дж. Остен была аполитична или даже консервативна.

В конце 1980-х гг. и 2000-е гг. в исследованиях, посвященных Дж. Остен, доминировали идеологический, постколониальный и марксистский подходы. Открыл дебаты Эдвард Саид<sup>19</sup>, посвятив главу в своей книге «Культура и империализм» роману Дж. Остен «Мэнсфилд-парк», доказывая, что колониальная система и ее воздействие на народы, попавшие в зависимость от нее, совершенно не обсуждалась и не порицалась в английском обществе в начале XIX в., а эта тема была «сферой умолчания».

Из работ критического плана можно выделить исследование В. Гальперина «Историческая Остен»<sup>20</sup>. Он далек от идеализации писательницы и отрицает ее роль как выразительницы своего класса и времени, отмечая, что она находилась вне политической и социальной жизни вокруг нее, что наиболее ярко проявляется в ее переписке. Через нее Гальперин показывает писательницу мелочной и бессердечной, что выражалось в ее изощренном остроумии.

Интересным моментом также является возникновение «спора о джентри», который имеет свое отражение и в исследованиях, посвященных Дж. Остен. Именно эта социальная группа была в центре внимания писательницы, героини ее романов имели социальное происхождение, достаточно схожее с тем, что занимала сама семья Дж. Остен.

На рубеже XVIII—XIX вв. джентри являлись гетерогенной группой, и многие лишь копировали их традиционный образ жизни, другие, даже породнившись с «джентри», идентифицировали

себя по своей профессиональной принадлежности. Дж. Остен более интересуется персонажами, которые находятся в пограничном состоянии, близки к джентри, но несколько уступают им в собственности, чьи связи, образование или роль в обществе дали им право, как и ее отцу-ректору, вращаться в лучшем обществе в округе. Так, при исследовании переписки и романов Дж. Остен Т. Ловелл<sup>21</sup> выделяет эту группу просто как «низшее джентри» (*lesser gentry*), Н. Армстронг<sup>22</sup> выделяет их как «аристократию среднего класса» (*middle class aristocracy*), Д. Спринг<sup>23</sup> применяет категорию «псевдо-джентри» (*pseudo-gentry*). Но, тем не менее, все исследователи отмечают, что термин имеет много толкований и по сути своей изменчив.

«Юмор был самым драгоценным ее свойством, — пишет Сомерсет Моэм, который воссоздает картину жизни в английской провинции тех лет, восхищаясь редким умением Дж. Остен осветить блеском таланта даже самые, казалось бы, обыденные темы. — Ее интересовало обыкновенное, а не то, что зовется необыкновенным. Однако благодаря остроте зрения, иронии и остроумию, все, что она писала, было необыкновенно».

Творчество «несравненной Джейн», как назвал ее В. Скотт, продолжает быть живой традицией и в начале XXI в., а ее суждения о романе, произведении, в «котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума» и дано «проникновеннейшее знание человеческой природы», не потеряли своего значения и в сегодняшних литературных битвах. На страницах романов Дж. Остен перед нами открывается мир английского провинциального дворянства, описанный неподражаемым ироничным слогом, но ее переписка позволяет нам узнать, насколько правдивы были созданные ей картины «идеального английского прошлого» на самом деле и какое место сама писательница занимала в нем. Была ли она действительно той милой «тетушкой Джейн», какой хотели представить ее родственники в ее биографии, или же она была бесстрашным критиком существующего социального порядка? Над этим и многими другими вопросами будут работать еще многие поколения исследователей, стараясь разгадать тайну личности



писательницы и ее времени, когда под благожелательной улыбкой молодой леди могли скрываться совершенно неожиданные мысли. И картина «идеального английского прошлого» вполне может отливать позолотой.

<sup>1</sup> Вестн. Европы. 1816. Ч. 87, № 12. С. 319.

<sup>2</sup> *Le Faye D.* Jane Austen: a family record. Second edition. Cambr., 2003.

<sup>3</sup> The Republic of Pemberley [Electronic resource]. URL: <http://www.pemberley.com/>.

<sup>4</sup> Letters of Jane Austen / ed., introduction and critical remarks by Edward, Lord Brabourne [Electronic resource]. URL: <http://www.pemberley.com/>.

<sup>5</sup> The Republic of Pemberley [Electronic resource]. URL: <http://www.pemberley.com/janeinfo/brablet1.html>.

<sup>6</sup> Литературный клуб «Дамские забавы» [Электронный ресурс]. URL: <http://aprospace.com/damzabava/osten/ost3.html>.

<sup>7</sup> The Republic of Pemberley [Electronic resource]. URL: <http://www.pemberley.com/janeinfo/brablet1.html#letter6>.

<sup>8</sup> *Honan P.* Jane Austen: her life. L., 1987.

<sup>9</sup> *Sutherland K.* Jane Austen's textual lives from Aeschylus to Bollywood. Oxf., 2005.

<sup>10</sup> *Sutherland K.* «Introduction». A Memoir of Jane Austen and other family recollections. Oxf., 2002.

<sup>11</sup> *Southam B. C.* Jane Austen: the critical heritage, 1870—1940. L., 1987. Vol. 2.

<sup>12</sup> *Simpson R.* Jane Austen: the critical heritage, 1812—1870. L., 1968.

<sup>13</sup> *Harding D. W.* Regulated hatred: an aspect of the work of Jane Austen. N. Y., 1963.

<sup>14</sup> *Kelly G.* Religion and politics. The Cambridge companion to Jane Austen. Cambr., 1997.

<sup>15</sup> Ibid. P. 156.

<sup>16</sup> *Gilbert S., Gubar S.* The madwoman in the Attic: the woman writer and the nineteenth-century literature imagination. New Haven, 1979.

<sup>17</sup> *Kirkham M.* Jane Austen, feminism and fiction. Brighton, 1983.

<sup>18</sup> *Johnson C. L.* Jane Austen: women, politics and the novel. Chicago, 1988.

<sup>19</sup> *Said E. W.* Culture and imperialism. N. Y., 1993.

<sup>20</sup> *Galperin W.* The historical Austen. Philadelphia, 2002.

<sup>21</sup> *Lovell T.* Jane Austen and the gentry: a study in literature and ideology. Oxf., 1978.

<sup>22</sup> *Armstrong N.* Desire and domestic fiction: a political history of the novel. Oxf. ; N. Y., 1987.

<sup>23</sup> *Spring D.* Interpreters of Jane Austen's social world: literary critics and historians. N. Y. ; L., 1983.

И. А. Савинов

## «BRITISH RAJ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX в.

Вторая половина XIX в. ознаменовалась продолжающимся углублением противоречий между Россией и Великобританией, особенно в колониальной сфере, а также усилением азиатской экспансии обеих империй. К 80-м гг. границы Российской империи вплотную приблизились к пределам Британской Индии. Эти события привели к активизации шпионской деятельности в рамках так называемой Большой игры (*The Great game*)<sup>1</sup>.

Одним из аспектов этой борьбы стало информационное противоборство между двумя империями. В России появляется ряд работ, посвященных освещению возможного похода в Индию, создаются стратегические планы наступления русских войск<sup>2</sup>. Ряд русских путешественников, побывавших в Индии в этот период, упоминают о газетных публикациях, посвященных возможной войне с Россией. По свидетельствам И. П. Минаева, оставленным в дневниках его второго путешествия в Индию, в англо-индийской среде сложилось крайне негативное отношение к России, вплоть до призывов к войне<sup>3</sup>.

В этом контексте интересны представления русскоязычной элиты об англо-индийцах и оценка эффективности управления Индийской империей. В какой степени на них повлияло соперничество Великобритании и России?

Как отмечает М. Рыженков, поездки русских в Индию в конце XIX в. были достаточно редки<sup>4</sup>. Они носили либо официальный характер — как, например, командировка А. Ф. Гильфердинга, либо преследовали научные цели — поездки профессора И. П. Минаева, А. Н. Краснова. В какой-то степени в эту же категорию можно отнести и путешествия в страну Е. Блаватской. Отдельно можно выделить шпионскую деятельность, например, путешествие Д. И. Ливкина.

Соответственно, довольно сильно различаются и оставленные путешественниками источники. Часть из них носят в первую очередь официальный характер — отчеты, донесения и т. д. Другие являются работами личного происхождения — дневники, мемуары, ряд очерков.

В источниках, оставленных путешественниками, можно выделить три основные темы.

1. Повседневная жизнь англо-индийцев в Индии. Этот вопрос раскрывается авторами в наименьшей степени. Описание жизни англичан в Индии обычно носит второстепенный характер, путешественники упоминают о ней вскользь, не заостряют своего внимания. Часто создается ощущение, что для автора эти вопросы не представляют интереса, так как они видятся ему обыденными и не требующими отдельных объяснений. Наиболее интересными с точки зрения изучения проблем повседневной жизни являются дневники и очерки профессора И. П. Минаева и очерки Е. П. Блаватской.

2. Русские источники дают статистическую информацию: численность английских войск, гражданского населения, расположение полков, экономическая и демографическая ситуация в стране.

3. Наиболее интересной для русских была проблема взаимоотношений между англо-индийцами и местным населением. Этот вопрос затрагивают все авторы, рассматривая различные сферы: начиная от повседневной жизни, заканчивая карьерой и военной службой. Англичане постоянно критикуются за жестокое обращение с индийцами<sup>5</sup>, отчуждение от них<sup>6</sup> и дискриминацию как на гражданской<sup>7</sup>, так и на военной службе<sup>8</sup>. Е. Блаватская в книге «Дурбар в Лахоре» приводит свое мнение по этой проблеме: «Англо-индийцы в продолжение последнего двадцатилетия выработали в себе такие предрассудки в поблажку своему высокомерию и чванству. В Индии, где все раболепно преклоняются перед ними, эти два порока раздуваются в них пропорционально с зараженной климатом печенью; в Англии никто из них не посмел бы сознаться, с каким чисто азиатским деспотизмом и презрением он относится к индусам»<sup>9</sup>. Крайне неприглядную картину взаимоотношений между англичанами и туземцами приводит А. Снесарев в книге «Индия как главный фактор в средне-азиатском вопросе».

Впрочем, достоверность этих сведений вполне можно поставить под сомнение. Другие источники, несомненно, подтверждают крайнюю разобщенность английского и индийского населения. Но данные о столь жестоком обращении с местным населением не приводят ни французские путешественники<sup>10</sup>, ни англо-индийцы. Вполне вероятно, что А. Снесарев и Е. Блаватская описывают лишь наиболее одиозные проявления взаимоотношений между местным населением и колонизаторами. Впрочем, слова Блаватской о влиянии индийской социальной среды на англо-индийцев подтверждаются в том числе и в мемуарах Р. Киплинга<sup>11</sup>. С моей точки зрения, в данной ситуации проявляется своеобразное стремление к демонизации англичан как потенциальных противников.

В целом путешественники из России склонны к жесткой и не всегда справедливой критике английского правления страной. Образ англичан рисуется в негативных красках: подчеркивается их высокомерие, чванливость, жестокость и презрительность к индусам. Русские источники сильно политизированы, так, например, в дневниках И. Минаева большое значение имеют темы противостояния России и Великобритании и оценка эффективности и перспектив управления Индией.

Англо-русское соперничество довольно сильно отразилось в работах русских путешественников. В этом — своеобразии этих источников. Большое значение в них уделяется статистическим данным и взаимоотношениям англичан и местного населения. Политический аспект для авторов, осознанно или неосознанно, занимает очень важное место. Безусловно, эти моменты необходимо учитывать при работе с данными произведениями.

---

<sup>1</sup> См.: *Литвинов П. П.* Британская Индия и Русский Туркестан во второй половине XIX — начале XX в. // Россия — Индия: перспективы регионального сотрудничества. М., 2000. С. 112.

<sup>2</sup> См.: *Лебедев В. Т.* В Индию. Военно-статистический и стратегический очерк. Проект будущего похода. СПб., 1898; *Соболев Л. Н.* Возможен ли поход Русских в Индию? М., 1901.

<sup>3</sup> *Минаев И. П.* Дневники путешествий в Индию и Бирму. М., 1955. С. 40.

<sup>4</sup> *Рыженков М. Р.* Командировка Д. И. Ливкина в Индию в 1898—1899 гг. // Российские путешественники в Индии, XIX — начало XX в. М., 1990. С. 172.

<sup>5</sup> *Снесарев А. Е.* Индия как главный фактор в средне-азиатском вопросе. СПб., 1906. С. 147.

<sup>6</sup> *Блаватская Е. П.* Загадочные племена на голубых горах. М., 1994. С. 23.

<sup>7</sup> *Скотин В. Н.* Средняя Азия и Индия // История Индии. М., 2004. С. 29.

<sup>8</sup> Отчет штабс-капитана А. Ф. Гильфердинга об его командировке в Индию для изучения языка хиндустани // История Индии. М., 2004.

<sup>9</sup> *Блаватская Е. П.* Дурбар в Лахоре [Электронный ресурс]. URL: <http://www.georoesia.ru/> (свободный).

<sup>10</sup> См.: *Русселл Л.* Живописная Индия. Индия раджей. СПб., 1877; *Жаколио Л.* Факиры-очарователи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theosophy.ru/lib/jacolio.htm>; *Грандидье А.* Индия и Цейлон. СПб., 1871.

<sup>11</sup> *Киплинг Р.* Немного о себе. М., 2003. С. 42.

*Е. С. Соколова*

## VILLA SUBURBANA ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРЕМЕНИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СПОРЫ ВОКРУГ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ КОДОВ ХЕЛЬБРУННА

Одним из наиболее востребованных концептов современной интеллектуальной истории является осознание множественности ее смыслов, текстологическое значение которых раскрывает свои тайны лишь тем исследователям, для которых отношение к прошлому идентично процессу мышления, направленному на установление границ наших возможностей в достижении вечно ускользающей гармонии универсального и единичного. Стремление историка к воссозданию целостной картины мира всегда существует в противоречии с подлинной исторической реальностью, отдельные проявления которой находят свое отражение в отрывочных идеях и действиях людей прошлого, доступных для нашего восприятия благодаря сохранности в исторических источниках. Любой артефакт обладает скрытым семиотическим подтекстом, более или менее соответствующим уникальности и конечности того временного отрезка, в пределах которого его творцы проживают свою жизнь, находясь в постоянной борьбе с ее скоротечностью, стремясь придать путем саморефлексии сущностно-исторический

аспект структурам окружающей повседневности. Размышления людей, олицетворяющих «другие» эпохи, всегда прямо или косвенно связаны с поиском смысла индивидуального бытия, растворенного в коммуникативных связях настоящего и прошедшего. Их многообразие уже само по себе является достойным объектом для исследования аксиологических конструкций универсума, моделирование которых отражает стремление человечества к поиску своих истоков ради преодоления собственной незавершенности, создающей безграничное расстояние между индивидом, природой и космосом.

Многранность образов мира, свойственных человеческому сознанию, связана с тягой мыслящей личности к обретению внутренней гармонии, доступной для тех немногих, кто наделен способностью восприятия целостности Вселенной, сотканной из множества единичных вещей, расположенных сообразно своей природе. Тоска по «платоновским крыльям», воспетая М. Фичино в его рассуждениях о вечном странствии души между небом и землей, во все исторические времена была уделом интеллектуалов, неизменно преодолевающих конфликт разума с искушением проникнуть в природу вещей, возникающим по мере осознания ими несовершенства человеческого мышления, способного, конечно, превратить время и пространство в объект научного познания, но не обладающего силой противостояния собственному «Я», которое неизменно наделяет все сущее свойствами, доступными для нашего понимания<sup>1</sup>. Мечта о достижении абсолюта является неотъемлемым элементом процесса самоидентификации, примиряющего человека с самим собой и временем, в котором ему суждено жить, на основе утверждения исторической реальности индивидуального бытия, устремленного как в прошлое, так и в будущее. Подлинность настоящего особенно хорошо осознается в ходе осмысления семантики текстов, созданных предшествующими поколениями, которые так же, как их потомки, страдали от незавершенности собственного исторического опыта, и старались возвыситься над обыденностью, творчески переосмысливая в поисках собственного интеллектуального потенциала духовные ценности, завещанные им предыдущими эпохами. «Открытость» истории для будущего может существовать лишь в форме рефлексии, направленной

к постижению смыслового подтекста артефактов прошлого, результативность которой аккумулируется в историческом нарративе, создающем, по справедливому замечанию К. Ясперса, предпосылки для разграничения всеобщего и индивидуального, открывая новому поколению интеллектуалов «то, что самому исследователю уже недоступно»<sup>2</sup>.

Семиотичность исторического источника, скрытая как в его внешних характеристиках, так и в содержательной форме, приобретает свою образность, прежде всего, в многочисленных реминисценциях, текстология которых обладает широким диапазоном воздействия на разные социальные слои и отличается тенденцией к синтезу разных смысловых уровней. Определенное «знаковости» памятников истории и культуры является приоритетной чертой не только научного мышления, но и повседневного восприятия окружающей реальности в обыденном сознании рядовых людей, склонных к историческому воспоминанию ради углубления внутреннего содержания собственного существования, теряющего свой смысл при отсутствии духовных условий для обретения идентичности. Расшифровка мнемонических кодов прошлого частными лицами, не стремящимися к созданию цельных историографических концепций, но сознающих при этом решающее значение интеллектуальной основы для герменевтической интерпретации мест и образов памяти, должна стать составной частью современного исследования текстологической стратегии любого исторического источника.

Большой методологический интерес для воссоздания представлений прошлого о взаимосвязи человеческого мира и макрокосма представляет изучение образа сада, классические топосы которого были разработаны философами и поэтами античности в качестве особого текста, воплощающего в себе знаковый символ высокой учености, склонной к систематическим размышлениям о смысле жизни и смерти, о силе судьбы, о прошедшем и настоящем. Античная концепция организации садово-паркового пространства была перенесена итальянскими гуманистами в культурную парадигму западноевропейского Ренессанса, отличительная черта которой заключается в наличии тенденции к постепенному исчезновению

границы между природой и облагораживающим ее воздействием творческого гения мыслящей личности, способной по собственной воле усовершенствовать то, что сотворено Богом.

Анализируя текстологию садово-паркового искусства нового времени, Д. С. Лихачев и его новейшие последователи акцентируют внимание на тех семантических аллюзиях, которые отражают развитие эстетических критериев, способных дать представление о способах воздействия на человеческие чувства, использованные творцами садов в предшествующие века для превращения природного ландшафта в подобие философской книги, «по которой можно “прочитать” Вселенную»<sup>3</sup>. Менее приоритетным объектом исследования является в историографии садов проблема выявления специфики интеллектуального влияния садовых топосов на формирование представлений об архетипах власти, которые всегда возникают под влиянием особой архитектоники государственно-правового пространства, определяющей культурно-исторический контекст частной жизни человека во все исторические эпохи. Интересным примером соотношения сакрального и профанного в интеллектуализации политического аспекта ренессансной модели мироздания является загородная резиденция, возведенная в Хельбрунне по приказу архиепископа земли Зальцбург Маркуса Ситтикуса фон Хоэнемса между 1612 и 1619 гг. в соответствии с образцами итальянских вилл XV—XVI столетий, построенных на основе теоретических рекомендаций Л. Б. Альберти и А. Палладио.

Обширная историография, посвященная исследованию эстетических и социальных концептов, использованных в декоративном убранстве интерьеров архиепископского дворца и примыкающего к нему парка, идентифицирует архитектурный ансамбль Хельбрунна с классическим типом *Villa Suburbana*, в облике которого соединялись черты античного поместья, включенного в цикл природы, и элитарного сооружения эпохи Возрождения, предназначенного для «отдохновения» и «удовольствий»<sup>4</sup>. Многомерность художественного пространства, определяющего внешний и внутренний облик неофициальной резиденции Маркуса Ситтикуса, способствовала обращению ее создателей к использованию многообразных текстологических кодов, которые с трудом поддаются сегодня расшифровке из-за отсутствия достоверных нарративных



источников, отражающих как сущность архитектурного замысла виллы, так и специфику мировоззрения ее заказчика. Наличие большого количества мифологических аллюзий в декоре Хельбруннского парка привело некоторых новейших авторов к выводу о преобладании «игрового» элемента в планировке многочисленных фонтанов, гротов и павильонов, призванной создать иллюзию временного освобождения архиепископа от властных полномочий. Так, например, по мнению одного из биографов Маркуса Ситтикуса, хельбруннская резиденция строилась по типу усадьбы частного лица, где можно было присвоить себе роль утонченного патриция и в соответствии с классической традицией посвятить свой досуг организации камерных концертов и оперных представлений под открытым небом, проходивших во времена архиепископа в Каменном театре, стилизованном под античные руины<sup>5</sup>.

Менее разработанным компонентом историографии Хельбруна является вопрос о степени итальянского влияния на семантику его декора и присутствующие в ней мифологические реминисценции, направленные на укрепление социально-политического статуса владельца виллы. Архетип идеального сада эпохи Возрождения в значительной степени восходит к творчеству Ф. Петрарки, эстетические взгляды которого представляли собой синтез историко-культурных реминисценций, навеянных чтением античных авторов и включенных в контекст «приятного глазу» пейзажа римских окрестностей. Описание горных долин с «множеством прохладных гротов», нежно журчащих источников, сладких плодов Вакха и «изобилием Цереры» словно сошло со страниц одного из его писем в сады, разбитые вокруг ренессансных вилл<sup>6</sup>. Та же дидактическая роль, связанная с обобщением художественного опыта загородных резиденций, построенных вокруг Флоренции на рубеже XIV—XV вв., является отличительной чертой образа идеального города, сконструированного Л. Б. Альберти в рамках концепции синтеза сакральных и светских элементов усадебных построек, возведенных по классическим образцам для патрициев-гуманистов. Интерпретируя аристократическую усадьбу как Храм Природы, автор сочинения «О зодчестве» придает огромное значение гармоничному сочетанию архитектурного замысла с пейзажными красотами окружающей местности и смысловыми ал-

люзиями садового декора. По мнению Альберти, образ жизни, избранный владельцем загородной виллы, должен отражаться как в расположении здания, так и в способах его украшения. Опираясь на авторитет древних авторов, он советует строить жилище патриция так, чтобы добиться господства принципа «золотой середины», когда «утренние лучи не светят в глаза идущим и вечернее солнце не тяготит возвращающихся домой». Частная вилла, предназначенная для уединения, должна радовать глаз и возвышать душу своими тенистыми аллеями, прозрачными источниками, навевающими размышления о разнообразии сил природы, и многочисленными изображениями «достойных памяти деяний», помещенных в подходящие для этого портики, ниши и искусственные гроты.

Иными смысловыми топосами должно, по мнению Альберти, обладать жилище правителя, возникающее из политической необходимости укреплять власть и осуществлять репрезентативные функции, для чего архитектор-гуманист советует объединить дворец с крепостью, способной обезопасить своего владельца от превратностей судьбы, одновременно создавая возможности для «вкушения сладости жизни»<sup>7</sup>. Образ доблестного политика-философа сознательно включался в природную среду, что позволяло выявить многообразие универсума, опираясь на образные средства, формирующие микрокосмическое пространство сада. Сад рассматривался как органичное продолжение городского дворца или же сельской виллы, демонстрирующее как вкус и эрудицию хозяина, так и уровень высоты его социально-политического статуса.

Схожие рекомендации содержатся и в практическом руководстве А. Палладио, составленном для разработки проектов официальных и частных резиденций, гармонично вписанных в окружающую среду и соразмерных месту, времени и душевным склонностям заказчика. Опираясь на хорошо известную в ренессансном мире формулу Витрувия, автор «Четырех книг об архитектуре» выдвинул классическую концепцию частной виллы, построенной с использованием ордерной конструкции, в которой, таким образом, «должны быть соблюдены три вещи... это польза, или удобство, долговечность и красота...»<sup>8</sup>. По словам Палладио, основным критерием удобства является соответствие дома «положению своего обитате-

ля. ...Поэтому... знатым людям, и особенно людям государственным, требуются дома с лоджиями и с большими украшенными залами, чтобы в таких помещениях могли с удовольствием пребывать те, кто пришли к хозяину дома с приветствием, за помощью или за милостью...». Особое внимание уделено в трактате проблеме выбора местности для строительства загородной виллы, «где... душа, утомленная городскими тревожениями, находит великое отдохновение и утешение и на досуге может предаваться наукам и созерцанию»<sup>9</sup>. Учитывая тягу образованного патриция-интеллектуала к созерцательному уединению, Палладио рекомендует не пренебрегать античной традицией общения «сельского хозяина» с природой, раскрывающей свою божественную сущность через гармонию окружающего пейзажа. В его трактовке обязательным элементом идеальной *Villa Suburbana* является ее расположение в середине поместья, с тем чтобы можно было обозревать окрестности «и улучшать окружающие владения». Удобство и эстетическое совершенство загородного дома в значительной степени зависят и от состояния источников воды: наиболее желательно расположить виллу на берегу реки или «неподалеку от иных проточных вод», дающих летом «прохладу и прекраснейший вид», «не говоря о том, что... угодя, сады и огороды — душа и отрада виллы — будут орошаться с великой пользой и красотой»<sup>10</sup>. В качестве примера наиболее универсальной модели частной постройки, воспроизводящей идею единства микро- и макрокосма, Палладио приводит проект знаменитой виллы Ротонда, построенной им по заказу папского референдаря Паоло Альмерико в горных окрестностях Виченцы «меньше чем в четверти мили от города». По мнению самого архитектора, «это место — самое красивое и приятное, какое только можно себе вообразить; оно расположено на небольшом легкого подъема пригорке, омываемом с одной стороны судоходной рекой... а с другой окутанном приятными холмами, являющими вид... большого амфитеатра... изобилующими роскошными плодами и отличными виноградниками»<sup>11</sup>.

Сопоставление облика резиденции Маркуса Ситтикуса с классическим описанием идеальной виллы в архитектурных трактатах эпохи Возрождения убеждает в том, что архиепископ Зальцбурга предпочитал действовать по принципу «золотой середины»,

избрав в качестве архетипа своей усадьбы образ «Храма природы», преобразованного искусством человека в изящный мир радости и веселья, предназначенный для сакрального воздействия на демонические силы, способствующие ослаблению воли правителя к разумным и справедливым свершениям. По оценкам ряда немецкоязычных историков Хельбрунна, выбор места для возведения архиепископской виллы был продиктован не только практически соображениями, но и духовными потребностями ее владельца. Хельбрунн традиционно воспринимался населением земли Зальцбург как некое священное пространство, населенное мифологическими персонажами, персонифицирующими силы природы и свойственные этому региону геолого-топографические особенности. Отличительная черта данной местности заключается в наличии большого количества подземных источников, благодаря чему здесь сохраняется немало редких видов флоры и фауны. Первые документальные свидетельства о хозяйственном использовании охотничьих угодий Хельбрунна, которые приобретают заповедный характер и используются в качестве своеобразного *locus amoris* для организации досуга архиепископского двора, относятся к 1421 г. Графическое изображение окрестностей архиепископского зверинца, включенное в «Карту Баварии», составленную в 1565 г. Филиппом Апианом, дает представление о характере застройки, использованной для «облагораживания» девственной природы<sup>12</sup>. Готический летний домик с ребристой вертикальной крышей, обнесенный крепостной стеной, очевидно, являлся в сезон охоты своеобразным административным центром хельбруннского поместья, откуда лесничие могли следить за организацией парадных выездов знатных гостей и своевременно пресекать попытки браконьерства. Магическое значение этого *locus sacer* подчеркивалось не только отгороженностью от внешнего мира, но и характером природного ландшафта, где тенистые рощи сменяются вересковыми пустошами, а подземные воды, выходящие на поверхность, омывают островоподобный холм, который, предположительно, носит имя одного из древнегерманских богов, повелевающего подземным царством. Судя по описаниям современников и сохранившимся ренессансно-барочным фрагментам садового декора в составе современного дворцово-паркового комплекса, архитектоника

природного ландшафта времен Маркуса Ситтикуса отличалась наличием продуманного мифологического контекста, воплощенного в образах языческих богов-покровителей человеческой доблести и дополненного геральдической символикой фамилии фон Хоэнемс, принадлежность к которой означала родство заказчика виллы с наиболее влиятельными аристократическими семействами Австрии, Милана, Флоренции и Неаполя.

Особая сакральная роль была отведена религиозно-политическим аспектам мифа о Персее, скульптурное изображение которого до сих пор украшает балюстраду каменного грота, входящего в комплекс фонтанов Зодиакального пруда, топоры которого связаны со сменой времен года, символизируя круговорот жизни и смерти. В христианской традиции блистательная судьба этого античного героя рассматривалась как аллегория победы разума над искушениями земной власти. Не исключено, что для Маркуса Ситтикуса, принявшего духовный сан по настоянию своего влиятельного родственника кардинала Карла Борromeо, канонизированного в 1610 г., история Персея была насыщена и иной семантикой. По свидетельству И. Штейнхаузера, исполнявшего в период строительства резиденции обязанности секретаря архиепископа Зальцбургского, карнавальная процессия 1618 г., организованная его господином для увеселения своих подданных, была посвящена теме садов Гесперид, заимствованной из «Метаморфоз» Овидия. Особенно грандиозное впечатление произвела на зрителей выполненная в натуральную величину модель апельсинового дерева, под которым были разбросаны настоящие плоды померанца. Фигуры золотого льва и горного козла с причудливо изогнутыми рогами, слившиеся в крепком объятии по обе стороны ствола дерева вечной молодости, символизировали нерасторжимую связь земли Зальцбург и ее покровителя архиепископа Маркуса Ситтикуса фон Хоэнемса, объединяющего духовную и светскую власть<sup>13</sup>. Центральная идея карнавальной аллегии заключалась в сакрализации похищенных Персеем «золотых яблок», которые отныне передавались в дар архиепископу как символ победы мудрости над греховностью в качестве знака прославления доблести славного представителя семьи Хоэнемс, сумевшего возвыситься над земной суетой. Подобная символика чудесных плодов Гесперид при-

существует и в итальянских виллах эпохи Ренессанса, являясь, например, доминирующим топосом резиденции кардинала Иполито д'Эсте в Тиволи, которую, предположительно, Маркус Ситтикус мог посетить в период своего пребывания в Риме (1584—1586)<sup>14</sup>.

Мифологизация «зеленых ландшафтов» загородной усадьбы Хельбрунна присутствует и в выборе местности для разбивки садов, сакральное значение которой фигурировало еще в античных концепциях природы благодаря ее насыщенности подземными источниками, создающими по языческим представлениям благоприятную духовную атмосферу для общения людей с миром богов и духами из царства мертвых. Одним из преобладающих мотивов декоративного оформления резиденции Маркуса Ситтикуса является ярко выраженная тенденция к превращению природы, олицетворенной в персонажах античной мифологии, покровительствующих водной стихии, лесам и временам года, в союзницу человека, созидающего своим творчеством модель миниатюрной Вселенной, расположенной в пределах профанного земного мира. Если принять во внимание одну из новейших версий, высказанную в рамках историографии Хельбрунна группой немецких исследователей по поводу возможности идентифицировать зальцбургскую виллу с топонимикой «садов Сатурна», то становится более понятной тяга Маркуса Ситтикуса к барочным формам садового декора, несущим в себе гротескную и ироничную смысловую нагрузку, призывающую к внешнему освобождению от классической серьезности Ренессанса, насыщенной многообразными аллегориями добродетели и порока<sup>15</sup>. «Смеховой» контекст шуточных фонтанов и искусственных гротов с водяными сюрпризами, обрамляющих Королевскую аллею на внутреннем дворе хельбруннской виллы, служил своеобразным эстетическим и концептуальным противовесом от «черной» и «сухой» меланхолии, навеянной гористым рельефом окружающей местности и многочисленными подземными ключами, скрывающими под собой глубокие пещеры, населенные враждебными демонами тоски и одиночества. Та же нейтрализующая роль, очевидно, принадлежала и скульптурной композиции, изображающей уродливо балагуриющую группу шутов-простецов, в центре которой помещена фигура человека,

мечущего камни в лесных птиц. Неизвестный скульптор, которым предположительно считается Сантино Солари (1576—1646), приглашенный в Зальцбург для реконструкции Кафедрального собора<sup>16</sup>, расположил эту чудовищную аллегория низменной человеческой природы над гротом Орфея, украшенным статуей легендарного музыканта, покорившего силой своего искусства души людей и богов. Задача сохранения образными средствами равновесия «верха» и «низа», свойственного бытийственному пространству христианской культуры, достигается в данном случае с помощью введения в скульптурный декор грота изображения самого Маркуса Ситтикуса, портрет которого сжимает в руке Эвридика, рассыпающаяся под небесные звуки орфической флейты, так же как грешная человеческая душа возвышается над земным миром, облагороженная силой духовного примера Христа.

Насыщенность топосов Хельбрунна разнообразными культурными аллюзиями и религиозно-философскими реминисценциями, которые только на первый взгляд типологически примыкают к ренессансно-барочным традициям позднего итальянского гуманизма, лишь усиливает сложность «прочтения» интеллектуальных кодов, использованных в резиденции Маркуса Ситтикуса для формирования среды обитания, семантически открытой для избранного круга «посвященных» лиц. Много пробелов существует и в биографии архиепископа, человеческая судьба которого сложилась вопреки его природным склонностям к внешнему блеску и духовной свободе просвещенного покровителя искусств. Неясными остаются его мировоззренческие концепции, характер религиозной веры, уровень образования. Вряд ли когда-нибудь можно будет дать исчерпывающий ответ на вопрос, являлся ли Хельбрунн для Маркуса Ситтикуса тайным духовным прибежищем, где можно было хотя бы на время преодолеть чувство вины за тягостную необходимость исполнять роль тюремщика по отношению к своему кузену и близкому другу Вольфу Дитриху фон Ратенау, который был предшественником своего более удачливого родственника на зальцбургской кафедре (1587—1612). Архитектоника садов Хельбрунна молчит и по поводу степени эрудиции Маркуса Ситтикуса, образ которого приобрел стараниями мемуаристов противоречивые черты

утонченного гуманиста, имидж которого сочетался в восприятии современников с крайней поверхностностью бездельника-недоучки, бросающего на ветер ради собственных прихотей как средства своих богатых родственников, так и содержимое кошельков подданных<sup>17</sup>.

Обзор проблематики, связанной с исследованием соотношения общего и единичного в типологии Хельбрунна, позволяет выявить наиболее спорные методологические концепты, возникающие при описании и идентификации артефактов прошлого. Творческая активность ушедших поколений имеет мало общего с представлениями современных людей о том, как мыслили и действовали наши предшественники, находясь в пограничных ситуациях, требующих напряжения духовных сил и реализации мировоззренческого опыта в жестких рамках той или иной культурно-исторической парадигмы. Прошлое всегда остается Прошлым, лишь опосредованно отражаясь в зеркале настоящего, которое обладает уже иными оптическими характеристиками. В гроте Орфея застывшая фигура козерога неподвижно смотрит на собственное отражение в зеркальной глади подземных вод, струи которых преобразены в искусственный фонтан, символизирующий уход природы от самой себя под воздействием культурных кодов, изобретенных философами и ваятелями барочной эпохи. Той же отстраненностью обладают и тексты прошлого, которые предпочитают независимое существование от своих творцов и интерпретаторов как в пространстве, так и во времени. Подлинная историческая реальность, какой бы она ни была, всегда ускользает от исследователя, создавая тем самым мощный духовный стимул для активизации познавательных усилий человечества к поиску качественно новых форм диалога с многоликими образами прошлого.

---

<sup>1</sup> *Фичино М.* Платоновское богословие о бессмертии душ // Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. М., 1996. С. 201—204.

<sup>2</sup> *Ясперс К.* Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 250.

<sup>3</sup> *Лихачев Д. С.* Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 2-е изд. СПб., 1991. С. 19; О семантических проблемах изучения садово-



паркового искусства см., например: *Ахутин А. В.* Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). М., 1988; *Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н.* Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай. М., 2002; *Свирида И. И.* Сады Века философов в Польше. М., 1994; *Йонг Э. А. де.* «Paradis Batavis»: Петр Великий и нидерландская садово-парковая архитектура // Петр I и Голландия. Русско-голландские научные и художественные связи в эпоху Петра Великого. СПб., 1997. С. 286—303; *Свирида И. И.* Естественный парк от эпохи Просвещения к романтизму и бидермейеру // Искусствознание. 2001. № 1. С. 250—252.

<sup>4</sup> См., например: *Buberl P., Martin F.* Schloß Hellbrunn // Österreichische Kunsttopographie. Bd. 11 : Die Denkmale des Gerichtsbezirkes Salzburg. Wien, 1916. S. 163—262; *Schaber W.* Hellbrunn. Palace, parc and trick fountains. Hellbrunn, 2004. P. 4—5; *Bigler R.* Hellbrunn. Wien, 1996. P. 10—12. В отечественной историографии проблема семантических кодов Хельбрунна не разрабатывалась. Отрывочные упоминания о близости его садов к североритальянским образцам содержатся в классической монографии В. Я. Курбатова по истории ландшафтного дизайна. См.: *Курбатов В. Я.* Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира. М., 2007. С. 270—271.

<sup>5</sup> *Kutscher A.* Vom Salzburger Barocktheter zu den Salzburger Festspielen. Salzburg, 1939. S. 39; *Paumgartner B.* Mozart. Dritte Auflage. Zürich, 1945. S. 68—70; *Shaber W.* Op. cit. P. 5, 108—110. О культурно-историческом значении Каменного театра для развития оперного жанра в Австрии эпохи позднего барокко и периода Просвещения см. на рус. языке: *Черная Е. С.* Моцарт и австрийский музыкальный театр. М., 1963. С. 67—68.

<sup>6</sup> *Petrarca F.* Le familiari // Per cura di V. Rossi, U. Bosco. Vol. 1—4. Firenze, 1933—1942. Vol. 1. P. 99—101. Цит. по: *Петрарка Ф.* Дружеские письма. Кн. 2 : Письмо 12 Иоанну де Колонна, описание еще одного путешествия // Гуманистическая мысль итальянского Возрождения. М., 2004. С. 49—50.

<sup>7</sup> См. рассуждения Л. Б. Альберти об архитектурно-художественных принципах строительства загородных усадеб и о социокультурном значении виллы знатного человека: *Альберти Л. Б.* О зодчестве / подборка текстов по теме «Храм, дворец, вилла» В. Д. Дажинной ; пер. с лат. В. П. Зубова // Леон Баттиста Альберти и культура Возрождения. М., 2004. С. 274—282 и далее.

<sup>8</sup> *Палладио А.* Четыре книги об архитектуре Андреа Палладио, в коих после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений, наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах, мостах, площадях, крестах и храмах. М., 1938. Кн. 1, паг. I. С. 14.

<sup>9</sup> Там же. Кн. 2. С. 5, 47.

<sup>10</sup> Там же. С. 47.

<sup>11</sup> Там же. С. 20—21.

<sup>12</sup> *Schaber W.* Op. cit. P. 9—14. В указанной работе воспроизведены отдельные фрагменты картографических изображений Хельбрунна 1568—1626 гг.

<sup>13</sup> *Schaber W.* Op. cit. P. 48—49; *Idem.* Zur Geschichte von Schloß Hellbrunn // Barockberichte. 1997. N 14/15. S. 519—526. О геральдическом значении фигур

льва и козерога см.: *Oswald G. Lexikon der Heraldic. Leipzig, 1984. S. 259—260, 380—381.*

<sup>14</sup> О проблеме итальянского влияния на архитектонику садов Хельбрунна см., например: *Schaber W. Hellbrunn. P. 24—33.* Здесь же приведена подробная библиография вопроса. О семантическом значении ряда мифологических аллегорий и символов, характерных для внутреннего и внешнего декора ренессансных вилл, см.: *Тучков И. И. Классическая традиция и искусство Возрождения (росписи вилл Флоренции и Рима). М., 1992. С. 122—157 и далее; Ego же. Genius loci: вилла д'Эсте в Тиволи // Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения. М., 1997. С. 133—171; Джуаноли Р. Тиволи. Вилла Адриана. Вилла д'Эсте. Вилла Грегориана. Тиволи, 2007. С. 43—55.*

<sup>15</sup> *Klibansky R., Panofsky E., Saxl F. Saturn und Melancholie. Frankfurt a/M, 1990; Schaber W. Hellbrunn. P. 37—41.*

<sup>16</sup> *Вайдл Р. Церкви Зальцбурга. Зальцбург, 2007. С. 4—5.*

<sup>17</sup> Биографические данные о Маркусе Ситтикусе и его предшественнике Вольфе Дитрихе фон Ратенау см.: *Walsh K., Strnad A. A. Im Schatten Wolf Dietrichs: Der jüngere Marcus Sitticus von Hohenems // Hohenemser und Raitenauer im Bodenseeraum. Ausstellungskatalog. Bregenz, 1987. S. 152—157; Schaber W. Hellbrunn. P. 20—25.*

В. Н. Земцов

## ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.: 200 ЛЕТ ПОИСКА ИСТИНЫ

28 декабря 2007 г. Президент РФ подписал указ «О праздновании 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года». Два столетия — срок немалый. Как же сегодня через призму 200-летней ретроспективы выглядит путь, пройденный историками разных стран, пытавшихся постигнуть крупнейшее событие европейской и мировой истории?

Начнем с зарубежной историографии. В ней традиционно можно выделить историографические традиции тех народов, которые участвовали в войне в составе армии Наполеона (французов, немцев, австрийцев, поляков, итальянцев, швейцарцев и др.), и тех, кто непосредственного участия в войне не принимал (британцев и американцев).

Истоки «французского» 1812 г. тесно связаны с теми чувствами и ощущениями, которые переживались французскими солдатами во время Русского похода. Проявив величайшую доблесть, одержав победу во всех крупных сражениях и захватив Москву, французские солдаты считали себя несомненными победителями. Но их слава была «вероломно» похищена коварными русскими, которые вопреки правилам европейских народов прибегли к «недостойным» методам войны, призвав к себе в помощники самопожертвование, пространство и холод. Именно эта идея «украденной» победы была положена в основу знаменитых бюллетеней Великой армии, составленных самим Наполеоном, а позже развита в устных воспоминаниях, продиктованных поверженным императором на о. Св. Елены. Прекрасно согласуясь с умонастроениями большинства французских участников похода, эта версия в дальнейшем была развита целым рядом авторитетных авторов (Ф. Ф. Гийомом де Водонкуром, Г. Гурго, Э. Марко де Сент-Илером и др.). Однако сразу после падения Первой империи возникла и другая традиция, которая была склонна акцентировать внимание на бесполезности потерь, понесенных наполеоновской армией в 1812 г., и ставившая под вопрос необходимость самой войны с Россией (работы Э. Лабома, Ж. Шамбрэ, Ф. П. Сегюра, А. А. Жюмини и др.). Однако с конца 30-х гг. XIX в., когда Июльская монархия, а затем режим Второй империи стали в «патриотических» целях энергично пропагандировать «бонапартистскую» легенду, «критическое» направление в историографии было заметно потеснено. Это нашло отражение в фундаментальном труде Л. А. Тьера, в котором автор попытался, чаще всего безуспешно, примирить реалистически осмысленные факты и безудержное восхваление Наполеона.

Несмотря на поражение Франции в 1870—1871 гг. и крах Второй империи, французы в конце XIX в. сохранили стойкий интерес к войне 1812 г. Но он приобрел новую черту: начался массовый выход в свет мемуаров малоизвестных участников событий, бывших в 1812 г. офицерами и даже сержантами. Прежний интерес, сосредоточенный почти исключительно на крупных исторических фигурах, начал постепенно сменяться вниманием к простым офи-

церам и солдатам. Выход в конце XIX в. многочисленных полковых историй был отражением той же тенденции. Французы, как нация, которую постигла трагедия, искали духовную опору в своей великой истории, причем в истории не только полководцев, но и всего народа. Память о Русском походе теперь оказалась, с одной стороны, «оплодотворена» образами простых офицеров и солдат Франции, наполнена человеческой теплотой, но с другой — не могла не избежать еще большей мифологизации. Наконец, французская историография 1812 г. стала утрачивать свою антирусскую и «антиварварскую» заостренность. Для Франции начался поиск стратегического союзника, которым в те годы могла стать только Россия, и это заставляло французов подвергать образы своей исторической памяти заметной корректировке (особенно показательны в этой связи работы А. Н. Рамбо и Л. Пинго). В начале XX в. документальная база расширилась благодаря публикациям Г. Фабри, А. Шюке, Н. Д. Терно-Компана и др. Тогда же было опубликовано значительное число воспоминаний, дневников и писем французских участников событий (мемуары генералов Ш. Н. д'Антуара, Ф. А. Теста, дневники капитанов Ш. Франсуа и Г. Бонне и др.). Публикации документальных материалов, казалось, должны были только подпитывать уже устоявшиеся образы прошлого.

Первая мировая война надолго отвлекла внимание французов от событий 1812 г. Интерес французских историков к Русской кампании возродился только во второй половине XX в. Историки Л. Мадлен, Ж. Тири, Т. Транье и Ж. Карминьяни стали развивать ставшую уже традиционной для французской историографии картину, в основном как бы иллюстрируя образ «французского» 1812 г. Работы Д. Оливье и К. Грюнвальда (оба автора имели русские корни), отразившие попытки более критического восприятия событий, смотрелись явным диссонансом на фоне общей героизированной картины.

Важной особенностью «конденсации» исторической памяти немцев о 1812 г. стал изначальный взгляд на него сразу с трех позиций: во-первых, со стороны тех, кто воевал в составе Великой армии; во-вторых, тех, кто накануне добровольно перешел в русскую армию, оставив чаще всего прусскую службу (К. Клау-

зевиц, Л. Ю. Ф. А. Вольцоген и др.); в-третьих, тех, кто, будучи по языку и во многом по культуре немцем, был с рождения российским подданным и изначально служил в русской армии (К. Ф. Толь, В. Г. Левенштерн и др.). Это предопределило тесное переплетение немецкой историографии Бородин с русской и, отчасти, французской историографией. На протяжении 20—30-х гг. XIX в. немцы неизменно сохраняли интерес к эпохее 1812 г., уделяя основное внимание в своих работах (книги Р. Бомсдорфа, К. Г. Бретшнейдера, К. Церрини, Г. Рооса, К. Клаузевица, Ф. Штегера, Ф. Рёдера и др.) решающей роли германских воинских контингентов, а также неблагодарной забывчивости и «пустому бахвальству французов». Многие немецкие авторы тесно связывали образы памяти 1812 г. с широкой идейно-политической борьбой, которая развернулась в Германии в преддверии революции 1848—1849 гг., обращая внимание на то, что в 1812 г. космополитическая идея объединения Европы столкнулась с пробуждавшимся духом наций. Эта традиция была продолжена и в работах 50-х гг. XIX в. (Г. Байцке, Г. Э. Рот фон Шрекенштайн и др.), в которых нередко оспаривались «поэтические истории» о Русском походе, рожденные французскими авторами. На протяжении 60—90-х гг. XIX в. память о 1812 г. продолжала оставаться важным формирующим элементом немецкой политической, исторической и военной культуры. Особый акцент в книгах этого времени (воспоминания Ф. Л. А. Меерхайма, К. Зуккова, К. Шеля, К. А. Веделя, работы К. Блейбетрау, М. Дитфурта, К. Остен-Сакена и др.) делался на бессмысленности жертв, понесенных народами германских государств ради интересов французского императора. Наибольшую известность приобрели вышедшие в начале XX в. работы П. Хольцхаузена, со страниц которых вставала сложная картина взаимоотношений наций в составе Великой армии. После поражения Германии в Первой мировой войне немцы на время отказались от романтически-воинственных оценок событий наполеоновской эпохи. Но с приходом к власти нацистов картина изменилась. 1812 и 1813 гг. превратились в прообраз 1933 г., и на страницах ряда изданий (работы Р. Блашке, Е. Бланкенхама и др.) рождался «гитлеровский» 1812 г., наполненный героическими поступками немецких воинов, не имеющих ничего

общего с космополитическим духом Запада и рождающих подлинный дух немецкой народной свободы. Военные действия в России, начавшиеся в 1941 г., заставляли немцев проводить прямые параллели с 1812 г., воскрешая образы 130-летней давности. После 1945 г., когда начался путь преодоления немцами трагедии нацистского рейха, события наполеоновских войн продолжали оставаться важной психологической опорой. Однако, если историки ГДР (нередко заимствуя тезисы советских авторов) проводили параллель между предательством немецкими монархами в 1812 г., превратившими своих солдат в пушечное мясо Наполеона, и государственными деятелями Третьего рейха (А. Абуш, Л. Штерн и др.), то историки Западной Германии отделяли честный солдатский профессионализм как 1812, так и 1942 г. от авантюристичности германских политических деятелей начала XIX в. и 40-х гг. XX в. (Г. Риттер, В. Пихт и др.).

После объединения Германии в конце XX в. события 1812 г. оказались затронуты немецкими исследователями только в немногочисленных работах (Г. Хорна, В. Шахера и др.). При этом ряд историков из восточногерманских земель продолжил традиции историографии ГДР (Г. Шмидт, К. Кауфман и др.).

Польская историография стала формироваться после поражения восстания 1830—1831 гг. в атмосфере явной романтизации событий 1812 г. Работы С. Богуславского и Р. Солтыка, вышедшие в 30-е гг. XIX в., отличались явной антирусской направленностью и превознесением роли поляков в победах над «московитами» в 1812 г. Но окончательное становление традиций «польской» традиции произошло только в 20—30-е гг. XX в. благодаря трудам М. Кукеля. Именно в годы реального возрождения польской государственности образ Бородина был вновь востребован национальным сознанием. Несмотря на демонстративную объективность, Кукель постарался в максимально выгодном свете представить действия поляков, фактически приписав им все успехи Великой армии. Память о польских героях 1812 г. энергично поддерживалась и в «народной» Польше. Несмотря на то, что польские авторы 50—70-х гг. старались воздерживаться от откровенно антирусских выпадов (С. Ашкенази, Б. Грохульска, Г. Зых, Р. Билецкий и др.),

они полностью сохранили подходы и оценки Кукеля. Выход в свет в 1984 г. сборника документов, подготовленного Р. Билецким и А. Тышкой, продолжил эту традицию.

Начало итальянской историографии следует связывать с выходом в 1826 г. книги Ц. Ложье, участника событий 1812 г. Несмотря на очевидное влияние французских работ, на страницах его книги впервые появился итальянский солдат, охваченный духом военного соревнования и стремления к славе. Новое обращение итальянских авторов к образам кампании 1812 г. произошло только в середине XIX в. (Ф. Туротти, Ф. Пинелли), а затем в 1912—1915 гг. (Л. Понцио, Е. Саларис). Работы этих авторов не внесли чего-то нового в изучение 1812 г., но заставили итальянцев вновь вспомнить о заметной вехе в их истории. В последующие годы XX в. внимание итальянцев к Русской кампании проявилось только в эпоху фашистского режима, который всячески превозносил национальную идею и военную доблесть предков. Фрагментарность интереса, проявленного итальянскими авторами к истории Русского похода, объясняется как слабым развитием национального самосознания в эпоху 1812 г., так и поверхностным влиянием событий кампании в России на национальную память жителей Италии.

Британская и американская историография демонстрировали пласт исторической памяти тех народов, которые в сражении не участвовали. Эти народы предложили своего рода взгляд со стороны на историю Русской кампании. В Британии, которая была жизненно заинтересована в поражении войск Наполеона в России, заметный интерес к русским событиям сохранялся на протяжении 1812—1815 гг. В эти годы были изданы работы Дж. Хемингуэя, Дж. МакКвина, Р. К. Портера, которые, впрочем, были поверхностны. По этой причине основоположником британской традиции изучения Отечественной войны 1812 г. принято считать В. Скотта, опубликовавшего в 1827 г. «Жизнь Наполеона Бонапарта» и пытавшегося дать вполне взвешенную картину событий, по достоинству оценивая усилия обоих противников. Версия Скотта была развита в работах А. Алисона и Дж. Каткарта. В 1860 г. была опубликована работа Р. Т. Вильсона, бывшего британским комис-

саром при Главной квартире русской армии в 1812 г., в которой автор высоко оценил действия как русских, так и французских войск. Однако главную роль в поражении Наполеона в России сыграла, по его мнению, «вялость неприятеля». Все выходявшие в Британии на протяжении нескольких последующих десятилетий работы (Ч. А. Файфа, Х. Д. Хатчинсона, Р. Дж. Бартона и др.) фактически повторяли выводы Вильсона. И все же в преддверии Первой мировой войны и в ее ходе представления англичан о стойкости русских в 1812 г. стали важным фактором доверия к России как к союзнику. Однако в межвоенный период интерес в Британии к войне 1812 г. заметно угас, и только в 1950-е гг., уже в условиях «холодной войны», англичане вновь вспомнили о походе Наполеона в Россию. В книге У. Джексона (1957) исследовалась природа «русской силы». В 1966 г. вышло фундаментальное издание Д. Чандлера «Кампании Наполеона», в котором автор уделил значительное внимание событиям 1812 г. Подход Чандлера отличал взвешенный военно-исторический анализ событий, учет воздействия политических и «человеческих» факторов, стремление к объективности в оценке действий противоборствующих сторон. Книга отразила важный процесс ухода из британского сознания наполеонофобии и замещение ее до некоторой степени восторженным отношением к Наполеону. Эти черты книги Чандлера получили развитие в работах А. Палмера, Р. Ф. Делдерфилда, Э. Бретт Джеймса, К. Даффи. В работе П. Б. Остина (1993) на основе талантливой переработки почти 100 воспоминаний участников Русского похода удалось представить эмоционально-психологическую атмосферу, в которой пребывала Великая армия в период Русского похода. В целом британская историография продемонстрировала высокую степень беспристрастности и готовность воспользоваться широкой документальной базой вне зависимости от ее национального происхождения. Тем не менее британские авторы совершенно игнорировали неопубликованные материалы, а нередко обходили решение спорных вопросов, предпочитая избегать критического взвешивания всех «за» и «против».

В США, несмотря на заметный интерес к Русской кампании в период Наполеоновских войн, заметного внимания к 1812 г.



не проявлялось вплоть до конца XIX в. На рубеже XIX—XX вв. были изданы работы В. Слоона, Х. Джонса, Е. Фурда и Х. Беллока. Они не отличались оригинальностью, повторяя фактологический материал книг британских авторов. Элементы новизны были только в работе Т. Доджа, пытавшегося на основе опубликованных источников выявить причины провала Русского похода Наполеона. Работы, вышедшие в США вплоть до 80-х гг. XX в. (Л. Страховского, Л. Яреша, В. Дж. Эспозито и Дж. Р. Элтинга), не внесли чего бы то ни было нового. На рубеже 80—90-х гг. XX в. вышли работы Дж. Нафзигера и Р. К. Рьена. Если книга первого автора отличалась отсутствием критического анализа источников и чисто «механическим» изложением событий, то Рьен смог дать характеристику качественного состояния «человеческого материала» русской, но, прежде всего, наполеоновской армии. В целом интерес американцев к Русской кампании 1812 г. проявлялся эпизодически, явно повысившись к середине XX в. в связи с идеей сверхдержавности. Американская историография оказалась во многом связанной с британской традицией, восприняв ее как положительные (стремление к известной беспристрастности), так и негативные (пренебрежение масштабным использованием первоисточников) качества.

Какой же путь прошла к началу XXI в. отечественная историография? Детали и особенности этого пути достаточно убедительно представлены в ряде публикаций последнего времени (в работах И. А. Шеина, В. М. Безотосного, Л. Л. Ивченко, В. Н. Земцова). Они свидетельствуют, по нашему мнению, о глубокой внутренней противоречивости как самого отечественного историописания, так и общей картины войны 1812 г., созданной нашими историками. На протяжении почти 200 лет в рамках отечественной историографии не затихает противоборство, начавшееся еще в публицистике первой четверти XIX в., между официозно-патриотической традицией и традицией научно-критического осмысления событий. При этом обращает на себя внимание то, что в течение 200 лет, будь то российское, советское или снова российское государство, как правило, стимулирует только «патриотический» вариант интерпретации событий, лишь изредка и весьма неохотно соглашаясь на «научную» корректировку картины 1812 г. И все же...

Общая картина 200-летних поисков истины будет крайне ограниченной и неточной, если мы проигнорируем те немаловажные сдвиги, которые стали происходить на рубеже XX—XXI вв. в историографии всех (или почти всех) упомянутых нами стран.

Во Франции с конца XX в. начался выход работ, вводящих в научный оборот не только неизвестные ранее архивные французские документы (работы Ф. Ургуля), но и учитывавших русские материалы и уделявшие большое внимание действиям русской армии (работы С. Набокова и С. Латура, Ф. Бокура). Исследование Ж. Антрайя «Казачи на Елисейских полях», вышедшее в 2005 г., предложило рассмотрение необычной для французской историографии темы в сложном социокультурном контексте. К работе над небольшим коллективным исследованием «Березина: военная победа», опубликованном в 2004 г., была приглашена российский историк Л. Л. Ивченко. Наконец, своеобразным признанием принадлежности известного писателя и журналиста американского происхождения К. Кэйта к французской историографии следует считать переиздание в 2006 г. в Париже одной из самых интересных книг о Русской кампании.

Заметные перемены произошли на рубеже XX—XXI вв. и в британской историографии. В работах Д. Смита (ранее известного под псевдонимом О. фон Пивки), Дж. Рили и К. Даффи, вышедших в последние годы XX в., были широко привлечены франкоязычные, немецкоязычные и русскоязычные материалы, что заметно раздвигало привычные рамки национально ограниченной традиции. Заметно расширилась и тематика исследований: эпоха 1812 и 1813 гг. стала рассматриваться как важнейший элемент глобального конфликта начала XIX в. (исследования Дж. Рили, П. Хофшроера, Дж. ЛеДанна). Британский писатель и военный историк М. Адамс предложил в 2006 г. основательную, но вместе с тем и легко написанную книгу «Наполеон и Россия», сконцентрировав внимание на личностных характеристиках участников событий. Новаторский характер для британской историографии имела работа А. Замойского, поляка по крови, американца по рождению, британца по образованию и научной карьере. Она называлась «1812: фатальный марш Наполеона на Москву» (2004). Обратив-

шись к широкому комплексу материалов, в том числе и русскоязычных, Замойский не только остановил внимание на просчетах, допущенных Наполеоном в планировании и выполнении операций, но и на частных, человеческих, обстоятельствах «великого отступления» из России. Через это автор попытался обозначить важнейшую проблему, связанную с характером воздействия на национальный характер и на представления о России и русских многих западноевропейских и центральноевропейских народов исторической памяти о событиях 1812 г. Наконец большое значение в плане корректировки устоявшейся для британцев картины, определившей роль и значение каждого из участников великой драмы начала XIX в., имеют работы английского исследователя с русскими корнями Д. Ливена.

Сходные процессы наблюдаются и в американской историографии. В начале XXI в. в целом ряде исследований была развита тема военных усилий России в Наполеоновских войнах (работы Ф. Кагана, М. Леджира, А. Микаберидзе и др.). Эти работы отличает обширная документальная база, обращение к русскоязычной литературе, а также стремление равным образом представить обе борющиеся в 1812 г. стороны.

В рамках историографии Польши конца XX — начала XXI в. мы наблюдаем как стремление обратиться к новой для польской традиции тематике (ярким примером может служить исследование 1999 г. А. Неуважного «Мы с Наполеоном», посвященное прочтению образа французского императора в польской национальной памяти), так и весьма критический, хорошо подкрепленный архивными материалами различных стран подход к ранее поднимавшимся сюжетам (см., к примеру, работу Д. Наврота «Литва и Наполеон в 1812 году», вышедшую в 2008 г.).

Даже в итальянской историографии появились признаки возрождения интереса к проблемам 1812 г. с одновременной актуализацией этой тематики. Итальянский исследователь П. Дель Negro, активно сотрудничающий с историками Франции, пытается проследить характер воздействия событий Русской кампании 1812 г. на ход и становление итальянского патриотизма.

Обогащенные общими методологическими поисками западноевропейской и американской исторической науки последних десяти-

летий, активизировали свой интерес к эпохе начала XIX в. историки Украины, Белоруссии и Балтии. Великолепное исследование, выполненное в русле «ментальной географии» и основанное на широкой документальной базе, предложил в 2007 г. сотрудник Львовского католического университета В. Адагуров. Он нарисовал весьма убедительную картину формирования и реализации планов наполеоновского руководства в отношении юго-западных регионов Российской империи. Благодаря многолетней преподавательской и общественной деятельности в Минском государственном университете известного французского исследователя Ф. Бокура, ощущается рост интереса к событиям на р. Березине в 1812 г. в белорусской историографии. Эстонский историк Т. Таннберг плодотворно изучает проблему формирования ополчения в Лифляндской и Эстляндской губерниях в 1812 г. Широкий спектр проблем, связанных не только с военными, но и социальными проблемами в Прибалтике в 1812 г., подняла латвийский историк А. Черпинска.

Единственным исключением на фоне возросшего интереса к проблемам войны 1812 г. в зарубежной исторической науке является ситуация в германской историографии. Для немецких историков изучение 1812 г. перестало быть актуальным в связи с появлением в конце XX в. других, более важных для германского общества тем (проблемы объединения Германии; взаимоотношений Германии с объединенной Европой; роли Германии в глобализирующемся мире).

Таким образом, применительно к зарубежной историографии истории войны 1812 г. можно констатировать следующее:

1. Значительно расширилась тематика исследований как в плане географическом (это проявилось в появлении целого ряда работ, посвященных действиям русской армии), так и в тематическом (началось исследование проблем историко-социального характера и исторической памяти).

2. Оказался в значительной степени преодолен языковой барьер. В настоящее время редкое исследование, вышедшее за рубежом, обходится без обращения к русскоязычным материалам, в том числе архивного характера. Англоязычные авторы стали более широко привлекать немецкие и польские материалы.

3. Значительно расширились межнациональные научные контакты. Это обстоятельство оказалось в немалой степени обусловлено как существованием глобальной сети Интернет, упрощением порядка пересечения границ, так и более интенсивной миграцией в рамках мирового интеллектуального сообщества.

4. Более явственно стало ощущаться воздействие результатов методологических поисков западноевропейских и американских исследователей второй половины XX в. Сохранявшийся долгое время некий барьер между прежней историографической традицией, ориентированной на «обычное» прочтение источника, и методологическими поисками в рамках инновационных подходов, к концу XX в. стал постепенно преодолеваться.

5. Все обозначенные выше перемены демонстрируют факт значительного ослабления и даже разрушения некогда жестких рамок национальных историографических традиций, укреплявшихся на протяжении почти двух сотен лет.

Какое же место и какую роль в этом глобальном процессе занимает и играет российская наука, изучающая войну 1812 г.?

Начало «обновления» отечественной историографии истории 1812 г. проявилось значительно раньше, чем за рубежом — еще во второй половине 80-х гг. XX в. Начиная с эпохальной книги Н. А. Троицкого «1812. Великий год России», вышедшей в 1988 г., отечественные авторы стали широко вводить в научный оборот иноязычные и архивные материалы (работы В. М. Безотосного, А. А. Васильева, А. И. Попова и др.), одновременно критически осмысливая российские и советские историографические «мифы». Однако отход от чисто военной тематики в изучении 1812 г. и обновление методологического инструментария происходили несравненно медленнее. Только в самом конце XX и начале XXI в. стали постепенно затрагиваться проблемы, изучаемые в рамках социальной истории, исторической психологии, истории ментальностей, исторической памяти и других сфер современного гуманитарного знания. Медленность этого поворота хорошо отразилась в энциклопедии «Отечественная война 1812 года» (М., 2004), выполнившей задачу подведения итогов изучения войны 1812 г. только частично.

При этом параллельно с сохранением и развитием «научно-критического» направления в российской историографии с начала XXI в. стала возрождаться и «псевдопатриотическая» традиция. Ее активизация связана, во-первых, с деятельностью «околонаучных специалистов», традиционно пытающихся «патриотической приверженностью» компенсировать собственную невежественность и замаскировать компилятивный характер своих «трудов» (впрочем, «специалисты» такого рода существовали, в сущности, всегда); во-вторых, с достаточно очевидным стремлением властных структур воспользоваться наиболее простым (но, по нашему мнению, тупиковым) способом формирования «патриотических» настроений в российском обществе. Последнее обстоятельство заставляет опасаться того, что приближающийся 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. равным образом может стать как важным этапом в научном постижении прошлого, так и определенным возвращением назад, к тем «счастливым» временам, когда у авторов историописаний и их благодарных читателей не возникало и тени сомнений в абсолютной правоте и изначальном превосходстве «наших», а возможность воспроизведения «того, как было на самом деле», априорно считалась несомненной.

*О. С. Поршнева*

### **«ВРАГИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ»: СОЮЗНИКИ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ)**

Образы-представления о «другом», которые формируются в процессе взаимодействия народов, государств и культур, являются предметом имагологии — междисциплинарного направления, оформившегося в 1950-е гг. и получившего развитие первоначально во Франции и Германии<sup>1</sup>. Как отмечают А. С. Сенявский

и Е. С. Сенявская, основной объект исследования имагологии — то, как в национальных культурах формируются «образы» «своего» и «чужого», а основные понятия — имагема или национальный образ, национальные стереотипы<sup>2</sup>. В отечественной историографии подходы имагологии были впервые применены Л. А. Заком в исследовании внешнеполитических стереотипов. Автор проанализировал основные теоретические подходы западной имагологии («имеджинологии») и показал возможности их применения в исследовании международных отношений. К сфере применения подходов имагологии он относил проблемы формирования образа государства и влияния внешнеполитических стереотипов на отношения государств, сознательное конструирование образов и их использование в дипломатической практике. Л. А. Зак подчеркивал как утилитарный подход представителей имагологии к исследованию проблем международных отношений, использование ее выводов внешнеполитическими ведомствами западных государств, так и ее особое теоретическое значение и ценность, так как «она вычленяет важный аспект этих отношений, ускользающий почти целиком при иных исследовательских подходах»<sup>3</sup>. В частности, он впервые в отечественной историографии обратил внимание на возможность использования теоретических подходов имагологии при изучении влияния на внешнюю политику государства общественного мнения, устойчивых представлений, сложившихся у населения и политических кругов.

Л. А. Зак применил в своей работе методологические идеи известного историка П. Ренувена, основателя французской школы исследования внешней политики, на которые обратил особое внимание читателей: «В изучении внешнеполитических стереотипов задача заключается в том, чтобы выявить источники информации, на основе которых складывается стереотип, определить происхождение недоверия, взаимных опасений или сомнений между государствами, установить, как они оценивали силы друг друга, определить истоки ошибочных оценок и взаимного непонимания мотивов, которыми руководствовалась другая сторона»<sup>4</sup>. Использование в советский период методологических подходов западной историографии свидетельствует об отсутствии изолированности в раз-

витии исследований по данной проблематике в рамках разных национальных историографий.

Изучение представлений о «своих» и «чужих» имеет длительную научную традицию и осуществляется в течение ряда десятилетий, особенно активно с середины XX в., в рамках этнологии, социальной и исторической психологии, культурологии, истории. В нашей стране начиная с 1960-х гг. данная тематика также разрабатывалась в рамках социальной психологии, этнологии, этнопсихологии<sup>5</sup>, истории<sup>6</sup>. Одним из первых в советской историографии эту проблему на конкретно-историческом материале, прежде всего опубликованных источников, исследовал Н. А. Ерофеев. Он рассматривал представления об Англии и англичанах в России во второй четверти XIX в. Автор пришел к важному выводу о том, что «к середине XIX в. об Англии и англичанах в России было известно уже так много, что возникли условия, которые позволяли без особого труда составить себе довольно отчетливое представление как о стране в целом — ее экономической и политической жизни, ее культуре и быте, так и о народе — его специфически национальных чертах. Представления, которые прежде господствовали в умах лишь немногих наиболее информированных людей, теперь получили гораздо более широкое распространение»<sup>7</sup>. Особо ценной в методологическом отношении представляется идея Н. А. Ерофеева, примененная в исследовании о двустороннем характере образов «других», отражающих как черты воспринимаемого народа и государства (объекта), так и, в не меньшей мере, черты собственной культуры носителя изучаемых представлений (субъекта), проекцией которой в значительной степени является образ «чужого». Он писал: «Этнические представления отражают не одну, а две реальности, или, точнее, два народа — и тот, чей образ формируется в сознании другого народа, и тот, в среде которого эти представления слагаются и получают распространение», причем «обе эти стороны тесно связаны и в сущности их разделить нельзя»<sup>8</sup>.

Сегодня некоторые выводы автора выглядят спорными в свете данных современных исследований. По мнению Н. А. Ерофеева, Крымская война не привела к массовой англофобии: «По-видимому, в те годы неприязнь к Англии не получила массового распростра-



нения. О ней можно говорить только к концу века, что явилось результатом долгой серии политических столкновений и воздействия широкой массовой печати»<sup>9</sup>. Однако вывод этот сделан в большой степени априорно, так как автор доводит свое изложение до начала Крымской войны, не изучая специально эволюцию отношения к Англии и англичанам в России в ходе ее и по ее окончании. В то же время он высказывает предположение, что для россиян было характерно «стремление отделить английский народ от государства, возложив вину за все происшедшее на правительство»<sup>10</sup>. В последней интерпретации, опирающейся на примеры, относящиеся к образованной или городской среде, проявился, на наш взгляд, классовый подход советской историографии. А. А. Орлов в новейшей работе, посвященной представлениям россиян о Британии и британцах во второй половине XVIII — первой половине XIX в., напротив, делает аргументированный вывод о «всплеске» англофобии в русском обществе, вызванном Крымской войной<sup>11</sup>. Источники и новейшие исследования говорят также об утверждении в народном сознании уже к 70-м гг. XIX в. негативного образа «англичанки», «которая все портит», как достаточно синкретическом представлении<sup>12</sup>, отражающем убеждения, бытовавшие в то время среди российской политической элиты<sup>13</sup>. В то же время очевидно, что аргументированные суждения о действиях английского правительства и его критика могли вырабатываться тогда лишь в просвещенных кругах русского общества. В условиях низкой политизации народного сознания вплоть до конца XIX в., несформированности массового сознания как такового об антианглийских настроениях как широко распространенных негативных внешнеполитических стереотипах, действительно, говорить еще не приходилось.

Преодоление сохранявшейся теоретической разобщенности отечественной и зарубежной научной традиции, методологические поиски российских исследователей, возможности нового осмысления источников — все это благотворно сказалось на изучении в России в постсоветский период истории взаимовосприятия народов, социумов и культур. Активизации научных разработок способствовали конференции и семинары, проводившиеся в ака-

демических институтах и крупнейших вузах страны. Наиболее значимыми для становления нового направления в российской историографии стали научный семинар по проблемам взаимовосприятия культур и ежегодные «круглые столы» по теме «Россия и мир: проблемы взаимовосприятия», проводившиеся с 1994 г. на базе ИРИ РАН<sup>14</sup>. На основе их материалов вышли не только сборники статей, но и коллективная монография «Россия и Запад: Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века» (М., 1998), получившая высокую оценку научной общественности<sup>15</sup>.

Другим форумом, в рамках которого разрабатывались проблемы взаимовосприятия народов и культур, был семинар по исторической антропологии и истории ментальностей под руководством А. Я. Гуревича в ИВИ РАН, материалы которого публиковались на страницах ежегодника «Одиссей. Человек в истории»<sup>16</sup>. Активное исследование диалога культур в истории, проблем формирования образов «другого», их конкретно-исторических репрезентаций осуществляется в контексте изучения интеллектуальной культуры в рамках Российского Общества интеллектуальной истории (РОИИ) при ИВИ РАН в ходе ежегодно проводимых конференций, в публикациях альманаха интеллектуальной истории «Диалог со временем»<sup>17</sup>. В конце 1990-х гг. оформился межвузовский Центр сопоставительных историко-антропологических исследований при кафедре истории России РУДН, на базе которого проводятся научные конференции и выпускается «Ежегодник историко-антропологических исследований». Часть публикуемых в «Ежегоднике» работ посвящается проблеме «свои» и «чужие»<sup>18</sup>, истории взаимовосприятия социумов и культур<sup>19</sup>.

Методологические и конкретно-исторические проблемы иманологии в современной историографии активно разрабатываются А. С. Сенявским, Е. С. Сенявской<sup>20</sup>, А. В. Голубевым<sup>21</sup>, другими исследователями. Так, А. С. Сенявский и Е. С. Сенявская обосновывают научную значимость и концептуальные подходы к изучению проблемы применительно к истории России XX в. Они отмечают, что «без учета психологических и социокультурных факторов взаимодействия с чужими социумами невозможно адекватное научное

осмысление новейшей отечественной истории, как военной, так и «гражданской»<sup>22</sup>. Это, как указывают исследователи, определяется особой ролью войн в истории России XX в., в том числе в трансформации массового сознания, формировании как временных, так и весьма устойчивых социально-психологических, социокультурных и идеологических категорий и стереотипов, влиявших на периоды мирного развития<sup>23</sup>. Авторы определяют характер и структуру образа, формирующегося в процессе взаимодействия стран, государств и их народов. Они квалифицируют их как определенные представления друг о друге — сложное явление, включающее, как и механизмы формирования образа, субъект, объект, предмет, обстоятельства и формы взаимодействия и взаимовосприятия<sup>24</sup>.

Важным для понимания условий и факторов формирования образов «другого» в России накануне и в годы Мировой войны является теоретическое положение, обоснованное А. В. Голубевым. Он подчеркивает, что в начале XX в. в российском обществе происходит постепенное вытеснение традиционных этнических стереотипов стереотипами с ярко выраженной политической окраской — внешнеполитическими стереотипами, а образ немца, англичанина, поляка в значительной степени сменяется образом Германии, Великобритании, Польши как геополитической реальности<sup>25</sup>.

В коллективной монографии «Россия и Запад: формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века» также разработаны теоретические подходы к изучению рассматриваемой проблемы. В частности, показаны причины и механизмы отторжения русским сознанием Запада как чуждого мира, истоки формирования образа Запада в России как враждебного «инога», процессы демифологизации «другого» и ценностной эволюции как проявлений культурной динамики в модернизирующемся российском обществе, их влияние на становление систем представлений о других странах и народах<sup>26</sup>. Авторы монографии рассматривают важную в методологическом отношении проблему стереотипа как феномена общественного сознания<sup>27</sup>, в котором фиксируется схематизированное представление этноса или социальной группы о внешнем мире в целом

и его составных частях, отдельных сторонах жизни людей внешнего мира<sup>28</sup>. Исследуются источники формирования этнических, внешнеполитических стереотипов, стереотипов мышления и их роль в восприятии «другого» и диалоге культур в истории<sup>29</sup>.

В 1990-е гг. появились первые публикации, посвященные образу «чужого» в конкретно-историческом контексте назревания и протекания Первой мировой войны, написанные в жанре исторической имагологии или близких методологических подходов, в частности, исторической антропологии и военно-исторической антропологии<sup>30</sup>. В начале 2000-х гг. вышли в свет монографические исследования, в которых рассматривается проблема восприятия российским обществом противников и союзников своего государства в условиях войны и мира<sup>31</sup>. В современных исследованиях убедительно показана множественность образов западных государств и народов, формировавшихся в конце XIX — начале XX в. в рамках рационального дискурса<sup>32</sup>, в то же время проблема становления и эволюции образов западных стран — союзников России в массовом сознании общества накануне и в годы Первой мировой войны исследована до сих пор явно недостаточно.

Значительное количество статей и разделов в монографических исследованиях, вышедших в последние годы, посвящено представлениям об Англии, Франции и США в России во второй половине XIX в. и на рубеже XIX—XX вв.<sup>33</sup> Исследования прессы позволили Т. Н. Гелла сделать вывод об особом, заинтересованном внимании к Англии со стороны российских периодических изданий в конце XIX — начале XX в. в связи с ролью, которую играла Великобритания на международной арене и в отношениях с Россией<sup>34</sup>. И. С. Рыбаченок, Е. Н. Проскурина говорят об особом интересе к опыту Франции в России в последней трети XIX в. и на рубеже XIX—XX вв., характерных чертах формирующегося образа союзницы<sup>35</sup>. Следует отметить фундированные публикации о представлениях российской военной и дипломатической элиты накануне Первой мировой войны Е. Ю. Сергеева, в которых показаны исторический и интеллектуальный контексты систем представлений о потенциальных и реальных союзниках России, источники, мотивы и формы элитарного дискурса<sup>36</sup>.

В статьях и монографических исследованиях формирование и эволюция образов союзников России накануне и в годы Первой мировой войны рассматриваются либо как один из ряда других сюжетов, либо в более широких хронологических рамках, что предопределяет показ главным образом базовых тенденций и основных форм их восприятия общественным сознанием и различными группами социума<sup>37</sup>. Несмотря на тонкую интерпретацию источников, интересные наблюдения этих работ, обоснованность выводов, в них не ставилась задача всестороннего исследования проблемы в рассматриваемых хронологических рамках. Можно констатировать, что специальных работ, в которых эта тема получила бы комплексное освещение, а образы союзников рассматривались бы в плотном историческом и внешнеполитическом контексте, с учетом социального измерения бытования тех или иных представлений, до настоящего времени не создано.

Изучение историографии проблемы, источников по теме позволяет определить основные теоретические подходы, достижения, наметить задачи дальнейшего исследования. Можно заключить, что образы стран и народов — союзников России — были составляющими элементами общественных представлений по вопросам внешней политики, являясь одновременно частью российского социокультурного контекста, синтезом бытовавших в общественном сознании идей, стереотипов, мифов, символов и предрассудков. Образ союзника формировался в общественном сознании России на рубеже XIX—XX вв. в условиях обострения международных отношений, когда происходили складывание коалиций противоборствующих государств, национальная консолидация, более четко определялись как национальное «Я», так и дружественный и враждебный «другой». В этот период активно действовал механизм формирования внешнеполитических стереотипов не только под воздействием массовой пропаганды, но и актуализации этнических образов и предрассудков, культурных предпочтений и ценностей. Образы «чужих» были проекцией национальных политических, религиозных и иных идеалов, а также идеалов и ценностей отдельных слоев общества. На разных этапах в развитии международных отношений, и в частности, Мировой войны, роль и зна-

чение общенациональных представлений и, с другой стороны, ценностей отдельных общественных слоев в конструировании образов союзников были различны. Наибольшее влияние на их формирование оказывали внешнеполитические представления и стереотипы, конструируемые политической и интеллектуальной элитами и, с другой стороны, глубинные предрассудки и мифы, сопряженные с этническими образами, бытующими в общественном сознании. Если в представлениях образованных слоев о «чужих» преобладали рациональные компоненты образа, организованные в определенную структуру и определяемые различными вариантами понимания национальных интересов своей страны, военной и внешнеполитической конъюнктуры, то в сознании низов, наряду с распространением к началу XX в. рациональных компонентов, значительную роль играли этнокультурные стереотипы, символы и мифы.

Противоречит адекватному пониманию природы образов «чужих» их жесткая иерархия и противопоставление разных форм и репрезентаций. Так, существует концепция иерархии представлений социума о других народах и культурах, вычленяющая предрассудки, не опирающиеся на факты, как низший уровень представлений, стереотипы, также почти не опирающиеся на факты, далее — образы в подлинном смысле слова — более или менее полные представления, в которых отдельные черты составляют связное целое, и затем — идеи и мнения<sup>38</sup>. Во-первых, нельзя говорить об отсутствии связи предрассудков, а тем более стереотипов представлений с фактами, прежде всего, — реалиями межкультурной коммуникации и исторических контактов народов. Они порождают «факты» ментального и культурно-интеллектуального порядка, оказывающие влияние на формирование образов «своих» и «чужих». Во-вторых, неправомерно противопоставлять образы и стереотипы: национальные образы обычно принимают характер стереотипов, упрощенных, устойчивых представлений, являющихся формой генерализации отдельных явлений, обладающей исключительной силой убеждения. Стереотип — это «застывший» образ, долгоживущий общественно-исторический миф<sup>39</sup>, оказывающий

мощное воздействие на формирование образа «другого», особенно на уровне массового сознания. Наряду с этим идеи и мнения также вряд ли стоит противопоставлять образу, так как они являются его неотъемлемой частью, если информация, на которую они опираются, не противоречит ему кардинально и не способствует разрушению его целостности, не ведет к его переструктурированию. Итак, образ как сложная, синтетическая категория включает и неосознаваемые стереотипы и предубеждения, влияющие на восприятие «другого» и образующие своеобразный информационный фильтр, и организованные в систему идеи и мнения. Соотношение и сочетание этих элементов зависит от степени рационализации/мифологизации сознания субъекта восприятия, его образованности, личного опыта взаимодействия с другой культурой, влияния социального и культурного окружения.

Основными союзниками России, входившей в годы Первой мировой войны в состав Антанты, были Англия и Франция. США присоединились к Антанте позже, в апреле 1917 г., когда Россия воевала уже последние месяцы на излете своих сил. Другие союзники по Антанте — Италия, Румыния и т. д. — играли в ней меньшую роль и присоединились к блоку уже в ходе войны, к тому же были менее известны российскому массовому сознанию, в котором в силу этого не сложилось в период Мировой войны их целостного и отчетливого образа. Главными объектами формирующегося образа союзника в России стали две страны — Франция и Англия.

Специфика рассматриваемого периода заключается в том, что образ союзника формировался в условиях не только военного, но и особого типа идейно-психологического противоборства, порожденного феноменом «тотальной войны», реализацией практик национальной мобилизации. Рациональные и символические системы представлений, элитарные и «народные» типы дискурса были тесно связаны с мобилизацией национального сознания, «духа нации», конструированием образов врагов и союзников. Как уже отмечалось, значимую роль в структурировании образов союзников играли в начале XX в. и в период Мировой войны внешнеполитические стереотипы, активно вытеснявшие в связи с политиза-

цией массового сознания этнические стереотипы. Их изучение является одной из актуальных научных задач дальнейшего исследования проблемы. Однако наиболее важным представляется ее комплексное освещение, рассмотрение рациональных и символических систем представлений, интерпретация различных типов дискурса и систем коммуникаций, воплощающих репрезентации образов союзников России накануне и в годы Первой мировой войны.

---

<sup>1</sup> *Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Историческая имагология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.) // Вестн. РУДН. 2006. № 2(6). С. 57.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> *Зак Л. А.* Западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М., 1976. С. 7.

<sup>4</sup> Там же. С. 8.

<sup>5</sup> *Поршнева Б. Ф.* Социальная психология и история. М., 1966; *История и психология* / под ред. Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анцыферовой. М., 1971; *Арутюнян С. М.* Нация и ее психический склад. Краснодар, 1966; *Дробижева Л. М.* Об изучении социально-психологических аспектов национальных отношений (некоторые вопросы методологии) // СЭ. 1974. № 4.

<sup>6</sup> *Зак Л. А.* Указ. соч.; *Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских (1825—1853 гг.). М., 1982.

<sup>7</sup> *Ерофеев Н. А.* Указ. соч. С. 68.

<sup>8</sup> Там же. С. 21—22.

<sup>9</sup> Там же. С. 302.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> *Орлов А. А.* «Теперь вижу англичан вблизи»... Британия и британцы в представлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). М., 2008. С. 166—179.

<sup>12</sup> *Исторические песни. Баллады.* М., 1991. С. 658; *Энгельгардт А. Н.* Из деревни. 12 писем, 1872—1887. М., 1987. С. 306; *Лурье С.* Метаморфозы традиционного сознания. СПб., 1994. С. 142; *Голубев А. В.* «Если мир обрушится на нашу республику...». Советское общество и внешняя угроза в 1920—1940-е гг. М., 2008. С. 165.

<sup>13</sup> *Россия и Запад: формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века.* М., 1998. С. 38.

<sup>14</sup> *Россия и Европа в XIX—XX вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур.* М., 1996; *Россия и внешний мир: диалог культур.* М., 1997; *Россия и мир глазами друг друга: история взаимовосприятия.* М., 2008; и др.

<sup>15</sup> См.: *Россия и мир глазами друг друга: история взаимовосприятия.* С. 3.



<sup>16</sup> *Оболенская С. В.* Образ немца в русской народной культуре XVIII—XIX вв. // *Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня*, 1991. М., 1991; *Копелев Л. З.* Чужие // *Одиссей. Человек в истории. Образ «другого» в культуре*, 1993. М., 1994.

<sup>17</sup> Об этом говорит тематика конференций РОИИ: «Межкультурный диалог в историческом контексте» (М., 2003); «Межкультурное взаимодействие и его интерпретации» (М., 2004), а также их секций, отражающихся в публикациях: *Гелла Т. Н.* Русские публицисты начала XX века об Англии и англичанах // *Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики*. М., 2006; *Проскурина Е. Н.* Эволюция образа Другого: Франция на страницах журнала «Вестник Европы» (60—90-е гг. XIX века) // *Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики*; *Журавлева В. И.* Образ России в репрезентациях американских карикатуристов в начале XX века // *Диалог со временем: альм. интеллект. истории*. М., 2008. Вып. 25/1.

<sup>18</sup> В «Ежегодниках историко-антропологических исследований» присутствует специальный раздел на эту тему.

<sup>19</sup> *Голубев А. В.* Советская Россия и Запад: динамика восприятия // *История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества: материалы междунар. интернет-конф. 20.03—14.05 2001 г.* М., 2001; *Маркевич А. М.* «Мы» и «они» в представлении солдат в 1917 г. (на основе солдатских писем в центральные Советы) // Там же; *Трифонов Е. К.* «Свои» и «чужие»: славянские общества Болгарии в конце XIX — начале XX в. // *Ежегодник историко-антропологических исследований*, 2001/2002. М., 2002; *Бахтурина А. Ю.* Формирование образа прибалтийских немцев в годы Первой мировой войны: общественные настроения и социальные последствия // Там же; *Керров В. Л.* Казак-канцелярист Иван Рюмин о Франции и французах (1771 г.) // *Ежегодник историко-антропологических исследований*, 2003. М., 2003; *Евдокимова М. А.* Образ немецкого народа как фактор формирования национального самосознания русских студентов первой четверти XIX в. // *Ежегодник историко-антропологических исследований*, 2005. М., 2006; *Иванова Н. Н.* «Французский национальный характер» в представлениях российского столичного дворянства первой четверти XIX в. // Там же; и др.

<sup>20</sup> *Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Указ. соч.; *Сенявский А. С.* Проблема «свой — чужой» в историческом сознании: теоретико-методологический аспект // «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании. СПб., 2001; *Сенявская Е. С.* Проблема «свой» — «чужой» в условиях войны и типология образа врага // Там же.

<sup>21</sup> *Голубев А. В.* «Если мир обрушится на нашу республику...». Советское общество и внешняя угроза в 1920—1940-е гг. С. 5—13.

<sup>22</sup> *Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Указ. соч. С. 55.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Там же. С. 54.

<sup>25</sup> *Голубев А. В.* Слухи как источник изучения внешнеполитических стереотипов советского общества 1920-х гг. // *Россия и мир глазами друг друга: история взаимовосприятия*. С. 148.

<sup>26</sup> Россия и Запад. С. 17—34.

<sup>27</sup> Там же. С. 5—7.

<sup>28</sup> Там же. С. 5.

<sup>29</sup> Там же. С. 7—8.

<sup>30</sup> *Сенявская Е. С.* «Образ врага» в сознании участников Первой мировой войны // Россия и Европа в XIX—XX вв. ...; *Рудая Е. В.* Союзники-враги: Россия и Великобритания глазами друг друга в 1907—1917 годах // Там же; *Сергеев Е. Ю.* Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX — начале XX века // Там же; *Поршнева О. С.* Эволюция образа немца в массовом сознании солдат русской армии в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917) // Немцы на Урале и в Сибири (XVI—XX вв.): материалы науч. конф. «Германия — Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI—XX вв.» (03—09.09.1999). Екатеринбург, 2001; и др.

<sup>31</sup> *Сенявская Е. С.* Противники России в войнах XX века. Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006; *Голубев А. В.* «Если мир обрушится на нашу республику...». Советское общество и внешняя угроза в 1920—1940-е гг.; *Орлов А. А.* Указ. соч.

<sup>32</sup> Подробнее см.: *Ерофеев Н. А.* Указ. соч.; *Орлов А. А.* Указ. соч.; *Гелла Т. Н.* Англия конца 60-х — начала 70-х годов XIX века глазами русских // Россия и Европа в XIX—XX вв. ... С. 155—165; *Сергеев Е. Ю.* Указ. соч. С. 166—174.

<sup>33</sup> Россия и Запад. С. 55—63; *Гелла Т. Н.* Англия конца 60-х — начала 70-х годов XIX века...; *Проскурина Е. Н.* Указ. соч.; *Сергеев Е. Ю.* Указ. соч.; *Рудая Е. В.* Указ. соч.; и др.

<sup>34</sup> *Гелла Т. Н.* Русские публицисты начала XX века об Англии и англичанах. С. 175—178.

<sup>35</sup> *Рыбаченок И. С.* Россия и Франция: союз интересов и союз сердец, 1891—1897. Русско-французский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, стихах, тостах и меню. М., 2004. С. 12; *Проскурина Е. Н.* Указ. соч. С. 169.

<sup>36</sup> *Сергеев Е. Ю.* Образ Великобритании в представлении российских дипломатов...; *Его же.* Представленческие модели российской военной элиты начала XX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. М., 2002. С. 237—251; *Его же.* Геополитические представления военной элиты России накануне Первой мировой войны // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. М., 2006. С. 332—346.

<sup>37</sup> *Колоницкий Б. И.* Политические функции англофобии в годы Первой мировой войны // Россия и Первая мировая война (материалы междунар. науч. коллоквиума). СПб., 1999; *Сенявская Е. С.* От временных союзов к военно-политическому противостоянию: динамика восприятия Англии, Франции и США в российском и советском общественном сознании первой половины XX века // Проблемы российской истории. М., 2006. Вып. 6; *Голубев А. В.* «Если мир обрушится на нашу республику...». Советское общество и внешняя угроза в 1920—1940-е гг.; и др.

<sup>38</sup> См.: *Ерофеев Н. А.* Указ. соч. С. 8.

<sup>39</sup> *Сенявский А. С., Сенявская Е. С.* Указ. соч. С. 57, 60.

*С. И. Быкова*

## МАТЕРИАЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЛЕДСТВИЯ 1930-х гг.: ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ К МИСТИФИКАЦИИ

В последнее десятилетие XX в. и в настоящее время очень часто не только в научных изданиях, посвященных советской истории, но и в публикациях, претендующих на научность, авторы считают необходимым заявить, что они использовали источники, ранее недоступные исследователям. Как правило, среди этих документов называются судебно-следственные дела, появление которых связано с политическими репрессиями 1920—1930-х гг. Однако если в 1990-е гг. благодаря «архивной революции» исследователи имели ограниченные возможности изучения материалов ОГПУ — НКВД, то теперь эти уникальные исторические источники снова практически недоступны. Н. В. Петров справедливо отмечает, что ведомства и архивы, используя в качестве аргумента необходимость сохранения государственной тайны и тайны личной жизни, прекратили рассекречивание фондов и не разрешают ученым работать с данными документами<sup>1</sup>. Уральские исследователи также считают ограничение доступа неоправданным<sup>2</sup>. В Екатеринбурге увидеть материалы политического следствия 1930-х гг. и оценить их значение для изучения истории можно только во время выставок, проводимых сотрудниками Государственного архива административных органов Свердловской области (ГАО СО) к 30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий — и к другим историческим датам.

Несомненно, по этой причине до настоящего времени нет корректных методик изучения этих уникальных документов, своеобразие и специфику которых отмечают все работающие с ними исследователи. Судебно-следственные дела, используемые для написания научных трудов, фрагментарно публикуемые в сборниках документов и специальных изданиях, долгое время оставались официально непризнанными в качестве исторических источников:

авторы пособий по источниковедению не считали возможным даже называть их среди прочих номинаций источников советской эпохи. Только лишь в 2004 г. в коллективной монографии по источниковедению новейшей истории России С. В. Журавлев представил судебно-следственную и тюремно-лагерную документацию советского периода как важнейший вид исторических источников<sup>3</sup>. Анализируя в основном делопроизводственные документы, ученый указывает: если о функционировании ГУЛАГа и жизни его обитателей опубликованы сборники документов и содержательные работы, то «история следствия» (включая противостояние следователей и арестованных) как многогранная и важная проблема остается практически не изученной<sup>4</sup>.

Появление первых исследований, авторы которых ориентировались на изучение судебно-следственных материалов, стало причиной дискуссии, продолжающейся до настоящего времени (несмотря на то, что согласно Федеральному закону № 125 от 22 октября 2004 г. данные документы практически недоступны).

Для одних ученых, считающих, что эти документы содержат только протоколы допросов, сфальсифицированные следователями, их данные являются ложными показаниями, практически недоступными расшифровке и не позволяющими использовать их для изучения настроений советских людей в 1930-е гг.<sup>5</sup> Напротив, такие исследователи, как В. М. Панях, С. В. Яров, В. В. Алексеев, М. Ю. Нечаева, отмечая многозначность исторической информации, содержащейся в судебно-следственных делах, считают, что *только* они являются адекватными документами для изучения политического и правового сознания людей, народного инакомыслия, структуры и критериев политического контроля в советском обществе<sup>6</sup>. Такая точка зрения подтверждается знакомством со структурой архивно-следственных дел: каждое из них представляет собой уникальный комплекс документов, отражающих все аспекты взаимоотношений человека с властью — политических, правовых, экономических и морально-психологических.

В. Хаустов и Л. Самуэльсон утверждают, что «наряду с абсурдными, не подкрепленными никакими, кроме личных признаний, доказательствами, обвинениями в шпионской, заговорщической

и другой контрреволюционной деятельности, в этих документах содержатся сведения, которые невозможно найти ни в каких других источниках». Они считают, что репрессированные представители партийно-советской номенклатуры и военнослужащие давали достоверную информацию о положении в различных сферах жизни общества, личных взаимоотношениях, оценки внутренней и внешней политики. Более того, по их мнению, следственные дела на сотрудников НКВД помогают раскрыть механизм реализации репрессивных мер<sup>7</sup>.

Н. Петров и М. Янсен, изучавшие жизненный путь Н. Ежова и его деятельность на посту наркома НКВД, называют судебно-следственные дела уникальными источниками информации: «В них действительно содержатся самые фантастические признания людей, подвергшихся пыткам во время допросов... Однако при критическом подходе эти свидетельства могут дать совершенно достоверную информацию об обстановке в НКВД и взаимоотношениях различных кланов внутри него, о характере совещаний... Этот список можно продолжать»<sup>8</sup>.

Однако трудность доступа к судебно-следственным делам и сложность работы с ними стали основными причинами не только манипуляций фрагментарными сведениями, мистификаций, но и фальсификаций. К сожалению, подобная деятельность, как правило, исключительно редко становится предметом критики научным сообществом. В частности, В. П. Данилов, выражая глубокое почтение В. В. Карпову как участнику Великой Отечественной войны и Герою Советского Союза, вынужден был обратить внимание на неправомочность использования им, как автором книги «Генералиссимус» (М., 2003), в качестве свидетельств истины признаний подсудимых на политических процессах и фальсификацию документов<sup>9</sup>.

Некоторые ученые, воспринимая данные НКВД о «контрреволюционных организациях и группах» как достоверную информацию, рассматривают их в качестве примеров сопротивления И. Сталину. Другие, напротив, стремятся найти оправдание репрессиям или обвинить в их масштабности региональных руководителей. В частности, В. И. Бакулин утверждает, что внима-

тельное ознакомление с материалами документальных публикаций и архивными документами не позволяет сделать вывод о безусловной фальсифицированности политических процессов 1930-х гг. Призывая к «более основательному и непредвзятому исследованию» этой темы, В. И. Бакулин для рассмотрения сложных социально-экономических и политических процессов в конце 1920-х — 1930-е гг. использует материалы по делу Трудовой Крестьянской партии и документы о проведении кадровых «чисток» в Кировской области в 1933—1938 гг. Однако, как и многие другие авторы, В. И. Бакулин доверительно, без критики воспринимает данные следственного процесса и материалы официальных инстанций о кампаниях исключения из партии и снятия с должностей<sup>10</sup>.

Исследователь соглашается с выводами другого автора об объективности информации, полученной следователями, поскольку показания допрашиваемых «не являлись от начала и до конца вынужденными самоговорами». Кроме того, В. И. Бакулин указывает, что не обнаружил в архивах данных о насильственных методах воздействия на обвиняемых. По его мнению, поведение и рассуждения привлеченных к следствию лиц, как и сотрудников НКВД, «естественно вписываются в контекст исторической эпохи»<sup>11</sup>.

К сожалению, автор не раскрывает «логику политической борьбы», определявшую, по его утверждению, стратегию поведения всех участников происходивших событий, и не называет источники, объективность информации которых для него «несомненна». Однако содержание фактических данных в указанных статьях свидетельствует об отсутствии материалов всего комплекса архивно-следственных дел. В таком случае исследователь не может позволить себе делать выводы о виновности арестованных.

До настоящего времени наиболее полной и объективной реконструкцией истории массовых репрессий, основанной на материалах судебно-следственных дел, остается монография О. Ф. Сувенирова «Трагедия РККА. 1937—1938», поскольку в ней представлен анализ всех факторов, способствовавших развитию политического террора. В этой работе рассмотрены все аспекты следственных мероприятий на примере судеб военных — от маршалов до рядовых Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Ученый, исполь-

зую материалы разных архивов (в первую очередь — Российского государственного военного архива), реконструировал морально-психологическую атмосферу в стране и армии, скрупулезно описал ситуацию ареста, подробно раскрыл «тайны» предварительного следствия, приводя множество примеров провокаций, давления, пыток, применяемых против арестованных. Автор корректно отразил надежды, иллюзии и страхи людей, оказавшихся в изоляторах НКВД. Кроме того, О. Ф. Сувениров одним из первых рассмотрел такие феномены, как доносы и добровольные признания<sup>12</sup>.

Учитывая проблематичность источниковедческого анализа данного вида документов и возможности манипуляции содержащимися в них сведениями, хотелось бы обратить внимание на своеобразие этих исторических источников. Особенно удивляет использование некоторыми авторами для характеристики их отношения к таким сложным документам, как архивно-следственные дела, слова «ознакомление», ибо данный вид исторических источников требует очень внимательной, кропотливой работы. В данной статье я представляю собственный взгляд на проблему, имея опыт работы в ГААО СО и Государственном архиве по делам политических репрессий Пермской области<sup>13</sup>.

Некоторые историки считают, что власть и репрессивные органы стремились уничтожить свидетельства о научной, творческой, профессиональной деятельности и политической позиции арестованного, сохраняя лишь те, которые доказывали обоснованность репрессий и справедливость наказания<sup>14</sup>. Однако судебно-следственные дела, одинаковые по своему происхождению и назначению, отличаются по объему и содержанию информации. Эти различия обусловлены характером следственного действия в каждом конкретном случае: являлось дело коллективным или было индивидуальным; оказалось важным, необходимым и возможным для следствия сохранить все изъятые при аресте документы обвиняемого или они были уничтожены (потеряны)<sup>15</sup>.

В некоторых случаях, исходя из указанных обстоятельств, в делах насчитывается от двух до шестидесяти томов, в каждом из которых содержатся разнообразные материалы. Но иногда дело представляет собой один том, включающий минимальный набор

документов, необходимых для формального обвинения (6—7 листов). Следует иметь в виду, что отсутствие улик по делу следователи объясняли тем, что их уничтожили сами арестованные. Иногда в протоколах обысков так и указывалось: «обнаружен и взят в качестве вещественного доказательства пепел» (!).

Вопреки распространенному мнению о строгом соблюдении правил сбора и оформления материалов, обязательных для вынесения приговора, следственные дела не всегда содержали регламентированный законом перечень документов. Дж. Скотт, американский журналист, являвшийся свидетелем вакханалии арестов в г. Магнитогорске, отмечал крайнюю беспорядочность действий НКВД: «Арестованные пропадали, иногда неправильно устанавливалась их личность...»<sup>16</sup> Такая ситуация была предопределена и темпами работы следствия во время массовых репрессий, и уровнем профессионализма сотрудников НКВД, и их пренебрежением к процессуальным нормам, а особенно — к правам человека. Содержание таких документов, как постановление и ордер на арест, текст заключительного обвинения, приговор и справка о приведении его в исполнение, демонстрировало неограниченные полномочия властных структур. Отсутствие какого-либо из обязательных документов, несвоевременность или неточность в их оформлении выразительно подчеркивали степень бесправия арестованного. Однако даже в этих формализованных документах имеются свидетельства о поведении человека во время ареста, о его отношении к следствию и предъявляемым обвинениям.

Важная информация для исследования различных аспектов исторической реальности содержится в анкетах арестованных, при заполнении которых — среди прочих пунктов — обязательно вносились данные о членстве в партиях, о принадлежности к оппозиции, о результатах кампаний по проверке политической благонадежности в разные годы, о репрессированных родственниках. В дополнение к этим сведениям в некоторых делах встречаются агентурные наблюдения и доносы. При критическом источниковедческом анализе эти документы дают уникальный материал о своеобразном понимании советскими людьми долга



и гражданской ответственности, о социально-политическом противостоянии в обществе, о прагматичном использовании осведомителями официальных идеологических установок в личных интересах.

Достоверность сообщений агентов НКВД и доносчиков можно верифицировать через сопоставление с другими имеющимися в деле документами. Однако важным является и иной ракурс рассмотрения этих сведений: их содержание следует воспринимать не как непосредственное выражение настроений отдельного конкретного человека, а как свидетельство распространения подобных мнений в окружении осведомителей, которым оставалось лишь скорректировать и адресно обозначить услышанное. Эта особенность доносов, отмеченная Р. Г. Пихоей в исследовании по материалам XVII—XVIII вв., характерна для данного вида источников и в советский период<sup>17</sup>.

Высокой степенью информативности для выяснения истинности обвинений обладают имеющиеся в судебно-следственных делах справки и характеристики на арестованных с места работы, копии различных документов (в том числе выписки из протоколов собраний комсомольских, партийных и профсоюзных организаций). Среди документов, как правило, изымаемых при аресте, свидетельства об окончании учебных заведений и курсов — от дипломов европейских университетов, выпускниками которых до революции являлись многие арестованные, до удостоверений о сдаче технического минимума, ставших в 1920—1930-е гг. самым распространенным видом документов о профессиональном образовании. Дополнительные, очень важные сведения исследователь получает при знакомстве с материалами закрытых (или открытых) судебных заседаний, дающих представление не только о формальной стороне процедуры, но и о логике показаний, аргументации свидетелей, настроениях и морально-психологическом состоянии обвиняемых. Именно эти документы содержат сведения о фактах злоупотреблений сотрудников НКВД: на суде арестованные отказывались от показаний, данных ими ранее, заявляя, что сделали признание под давлением следователей, используя возможность

реабилитировать и себя, и вынужденно оговоренных ими людей. К сожалению, приходится констатировать, что протоколы судебных заседаний встречаются в делах крайне редко — тем выше значимость найденных материалов, никакой другой источник не дает такой уникальной информации о сложном, противоречивом процессе формирования образа «врагов народа» в сознании советских людей.

Одной из самых сложных и острых проблем в документалистике XX в., по мнению академика Н. Н. Покровского, является методика источниковедческого анализа протоколов допросов и обвинительных заключений, составляющих основу судебно-следственных дел<sup>18</sup>. Для исследователей, работавших с данными материалами, наиболее дискуссионным остается вопрос о возможности извлечения достоверных фактов из заявлений арестованных о раскаянии и показаний, данных обвиняемыми и свидетелями во время допросов и очных ставок<sup>19</sup>. С. В. Терехов отмечает, что протоколы допросов дают возможность убедиться в противоречивости и надуманности предъявляемых обвинений. О том, с какой легкостью следователи фабриковали дела, свидетельствует стандартный набор обвинений, с точностью повторявшийся в каждом протоколе. Иногда текст, составленный московскими следователями, становился каноном для региональных управлений НКВД. В частности, формула обвинения по делу Уральского инженерного центра была практически идентична обвинительному заключению процесса Промпартии<sup>20</sup>. Составители сборника «Реабилитация: политические процессы 30—50-х годов» назвали главу, посвященную самым известным «контрреволюционным» организациям и группам, «*Фальшивые процессы: история и современность*», назвавием акцентируя внимание на необоснованности обвинений по делу «Союза марксистов-ленинцев», «Московского центра» и других объединений<sup>21</sup>. В данном сборнике, в частности, были опубликованы некоторые документы, типичные для политического следствия 1930-х гг. (в том числе «добровольное покаяние» Г. Зиновьева).

Имея в виду особый характер следственных мероприятий, необходимо придерживаться принципиальной позиции: не использовать сведения, содержащиеся в протоколах, если нет возможности

верифицировать их другими документами. Кроме того, следует учитывать особенность каждого судебнo-следственного дела, которая определялась личностными и социальными характеристиками следователей, обвиняемых и свидетелей, идеологическими задачами и ведомственными установками в соответствии с очередным этапом массовых репрессий.

Важнейшим источником о характере отношений «следователь — обвиняемый» являются сохранившиеся в делах не только письма и записки арестованных, которые они пытались передать родным во время следствия, но и ходатайства, жалобы, заявления, направляемые в областные и союзные органы суда и прокуратуры, адресованные правительству, Центральному комитету ВКП(б), лидерам партии и государства. В прошениях и письмах воссоздается история ареста, условия содержания во время предварительного заключения и произвол следователей. Пострадавшие называли различные формы физического и морального давления, применяемые на допросах: отказ от очных ставок со свидетелями и другими обвиняемыми; отказ от внесения в протокол объяснений и показаний, опровергающих версию следствия; лишение права на свидания и письма родным; угроза арестовать членов семьи; нецензурные оскорбления; постоянные угрозы бросить в камеру к рецидивистам или расстрелять; карцер; лишение пищи и сна; избияния. Данные свидетельства подтвердили следователи, в 1938—1939 гг. привлеченные к ответственности «за нарушение революционной законности». Именно они, обвиненные И. Сталиным, правительством и ЦК ВКП(б) в превышении служебных полномочий и других преступлениях, рассказывали, каким образом, находя в картотеках отделов кадров предприятий и учреждений польские или немецкие фамилии, «создавали» «шпионские организации»; как печатали («под копирку») протоколы допросов; как приглашали чертежников из заводских конструкторских бюро для составления графических схем «контрреволюционных» групп; как читали газеты в поисках названий иностранных разведок; как добивались признаний, используя «конвейеры», «камерных колунов» и другие «эффективные методы». Дополнительные сведения о фальсификации обвинений содержатся в до-

кументах, собранных в 1954—1956 гг., в связи с первым этапом реабилитации. Тогда вновь приглашались свидетели, которым предоставлялась возможность подтвердить или опровергнуть свои показания, данные следствию в 1930-е гг.

Особую ценность имеют сохранившиеся в следственных делах вещественные доказательства, изъятые сотрудниками НКВД во время обысков и арестов. Разнообразие документов и предметов, оказывавшихся в распоряжении следственных органов согласно составленным описям, поражает. Исключительно важными источниками являются сохранившиеся в делах личные документы, изъятые при аресте или переданные в отделы НКВД «сознательными гражданами», — письма, фотографии, дневники, тетради со стихами, рисунки, листы с текстами песен и частушек, в некоторых случаях — басен и легенд. Чрезвычайно редкими находками являются книги, брошюры, комплекты открыток, стенгазеты, плакаты. Как правило, наличие подобных материалов и тенденциозная интерпретация их содержания следователями становились неопровержимыми доказательствами обвинения арестованных в «клевете на советский строй», «контрреволюционной агитации» и даже в террористических актах. Например, «нанесенный острым предметом удар по графическому рисунку “Ленин в разливе” квалифицировался в 1937 г. как покушение на вождя мирового пролетариата<sup>22</sup>.

Особую ценность для изучения политических настроений и взглядов советских людей представляют воззвания к гражданам страны и листовки, авторы которых убеждали современников в необходимости сопротивления существующей власти. Несомненно, интересными являются материалы судебно-следственных дел по обвинению в «дискредитации вождей ЦК ВКП(б) и руководителей страны» — в них сохранились анекдоты, портреты И. Сталина, М. Калинина, К. Ворошилова, других лидеров партии и государства. Некоторые плакаты с изображениями высших функционеров разорваны/прострелены, на других — либо надписи, либо оскорбительные «художественные дополнения», наглядно демонстрировавшие истинное отношение людей к представителям центральной власти.

С «особым вниманием» властные инстанции и НКВД относились к памяти о репрессированных политических деятелях. Центральный комитет ВКП(б) и СНК СССР после открытых процессов принимали решения о переименовании городов, промышленных предприятий, улиц и площадей, названных ранее в честь лидеров, «не оправдавших доверия партии и советского народа». Советские граждане должны были не только поддерживать единодушным голосованием осуждение на смерть бывших руководителей, но и ликвидировать их портреты, книги, сборники статей. Обнаружение таких улик свидетельствовало, по мнению следователей НКВД, об антисоветских настроениях. Аналогичные обвинения, как правило, выдвигались против тех людей, у которых при обысках находили портреты Николая II, других представителей династии Романовых и императорской семьи.

Особую ценность имеют фотографии, изъятые во время обысков. Их значимость определяется тем, что «остановленные мгновения» прошлого позволяют увидеть историческую реальность во всех ее проявлениях: городские пейзажи, интерьеры, предметы быта и одежды, сюжеты жизни и отдыха. Однако во многих делах на фото — «индустриальные сюжеты», позволяющие увидеть, какими были условия работы на предприятиях Урала. Несомненно, самая большая ценность фотографий заключается в том, что они сохранили лица людей — как оказавшихся в новом обществе «бывшими», так и с энтузиазмом строивших «светлое будущее». К сожалению, очень часто сотрудники НКВД использовали фото как главные улики при обвинении, называя всех изображенных на снимке членами контрреволюционной или шпионской организации. Имевшиеся в следственных делах фотографии мужчин в форме царской или белых армий становились главными (во многих случаях — единственными) свидетельствами антисоветских настроений арестованных.

Необходимо признать значимость таких документов, как дневники, сохранившиеся в судебно-следственных делах. Именно эти источники не только позволяют исследователям открывать новые ракурсы и неожиданные факты, изменяющие сложившиеся представления об исторической эпохе, но и передают мир чувств,

настроений конкретного человека и поколения, к которому он принадлежал. К сожалению, поверяя бумаге самые сокровенные мысли и не предполагая возможности знакомства с ними других людей, авторы были искренни в оценках происходящих событий. Если дневник оказывался в распоряжении сотрудников НКВД, открытость интерпретировалась как «антисоветская агитация».

В каждом деле имеются тексты приговоров и справки о приведении их в исполнение. Кроме этих документов, как правило, сохраняются письма родственников (иногда — друзей и/или коллег) арестованного с просьбами о необходимости пересмотра статей обвинения. В случае реабилитации осужденного в деле имеются материалы пересмотра состава преступления и справка о реабилитации.

Одним из типичных примеров репрессий против региональных руководителей являлось дело И. Д. Кабакова, занимавшего пост первого секретаря областного комитета ВКП(б) в 1929—1937 гг. Этот человек, имевший на Урале огромную власть и считавшийся «иконой Свердловской партийной организации»<sup>23</sup>, был арестован как «руководитель антисоветской организации правых» 22 мая 1937 г. и приговорен к высшей мере наказания. Авторы сборника «37-й на Урале» утверждают, что одной из причин его ареста и расстрела являлось нежелание принимать участие в репрессиях<sup>24</sup>. Однако материалы, обнаруженные историками в архивах, позволяют сделать вывод о том, что И. Д. Кабаков не только способствовал массовым репрессиям, но и использовал миф о вредительстве как одно из оправданий невыполнения производственных заданий<sup>25</sup>. К моменту его ареста активность Управления НКВД уже дестабилизировала ситуацию в области. В мае 1937 г. на пленуме обкома партии об этом говорил директор Уралмаша Л. С. Владимиров и требовал «серьезного вмешательства» в происходящее на заводе. «Иначе, — утверждал он, — мы можем нанести колоссальный вред нашей стране... За последнее время у нас выявилась такая тенденция — все вредители, все враги...»<sup>26</sup>

Парадокс ситуации состоял в том, что через некоторое время был арестован и директор УЗТМ как «руководитель контрреволюционной организации правых» на своем предприятии. Согласно

материалам следствия в составе «раскрытой» организации состояло 38 специалистов, в том числе главный инженер, его заместитель и начальники цехов.

В деле Л. С. Владимирова, как и в деле И. Д. Кабакова, содержатся все формальные документы, необходимые для следствия. Однако имеются значительные отличия этих дел от многих других. Как правило, содержание обвинения крупных руководителей определялось в Москве. По этой причине не являлись необходимыми «вещественные доказательства» — обвиняемые либо соглашались с предъявляемыми им преступлениями, либо приговор выносился на основе свидетельских показаний. Протоколы обыска квартиры и кабинета Л. С. Владимирова (как и И. Д. Кабакова) являются убедительными свидетельствами существовавших в советском государстве социальных контрастов. Как правило, содержание описи имущества «простых» советских людей состояло из номеров облигаций государственных займов, лишь изредка — книги и одежды, в то время как описи имущества руководителей насчитывали несколько страниц и включали разные виды оружия, часов, фотоаппаратов и других вещей, недоступных остальным<sup>27</sup>.

Дело Л. С. Владимирова, арестованного 1 сентября 1937 г., отличается наличием «информационных» материалов, которые энтузиасты-осведомители направляли в разные инстанции с 10 февраля по 20 июля. Исключительно интересным это дело представляется по той причине, что люди «откликнулись» на проходивший в Москве Пленум ЦК. Один из таких информаторов сообщил о «безобразиях на УЗТМ» сначала в райком партии, а потом написал письмо И. Сталину. Он считал, что необходимо принять «меры хирургического лечения, невзирая на лица и занимаемые должности», и оправдывал свои действия тем, что «“Правда” в передовых статьях и особенно решения ЦК ВКП(б) поставили четко и ясно задачи перед каждым коммунистом».

9 марта в районный комитет ВКП(б) Орджоникидзевского района, на территории которого находился Уралмашзавод, поступило еще одно заявление от коммуниста «о недобросовестной работе администрации и инженеров УЗТМ». 3 июня один из коммунистов (член партии с 1930 г.) сообщил о знакомстве Л. С. Владими-

рова с И. И. Гарькавым — бывшим командующим Уральского военного округа, к тому времени уже арестованным.

11 июня уполномоченный Комиссии советского контроля по Свердловской области составил докладную записку о вредительстве на УЗТМ, которая была адресована председателю КСК при СНК СССР тов. Н. К. Антипову. 1 июля в редакцию заводской газеты пришло письмо из Владивостока (!), автор которого сообщал о том, что брат Л. С. Владимирова, работавший на Харьковском паровозостроительном заводе, арестован за активное участие в контрреволюционной троцкистской организации. Автор письма выражал свою обеспокоенность: «Знает ли партийная организация Уралмаша об этом факте?» Он обратился с просьбой к редактору газеты: «Прошу вас проверить...» 20 июля наркому НКВД Н. Н. Ежову было отправлено письмо «об оставшихся вредителях на Уральском машиностроительном заводе»<sup>28</sup>.

В этих документах содержатся факты, свидетельствующие о незаконном расходовании государственных средств на строительство квартир для руководителей «с допущением излишеств — лепная работа, отделка карельской березой и пр. В десяти квартирах были поставлены бильярдные столы». Серьезные проблемы имелись на Уралмаше с обеспечением техники безопасности, выполнением планов по выпуску разных видов продукции (в том числе по оборонным заказам) и по качеству производимой техники. Однако на заседании Военной коллегии Верховного суда СССР директор УЗТМ обвинялся в том, что «...по заданию германской разведки... совершил ряд вредительских и диверсионных актов...»<sup>29</sup>.

Таким образом, имевшиеся в реальности экономические и социальные проблемы «переводились» на язык политической ненависти, что препятствовало их осмыслению и преодолению. Стремление некоторых современных авторов оправдать репрессии наличием коррупции, некомпетентности и аморального поведения, характерного для руководителей разного уровня, является лишь реконструкцией официальной версии, пропагандировавшейся в конце 1920-х — 1930-е гг. При этом, как правило, не анализируется реальная ситуация на предприятиях и в регионах, нестабильность которой была предопределена некомпетентным планированием,



централизованным характером распределения финансов и ресурсов, отсутствием необходимого уровня профессионализма значительной части руководителей как в Москве, так и «на местах».

Более того, концентрация внимания на данном аспекте репрессий препятствует возможности изучения террора, направленного против простых людей и многократно превзошедшего по численности приговоров процессы против элит. Исследователи отмечают, что операции НКВД, проведенной согласно приказу № 00447, утвержденному Политбюро ЦК ВКП(б) 31 июля 1937 г., практически не уделялось внимания историками, и большое число жертв массовых репрессий не реабилитировано до сих пор<sup>30</sup>.

Таким образом, судебные-следственные дела, появившиеся в экстремальной ситуации массовых политических репрессий, ставшие причиной гибели многих тысяч людей, до настоящего времени продолжают оставаться «тайным индексом» советского прошлого, вызывая дискуссии, неоднозначные интерпретации. Ограниченный доступ к данному виду исторических источников не позволяет ученым использовать содержащиеся в них уникальные документы и открывает широкие возможности для мистификаций и фальсификаций.

---

<sup>1</sup> *Петров Н. В.* Интервью редакторам «Нового литературного обозрения» // Новое лит. обозр. 2005. № 4(74). С. 376—377, 386.

<sup>2</sup> *Сушков А. В.* Архивные источники реконструкции социально-профессионального портрета руководителей Свердловской области, 1934—1991 гг. // Архивы Урала. 2006. № 9—10. С. 368.

<sup>3</sup> *Источниковедение по новейшей истории России: теория, методология, практика.* М., 2004. С. 148—198.

<sup>4</sup> *Журавлев С. В.* «НКВД напрасно не сажает»: особенности изучения следственного делопроизводства 1930-х гг. // Социальная история. Ежегодник, 2004. М., 2005. С. 371.

<sup>5</sup> *Кип Дж., Литвин А.* Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. М., 2009. С. 21, 215—216.

<sup>6</sup> *Панях В. М.* В дискуссии «Споры вокруг судьбы академика С. Ф. Платонова» // Отечественная история. 1998. № 3. С. 137; *Яров С. В.* Крестьянин как политик. СПб., 1999. С. 7, 95; *Алексеев В. В., Нечаева М. Ю.* Воскресшие Романовы... Екатеринбург, 2000. Ч. 1. С. 9—10.

<sup>7</sup> *Хаустов В., Самуэльсон Л.* Сталин, НКВД и репрессии 1936—1938 гг. М., 2009. С. 7.

<sup>8</sup> Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008. С. 8.

<sup>9</sup> Данилов В. П. Сталинизм и советское общество // 50 лет без Сталина: наследие сталинизма и его влияние на историю второй половины XX века. «Круглый стол» 4 марта 2003 г. М., 2005. С. 163—166.

<sup>10</sup> Бакулин В. И. Проблема сталинских репрессий в современной документалистике и научной литературе // Бакулин В. И. Листая истории страницы: Вятский край и вся Россия в XX веке. Киров, 2006. С. 154—159; *Его же*. Нижегородская краевая организация Трудовой Крестьянской партии: история возникновения и гибели // Там же. С. 159—178; *Его же*. Кадровые «чистки» в 1933—1938 гг. в Кировской области и проблемы консолидации советского общества // Отечественная история. 2006. № 1. С. 148—153.

<sup>11</sup> Бакулин В. И. Нижегородская краевая организация Трудовой Крестьянской партии... С. 175—176.

<sup>12</sup> Сувениров О. Ф. Трагедия РККА, 1937—1938. М., 1998. С. 26—338.

<sup>13</sup> В настоящее время документы одного из этих архивов переданы Государственному общественно-политическому архиву Пермской области, а в ГААО СО для исследования можно получить только дела, имеющие 75-летний срок давности.

<sup>14</sup> Белоконь С. И. Следственные дела ЧК—ГПУ—НКВД—КГБ как исторический источник // Тоталитаризм в России (СССР), 1917—1991: оппозиция и репрессии. Пермь, 1998. С. 40; Рокитянский Я., Мюллер Р. Красный диссидент. Академик Рязанов — оппонент Ленина, жертва Сталина. М., 1996. С. 144.

<sup>15</sup> Вероятно, следует признать справедливым мнение В. М. Панеяха о «региональных» различиях в степени сохраненности «вещественных доказательств». В ответ на мое сообщение о наличии в архивно-следственных делах листовок, дневников, частных писем, рисунков, портретов, фотографий, тетрадей и блокнотов с «контрреволюционным» фольклором, даже книг, он сказал, что подобные материалы отсутствуют в делах, с которыми ему пришлось работать. Виктор Моисевич предположил, что значительная их часть была уничтожена во время блокады.

<sup>16</sup> Скотт Дж. За Уралом: американский рабочий в русском городе стали : пер. с англ. М. ; Свердловск, 1991. С. 197, 202.

<sup>17</sup> Лихоя Р. Г. Общественно-политическая мысль трудящихся Урала (конец XVII — XVIII в.). Свердловск, 1987. С. 153.

<sup>18</sup> Покровский Н. Н. Дискуссия «Споры вокруг судьбы академика С. Ф. Платонова» // Отечественная история. 1998. № 3. С. 144.

<sup>19</sup> Рахматуллин М. А. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова // Отечественная история. 1994. № 6. С. 174—184; Яров С. В. Указ. соч. С. 78—88; Алексеев В. В., Нечаева М. Ю. Указ. соч. С. 23—24, 26; Потапова Н. Д. Рец. на сб. док. «Академическое дело, 1929—1931» // Отечественная история. 2000. № 2. С. 196—200.

<sup>20</sup> Терехов С. В. Рекруты великой идеи. Технические специалисты в период сталинской модернизации. Екатеринбург, 2003. С. 188, 191, 193, 200, 224—227.

<sup>21</sup> Реабилитация: политические процессы 30—50-х годов. М., 1991. С. 92—328.

<sup>22</sup> ГААО СО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 44783.

<sup>23</sup> Лейбович О., Колдушко А. А жертвы кто? Культурные практики местной номенклатуры до большого террора // Ретроспектива (Пермск. ист.-арх. журн.). 2008. № 1. С. 17.

<sup>24</sup> 37-й на Урале. Свердловск, 1990. С. 68—74.

<sup>25</sup> Постников С. П. Кабаков пишет Сталину // Архивы Урала. 2007. № 11. С. 193—197.

<sup>26</sup> Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 239—240.

<sup>27</sup> ГАОО СО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17368. Т. 1. Л. 3—16; Д. 20736. Т. 1. Л. 9—14.

<sup>28</sup> Там же. Д. 20736. Т. 1. Л. 106—129; 137—143.

<sup>29</sup> Там же. Л. 157.

<sup>30</sup> Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. Со специальным разделом А. Степанова «Проведение «кулацкой» операции в Татарии. М., 2003. С. 9.

*А. Г. Нестеров*

## ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА: ПОЛЕ БИТВЫ ИДЕЙ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Итальянская Социальная Республика (РСИ) — фашистское государство, существовавшее в Северной и Центральной Италии в 1943—1945 гг. — уже в годы Второй мировой войны стала предметом ожесточенных споров между идеологическими противниками. История Итальянской Социальной Республики стала привлекать внимание исследователей и публицистов практически сразу же после завершения Второй мировой войны. В их работах ярко проявляется не прекращающаяся до настоящего времени борьба вокруг наследия Социальной Республики, вокруг ее идеологии, политики, ее влияния на последующее развитие Италии. Первая книга, посвященная истории РСИ, — «Республика Салò» Джакомо Пертиконе — вышла в свет в 1947 г.<sup>1</sup> и положила начало продолжающемуся до сегодняшнего дня спору между сторонниками и противниками Республики.

Позицию исследователя в итальянской исторической науке зачастую можно определить даже по названию его книги, посвящена ли она Сопrotивлению или гражданской войне (причем книг, посвященных Сопrotивлению, вышло в свет значительно больше, чем книг по истории Социальной Республики).

Социальное государство, ставящее своей целью создание общества социальной справедливости для всех граждан, гарантирующее развитие социально ориентированной экономики и проведение последовательной социальной политики, «необходимая Республика», правду о которой исказили ее враги, — такой предстает РСИ в воспоминаниях и исследованиях своих послевоенных апологетов<sup>2</sup>.

Напротив, работы левых авторов склонны отрицать «социальный» характер Итальянской Социальной Республики и вообще признавать ее в качестве хоть сколько-нибудь самостоятельного и значимого явления в истории Италии. Левые итальянские авторы предпочитают давать РСИ описательное название: Республика Муссолини, или — чаще — Республика Салò<sup>3</sup>, по названию одной из правительственных резиденций Республики. Среди наиболее значимых работ по данной теме — грандиозный двухтомник Пьетро Секкиа и Филиппо Фрассати «История Сопrotивления»<sup>4</sup>, а также труд Роберто Батталья<sup>5</sup>, исследования Клаудио Павоне<sup>6</sup> и др.

Следует отметить, что само по себе яростное отрицание значимости Итальянской Социальной Республики является своеобразным, хотя и негативно окрашенным признанием ее как явления, оставившего значительный след в жизни Италии и достойного специального рассмотрения и исследования. Не случайно историко-публицистическая книга Сильвио Бертольди «Салò: жизнь и смерть Итальянской Социальной Республики» со времени первого издания 1976 г. выдержала пять переизданий (последнее — 2001 г.) и прочно занимает место среди бестселлеров итальянской исторической публицистики<sup>7</sup>.

Причину такого отношения к позднему итальянскому фашизму наиболее ярко показал выдающийся итальянский исследователь истории фашизма, автор многотомной биографии Бенито Муссолини Ренцо Де Феличе (последний том которой — «Муссолини союзник. II. Гражданская война» — посвящен Социальной

Республике)<sup>8</sup>. В одной из последних своих работ — небольшой книге «Красное и черное» (1995) — Р. Де Феличе отмечает, что «подлинная история Республики Салò остается большей частью еще скрытой»<sup>9</sup>. «Без Салò Соппротивление приобрело бы национальный характер, партизанская война стала бы войной за освобождение от иностранной оккупации»<sup>10</sup>. Позицию исследователя в итальянской исторической науке зачастую можно определить даже по названию его книги, посвящена ли она Соппротивлению или гражданской войне (причем книг, посвященных Соппротивлению, вышло в свет значительно больше, чем книг по истории Социальной Республики).

Еще более «закрытый» характер имеет история внутреннего развития Итальянской Социальной Республики. Отдельные аспекты внутренней политики республиканского фашизма чаще всего лишь упоминаются. Почти не раскрывается история Республиканской фашистской партии, очень кратко сообщается о политике социализации, проводившейся Муссолини и его правительством в 1944 г., — исследователи ограничивались оценкой РСИ как «марионеточного» государства, следовательно, его внутренняя политика не имела ни малейшей степени самостоятельности и объектом исследования быть не могла. Наиболее очевидной причиной такого отношения к РСИ являлось нежелание исследователей затрагивать явления, которые могли бы разрушить сложившуюся идеологическую догму о фашизме, его месте и роли в истории Италии. Отдельные аспекты истории Социальной Республики описаны достаточно подробно, но это — только эпизоды, в основном связанные с биографией Муссолини (яркие страницы множества книг посвящены освобождению Муссолини немецкими десантниками из-под ареста в сентябре 1943 г. и последним дням Муссолини 20—28 апреля 1945 г.). Из фактов истории РСИ, как правило, упоминается расстрел «предателей 25 июля», т. е. членов Большого фашистского совета, выступивших в июле 1943 г. за отстранение Муссолини от власти и осужденных трибуналом в Вероне 8 января 1944 г., реже — Веронская ассамблея Республиканской фашистской партии и принятие Веронского манифеста, основного программного документа РСИ, а также Декрет-закон о социализации от 12 января 1944 г. И это практически все.

Наконец, совершенно темной страницей в истории РСИ и итальянского общества эпохи гражданской войны является взаимосвязь коммунизма и фашизма. В Италии только в последнее время в работах Паоло Букиньяни и Арриго Петакко выявляется взаимосвязь между республиканским фашизмом и Итальянской коммунистической партией. Среди ближайших сподвижников Муссолини периода РСИ был Никола Бомбаччи, в конце 1930-х гг. бывший одним из лидеров итальянских коммунистов<sup>11</sup>; многие фашисты-республиканцы после Второй мировой войны влились в ряды итальянских коммунистов<sup>12</sup>.

В настоящее время уже опубликованы основные документы Итальянской Социальной Республики. Первые публикации официальных материалов РСИ осуществлялись в официальных изданиях и периодике Социальной Республики. Позднее публикация документов РСИ началась практически сразу же после окончания войны и особенно активизировалась после создания в 1948 г. Итальянского Социального Движения, которое использовало отдельные программные документы РСИ в качестве основы для собственной идеологии<sup>13</sup>. Так были опубликованы выступления Бенито Муссолини, Веронский манифест и ряд других документов. Позднее число документальных публикаций, связанных с Социальной Республикой, значительно выросло: в свет вышли все работы Муссолини эпохи РСИ (составившие XXXII том Полного собрания сочинений Муссолини<sup>14</sup>); многие документы опубликовал в качестве приложений к своим книгам Ренцо Де Феличе, выходили в свет и иные публикации документов РСИ. В последние годы ряд документов Социальной Республики (такие, как Веронский манифест, Декрет-закон о социализации, отдельные выступления Муссолини) появились на сайтах в сети Интернет<sup>15</sup>. Многочисленные издания содержат мемуары сторонников республиканского фашизма и его противников<sup>16</sup>, посвящены биографиям политических деятелей РСИ<sup>17</sup>, событиям эпохи гражданской войны в Италии.

Последней значимой работой по истории Социальной Республики стала книга Луиджи Ганапини «Республика чернорубашечников»<sup>18</sup>, посвященная прежде всего внутренней политике и политическим деятелям РСИ. Книга Ганапини, в целом достаточно

объективная, все же написана с «левых» позиций и подводит читателя к оценке Социальной Республики как марионеточного государства.

Тем не менее оценка республиканского фашистского режима только как «марионеточного» страдает ограниченностью. Муссолини и его сторонники увидели в сложившейся ситуации возможность реализовать радикальную программу фашизма, близкую к провозглашенной еще до прихода фашистов к власти в Италии в октябре 1922 г. «Фашистская революция» 1922 г. была своего рода историческим компромиссом между фашистским движением и традиционными институтами либеральной монархии. Теперь «монархия предала фашизм» (это было зафиксировано даже в пункте 1 Веронского манифеста)<sup>19</sup>, и это открыло возможность реализации «идеалов фашизма». Идея «возвращения» прослеживается практически во всех документах и выступлениях, особенно раннего периода РСИ (до июня 1944 г.). В какой-то степени «возвращение к истокам фашизма» стало основой идеологии республиканского фашизма 1943—1945 гг.

Насколько такое «возвращение к истокам» соответствовало интересам нацистской Германии? Для Германии важным было прежде всего сохранение воюющего союзника, режима, который исторически воспринимался в качестве ближайшего «идеологического родственника». Декларированная социальная направленность республиканского фашизма вызвала у Гитлера заметную заинтересованность, особенно усилившуюся после принятия в феврале 1944 г. программы социализации. Германский посол в РСИ Рудольф Ранн в донесениях в германское министерство иностранных дел неоднократно отмечал, что в идеях Муссолини и его окружения он видит «нечто марксистское», что Италии угрожает «развитие по марксистскому пути»<sup>20</sup>.

Вопрос о «социализме» в Социальной Республике во многом остается дискуссионным. В самой Республике достаточно четко проводилось разграничение между терминами «социальный» и «социалистический»; в то же время теоретики республиканского фашизма подчеркивали, что термины «социальный», «социализация» не являются монопольными определениями марксизма. Так,

Манлио Сардженти писал в журнале «Социальная Республика» в конце 1944 г., что ни в теории, ни в практике фашистской социализации ничто не связано с марксизмом: «Для нас очевидно, что невозможно согласиться с философскими основами марксизма — историческим материализмом, детерминизмом, теорией классовой борьбы»<sup>21</sup> (при этом автор статьи подчеркивал, что «советский эксперимент» также не может считаться реализацией марксистской доктрины)<sup>22</sup>. В завершение статьи Сардженти подчеркивал, что, говоря о республиканском фашизме, о социализации, можно рассматривать ее как социализм, но как «наш» социализм, корпоративный социализм, как результат развития фашистского корпоративизма предшествующего периода<sup>23</sup>. «Мы строим Государство Труда», — отмечал тот же Сардженти в начале 1945 г. в новой публикации<sup>24</sup>. Секретарь Фашистской Республиканской Партии Алессандро Паволини также неоднократно подчеркивал, что «Социальная Республика должна стать домом для всего итальянского народа»<sup>25</sup>. В то же время для руководства Германии, хотя термин «социалистический» присутствовал в названии правящей партии, в условиях Второй мировой войны говорить о социализме представлялось абсолютно неприемлемым.

Нельзя говорить об однозначной позиции руководителей Социальной Республики по всем вопросам. Многих в РСИ объединяло только одно — фашизм, причем фашизм, понимаемый по-разному. Среди фашистов-республиканцев можно увидеть и яркого германофила — «раса Кремоны» Роберто Фариначчи, и профессоров Витторио Роланди Риччи и Карло Альберто Биджини, философа Джованни Джентиле и маршала Родольфо Грациани, бывшего секретаря Национальной Фашистской Партии Фернандо Меццасому, ставшего в Республике министром народной культуры, и бывшего министра народной культуры Алессандро Паволини, ставшего в Республике секретарем Фашистской Республиканской Партии. К Республике примкнули бывший коммунист Никола Бомбаччи, командир военно-диверсионного подразделения X MAS («10-я флотилия торпедных катеров») князь Юнио Валерио Боргезе, экономисты Анджело Тарки и Эдоардо Морони... В то же время значительная часть иерархов свергнутого фашистского режима либо



оказалась на стороне маршала Бадольо и Южного Королевства, либо отошла от политики вообще, как бывший министр иностранных дел, один из организаторов свержения фашистского режима 25 июля 1943 г. Дино Гранди или теоретик корпоративизма Джузеппе Боттаи. Но наиболее яркой составляющей республиканского фашизма оказалась «левая», то социально ориентированное крыло фашизма, которое в период «двадцатилетия» 1922—1943 гг. оказалось отгесненным в сторону от магистрального вектора развития режима.

Как отмечал Никола Бомбаччи, фашизм в период Республики реально вернулся к революции. Фашистская революция 1922 г. не была завершена — она закончилась компромиссом. Только в 1943 г. возникла возможность продолжить революцию, прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве. «Мы уничтожим эксплуатацию человека человеком», — писал Бомбаччи, говоря об экономических и социальных реформах в Республике<sup>26</sup>.

Для большинства итальянских левых неприемлемым оказался прежде всего термин «фашизм», который, особенно в условиях Второй мировой войны, однозначно ассоциировался с антисоциализмом и антикоммунизмом, агрессией, террором... Социальная реальность Республики ничего не могла изменить: левые партии боролись против любого фашизма, независимо от того, какую конкретно политику проводил фашистский режим. Попытка республиканского фашизма фактически перехватить левую политику и левую фразеологию не смогла привлечь к себе сторонников левых — большинство из них боролись против фашизма. Именно поэтому уже в период Сопротивления и гражданской войны в Италии 1943—1945 гг. левые политики подчеркивали «марионеточность» республиканского режима Муссолини, его полную зависимость от Германии, — по определению, марионетки оккупационных властей не могут проводить хоть в какой-либо степени самостоятельную политику. Тем самым зачеркивались все попытки социальных реформ, предпринятых в РСИ.

Таким образом, необходимо отметить, что в современной итальянской историографии история РСИ остается полем противостояния между традиционной левой, антифашистской историографи-

ей, и историографией «апологетической», защищающей идеалы Социальной Республики и ее традиции. В последние десятилетия в этот спор вмешалась «новая» историография фашизма, представленная Ренцо Де Феличе и его учениками, однако их попытки более объективной интерпретации республиканского фашизма отвергаются представителями «левого» направления и в отдельных случаях рассматриваются даже как «неофашистские»<sup>27</sup>. В итоге можно предположить, что к настоящему времени более объективное исследование истории Итальянской Социальной Республики возможно лишь за пределами Италии, так как в самой Италии на такое исследование значительное влияние оказывают сиюминутные политические интересы.

Итальянская Социальная Республика — один из наиболее трагических периодов истории Италии последнего столетия. Гражданская война и взаимное непонимание, иностранная оккупация обеих частей страны и участие иностранных войск в военных действиях, политическая борьба, более ярко выраженная на Юге, менее ярко — в Республике, попытки осуществления реформ... Все это вместе взятое составило очень сложную картину, не дающую однозначного понимания событий. Для всех, писавших о Республике, характерным было упрощение, толкование событий в том направлении, которое определялось политическими взглядами исследователей: Республика получала, как правило, однозначную оценку (особенно у левых авторов). Действительность была намного сложнее, и свидетельством этого является хотя бы тот факт, что вплоть до настоящего времени Социальная Республика является предметом ожесточенных споров не только историков, но и политиков, и стабильного объективного анализа ее места в истории Италии до сих пор нет.

---

<sup>1</sup> *Perticone G.* La Repubblica di Salò. Roma, 1947.

<sup>2</sup> *Pisanò G.* Storia della guerra civile in Italia 1943—1945. Milano, 1974. Vol. 1—3; переиздана в 2000 г. Перу Дж. Пизано принадлежат также воспоминания о Социальной Республике (*Pisanò G.* Io, fascista. Milano, 1997).

<sup>3</sup> См.: *Lepre A.* La storia della Repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza. Milano, 1999; *Monicelli M.* La repubblica di Salò. Milano, 1995; *Bocca G.* La repubblica di Mussolini. Milano, 1994.

<sup>4</sup> *Secchia P., Frassati F.* Storia della Resistenza. La guerra di liberazione in Italia 1943—1945; первое издание вышло в свет в 1965 г., затем книга неоднократно переиздавалась.

<sup>5</sup> *Battaglia R.* Storia della Resistenza italiana; первое издание вышло в 1953 г., последнее переиздание — в 1996 г. В 1955 г. книга была переведена на русский язык.

<sup>6</sup> *Pavone C.* Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Torino, 1991; *Idem.* Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato. Torino, 1995.

<sup>7</sup> *Bertoldi S.* Salò: Vita e morte della Repubblica Sociale Italiana. Milano, 1976.

<sup>8</sup> *De Felice R.* Mussolini l'alleato. II. La guerra civile. Milano, 1998.

<sup>9</sup> *De Felice R.* Rosso e Nero. Milano, 1995. P. 145.

<sup>10</sup> *Ibid.* P. 109.

<sup>11</sup> См.: *Petacco A.* Il comunista in camicia nera: Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini. Milano, 1997.

<sup>12</sup> *Buchignani P.* I fascisti rossi. Da Salò al PCI, la storia sconosciuta di una migrazione politica, 1945—1953. Milano, 1998.

<sup>13</sup> Так, уже в декабре 1948 г. были собраны и опубликованы все выступления Муссолини периода Социальной Республики: *Gli ultimi discorsi di Benito Mussolini* (septembre 43 — aprile 45). Roma, 1948.

<sup>14</sup> *Mussolini B.* Opera omnia. T. 32 : Dalla liberazione di Mussolini all'epilogo la RSI (13 settembre 1943 — 28 aprile 1945). Firenze, 1960.

<sup>15</sup> Русский перевод основных документов Итальянской Социальной Республики опубликован в кн.: *Нестеров А. Г.* Итальянская Социальная Республика: документы эпохи. Екатеринбург, 2002.

<sup>16</sup> *Lucci Chiarissi L.* L'esame di coscienza di un fascista. Roma, 1978; *Munzi U.* Le donne di Salò. Milano, 2004; *Costa V.* L'ultimo federale. Memorie della guerra civile 1943—1945. Bologna, 1997; *Badoglio P.* L'Italia nella seconda guerra mondiale. Memorie e documenti. Milano, 1946; *Pisenti P.* Una repubblica necessaria (RSI). Roma, 1977.

<sup>17</sup> *Uomini e scelte della RSI: I protagonisti della Repubblica di Mussolini* / a cura di F. Andriola. Foggia, 2000; *Petacco A.* Il superfascista. Vita e morte di Alessandro Pavolini. Milano, 1999.

<sup>18</sup> *Ganapini L.* La repubblica delle camicie nere. Milano, 1999.

<sup>19</sup> *Нестеров А. Г.* Указ. соч. С. 79.

<sup>20</sup> *Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918—1945.* Ser. E. München, 1979. Bd. 7. S. 391, 400.

<sup>21</sup> *Sargenti M.* Socializzazione o socialismo? // *Repubblica Sociale.* 1944. N 3—4 (novembre — dicembre). P. 12—13.

<sup>22</sup> *Ibid.* P. 14.

<sup>23</sup> *Ibid.* P. 16.

<sup>24</sup> *Sargenti M.* Problemi costituzionali // *Repubblica Sociale.* 1945. N 5 (gennaio). P. 24.

<sup>25</sup> Отрывки из выступлений А. Паволини размещены в сети Интернет на сайте: *Stralci dell'ultimo romantico: Alessandro Pavolini (1943—1945).* URL: [http://diglander.libero.it/italcau/9\\_b\\_storia/storia19.htm](http://diglander.libero.it/italcau/9_b_storia/storia19.htm).

<sup>26</sup> L'entusiasmo di Bombacci per l'Italia proletaria // Rinascita. 1987. N 12.

<sup>27</sup> *Germinario F. L'altra memoria. L'Estrema destra, Salò e la Resistenza.* Torino, 1999. P. 7.

*Д. О. Лабаури*

## МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В КОСОВО В ОЦЕНКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ (1999—2004)

В статье на основе материалов французских СМИ за 1999—2004 гг. предпринята попытка исследовать восприятие французским обществом событий недавних лет в Косово, которые предшествовали провозглашению независимости края, проследить закономерную эволюцию французской прессы от освещения конфликта в регионе через призму пропагандистских стереотипов, призванных оправдать агрессивную политику НАТО на Балканах, к более объективному взгляду на трагедию межэтнического противостояния в регионе. Это тем более важно, что такая эволюция была характерна в целом для всей европейской общественности в исследуемый период.

Материалы печатных изданий показывают, что накануне вторжения войск НАТО в Косово во Франции, как и в других западноевропейских государствах, наблюдалась демонизация образа сербского народа, якобы пришедшего в современную Европу из мрачного прошлого и противостоявшего ценностям западной цивилизации. Зачастую в прессе провозглашалась коллективная виновность всего сербского народа, причастного к «геноциду» в Косово и заслуживающего изоляции от «цивилизованного мира». Указанное отношение к сербам было обусловлено десятилетием пропагандистских войн, активным участником которых была Франция и которые призваны были обслуживать геополитические интересы блока НАТО на Балканах. Корреспондент французского еженедельника «*Marianne*» Леви Елизабет, в частности, указывала

на построение в этот период во французском обществе откровенно расистского стереотипа в отношении сербов. Вспоминая в августе 2003 г. на страницах своего журнала настроения во Франции четырехлетней давности, она справедливо констатировала, что «за десять лет югославских войн на сербов обрушилась беспрецедентная ненависть... каждый серб в глазах общественного мнения, должным образом добела раскаленного единодушными СМИ, превратился в маленького Милошевича, иначе говоря, в преступника против человечности». Нередкими были, по словам журналистки, и расистские высказывания о сербском народе как «банде проходимцев и террористов» и в высших политических кругах Франции. Л. Елизабет отмечала, что «в большинстве случаев подобные обвинители не только оставались безнаказанными, но и прославлялись за их смелость и строгую мораль. Некоторые комментаторы считали для себя долгом чести воздерживаться от криминализации целиком всего народа и его истории, однако таковых были единицы. Питать отвращение к сербам стало должным»<sup>1</sup>.

В то же самое время на страницах французских газет и журналов рисовался образ албанского народа как незащитной жертвы длительной сербской политики апартеида и этнической чистки. Подчеркивался, в частности, несправедливый характер решений Лондонской конференции 1913 г., якобы оставившей 60 % албанцев за пределами молодого Албанского государства. Указывалось на долю ответственности и европейского сообщества за это «настоящее политическое преступление»<sup>2</sup>. История албанцев в Косово в XX в. показывалась как история страданий и борьбы за равноправие с титульной нацией. При этом особо выделялся знаковый 1989 г., когда после «националистической речи» сербского лидера С. Милошевича на Косовом поле и «отмены автономного статуса провинции» Сербское государство перешло к «политике апартеида», всесторонней дискриминации и выдавливанию албанцев из Косово.

Важное место в прессе занимал превратившийся в визитную карточку албанского народа в Косово образ интеллектуала Руговы, хранившего верность принципам ненасилия и мультиэтничного общества<sup>3</sup>. Он должен был свидетельствовать о том, что албанцы,

в отличие от сербов, принимают фундаментальные европейские принципы и ценности. Переход косоваров к вооруженной борьбе, которая интерпретировалась французскими СМИ как вынужденная и справедливая, направленная в первую очередь на защиту мирного албанского населения от «сербских карателей», а не на достижение экстремистских политических целей<sup>4</sup>, явился поводом к беспрецедентному усилению сербских репрессий. Лидеры западных держав, задававшие тон в информационной войне вокруг событий в Косово, уже в начале апреля 1999 г. стали называть действия сербских властей в крае этническими чистками и геноцидом. Энтони Блэр эффектно подвел черту следующим заявлением: «Я вам обещаю сейчас, Милошевич и его омерзительный расовый геноцид будут повержены» («The Guardian», 28.10.1999). Леонель Жоспен добавил, что это произойдет «посредством права... во имя свободы и правосудия» («Le Monde», 27.03.1999)<sup>5</sup>.

С подачи политического руководства стран НАТО французские СМИ в первой половине 1999 г. рисовали чудовищную картину геноцида в центре Европы, не сравнимую даже с трайболистской бойней в Руанде. Уголовная сербская солдатня полубезумного белградского тирана, сравниваемого с Гитлером или со Сталиным, вытворяла немыслимые зверства по отношению к беззащитному населению, виновному лишь в том, что оно принадлежало к иной национальности. Эти зверства осуществлялись, по мысли французских журналистов, в соответствии с четко спланированным на высшем уровне планом геноцида, получившим одобрение и поддержку большинства сербов, активно включившихся в осуществление этой акции. Для объяснения глубинных причин «сербской жестокости» ряд авторов даже прибегли к воскрешению старых стереотипов о православии как религии грубости и варварства<sup>6</sup>.

Такой подход к проблеме позволял французской прессе избежать обсуждения чересчур неудобной темы неприменения НАТО в войне против Югославии в 1999 г. «принципа различия» — фундаментального принципа, лежащего в основе международного гуманитарного права, который предписывает применение военной силы против военных объектов и запрещает использование ее против гражданских. Лишь единожды в прессе прозвучало пре-

дупреждение исполнительного директора *Human Rights Watch* Кенната Рота, согласно которому «НАТО подвергло бомбардировкам гражданскую инфраструктуру не потому, что это способствовало успеху военных действий, а потому, что эти разрушения позволили бы навязать гражданскому населению Сербии необходимость его давления на Милошевича, дабы тот ретировался из Косова»<sup>7</sup>.

Особой темой новостных передач стал вопрос о количестве албанских жертв в Косово. 4 апреля представитель американской администрации в разговоре о Косово сообщил «*New York Times*»: «Там может быть пятьдесят сребрениц» (т. е. 350 тыс. убитых). 18 апреля другой представитель заявил каналу ABC: «Десятки тысяч молодых людей могли быть казнены», а Госдепартамент США сообщил, что 500 тыс. косовских албанцев «исчезли, и есть все опасения, что они были убиты». Все эти цифры без промедления были воспроизведены и по французскому телевидению. 20 апреля по каналу TF1 сообщалось о количестве «от 100 тыс. до 500 тыс. человек, которые, по всей видимости, были убиты». Тот же канал на следующий день сообщал: «Согласно источникам НАТО, от 100 тыс. до 500 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Есть серьезные опасения, что они были казнены сербами». Не отставало и радио *France Inter*, журналист которого 20 апреля «увлеченно» передавал информацию Альянса о том, что «сотни молодых людей служат живым банком крови, тысячи других роют могилы или траншеи, женщины подвергаются систематическим изнасилованиям». В печати появлялись предположения о наличии «газовых камер в Сербии» и т. д.<sup>8</sup>

Французские публицисты С. Альми и Д. Видаль, проводившие год спустя исследование степени восприятия французским обществом пропагандистских фальсификаций НАТО в 1999 г., приводили показательный случай с выступлением известного французского интеллектуала Антуана Гарапона, директора Института высших исследований в области правосудия, президента «комитета Косово» и члена редакции газеты «Разум» («*Esprit*»), который в одном из своих эмоциональных выступлений в июне 1999 г. указывал на недопустимость «ставить на одну доску вероятную тысячу сербских жертв и сотни тысяч убитых косоваров»<sup>9</sup>. Он, одна-

ко, «опоздал», как выразились С. Альми и Д. Видаль: война была уже выиграна и потребность в ее пропагандистском обеспечении резко снизилась. Тотчас после капитуляции Белграда НАТО «уменьшил» количество албанских жертв с 500 тыс. до 10 тыс.

Проблема послевоенного урегулирования в Косово занимала центральное место на страницах французских периодических изданий в конце лета и осенью 1999 г., сосредоточившихся в основном на вопросах реабилитации албанских «жертв» и покаяния сербского народа, и прежде всего косовских сербов. В прессе в буквальном смысле разьяснялось, что «чудом спасшиеся от великосербского ада» албанцы стали «избранным народом для Запада», «избранным для стабилизации балканского беспорядка»<sup>10</sup>.

О «покаянии сербского народа» на страницах авторитетного французского журнала «L'Express» 1 июля 1999 г. размышлял специальный корреспондент Жан-Поль Деметс. Автор констатировал упрямое нежелание сербов признавать свою вину: большинство косовских сербов, с которыми ему удалось пообщаться, «клянутся, что не было свидетельств» «выселения албанцев». В своей статье он приводил два портрета: покаявшейся сербки и сербки, которая «исключает какую бы то ни было ответственность своего народа». Первая — пожилая женщина в стрессовом состоянии, от которой после долгих объяснений французского журналиста и сопровождавших его албанцев был получен приемлемый ответ: «Я всегда думала, что сербы, поскольку они столько страдали в прошлом, не могли стать преступниками... Единственное объяснение, которое я нахожу всему этому, это то, что плохие люди узурпировали власть». Вторая женщина недавно потеряла своего мужа врача. Автор мимоходом сообщает, что албанцы сперва выгнали его из клиники, а затем среди бела дня расстреляли на одной из приштинских улиц. Женщина упорно отказывалась верить в «горы трупов» и «тела казненных албанцев со связанными руками», в «разрушении албанских кварталов» обвиняла НАТО и, даже более того, постоянно твердила кажущиеся для любого правильного европейца варварским анахронизмом слова о неких своих «предках», которые «испокон веков жили» на «этой земле». «Как простить сербов, если они отказываются взять на себя бремя от-



ветственности за события последних месяцев», — восклицает автор, оправдывая тем самым исход из Косова «от 70 до 100 тысяч сербов»<sup>11</sup>.

Позднее Л. Елизабет, раскрывая западную политику двойных стандартов в отношении албанских и сербских преступлений, подчеркивала, что единомышленная пресса преподносила «убийства сербов в Косово после войны, конечно, прискорбными, но вполне объяснимыми последствиями ужасов, пережитых албанцами в Косово»<sup>12</sup>. При этом имевшее место в действительности одностороннее избиение сербской общины в крае преподносилось как отголосок прежнего межэтнического противостояния, как столкновения равносильных сторон.

Именно поэтому в конце лета и осенью 1999 г. французскую печать занимал не столько вопрос о судьбе сербского меньшинства в Косово или проблема сербских беженцев, сколько установление ранее неизвестных деталей сербского «геноцида». Этому вопросу, в частности, была посвящена объемная статья под названием «Сексуальные насилия над косоварками», опубликованная 26 августа 1999 г. в уже упоминавшемся журнале «L'Express». Автор М. Фестрэ напоминала о «сотнях молодых албанок, подвергшихся насилию со стороны сербской солдатни», с дотошностью рисуя сценарии насильственных действий: групповые изнасилования несовершеннолетних девственниц на глазах у их родителей, принудительные массовые раздевания в албанских селах, изуверские игры сербских палачей, вспарывание животов беременным женщинам, чтобы извлечь оттуда ребенка и сжечь его и т. д. Всего она выделяла четыре сценария изнасилования: «дома на глазах семьи», «в деревне, когда сербские войска отделяли мужчин от женщин, чтобы сформировать колонны», «в колоннах беженцев во время переходов — те, которые сопротивлялись, тут же расстреливались на месте» и «в лагерях, куда женщин приводили, чтобы заставить служить сексуальными рабынями»<sup>13</sup>.

Недовольная официальным докладом Фонда ООН в защиту населения о наличии фактов изнасилования, но отсутствии доказательств их организованности, М. Фестрэ постаралась показать, что сексуальные насилия над албанками являлись одной из важных составляющих в четко спланированной сербами программе

геноцида: «Официально отвергнутые после речи Милошевича в 1989 г. на Косовом поле албанцы стали жертвами стратегии этнического очищения. Чтобы изгнать их, использовались террор, депортации, поджоги, убийства. И изнасилования женщин, чтобы унижить мужчин, продемонстрировать им их неспособность защитить своих дочерей, сестер или жен, чтобы навсегда отбить у них желание возвращаться в Косово. Но также и для того, чтобы измотать [албанскую] общину, вступив во владение жизнями ее членов и имплантировать врага в глубь самой жертвы, если, к несчастью, она оказывалась беременной после изнасилования. Эти женщины были обесчещены совсем с другой целью, нежели из простого сексуального удовольствия их насильников»<sup>14</sup>.

Информация, подобная той, которая выходила из-под пера М. Фестрэ, находила живой отклик во французском обществе, привыкшем за предыдущее десятилетие к тому, что представители только одного народа на Балканах способны «имплантировать эмбрионы собаки в живот боснийских женщин, заставлять мусульманские семьи поедать своих сыновей, только что убитых на их глазах, играть в футбол головами убитых детей, жарить младенцев, извлеченных из утробы беременных женщин, и, конечно же, насиловать всех женщин, встречающихся на их пути»<sup>15</sup>. В своем расследовании Л. Елизабет отмечала, что подобные обвинения напоминали обвинения, приписываемые евреям в России в XIX в. и которые и сегодня еще приписываются им некоторой арабской прессой<sup>16</sup>. Анализируя в августе 2003 г. глубинные причины «анти-сербского расизма» в европейском обществе, она приходила к выводу, что вся вина сербского народа была лишь в том, что он, «запоздав» в своем ментальном развитии, попросту не вписывался в рамки «нового человечества», столь упорно конституируемого в Европе: «Новое человечество, связанное с идеей обязательного смешения рас и ненависти ко всему, что национально, человечество постистории и всеобщего праздника, имело немало оснований обречь на поругание народ, который упорствовал в афишировании своей идентичности, в стремлении сохранить за собой свою землю и свою веру, иными словами, народ, не порвавший с прежним человечеством»<sup>17</sup>.

Ситуация с освещением косовского кризиса, однако, менялась по мере ознакомления французских журналистов с реальным положением вещей на месте, в результате чего удалось развенчать ряд пропагандистских мифов. Уже в марте 2000 г. во французской прессе отмечалось, что расследования, проведенные на месте, «радикально изменили прочтение событий»: аргументированно был опровергнут тезис о геноциде в Косово против албанцев, а также поставлена под сомнение необходимость вооруженного вмешательства Запада в косовский кризис в 1999 г. Большую роль в эволюции оценок французских журналистов ситуации в Косово сыграло появление в августе 1999 г. статьи приштинского публициста Ветона Сьюра, впервые громогласно заявившего об угрозе «албанского фашизма». Эффект этой статьи, в которой резко осуждалась «организованная и систематическая кампания запугивания всех сербов просто потому, что они сербы»<sup>18</sup>, был таков, что уже в скором времени она была перепечатана или пересказана во многих французских периодических изданиях.

Кроме того, и сами французские журналисты фиксировали очевидное несоответствие между «толерантными» декларациями лидеров албанских партий в Косово и их реальными действиями. Уже 9 сентября 1999 г. в статье Винсента Юго «Аппетиты УСК» напрямую указывалось, что «Армия освобождения бросает вызов тем, кому она обязана своей победой», и не собирается «мириться с покровительством КФог». Отмечалось также, что в то время как «сербы продолжают бежать, Тачи [лидер УСК] со своими людьми голословно расхваливает преимущества открытого и толерантного общества»<sup>19</sup>. Полтора года спустя это опасение звучало уже острее: «Станут ли они [албанцы] угрозой для Европы после того, как были протезе НАТО? Национализм некоторых их лидеров, которые к тому же зачастую состоят в мафиозных структурах, пугает»<sup>20</sup>. Тем не менее «бесчинства по отношению к сербскому и цыганскому меньшинствам», которые уже невозможно было игнорировать, такие как «убийства, похищения, поджоги домов»<sup>21</sup>, по-прежнему приписывались маргинальным радикалам, потерявшим поддержку большинства албанского общества.

Важным фактором эволюции в изображении французской прессы косовского кризиса стало непосредственное участие французского контингента в миротворческих действиях. В то время, когда в южном и центральном Косово по мере истребления и изгнания сербов натовские «миротворцы» встречали все меньше проблем на пути «умиротворения» провинции (как цинично выразился один из ответственных лиц *Munik*, «для убийств не так уж и много сербов осталось»<sup>22</sup>), французский контингент, в задачу которого входила охрана относительно компактных сербских анклавов северного Косова, уже в 1999—2000 гг. оказался вовлечен в прямое вооруженное противостояние с албанскими боевиками. Уже в сентябре 1999 г. во французской прессе отмечалось, что инициаторами кровавых столкновений в Митровице, наиболее проблемном городе северного Косова, были «местные главарь УСК»<sup>23</sup>.

Французские СМИ внимательно следили за развитием событий в Митровице и прилегающих сербских районах в феврале 2000 г., когда УСК предприняла крупную войсковую операцию по ликвидации сербских анклавов на севере Косова. «Битва за Митровицу стала смыслом всего Косова», — безапелляционно заявляли Ф. Болопшон и А. Волерин в статье «Ночь накануне серьезного испытания в Митровице». Журналисты указывали: «Молодые албанцы на юге реки Ибар, которая делит город, во что бы то ни стало хотят пройти на другой берег... С албанской стороны некоторые хотели бы утолить свой голод реванша, вытеснив сербов. Они хотят полностью господствовать на всей территории до границ Сербии». В подтверждение этому приводилось и откровение одного из бывших бойцов УСК в начале февраля 2000 г.: «Список добровольцев, решившихся сражаться [за Митровицу], был составлен во многих городах. Вооруженные люди уже сосредоточены вокруг Митровицы»<sup>24</sup>.

В середине февраля 2000 г. сербские кварталы северной Митровицы уже обстреливались реактивными снарядами, а позиции французских миротворцев — албанскими снайперами. Французский полковник Жан-Филипп Бернар, командующий мотопехотной бригадой, «окопавшейся» под огнем албанцев в северной Митровице, открыто заявлял журналистам, что миротворцы «перешли от пе-

риода контроля территории к периоду почти партизанской городской войны». Только за один день 15 февраля французам в ходе зачистки в албанских кварталах удалось ликвидировать многие склады оружия, изъять 10 реактивных установок (противотанковых гранатометов), 180 гранат и тысячи боеприпасов, пленив при этом 45 албанских боевиков<sup>25</sup>.

«L'Express» отмечал и всплеск антифранцузских настроений в Косово, так, за «новыми [антифранцузскими] манифестациями» последовали «очередные оскорбления в адрес французских войск, звучащие даже в местной прессе»<sup>26</sup>. А 15 февраля 2000 г. на массовых похоронах молодого «героя УСК» Авни Харедини видный албанский правозащитник Халит Барани перед журналистами откровенно обвинил французов в том, что они «подобны сербским солдатам»<sup>27</sup>.

После неудачи последовавшего за военными действиями многотысячного «мирного» албанского марша на Митровицу потребовалось уже вмешательство американской дипломатии. 21—22 февраля 2000 г. албанский осадный лагерь вокруг северной Митровицы насчитывал уже более 100 тыс. человек. Лента новостей «Голоса России» 23 февраля живо рисовала картину происходившего в те дни: «На этой неделе стотысячная озверевшая толпа албанцев под флагами Албании и США провела репетицию штурма сербского квартала города. Со стороны натовских миротворцев, ответственных за безопасность в районе Косовской-Митровицы, не дается никаких гарантий, что повторный штурм албанцев не приведет к массовой резне сербов». Американская администрация, однако, увидела проблему в несколько ином ракурсе. Устами посла США при ООН Ричарда Холбрука вся ответственность за разжигание атмосферы насилия в Митровице была возложена на Белград: «В Митровице проблема состоит не только в том, что местные сербы бунтуют на севере от моста, но и в том, что эти бунты в равной степени провоцируются белградскими властями, которые несут прямую ответственность за это [разделение города]»<sup>28</sup>. Явной уступкой албанцам стало решение перебросить в Митровицу миротворцев из исламских стран одновременно с проведением военных зачисток в сербских кварталах. Министр обо-

роны США Уильям Коен при этом недвусмысленно отметил, что прибытие «подкреплений» на север Косова «помешает усилиям югославского президента Слободана Милошевича разжечь атмосферу напряженности между албанскими косоварами и сербами»<sup>29</sup>.

Изменился и тон французских статей. В «L'Express» после нейтральной февральской статьи Ф. Болопьяна и А. Волерина в начале марта появилась разгромная для сербов статья В. Юго «Плохие вести из Митровицы», в которой автор приводил истории «неможных» или пожилых албанцев, подвергшихся насилию со стороны «банд сербских ополченцев» и изгнанных из северной Митровицы в дни февральских столкновений. Он подчеркивал, что в то время как Бернар Кушнер «решительно настроен воссоединить разьединенный город», «балканский Белфаст», а *Munik* «выбивается из сил, учреждая совместное муниципальное руководство, в котором обе стороны работали бы бок о бок», главным препятствием на пути объединения являются «сербские зачинщики, рвение которых стимулируют внедренные Белградом агенты, неспособные к компромиссам и решившиеся навлечь крах страстно ненавидимого ими “международного сообщества”». Отряды сербской самообороны в Митровице («Белые волки») характеризовались В. Юго как банды пьяных уголовников, «головорезы», которые целые дни проводят за «своей ракией» в разговорах о том, кого еще из местных албанцев можно было бы избить. Наблюдая, как подобная «кагорта» подвыпивших «громил» выходит навстречу албанцам,двигающимся по митровицкому мосту на север, журналист в недоумении спрашивает, почему миротворцы не препятствуют этому. «Чего вы хотите, — вздыхает унтер-офицер. — Невозможно посадить в тюрьму *весь город* (выделено нами. — Д. Л.)»<sup>30</sup>.

Лишь после прихода к власти в Сербии демократической оппозиции В. Коштуницы осенью 2000 г. и особенно после выдачи бывшего президента Югославии С. Милошевича Гаагскому трибуналу произошел окончательный перелом в сторону восприятия сербского меньшинства в Косово не как агрессора, а как жертвы албанского терроризма. Практически сразу после указанных событий вчерашние албанские «борцы за свободу» стали называться во французской печати террористами и экстремистами, угроза

от которых способствовала якобы «реинтеграции» Сербии в европейский концерт<sup>31</sup>, а «полууголовная солдатня» Милошевича — цивилизованной и дисциплинированной армией, готовой бороться с международным терроризмом.

Немалую роль в этой эволюции сыграла и агрессия албанских боевиков против Македонии в 2001 г. и в долине Прешево<sup>32</sup>. Французские журналисты терялись в загадках: кто руководит этими тысячами хорошо вооруженных албанских «экстремистов», сражающихся на двух фронтах против двух государств, каково их реальное влияние в Приштине, но готовы были «с очевидностью» констатировать, что «ни Ксхафери [лидер македонских албанцев], ни основные политические лидеры Косова, произведенные в рыцари западными демократиями, не контролируют экстремистские элементы»<sup>33</sup>.

Вместе с тем еще до прихода к власти в Югославии демократической оппозиции В. Коштуницы, в марте 2000 г. корреспондент «Le monde diplomatique» Ж.-А. Деренс в статье с красноречивым названием «Прощай мультиэтничное Косово» одним из первых четко поднял вопрос о том, что сербское меньшинство в Косово является «жертвой не только одной из самых систематических “этнических чисток” за всю историю югославских войн, но также впервые на практике жертвой гражданских и военных представителей международного сообщества». Ж.-А. Деренс попытался развенчать миф о чистках как деле рук немногочисленных маргиналов-экстремистов: «Нет сербов, которые не были бы невинны», — не моргнув глазом, объясняет немалая часть рядовых албанцев». Что же касается элиты, то Деренс верно подметил, что «среди албанских интеллектуалов Косова лишь единицы высказываются против “ответной этнической чистки”». К такому принадлежит Ветон Сюрау — «единственный, кто осмелился выступить против позора “албанского фашизма”», причем «занятие такой мужественной позиции стоило ему гнусной кампании в прессе, широко раздутой Kosova Press, печатным органом бывшей Армии Освобождения Косова (УСК)». Деренс при этом опровергал и тезис о «спонтанности» насилий над сербами: «В большинстве случаев нападения требовали тщательной подготовки. УСК или автоном-

ные группы искусно и тщательно разработали стратегию террора для реализации систематической этнической чистки». И, наконец, Деренс снимал клеймо коллективной ответственности за преступления режима Милошевича с косовских сербов. Он, в частности, приводил пример возникшего в сентябре 1999 г. во главе с епископом Призрена и Рашки Артемием Национального совета сербов Косова, в который вошло и косовское Движение сербского сопротивления М. Траяковича, «решительным образом осудившего политику Слободана Милошевича, “вампира, в первую очередь высасывающего сербскую кровь”». Этот совет получил признание сербских анклавов Грачаница, Косовска Витина и Ораховац (30 тыс. человек). С пониманием автор констатировал и создание сербами Ибарского анклава своего собственного (промилошевского) Национального совета во главе с Оливером Йовановичем<sup>34</sup>.

К концу 2001 г. вместе с относительной стабилизацией ситуации на границе Косова с южной Сербией и Македонией во французской прессе падает и интерес к албанскому вопросу на Балканах. Теракты 11 сентября 2001 г., война в Афганистане, подготовка, а затем и начало войны в Ираке окончательно отодвинули проблему Косова на второй план. Так, например, за весь 2002 г. в таких крупных изданиях, как «L'Express», «Le monde diplomatique», «Le point», не было помещено ни одной статьи о ситуации в Косово. Авторитетный ежедневник «Le Nouvel Observateur» за 2002 г. поместил лишь ряд кратких сообщений о судебном процессе над Милошевичем, а за весь 2003 г. — лишь одно упоминание о том, что на саммите ЕС в Салониках «вопрос Косова» «не затрагивался»<sup>35</sup>. *Status quo* с вяло текущей этнической чисткой под протекторатом ООН все менее интересовал европейскую общественность, для которой крах процесса «умиротворения» и создания открытого мультиэтничного общества в Косово был очевиден.

В августе 2003 г. в еженедельном издании «Marianne», продолжавшем тему антисербского расизма во французском обществе, в частности, подмечалось, что обстоятельства смерти шиитского ребенка в Ираке, случайно убитого американцами, требовали детального изучения во всех крупных национальных СМИ, но только не произошедшая в то же самое время кровавая расправа ал-



банских боевиков с шестью сербскими детьми во время купания последних в реке<sup>36</sup>.

«Le monde diplomatique» напоминал в феврале 2003 г., что спустя четыре года после воздушной кампании НАТО против Югославии «итог операции более чем сомнителен: катастрофическая экономическая ситуация, антисербская этническая чистка и межалбанские столкновения». В издании отмечалась и крайне опасная тенденция роста у албанских лидеров антизападных настроений в силу нежелания Запада пойти на признание независимости Косова, которое стало бы «небольшим мафиозным раем» и «центром притяжения для албанского ирредентизма»<sup>37</sup>.

В 2003 г. в декабрьской статье «Le monde diplomatique» под названием «Невыносимое status quo в Косово» Ж.-А. Деренс раскрывал общую картину экономической, политической и криминальной деградации провинции под ооновским протекторатом, напоминая о «той ужасной ситуации, в которой живет сейчас 80 тыс. сербов Косова, и о повседневном насилии, которое продолжает господствовать в провинции». Автор указывал, что в то время когда Косово является ключевым перекрестком наркотрафика и торговли людьми в Европе, ооновская полиция поделилась своими полномочиями с местной полицейской службой Косова (KPS), куда в действительности «проникли агенты УСК и сами криминальные группы». Деренс одним из первых развенчивал миф и о принципиальном отличии подхода И. Руговы и его Лиги за демократическое Косово к проблеме сербского меньшинства в крае от позиции его противников из радиального лагеря Тачи. В подтверждение этого Деренс приводил слова сербского правозащитника Николы Кабасича, клеймившего национализм ЛДК И. Руговы: «Ибрагим Ругова — это едва ли менее радикальный националист, чем другие. За два года, как он является президентом Косова, он ни разу не попытался ни встретиться с сербскими представителями, ни приехать посмотреть на ситуацию в анклавах, в гетто, в которых живут 80 тыс. сербов». По словам Кабасича, настоящие переговоры будут возможны, только когда «албанские политики... прекратят рассматривать сербов как военных преступников и граждан второго сорта»<sup>38</sup>.

Кровавые погромы против сербов в марте 2004 г., спланированные и организованные албанскими экстремистами, подтвердили мрачные предчувствия французских журналистов, доказали безответственность, бессилие и неспособность *Munik* и *KFor* защитить от албанского насилия не только меньшинства, но и самих себя. Большая часть французской прессы была солидарна с министром Сербии и Черногории по правам человека Расимом Льяичем, заявившим 18 марта 2004 г.: «Идея мультиэтничного Косова, если она и существовала когда-либо, была окончательно похоронена в среду»<sup>39</sup>. Об этом свидетельствовали и заголовки французских изданий того времени: «Косовский капкан» («L'Express», 25.10.2004), «Косово. Победа этнической чистки» («Le Point», 5.08.2004), «Этническая чистка под покровительством ООН» («Marianne», 12—18 января 2004), «Косово или объявленное фиаско» («Marianne», 22—28 марта 2004) и т. д. На страницах французских газет и журналов приводились слова из доклада авторитетной правозащитной организации Human Rights Watch, отмечавшей, что насилия над сербами являются «доказательством катастрофического поражения Миссии ООН в Косово и НАТО»<sup>40</sup>. И дополнительным доказательством этого провала стал бойкот местными сербами парламентских выборов в крае в конце октября 2004 г.<sup>41</sup>

Эффектную черту сразу же после погромов подвел корреспондент французского еженедельника «Marianne» Жак Дион, который не без доли сарказма вспоминал: «Когда она [война НАТО против Югославии] начиналась в 1999 г., то представлялась как модель “гуманитарного вмешательства”... Нам тогда объясняли, что будет достаточно нанести военный удар по бывшей Югославии и приказать НАТО бомбить Белград без резолюции ООН для того, чтобы урегулировать проблему сосуществования между косоварами сербского происхождения и косоварами албанского происхождения... Первых нам представляли как ужасно злых людей, которые все без исключения сторонники этнической чистки и родственники Милошевича по генетической манипуляции, а вторых как невинных созданий, с рождения привитых вакциной против всякого расистского или агрессивного поползновения. Это была настоящая волшебная сказка, подобная тем, которые рассказывают детям на ночь»<sup>42</sup>.

Таким образом, к концу 2004 г. можно фиксировать завершение в основных чертах начавшейся с осени 1999 г. эволюции в оценках французской прессы кризиса в Косово. Уже с самого начала оккупации провинции отмечались серьезные трудности на этом пути, вызванные албанской тактикой «вычищения» Косова от неалбанцев. В дальнейшем в прессе все настойчивее стали раздаваться голоса о нежелании, неготовности и неспособности *KFor* и *Munik* покончить с этим проявлением албанского экстремизма, так же как и с разгулом преступности и насилия в провинции. Указывалось на объективные сложности урегулирования вопроса об окончательном статусе Косово, причем настойчиво отмечалось, что албанское требование независимости края противоречит резолюции 1244 Совета безопасности ООН, как и позиции западных держав и Белграда.

В информационной картине и оценочных суждениях французской прессы перекликается как универсальное, так и особенное по отношению к остальной западной прессе. Особая в некоторой степени позиция французских СМИ имела как объективные, так и субъективные причины. К первым можно отнести тот факт, что Франция традиционно является страной, претендующей на собственную независимую позицию в интерпретации проблем мировой и европейской безопасности. К субъективным причинам относилось то тяжелое положение, в котором оказался французский контингент *KFor*, получивший мандат на оккупацию северного Косова со значительным сербским населением.

---

<sup>1</sup> *Lévy Elisabeth*. Au commencement du mal... était le Serbe // *Marianne*. N 329. Semaine du 11 août 2003 au 17 août 2003.

<sup>2</sup> См., например: *Demetz J.-M.* Les Albanais // *L'Express*. 12.04.2001.

<sup>3</sup> *Ibrahim Rugova* témoigne contre *Milosevic* // *Nouvel Observation Ebdo*. 03.05.2002. На судебном процессе против Милошевича 3 мая 2002 г. Ругова, в частности, заявил: «Мы хотели [всего лишь] иметь те же права, что и все в Югославии».

<sup>4</sup> Убедить в этом французского читателя призваны были и многочисленные интервью, данные лидерами албанских террористов. Так, например, только военный лидер УЧК Хашим Тачи в апреле — июне 1999 г. успел дать журналистам «*L'Express*» два интервью: в начале и в конце военной операции НАТО (*Hashim*

Thaci: «Le Kosovo a besoin de troupes au sol» par J.-M. Demetz, B. Milcent // *L'Express*. 01.04.1999; Interview. «Pas de paix possible si Milosevic reste», propos recueillis par J.-M. Demetz et B. Milcent // *L'Express*. 17.06.1999). Тачи, известный в России к тому времени как один из наиболее кровавых полевых командиров, практиковавших массовые убийства мирных сербов, в первом интервью заверил французское общество: «Наша главная цель не война... Мы хотим мира для Косово. Косово должно стать демократическим государством». Второе интервью оказалось еще более откровенным, в нем он, в частности, заявил: «Мы гарантируем сербам этой провинции, что они имеют право остаться. И это тоже наша цель — иметь мультиэтническое Косово, мы не хотим, чтобы регион стал исключительно албанским... Сосуществование между албанцами и сербами не только возможно, но и необходимо... У нас нет никакого интереса к тому, чтобы обращаться к гневу, мести или конфликту. Мы за сотрудничество».

<sup>5</sup> Halimi S., Vidal D. «Chronique d'un génocide annoncé» (Version intégrale inédite) // *Le monde diplomatique*. 2000. Mars.

<sup>6</sup> Lévy Elisabeth. Op. cit.

<sup>7</sup> Halimi S., Vidal D. «Chronique d'un génocide annoncé». Сами же военные руководители НАТО не скрывали, что стратегия ударов по гражданским объектам Сербии заключалась именно в том, чтобы терроризировать сербское население, и являлась важнейшим компонентом военной операции против режима Милошевича.

<sup>8</sup> Halimi S., Vidal D. «Chronique d'un génocide annoncé».

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Demetz J.-M. Les Albanais.

<sup>11</sup> Demetz J.-M. Pristina. Les voisins de palier du bloc III // *L'Express*. 01.07.1999.

<sup>12</sup> Lévy Elisabeth. Op. cit.

<sup>13</sup> Festraëts M. L'honneur violé des Kosovares // *L'Express*. 26.08.1999.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Lévy Elisabeth. Op. cit.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Halimi S., Vidal D. Op. cit.

<sup>19</sup> Huges V. Les appétits de l'UCK // *L'Express*. 09.09.1999.

<sup>20</sup> Demetz J.-M. Les Albanais.

<sup>21</sup> Huges V. Op. cit.

<sup>22</sup> Другой вариант перевода: «не так уж и много сербов осталось, кого бы еще можно было убить» (*Dérens J.-A. Adieu au Kosovo multiethnique // Le monde diplomatique*. 2000. Mars).

<sup>23</sup> Huges V. Op. cit.

<sup>24</sup> Bolopion Ph., Vaulerin A. Veillée d'armes à Mitrovica // *L'Express*. 24.02.2000.

<sup>25</sup> Kosovo: Bernard Kouchner appelle la France à l'aide // *Nouvel Observateur Quotidien*. 15.02.2000.

<sup>26</sup> Huges V. Les vents mauvais de Mitrovica // *L'Express*. 02.03.2000.

<sup>27</sup> Kosovo: Bernard Kouchner appelle la France à l'aide.

<sup>28</sup> Mitrovica: Holbrooke accuse Belgrade // *Nouvel Observateur Quotidien*. 22.02.2000.

<sup>29</sup> Kosovo: des renforts pour la KFor // *Nouvel Observateur Quotidien*. 24.02.2000.

<sup>30</sup> *Hugeux V.* Les vents mauvais de Mitrovica.

<sup>31</sup> *Demetz J.-M.* La guerre de Macedoine // *L'Express*. 15.03.2001.

<sup>32</sup> *Demetz J.-M.* Serbie: la vallée de tous les dangers // *L'Express*. 22.02.2001.

<sup>33</sup> *Demetz J.-M.* La guerre de Macedoine.

<sup>34</sup> *Déréns J.-A.* Op. cit.

<sup>35</sup> L'UE ouvre la porte aux Balkans // *Nouvel Observateur Quotidien*. 21.06.2003.

<sup>36</sup> *Thomas V.* Kosovo: vous avez dit «raciste»? // *Marianne*. N 331. Semaine du 25 août 2003 au 31 août 2003. Автор статьи напоминал, что «после окончания войны в Косово 1 136 сербов провинции были похищены, 989 были убиты, десятки православных церквей были разрушены, 200 тыс. человек должны были покинуть свои села, свои дома и 100 тыс. живут загнанными в гетто». В конце марта 2004 г. другой журналист «Marianne» добавлял к этому: «Кто возмущается? Кто протестует? Кто реагирует?.. Вчера сильные мира сего поддержали вмешательство НАТО под предлогом, что это должно покончить с проводимой сербами этнической чисткой против албанцев. Парадоксально, когда началась ответная чистка, протесты стали скудными. Следует ли из этого заключить, что есть хорошие и плохие косовары и что защита прав человека является переменной величиной?.. Сколько еще нужно могил, чтобы признать, что речь идет о тотальном фиаско?» (*Dion J.* Kosovo ou le fiasco annoncé // *Marianne*. N 361. Semaine du 22 mars 2004 au 28 mars 2004).

<sup>37</sup> *Déréns J.-A.* Le précédent contesté de l'intervention au Kosovo // *Le monde diplomatique*. 2003. Févr.

<sup>38</sup> *Déréns J.-A.* Au Kosovo, un intenable statu quo // *Le monde diplomatique*. 2003. Déc.

<sup>39</sup> *Lagarde D.* Les démons de Mitrovica // *L'Express*. 22.03.2004.

<sup>40</sup> Un nouveau responsable de l'Onu au Kosovo // *Nouvel Observateur Quotidien*. 16.08.2004.

<sup>41</sup> *Cornu Y.* Kosovo. Les Serbes font de la résistance // *Le point*. N 1676. 28.10.2004. P. 70.

<sup>42</sup> *Dion J.* Op. cit.

# УНИВЕРСАЛИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

*Н. Н. Алеврас*

## ПРЕДМЕТ ИСТОРИОГРАФИИ: ВЕРСИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Проблема определения предметной области того или иного знания, составляя область теоретических и науковедческих вопросов, всегда рассматривалась в ряду особо значимых для дисциплинарной самоидентификации. Она выразительно актуализируется в периоды различных политических, социокультурных, научных трансформаций. Это происходит и в результате парадигмальных поворотов, и в процессе научно-дисциплинарной дифференциации, и в ходе размывания границ отраслей знания и научных дисциплин. Научные задачи нашего времени, обращенные к проблемам междисциплинарных взаимодействий, являются важным симптомом, свидетельствующим, наряду с другими признаками, о том, что мы входим (или уже вошли) в новую научную эпоху. В отличие от ведущей тенденции предыдущего времени — XIX и большей части XX в. — новый вектор научной институализации противостоит прежней устремленности гуманитарных наук к самоорганизации и самоструктурированию: процесс дифференциации гуманитарного знания сменился на тенденцию интеграционного свойства. Авторы современного учебного пособия по истории исторического знания подчеркнули этот момент: «История и содержательно, и по форме рождалась в интегральном взаимодействии с иными сферами изучения действительности: ... конституировавшись в качестве особой дисциплины, она вновь оказалась включена в систему междисциплинарного взаимодействия»<sup>1</sup>.

В этой новой ситуации в исторической науке складывается оригинальный для нее набор условий, требующий пересмотра ее облика и предмета. Историографу при этом важно уяснить смысл подобных трансформаций, чтобы понять историю этих «пересмотров» и идентифицировать одновременно свою позицию для переосмысления предмета историографии.

В основе дисциплинарной трансформации лежит так называемый антропологический поворот, охвативший гуманитарно-обществоведческую систему знаний. Историческая наука со своей сложной дисциплинарной структурой и научными задачами тотального погружения в жизненные миры человека прошлых эпох активно вошла в этот процесс, став, вероятно, лидером междисциплинарного подхода в системе гуманитарных дисциплин.

Эти явления неминуемо поставили перед всей исторической наукой и каждой ее дисциплинарной составляющей вопросы, требующие корректировки их предметных пространств. Историография как специальная область историко-рефлексивного знания одной из первых почувствовала эту задачу, поскольку синтезирует в своей основе весь опыт историознания. Ситуация побуждает историографов к переосмыслению своего понимания предмета историографии. Вполне понятны в этой связи и призывы к «переформулировке» образа историографии, и резюмирующие наблюдения относительно современной ситуации: «...в настоящее время история как наука переживает один из самых сложных и напряженных периодов — она находится в состоянии переопределения предмета, методов и содержания...»<sup>2</sup> Эти наблюдения и суждения соотносятся с мнением относительно перспектив развития интеллектуальной истории, с которой у историографии самые близкие междисциплинарные взаимоотношения: «Переосмысление теоретических, критических и аксиологических оснований интеллектуальной истории приводит к существенному расширению ее проблемного поля». Автор цитаты далее детализирует систему вопросов, которые, на ее взгляд, следует сформулировать в целях конструирования социально-культурного контекста интеллектуальной истории<sup>3</sup>.

Ясно, что предмет любой научной области, в том числе историографии, не является вечной константой. Очертания и конфигу-

рация его границ имеют очевидную тенденцию к расширению, новому смысловому наполнению и изменению сущностных характеристик. Не случайно в лексике ученых все чаще используется понятие «предметное поле/пространство науки», подразумевающее внушительные масштабы и процесс диверсификации объектов, в данном случае — историографического изучения. Конфигурация и «размеры» предметного пространства историографии являются одновременно и результатом отмеченного интегрального взаимодействия исторического знания с другими сферами, обращенными к познанию социального.

Поскольку в центре внимания историографа оказывается личность творца исторического знания, то не последнюю роль в «предметном» комплексе играют поведенческие стратегии человека-ученого и социокультурные ориентации социума, органической частью которого он является. Субъективный фактор в истории исторической науки все больше привлекает внимание ученых, так как индивидуальное научное творчество, персональная судьба историка и его наследия, характер системы его межличностных отношений позволяют развернуть взгляд историографа в глубины творческого процесса. Вследствие этого в предметное поле историографии настойчиво входит «бытийная» составляющая научной жизни («историографический быт»), включающая многообразные практики и поведенческие стратегии историко-научного сообщества на ниве его движений к достижению научного результата — нового исторического знания. Но интересующая историографа жизнь историка немислима без проникновения в социокультурный контекст его деятельности. Поэтому внимание современных исследователей перемещается от «жизни» к «миру» историка. Подчеркнутые метафорически выраженные аспекты историографического интереса означают рост масштабов контекста, в границах которого познается творческий процесс, связанный с продуцированием исторического знания. Меняющиеся ориентиры в области выбора объектов изучения на дисциплинарном уровне неминуемо ставят вопрос об изменении представлений относительно предметной области историографии.



Научное движение в данном направлении (уяснение предмета историографии) в отечественной науке, как известно, обозначилось со второй половины XIX в. и стало особенно заметным на рубеже XIX—XX вв., выразившись в историографических идеях В. О. Ключевского, М. О. Кояловича, В. С. Иконникова, П. Н. Миллюкова, А. С. Лаппо-Данилевского и др.<sup>4</sup>

В советской науке проблема предмета историографии наиболее интенсивно обсуждалась во второй половине 1950-х — начале 1980-х гг.<sup>5</sup> Правда, поиски оптимальной дефиниции велись в характерном для этого времени отрыве от процессов методологического обновления исторического знания зарубежной историографии, а также при сохранении большой дистанции от историографического опыта российских дореволюционных историков. Не вдаваясь в детали достаточно известной истории выработки позиции историографов данного периода в понимании сущности и предмета историографии, зафиксируем ее основные моменты, необходимые для того, чтобы разместить в пространстве имеющихся подходов к проблеме взгляды современных историографов.

Вопрос о предмете историографии приобрел злободневность в связи с изданием и обсуждением «Очерков истории исторической науки» (1955—1985) и последовавших дискуссий о преподавании и периодизации историографии. Он получил выражение в трех основных идеях/образах относительно понимания смысла предметного своеобразия историографии. Лаконично их можно зафиксировать в виде представлений об историографии как истории исторической мысли (1955), истории исторической науки (1960-е — начало 1980-х гг.), истории исторического знания (1960—1970-е гг.). Они прочно вошли в восприятие историографов при попытках воспроизвести историю проблемы. В современных исследованиях нередко первая трактовка историографии объединяется с третьей, означая знак тождества между ними, в силу чего выделяется два основных подхода в понимании смысла историографии — как истории исторической мысли и истории исторической науки<sup>6</sup>. Представляется, однако, что все приведенные обозначения историографии, строго говоря, не являются определениями (или версиями определений) ее предмета. Они лишь фик-

сируют ведущую тенденцию, стратегическую линию, курс, которым должна следовать данная область исторического знания. Каждое из этих обозначений требует, на мой взгляд, своей «расшифровки», и только результат этой процедуры относительно каждого из них, вероятно, может рассматриваться как одна из версий определения предмета историографии.

Первый тип восприятия образа историографии восходит к пространной дефиниции предмета историографии, выраженной в предисловии к 1-му тому «Очерков». В нем в духе своего времени в предметном поле историографии очерчивалась «прогрессивная» историческая мысль в ее революционно-демократическом и марксистском выражении. Классовая и партийно-политическая подоплека такого понимания историографии явно суживала и ограничивала ее предметное пространство, задавая откровенно идеологизированный подтекст историографическому знанию и отодвигая профессиональное историческое знание на периферию внимания.

Сначала в ненавязчивой форме Н. Л. Рубинштейн (1941)<sup>7</sup>, носитель наследия дореволюционной историографии, потом Л. В. Черепнин (1957), затем более выразительно М. В. Нечкина (1965) и А. М. Сахаров (1977) стали формировать образ историографии как истории исторической науки<sup>8</sup>. Внимание историографов того времени, при известных оговорках относительно приверженности их принципам марксистской методологии (освещению взглядов представителей «прогрессивной» мысли и «классиков марксизма-ленинизма»), стало сосредоточиваться на области профессионального исторического знания. Это являлось положительной тенденцией на фоне идеологически заданной трактовки того времени истории исторической мысли. Задержим внимание на этом подходе, поскольку он оказался наиболее долговременным, во многом сохранившим свои позиции и в современной историографии.

С момента его появления параллельно отмеченной лаконичной формуле стало складываться представление о сложном характере содержания предметного поля историографии и его изменчивости<sup>9</sup>. Если точнее, то речь шла о попытках структурировать понятие «история исторической науки» на основе вычленения в нем составных элементов («факторов»). Среди всех составляю-

щих — источниковая база, проблематика, мировоззренческие позиции, методология, институциональные основания науки — главным признавалась *концепция* историка. Отражая характерный подход советской науки, известный историограф А. М. Сахаров подчеркивал: «Концепция... ведущий фактор в истории науки, ибо именно в осмыслении исторических процессов и явлений, в раскрытии их закономерностей заключается задача научного познания истории»<sup>10</sup>. Позиция автора нашла подкрепление в его учебном пособии по историографии<sup>11</sup>. Целый ряд научных конференций историографического профиля, организованных в 1970-х — начале 1980-х гг., выдвинули на обсуждение серию проблем теории историографии и практики историографических исследований. Постепенно сформировалось представление об институциональной инфраструктуре исторической науки, вырабатывалось представление об историографическом источнике и историографическом факте, что корректировало представление о предмете историографии. Несомненно, этот научный процесс стимулировал в целом развитие не только данной дисциплинарной области, но содействовал разработке общих вопросов теории и методологии исторического познания.

Однако с позиций современной науки предложенное понимание основного смысла предмета и задач историографии с известным акцентом в область концептуальных построений вряд ли может устроить историографа, ориентированного на новые методологические стратегии. Можно заметить, что даже в рассматриваемый период советской науки формировалось убеждение в узости «концептуального» подхода в понимании основного смысла предмета историографии. М. В. Нечкина, подводя итоги одного из обсуждений методологических проблем истории исторической науки и согласившись, что историческая концепция — это важное историографическое явление и «значительный объект историографического изучения», лаконично заметила в то же время: «Но она (концепция. — *Н. А.*) далеко не единственная проблема истории исторической науки»<sup>12</sup>.

Параллельно выше обозначенному пониманию предмета историографии во второй половине XX в. в отечественной науке скла-

дывался еще один подход к формулированию представлений о дисциплинарной сущности историографии. В серии исследований 1960-х гг. (в статьях Л. В. Черепнина, А. Л. Шапино, С. О. Шмидта и др.), обсуждавших структуру учебного курса историографии, периодизацию истории исторической науки и другие проблемы, возникла мысль о том, что историограф должен представлять свой предмет как историю исторических знаний. Тонкий нюанс отличия от предыдущих определений состоял в новаторском призыве расширить диапазон предметного пространства историографии в результате обращения не только к профессиональному опыту изучения истории, но и к социокультурным практикам восприятия как самого прошлого, так и знания о нем.

Особенно интересны тогдашние идеи С. О. Шмидта, и сегодня не потерявшие актуальности. Он считает, что предмет историографии включает не только формирование исторических взглядов, развитие исторической мысли, творческий процесс в науке, но и историю распространения и проникновения исторических знаний в социальную среду, шире — в культуру. «Уровень развития исторической науки определяется не только числом историков и исторических работ, но и числом читателей и слушателей, не только накоплением исторических знаний, но и интересом общества к их восприятию», — писал в свое время ученый<sup>13</sup>.

Такого рода подход не остался незамеченным. Появились попытки реализовать его в практике историографических или близких по жанру исследований<sup>14</sup>, но широкого распространения и теоретического развития он в тот период не получил. В историографии того времени было признано неоправданным расширение предмета историографии за пределы сугубо научных задач, отечественная наука ограничилась пониманием предмета и общего содержания историографии как истории исторической науки с набором отмеченных компонентов.

Однако с конца XX в. восприятие историографии как истории исторической науки постепенно разнообразится либо различающимися оттенками понимания ее смысла, либо совершенно новыми вкраплениями в содержание предмета, что в совокупности может рассматриваться как предтеча очередных подступов к пересмотру

стратегически важной для любой дисциплинарной области проблемы предметного пространства. В начале XXI в. стали очевидными более серьезные шаги в переосмыслении предмета историографии. Они уже нацелены на конструктивную деформацию всех прежних представлений определений и ориентированы на иные ценностные установки в решении данной проблемы<sup>15</sup>.

Остается вопрос, насколько отечественный опыт восприятия содержания предметного пространства и дисциплинарного смысла историографии сохраняет актуальность в современной науке. В настоящее время, на наш взгляд, просматривается несколько основных тенденций, отражающих различные подходы к проблеме или оттенки представлений о содержании и структуре предметного поля историографии. Эти тенденции (мы насчитали не менее четырех линий их проявлений, дав им условные обозначения) демонстрируют погружение историографов (с различной степенью глубины) в процесс осмысления наследия русской дореволюционной и советской науки и апеллируют к идеям необходимости обновления историографического знания относительно понимания предмета историографии.

Одна из подразумеваемых современных тенденций, назовем ее «традиционной», формально дистанцируясь от «марксистских» догматов, апеллирует к формуле «история исторической науки», в значительной мере сохраняя позиции, близкие к пониманию предмета историографии, сформулированному в 60-е — начале 80-х гг. XX в.

Вторая тенденция, принципиально критическая в отношении к отечественной историографической мысли XX в., нацелена на существенное уточнение предметного поля и в этой связи корректировку/расшифровку ставшего традиционным понятия «история исторической науки» с учетом инновационных, социокультурных по смыслу, подходов к процессу получения и осмысления исторического знания. Назовем ее «социокультурной».

Третья тенденция связана с возрождением идеи об историографии как истории исторического знания и акцентирует внимание на актуальность изучения исторического знания в глубоком социокультурном контексте. Она может быть обозначена как «кон-

текстуальная». Нельзя не заметить, что образ историографии как истории исторического знания прошел наиболее долгий путь до своего признания и лишь в начале XXI в. приобретет значение обновленной стратегической ориентации в переосмыслении предметной области историографии.

Наконец, четвертая тенденция выражает наиболее радикальную идею необходимости расставания с прежним методологическим опытом отечественной историографии — и советским, и, по логике заявленного подхода, дореволюционным. Эта тенденция, определяемая нами как «трансформационная», фактически демонстрирует отказ от опоры на понятие «история исторической науки», как уже не выражающего смысла предметного поля современной историографии.

Первую из отмеченных тенденций — традиционную — наиболее выразительно, на наш взгляд, представляет содержание современного учебника по историографии<sup>16</sup>. В разделе, посвященном предмету историографии, его автор А. В. Клименко ограничивается лаконичным суждением по этому поводу: историография изучает «процесс развития исторической науки и его закономерности». Фокусируя внимание на профессиональной историографии, смежный круг аспектов, связанных с восприятием исторического знания общественной средой («изучение исторических взглядов писателей, живописцев, архитекторов и других деятелей культуры, осваивавших прошлое в форме художественных образов») и возможностью включения их в предметное пространство историографии, он относит к «спорным вопросам»<sup>17</sup>. Одновременно автор утверждает, что «большинство современных историографов в вопросе об определении предмета собственной науки разделяют позицию, в наиболее полном виде сформулированную в трудах А. М. Сахарова»<sup>18</sup>.

При всем признании достижений отечественной историографической мысли в 60—70-е гг. XX в. и персонального вклада в этот процесс виднейших ее представителей нельзя не усомниться в правомерности упрощенных характеристик и определений, предложенных в учебной книге, адресованной молодому поколению историков-профессионалов, входящих в XXI в. Даже если ис-

ключить из предметного поля историографии сомнительные для автора интеллектуальные феномены в виде представлений социокультурной среды о прошлом человечества и сосредоточить взгляд на профессиональной исторической науке, то и в этом случае можно говорить, что создатели учебной книги прошли мимо многих историографических идей и разработок последних десятилетий. Из учебника студенты не узнают, что в поле активного творческого переосмысления задач историографии (а значит, и ее предметной области) оказываются и система научных коммуникаций историков, и пространство межличностных отношений и научной повседневности, обозначаемое понятием «историографический быт», и проблемы историописания, выходящие в область изучения типов исторических нарративов. И это только часть того, что можно было бы, опираясь на опыт современной историографии, культурной, интеллектуальной истории и науковедения, включить в предмет данной области знания.

Не вдаваясь в данном случае в детали современных историографических идей, что отвлекло бы нас от главной задачи, отмечу: принципиально важный процесс обновления историографического знания не затронул внимания авторов упомянутого учебника, что привело лишь к воспроизведению в нем теоретических идей в области историографии и понимания ее предмета более чем 30-летней давности. Поэтому в центре внимания вводной главы учебника оказываются задачи, принципы и методы историографии, не выходящие за пределы представлений о концепции как приоритетном компоненте ее предметной области<sup>19</sup>.

Вторая — социкультурная — тенденция является, вероятно, наиболее представительной. Она, продолжив историографическую линию дореволюционной науки, наиболее выразительно, на мой взгляд, представлена идеями и трудами ученых омской историографической школы<sup>20</sup>, найдя признание и поддержку в широкой среде историографов столичных и различных региональных центров. Позиция выразителей данной тенденции может быть одновременно обозначена как критическая вследствие того, что, опираясь на традиционное определение предмета историографии как истории исторической науки, ее представители нацелены на обо-

гашение и обновление предмета историографии. В рамках этой тенденции одновременно просматриваются возрожденческие настроения в стремлении максимально освоить утраченный в советский период методологический опыт понимания предмета и задач историографии дореволюционной наукой.

Еще в 1995 г. В. П. Корзун определяла стратегию историографического сообщества своеобразным лозунгом — «от сциентизма к историко-культурным исследованиям». Опираясь на лучшие традиции отечественной историографической науки, ею был сделан вывод об оформлении подхода, рассматривающего историографические исследования как явления культуры. В связи с этим была поставлена «проблема жизни исторической концепции в историко-культурной среде»<sup>21</sup>.

В начале XXI в., заявляя свое историографическое кредо, омские историографы ориентируются на «междисциплинарное поле» в понимании предмета историографии. Корректируя старый советский подход, они подчеркивают, что «историограф интересуется не только та или иная историческая концепция на “выходе”, но и индивидуально-личностная ее компонента, процесс ее создания, распространения, влияния и судьбы». Науковедческая практика убеждает в актуальности изучения «активной творческой личности», развития интереса к «личностному миру научных сообществ и нормативных регулирующих ценностей внутри них»<sup>22</sup>.

Представители данной тенденции, сохраняя верность взгляду на историографию как историю исторической науки, предлагают процесс развития науки рассматривать в контексте всего многообразия взаимовлияний, которые складываются между научным сообществом и социокультурной средой. Издаваемый омскими историографами серийный сборник «Мир историка»<sup>23</sup>, само название которого демонстрирует стратегию на социокультурный характер и широту постановки и понимания целей, задач, предмета историографии, демонстрирует процесс совершающегося перехода к новому образу данной области историко-гуманитарного знания.

Третья тенденция — контекстуальная — наиболее выразительно воплотилась в цитированном уже учебном пособии для вузов по истории исторического знания. Его авторы, возрождая



взгляд на смысл научно-дисциплинарной сущности историографии в различных проявлениях и модификациях исторического знания, также определяют ее предмет с учетом не только сугубо научной, но и культурной функции, которую выполняет историческая наука. По их мнению, «историческое знание не является ныне и никогда не было ранее, с момента своего становления, феноменом чисто академическим или интеллектуальным»<sup>24</sup>. Историческое знание выводится за границы профессионального опыта и рассматривается как феномен социальной природы, представляя «функционально важный элемент социальной памяти»<sup>25</sup>. При этом специально подчеркивается, что в системе современных представлений о задачах и функциях исторического знания «на второй план отходит так называемая проблемная историография, акцент переносится на изучение функционирования и трансформации исторического знания в социокультурном контексте»<sup>26</sup>. Это утверждение представляется весьма симптоматичным. Ведь проблемная историография сформировалась в виде отдельного историографического жанра под прямым воздействием понимания предмета историографии, характерного для советской науки 1950—1970-х гг. Заданный в то время концептуальный акцент в качестве приоритетной ориентации историографических исследований сыграл своего рода провоцирующую роль в появлении специфической историографической культуры, научная идеология которой отодвинула на периферию внимания мощный пласт проблем существования исторической науки в социокультурном пространстве.

Заявленный авторами «Истории исторического знания» подход не только актуализирует известную в прошлом идею, но обогащает ее современным видением генезиса исторического знания и пониманием его смысла как интеграционного явления. Историческое знание как предмет изучения историографии, будучи выведенным за пределы границ академической науки, истолковывается в качестве ценностной категории синтетической природы. Оно воспринимается как некий результат взаимодействия научной мысли и культурных потребностей общества, интенций человека и социума. Обращение к историческому сознанию, исторической памяти, опыту прошлого позволило предложить оригинальное определение предмета заявленного учебного курса в виде формулы: «исто-

рия как процесс познания прошлого»<sup>27</sup>. То есть познание прошлого происходит на основе потенциала всей человеческой культуры в ее исторической протяженности и всего многообразия инструментов восприятия и выражения его человеком.

Подобное понимание предметного поля истории исторического знания определяет функцию познания прошлого в качестве органического элемента движения истории. При таком ракурсе и масштабе взгляда на процесс познания истории обращение к исторической концепции, как некогда признаваемом узлом componente предмета историографии, окончательно теряет доминирующий характер в стратегиях историографических исследований, что, конечно, не исключает познавательной ценности специального обращения к концепции, как системе взглядов, при любом из отмеченных подходов. Предметное поле историографии в рамках рассматриваемой тенденции существенно расширяется за счет «втягивания» в свои границы *безбрежного* опыта исторической жизни.

Отмеченное выше, с одной стороны, является причиной сохранения настороженного отношения к данному подходу. С другой стороны, при опоре на него заставляет думать над вопросами нового структурирования предметного поля историографии и корректировки определения ее целевых установок. При несомненной привлекательности данного подхода его реализация может потребовать существенного обновления содержания и методов историографии как учебной дисциплины.

Тенденция, обозначенная нами как *т р а н с ф о р м а ц и о н н а я* в понимании предмета историографии, возникла в рамках той же атмосферы научного и социокультурного обновления, породившего и две предыдущие тенденции. Более того, эта тенденция генетически связана с двумя первыми: все они опираются на антропологические ориентации восприятия истории, для всех характерно погружение в социокультурный контекст эпохи при изучении процессов развития исторической науки и исторического знания. Вместе с тем данная тенденция особым образом акцентирует внимание на явлении/понятии «историческая память». Исходя из мысли об актуальности для социума и каждого индивида формирования представлений о прошлом и ценностного к нему отношения, выра-

зители этой тенденции наиболее решительно занимают антисциентистскую позицию. Наиболее определенно в отечественной науке ее заявил А. В. Антощенко<sup>28</sup>. Апеллируя к коммуникации «историк — читатель» и явлению исторического сознания, он отвергает традиционное восприятие историографии как истории исторической науки вместе с идеей концепции как центрального элемента предмета историографии. Ведущее место в историографических исследованиях, по мысли историографа, «занимает не понятие “концепция”, а понятие “историческая память”»<sup>29</sup>. Явное пересечение ценностных установок в понимании им предмета историографии с некоторыми заявлениями авторов курса «История исторического знания» несколько смещается при дальнейшем уточнении А. В. Антощенко своего понимания основной цели историографии.

В попытках очертить сущностное пространство предмета историографии, автор обращается к типологии исторического нарратива Й. Рюзена. Смена типов исторических нарративов<sup>30</sup>, происходящая под воздействием трансформации социокультурных ценностей, является, считает вслед за Й. Рюзеном А. В. Антощенко, показателем процесса изменения в обществе и науке представлений о прошедшей реальности и одновременно выражением перехода от одной познавательной парадигмы к другой.

Исходя из этой логики рассуждений, автор предлагает апробировать новую версию понимания предмета историографии: «Предмет историографии может быть определен как изменение отношения к прошлому в процессе исторического познания, выражающееся в смене видов или типов исторических нарративов»<sup>31</sup>.

Авторское обоснование данного определения исходит из двух основных аргументов: оно включает все этапы (в том числе — донаучный) и формы (в том числе — ненаучные) исторического знания; оно учитывает «изменение эталона научности»<sup>32</sup>, происходящее со сменой парадигмальных поворотов. Данное определение и его аргументация уводят предмет историографии из области, безраздельно принадлежавшей профессиональным историкам. Предметное пространство этой научной дисциплины предлагается располагать, как можно понять, на пограничье знаний — научных и ненаучных (обыденных), исторических и неисторических.

Данное определение выразительно подчеркивает неизбежную реальность: невозможно выработать определение предмета науки на все времена. Научно-дисциплинарные параметры предметной области, устанавливаемые в тот или иной момент, всегда являются выражением научных представлений определенного исторического времени. Поэтому сама по себе попытка понимать под предметом «изменение отношения к прошлому» (выделено нами. — Н. А.) представляется оригинальной позицией в опыте выработки дефиниций. Но, с другой стороны, сосредоточение внимания на характере исторического нарратива, как узловой компоненты предмета историографии, отвлекает от некоторых других аспектов историографии, составляющих ее предметное пространство.

Отмеченное «родство» трех последних из отмеченных тенденций в понимании предмета историографии может свидетельствовать о преобладании позиции, нацеленной на поиск оптимальных решений проблемы обновления предмета историографии, осуществляемого с учетом инновационных представлений антропологической природы о смысле теоретико-методологических оснований современной исторической науки. Придерживаясь подобной позиции, можно констатировать, что процесс конструирования предметного поля историографии испытывает некоторое напряжение внутренней конкуренции единомышленников, выраженной акцентуацией различающихся приоритетных идей, положенных в основу каждой из рассмотренных версий предмета историографии, при сохранении общей идейной платформы исходных позиций.

Завершая рассмотрение различных толкований выдвинутой проблемы, представляется своевременной постановка вопроса о структурировании пространства предмета историографии. Можно ли его представлять в виде простой совокупности элементов, что выражает несколько механистический подход? Если же предметное поле имеет сложную природу, не являясь простым соединением элементов, увеличение которых ведет к его «расширению» (до каких пределов?), то, возможно, оно представляет некое органическое, «многослойное» целое. Предмет историографии можно представить в качестве многоярусной конструкции, ядро которой составляет профессиональная историческая культура, которая впи-

сывается в контекстные «круги» общего научного знания, социальных, политических, экономических, общекультурных, повседневно-бытовых и других процессов жизни социума.

Предметное пространство историографии, будучи системным явлением, имеет сложное (не механическое, а органическое по типу) соподчинение структурных элементов. Что можно рассматривать в качестве его объединяющего начала? Идти ли по пути его фрагментации на элементы (факторы), как это делали в советской историографии 1960—1980-х гг.? Или опираться на идею контекста, закладывая «контекстуальный» подход? На мой взгляд, «контекстуальный» характер имеет конструкт «историографический быт»<sup>33</sup>. Может быть, он мог бы стать некой опорой в решении проблемы? Ведь «историографический быт» — это не отдельный элемент историографической культуры. Это целостный «организм», который «дышит» и «живет». В его основе процессы самоидентификации ученого и самоорганизации научной жизни сообщества историков, находящиеся в тесной связи с социокультурной средой.

Поле науки испещрено вопросами к самим себе. Будем искать ответы...

---

<sup>1</sup> Ретина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания : учеб. пособие для вузов. М., 2004. С. 5.

<sup>2</sup> Корзун В. П., Рыженко В. Г. Поиск образа историографии в современном интеллектуальном пространстве (размышления над учебным пособием Л. П. Репиной, В. В. Зверевой, М. Ю. Парамоновой «История исторического знания») // Мир Клио : сб. статей в честь Лорины Петровны Репиной. М., 2007. Т. 2. С. 269.

<sup>3</sup> Ретина Л. П. Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем : альм. интеллект. истории. М., 2008. Вып. 25/1. С. 10—11.

<sup>4</sup> См.: Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк исторической науки. М., 1966; *Ее же*. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983; Корзун В. П. Институциональное оформление историографии как специальной исторической дисциплины // Очерки истории отечественной исторической науки XX века : монография / под ред. В. П. Корзуна. Омск, 2005.

<sup>5</sup> См., например: Нечкина М. В. История истории // История и историки. М., 1965; Сахаров А. М. Некоторые вопросы методологии историографических исследований // Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1977; Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки : межвуз. темат. сб. Калинин; 1980; и др.

<sup>6</sup> См., например: *Корзун В. П., Рыженко В. Г.* Указ. соч. С. 267—270.

<sup>7</sup> См.: *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография. [М., 1941] / под ред. А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеева, М. В. Мандрик. СПб., 2008. С. 3, 6, 12.

<sup>8</sup> Но еще Р. А. Киреевой было показано, что уже дореволюционные российские историографы, при всей незавершенности разработок их идей, воспринимали историографию как «историю истории», или историю исторической науки. См.: *Киреева Р. А.* Изучение отечественной историографии в дореволюционной России... С. 74—97. Так что советской науке, оставившей в забвении многие наблюдения и выводы историографов «старой школы», пришлось, некоторым образом, «открывать велосипед».

<sup>9</sup> См., например, рассуждения А. М. Сахарова о «постоянном движении» и «расширении» предмета истории исторической науки: *Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки.* С. 79.

<sup>10</sup> *Сахаров А. М.* Некоторые вопросы методологии историографических исследований. С. 56.

<sup>11</sup> См.: *Сахаров А. М.* Историография истории СССР. Досоветский период. М., 1978. С. 12—15.

<sup>12</sup> *Нечкина М. В.* Послесловие // *Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки.* С. 133.

<sup>13</sup> *Шмидт С. О.* О предмете советской историографии и некоторых принципах ее периодизации // *История СССР.* 1962. № 1. С. 94.

<sup>14</sup> См., например: *Мавродин В. В.* Крестьянская война в России в 1773—1775 гг. Восстание Пугачева. М., 1961. Книга представляет часть коллективной трехтомной монографии о Крестьянской войне, выполняя в этом издании историографическую функцию. Автор исследовал не только исторические труды по теме, но проследил отражение этого события в художественной литературе, фольклоре, искусстве и других областях культуры.

<sup>15</sup> *Черепнин Л. В.* Исторические взгляды классиков русской литературы. М., 1968; *Нечкина М. В.* Функция художественного образа : сб. работ. М., 1982.

<sup>16</sup> См.: *Историография истории России до 1917 года : учебник для высш. учеб. заведений : в 2 т. / под ред. М. Ю. Лачаевой.* М., 2003. Т. 1.

<sup>17</sup> Там же. С. 17.

<sup>18</sup> Там же. С. 16.

<sup>19</sup> См.: Там же. С. 19—25.

<sup>20</sup> См., например: *Бычков С. П., Корзун В. П.* Введение в историографию отечественной истории XX в. : учеб. пособие. Омск, 2001; *Корзун В. П.* Образы исторической науки на рубеже XIX—XX вв. (анализ отечественных историографических концепций). Екатеринбург ; Омск, 2000. Об историографических школах, в том числе омской, см.: *Алеврас Н. Н.* Историографическая конференция в контексте научных традиций историографических школ // *Урал. ист. вестн.* № 1(18). Екатеринбург, 2008. С. 103—110.

<sup>21</sup> *Корзун В. П.* Отечественное историографическое сообщество: от сциентизма к историко-культурным исследованиям // *Российская культура: модернизационные опыты и судьба научных сообществ.* Омск, 1995. С. 157—159.

<sup>22</sup> Бычков С. П., Корзун В. П. Указ. соч. С. 8—9.

<sup>23</sup> См.: Мир историка : историограф. сб. Омск, 2005—2008. Вып. 1—4. Инициатором и редактором выступает В. П. Корзун при активном содействии других омских историографов.

<sup>24</sup> См.: Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. Указ. соч. С. 5.

<sup>25</sup> Там же. С. 5—6.

<sup>26</sup> Там же. С. 3.

<sup>27</sup> Там же. С. 10.

<sup>28</sup> См.: Антощенко А. В. К новому пониманию предмета историографии // Пути познания истории России: новые подходы и интерпретации. М., 2001. Вып. 20; Сборник материалов по отечественной историографии (вторая треть XIX века) : учеб. пособие / сост., вступ. ст., коммент. А. В. Антощенко, Т. Н. Жуковской. Петрозаводск, 2001. С. 8; Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003. С. 74—75.

<sup>29</sup> Сборник материалов по отечественной историографии... С. 8.

<sup>30</sup> Автор рассматривает «исторический нарратив как форму получения и представления читателям определенным образом осмысленного знания, т. е. он выступает как оформление процесса исторического познания». См.: Антощенко А. В. К новому пониманию предмета историографии. С. 7.

<sup>31</sup> Антощенко А. В. К новому пониманию предмета историографии. С. 8; *Его же*. «Евразия» или «Святая Русь»? С. 74.

<sup>32</sup> Антощенко А. В. К новому пониманию предмета историографии. С. 9.

<sup>33</sup> См.: Алеврас Н. Н. И снова про предмет историографии (трансформация предметного пространства и категория «историографический быт») // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век : материалы междунар. науч. конф. М., 2008. С. 238—240.

*И. В. Побережников*

## ПАРАЛЛЕЛИ В ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИЙ МАКРОИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Процесс развития естественных наук, согласно концепции Т. С. Куна<sup>1</sup>, имеет неравномерный, прерывный, революционный характер, включает чередующиеся фазы равновесия (рутинной «нормальной» науки) и «научных революций», т. е. смены парадигм (принятых научным сообществом моделей вывода знания). Смена

парадигм возможна и в социальных науках, в том числе в исторической науке. Вероятно, именно такая смена парадигм имела место в середине XX в. при переходе от традиционной, преимущественно политической, событийной, ранкеанской историографии к «новой» исторической науке, ориентированной на структуральное и многоаспектное видение прошлого<sup>2</sup>.

Однако в целом исследовательское пространство социальных и гуманитарных наук имеет более сложную, по сравнению с естественными, структуру, которую можно описать как ядерно-периферийную. Динамика развития гуманитарного знания, похоже, постоянно сопровождается миграциями идей, теорий, моделей между эпистемологическими центром и окраинами. Ядро составляют теоретические конструкции, которые пользуются наибольшим доверием научной общественности в данный момент времени. Но со временем доминирующие идеи и учения могут терять своих приверженцев, маргинализироваться, уходить на периферию познавательного пространства, что, однако, отнюдь не означает их бесповоротной и окончательной гибели и не исключает рецидивирующих триумфов в будущем. Возвращение в обновленном виде когда-то подвергшихся интенсивной критике и отвергнутых большинством («забытых») научных теорий, подходов — явление обыденное для гуманитарного знания. Подобной динамикой отмечены научные поиски в области макроисторических трансформаций.

Как и почему изменяются общества, является ли процесс социальных изменений неизбежным — эти и многие другие вопросы, связанные с проблематикой социальной динамики, широко обсуждаются специалистами в области социальных и гуманитарных наук. Поскольку само социальное изменение в высшей степени многозначно, многосторонне, ответы на поставленные вопросы могут даваться в рамках различных теоретико-методологических проекций, призванных объяснять характер и направленность изменений.

В XIX в. в русле социологии и антропологии (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Ф. Тённис, Л. Г. Морган, Э. Тайлор, Г. Мэн, Л. И. Мечников и др.)<sup>3</sup> была сформулирована эволюционистская концепция социальных изменений (классический эволюционизм), в основе которой лежали: убеждение в детерминистической пред-



определенности социальной эволюции (неизбежное и непрерывное развитие человеческого общества обусловлено естественными механизмами) и в наличии в истории человечества единой формы, логики, которую можно распознать, чтобы затем объяснить с ее помощью сам исторический процесс; фокусировка анализа на изменения общества в целом, которое представлялось как тесно интегрированная система компонентов и подсистем, каждая из которых вносит свой вклад в воспроизводство социального организма, обеспечение его целостности и непрерывности существования; трактовка изменений как постоянного, необратимого и векторного процесса, ведущего от примитивных к развитым формам, от простых к сложным состояниям, от гомогенности к гетерогенности, от хаоса к организации, от энтропии к негэнтропии; понимание эволюции как постепенного, непрерывного, прогрессивного, кумулятивного, имманентного, раскрывающего внутренние потенции общества, гладкого (без радикальных провалов или ускорений) иллинейарного процесса, следующего по единому, заранее установленному маршруту, который, в свою очередь, может быть расчленен на последовательные обязательные стадии, или фазы. Образно говоря, речь шла об одном движущемся эскалаторе, ступени которого одинаковы, только различные общества едут вверх, стоя на разных ступенях.

Классический эволюционизм соответствовал оптимистическому настрою эпохи становления индустриального общества. Однако эпоха мировых войн первой половины XX столетия, катастрофических по своим последствиям для человечества, раскола мира на две социальные системы, массовизации общества, роста тоталитаризма подорвала прежнюю веру в безграничный и безусловный прогресс человечества и заставила пересмотреть ранние эволюционистские представления. Под влиянием интенсивной критики со стороны приверженцев диффузионизма, теорий локальных цивилизаций, практикующих историков наивный эволюционизм растерял своих сторонников и превратился в маргинальное теоретическое течение.

Лишь в послевоенный период произошло его возрождение в модифицированной форме неозволюционизма, связанное вновь

преимущественно с усилиями антропологов, игравших теперь ключевую роль (Л. Уйат, Дж. Стюард, М. Салинз, Э. Сервис, Р. Карнейро, Х. Дж. М. Классен, А. В. Коротаев и др.)<sup>4</sup>, и социологов (Г. Ленски, Дж. Ленски, Т. Парсонс)<sup>5</sup>. Обновленный эволюционизм заметно отличался от своего предшественника: на смену детерминизму пришло представление о вероятностном влиянии более ранних фаз эволюции на более поздние; произошло смещение фокуса научных интересов с эволюции человечества в целом к процессам в рамках отдельных культур, сообществ; большее внимание стало уделяться роли людей и их осознанных действий в историческом процессе; произошел пересмотр прежнего представления о линейном характере эволюции, в частности, за счет использования идей многолинейной (Дж. Стюард), общей и частной эволюции (Э. Сервис) или альтернативных сценариев развития (Г. и Дж. Ленски). Что касается направленности изменений, то неоеволюционизм отдает предпочтение безоценочным тезисам о росте социальной интеграции, адаптивных возможностей или степени дифференцированности и комплексности общественной организации. Неоеволюционизм остается сегодня функционирующей теорией, продолжающей развиваться, популярной среди антропологов, т. е. специалистов, занимающихся архаичными обществами.

В то время, когда неоеволюционизм уже приобрел зрелую форму, произошло рождение модернизационной парадигмы. Последняя была сформулирована в середине XX в. в условиях распада европейских колониальных империй и появления «молодых наций» в Азии и Африке, вставших перед проблемой выбора путей дальнейшего развития. Собственно программа модернизации (ускорения перехода от традиционности к современности) была предложена учеными и политиками США и Западной Европы странам третьего мира в качестве альтернативы коммунистической ориентации. Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. различные аналитические течения и теоретические традиции объединились в единую междисциплинарную компаративную перспективу (теория, или точнее — теории, модернизации), которая казалась особенно полезной для обеспечения толчка в развитии стран третьего мира<sup>6</sup>. В дальнейшем, на протяжении второй половины XX в., в рамках

модернизационной перспективы был накоплен значительный теоретико-методологический и эмпирический опыт изучения различных аспектов, в том числе исторических, перехода от традиционного к современному индустриальному обществу.

В целом модернизационной парадигме 1950—1960-х гг., которую можно назвать классической<sup>7</sup>, было присуще фокусирование исследовательского интереса на проблематику развития, факторов и механизмов перехода от традиционности к современности; проведение анализа преимущественно на страновом, национальном уровне; использование в качестве ключевых понятий «традиция» и «современность»; оперирование эндогенными переменными, такими как социальные институты и культурные ценности; положительная оценка самого процесса модернизации как прогрессивного и перспективного, существенно расширяющего потенциал человеческих возможностей.

В рамках созданной модели процесс модернизации рассматривался как всеобъемлющий, связанный с «революционными» по значимости, радикальными трансформациями моделей человеческого существования и деятельности<sup>8</sup>. Модернизации присваивался признак комплексности, что означало несводимость ее к какому-либо одному измерению. Сторонники классической версии теории модернизации признавали, что переход от традиционности к современности вызывает изменения практически во всех областях человеческой мысли и поведения, порождая процессы структурно-функциональной дифференциации, индустриализации, урбанизации, коммерциализации, социальной мобилизации, секуляризации, национальной идентификации, распространения средств массовой информации, грамотности и образования, становления современных политических институтов, рост политического участия. В рамках данного подхода модернизация рассматривалась как системный имманентный процесс, интегрировавший в связанное целое факторы и атрибуты модернизации. Модернизация характеризовалась как глобальный процесс, который обеспечивается как распространением современных идей, институтов и технологий из европейского центра по всему миру, так и эндогенным развитием неевропейских сообществ. Процесс модернизации изображался как линейный; соответственно, все общества

можно было распределить вдоль оси, идущей от традиционности к современности (в связи с этим данную модель можно трактовать как линейную). Представители классической версии рассматривали процесс модернизации как эволюционный, протяженный по скорости осуществления «революционных» изменений. Предполагалась стадиальность модернизации, которая должна была осуществляться в рамках определенных стадий или фаз. В контексте классической модели модернизация рисовалась как необратимый и прогрессивный процесс унификации, постепенной конвергенции обществ. Таким образом, классическая теоретическая схема требовала рассмотрения модернизации как единого универсального восхождения обществ от недостаточной развитости (традиционности) к современности и развитости согласно универсальным закономерностям эндогенного характера (метафора эскалатора способствует пониманию смысла данного подхода так же хорошо, как и классического эволюционизма).

Как это ни парадоксально, но классическая модернизационная парадигма действительно опиралась на эволюционизм XIX в., наряду с функционализмом (в парсонсианской структуралистской модификации середины XX в.)<sup>9</sup>, а не на синхронные неозволюционистские разработки, в рамках которых уже произошел отказ от ряда дискредитировавших себя теоретических постулатов, и было предложено более гибкое и историчное видение социальной реальности.

Вероятно, это можно объяснить тем, что, во-первых, группы исследователей, разрабатывавших неозволюционистские и модернистские подходы, не совпадали по составу; во-вторых, различными были объекты их анализа (преимущественно примитивные ранние общества, а также исторические общества в первом случае и первоначально в основном современные общества третьего мира — во втором); в-третьих, различались интенции представителей указанных подходов (фундаментально-теоретические в первом случае и первоначально политико-прагматические — во втором; необходимо отметить, что прагматизм был присущ в полной мере и начальному классическому эволюционизму — стоит вспомнить, например, О. Конта).

Конечно, имелись определенные различия между эволюционизмом и модернизационными штудиями классического периода. Формат последних был более узким (лишь переход от традиционности к современности) по сравнению с форматом эволюционистского подхода (вся история человечества). Если фокус эволюционизма был направлен на человеческое сообщество в целом, то модернистские исследования выполнялись преимущественно на национально-страновом уровне.

Однако наличие очевидных параллелей между указанными подходами обнаруживается без труда. И в том, и в другом случаях процесс развития трактовался как прогрессивный, постепенный, пошажный, непрерывный, имманентный, унифицированный, стадийный.

В основе модернизационной схемы лежал дихотомический принцип радикального противопоставления традиционного («агрикультурного») и современного («индустриального») обществ, детально разработанный в рамках эволюционного подхода XIX в. (Г. Спенсер, Ф. Тённис, Э. Дюркгейм, Г. Мэн). В рамках модернизационной теории параметры традиционного и современного обществ характеризовались как диаметрально противоположные (например, Ф. Саттон, М. Леви)<sup>10</sup>. Предполагалось, что в процессе модернизации должен произойти полный демонтаж традиционного общества, перестройка его институциональных и социокультурных основ.

Подобный дихотомический подход формировал крайне пессимистический взгляд на перспективы использования интегративных механизмов, существовавших в традиционном обществе, в контексте модернизации. Традиционные институты и ценности рассматривались в качестве барьеров, которые в ходе модернизации должны подвергнуться эрозии, трансформации. Проблема барьеров модернизации получила широкую разработку в литературе. Возможно, наиболее детальную инвентаризацию препятствий переменам в социальном, культурном и психологическом аспектах предпринял американский социолог Джордж М. Фостер. Последний выделял с о ц и а л ь н ы е (групповая солидарность: взаимные обязанности в рамках семьи, фиктивное родство, дружественные

связи, малые группы, общественное мнение, клановые разборки, статусные интересы; устоявшиеся местные авторитеты: семейные, политические, неординарные личности; кастовые и классовые барьеры и т. д.), культурные (ценности и ориентации: традиции, фатализм, культурный этноцентризм, чувства гордости и достоинства, нормы скромности, локальные ценности; структура культуры: логическая несовместимость культурных характеристик и непредвиденные последствия планируемых инноваций; моторные образцы и привычные телесные позиции) и психологические барьеры, относимые к категории межкультурного восприятия (восприятие характера власти, отношение к подаркам, дифференциации ролей и т. д.; коммуникативные трудности: языковые, демонстрируемые предупреждения об опасности и т. д.; проблемы переобучения и т. д.)<sup>11</sup>.

Механизм структурно-функциональной дифференциации рассматривался как основополагающий и в эволюционизме (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм), и в модернизационной парадигме (Н. Смелзер, развивший предложенную ранее Т. Парсонсом модель социальной дифференциации)<sup>12</sup>. Обоим подходам было присуще системно-структурно-функционалистское видение общества, в основе чего лежала, видимо, органическая метафора, внедренная, в частности, в модернизационную парадигму через структурный функционализм Т. Парсонса.

Что касается дальнейшей судьбы модернизационной парадигмы, то она в определенном смысле повторяла (самостоятельно, без особого воздействия со стороны неозволюционизма и гораздо более быстрыми темпами) путь от эволюционизма к неозволюционизму (для модернизационной парадигмы его аналогом явился неомодернизационный анализ).

Сходство механизмов трансформации обоих теоретических подходов обнаруживается в постепенном дистанцировании от телеологизма, в расширении диапазона учитываемых факторов исторической динамики, в переходе от линейных к многолинейным интерпретациям развития, в акцентуации влияния среды (в эволюционизме — неозволюционизме) или традиции и международного контекста (классическая теория модернизации — нео-

модернизационный подход), в историзации теоретических моделей. Динамику развития данных подходов можно рассматривать в русле избывания первоначальной односторонности теоретических представлений и движения в сторону более панорамного, контекстного и исторического объяснения процессов социальных изменений.

При этом следует отметить, что некоторые теоретические находки были сделаны еще в период господства классической модернизационной парадигмы: это, например, концепция многовариантного движения к модерну Б. Мура (модернизация под руководством буржуазии в Великобритании, США, под руководством аристократии-дворянства в Германии, Японии, через «крестьянскую» революцию — в России, Китае), идея исторической трансформации самих механизмов модернизации А. Гершенкрона (более поздние догоняющие модернизации используют «заменители» в условиях недостатка органических предпосылок развития)<sup>13</sup>.

Со временем для сторонников модернизационного подхода стала очевидной необходимость учета социокультурного контекста модернизации<sup>14</sup>, получили признание идеи многовариантного и циклического характера модернизации, влияния на ее результаты международного контекста; в теоретическую модель был включен фактор исторической случайности; на фоне угасания интереса к анонимным законам эволюции возросло внимание к роли социальных акторов, обладающих возможностью трансформировать исторические ситуации; пересмотру подверглось прежнее жесткое представление о системном характере процесса модернизации, на смену которому пришло понимание разновекторного поведения различных социальных сегментов в контексте модернизационного перехода<sup>15</sup>. Все указанные теоретические новации способствовали превращению первоначально односторонней и абстрактной теоретической модели классического периода, не игравшей существенной роли в историко-эмпирических исследованиях, в многомерную и эластичную по отношению к эмпирической реальности научно-исследовательскую программу.

Учитывая высокую степень сходства теоретических основ неэволюционизма и неомодернизационного анализа, представляется

продуктивным более внимательно посмотреть на возможность взаимодействия и взаимообогащения данных теоретических перспектив. В частности, рассмотрение в контексте модернизационного анализа разработанных в рамках неозволюционизма идей общего и специфического развития, альтернативных вариантов развития, макро- и микропроцессов и т. д. может способствовать дальнейшему совершенствованию модернизационного анализа и устранению теоретических проблем, возникающих перед ним.

<sup>1</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.

<sup>2</sup> Burke P. Overture: the New History, its Past and its Future // *New Perspectives on Historical Writing*. Camb., 1993. P. 1—23.

<sup>3</sup> См.: Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении). Ростов н/Д, 2003; Comte A. The Progress of Civilization through Three States // *Social Change: Sources, Patterns, and Consequences* / eds. A. Etzioni, E. Etzioni. N. Y., 1973. P. 14—19; Спенсер Г. Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое. Минск, 2006; *Его же*. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998; Spencer H. The Evolution of Societies // *Social Change*. P. 9—13; Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб., 2002; Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995; *Его же*. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991; Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Л., 1934; *Его же*. Лига ходеносауни, или ирокезов. М., 1983; Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989; Мечников Л. Цивилизации и великие исторические реки : статьи. М., 1995; см. также: Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979; Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. СПб., 2001; Штампка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 135—169; Гофман А. Б. Классическое и современное : этюды по истории и теории социологии. М., 2003.

<sup>4</sup> Уайт Л. Избранное: эволюция культуры. М., 2004; *Его же*. Избранное: наука о культуре. М., 2004; *Его же*. Понятие культуры // *Антология исследований культуры*. СПб., 1997. Т. 1 : Интерпретация культуры. С. 17—48; *Его же*. Концепция эволюции в культурной антропологии // Там же. С. 536—558; *Его же*. История, эволюционизм и функционализм как три типа интерпретации культуры // Там же. С. 559—590; Steward J. H. Evolution and Progress // *Anthropology Today* / ed. by A. L. Kroeber. Chicago, 1953. P. 313—326; *Idem*. A Neo-Evolutionist Approach // *Social Change*. P. 131—139; *Idem*. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. Urbana, 1955; Салинс М. Экономика каменного века. М., 1999; Классен Х. Дж. М. Эволюционизм в развитии // *История и современность*. 2005. № 2, сент. С. 3—22; *Его же*. Эволюционизм в развитии // *Раннее государство, его альтернативы и аналоги* : сб. ст. / под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина и др. Волгоград, 2006. С. 37—52; Карнейро Р. Л. Теория происхождения



государства // Там же. С. 55—70; *Его же*. Культурный процесс // Антология исследований культуры. С. 421—438; *Коротаев А. В.* Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003.

<sup>5</sup> *Lenski G., Lenski J.* Human Societies: an Introduction to Macrosociology. N. Y., 1974; *Парсонс Т.* Система современных обществ. М., 1998.

<sup>6</sup> *Lerner D.* The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. N. Y.; L., 1965; *Apter D. E.* The Politics of Modernization. Chicago, 1965; *Levy M. J.* Modernization and the Structure of Societies. Princeton, 1966; *Eisenstadt S. N.* Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966; *Rostow W. W.* The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto. Cambr., 1960; *Idem.* Politics and the Stages of Growth. Cambr., 1971; *Bellah R. N.* Religion and Progress in Modern Asia. N. Y., 1965; *Black C. E.* The Dynamics of Modernization: a Study in Comparative History. N. Y., 1975.

<sup>7</sup> См.: *So A. Y.* Social Change and Development: Modernization, Dependency, and World-System Theories. Newbury Park, 1990. P. 17—59.

<sup>8</sup> Характеристика классической версии теории модернизации дается в статье С. Хантингтона: *Huntington S. P.* The Change to Change: Modernization, Development, and Politics // *Comparative Modernization: a Reader* / ed. by C. E. Black. N. Y.; L., 1976. P. 30—31.

<sup>9</sup> См.: *Парсонс Т.* Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Теоретическая социология: антология: в 2 ч. М., 2002. Ч. 2. С. 3—43; *Его же*. О структуре социального действия. М., 2000; *Его же*. О социальных системах. М., 2002; см. также: *Гоулднер А. У.* Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003. С. 172—193, 201—390.

<sup>10</sup> *Sutton F. X.* Social Theory and Comparative Politics // *Comparative Politics: a Reader* / ed. by H. Eckstein, D. Apter. N. Y., 1963. P. 67; *Idem.* Analyzing Social Systems // *Political Development and Social Change* / eds. J. L. Finkle, R. W. Gable. N. Y.; L.; Sydney, 1966. P. 24—25; *Levy M. J.* Social Patterns (Structures) and Problems of Modernization // *Readings on Social Change* / eds. W. Moore, R. M. Cook. N. Y., 1967. P. 196—201.

<sup>11</sup> См.: *Foster G. M.* Traditional cultures: and the impact of technological change. N. Y.; L., 1962; см. также: *Пандей Р.* Критика западноцентризма в теориях модернизации // Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия / сост., ред. и вступ. ст. Б. С. Ерасова. М., 1999. С. 469; *Vago S.* Social Change. New Jersey, 1989. P. 255—277.

<sup>12</sup> См.: *Smelser N.* Toward a Theory of Modernization // *Social Change*. P. 268—284; *Idem.* The Modernization of Social Relations // *Modernization. The Dynamics of Growth*. N. Y.; L., 1966. P. 110—121; *Parsons T. A.* Functional Theory of Change // *Ibid.* P. 78—86. См. также: *Побережников И. В.* Проблема структурно-функциональной дифференциации в контексте экономической модернизации // *Экономическая история. Обзорение*. М., 2006. Вып. 12. С. 148—165.

<sup>13</sup> *Moore B., Jr.* Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, 1966; *Gershenkron A.* Economic backwardness in historical perspective. Cambr. (Mass.), 1962; см. также: *Гершенкрон А.* Экономическая отсталость в исторической перспективе // *Истоки: экономика в контексте истории и культуры*. М., 2004. С. 420—447;

критический обзор концепции А. Гершенкрона содержится в работах: *Поткина И. В.* Индустриальное развитие дореволюционной России: концепции, проблемы, дискуссии в американской и английской историографии. М., 1994; *Олегина И. Н.* Критика концепций современной американской и английской буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР. Л., 1989; см. также: *Побережников И. В.* Предпринимательство как фактор модернизации (концепции А. Гершенкрона и Э. Хагена) // Экономическая история России XVII—XX вв.: динамика и институционально-социокультурная среда : сб. статей памяти Л. В. Сапоговской. Екатеринбург, 2008. С. 203—212.

<sup>14</sup> См.: *Осипова О. А.* Американская социология о традициях в странах Востока. М., 1985.

<sup>15</sup> *Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe* / ed. B. Grancelli. Berlin ; N. Y., 1995; *Цанф В.* Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социс. 1998. № 8. С. 16—17; *Бек У.* Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000; *Инглегарт Р.* Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 261—291; см. также: *Федотова В. Г.* Хорошее общество. М., 2005. С. 152—226; *Побережников И. В.* Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. М., 2006. С. 68—114.

С. В. Смирнов

## КОНЦЕПЦИЯ «АЗИАТСКИХ ЦЕННОСТЕЙ» КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАПАДОЦЕНТРИСТСКОЙ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Успешное экономическое развитие в последней четверти XX в. ряда восточноазиатских стран, выразившееся в «японском экономическом чуде», феномене «тихоокеанских маленьких драконов или тигров» и, наконец, «китайском чуде», актуализировало теоретико-методологические поиски адекватного объяснения модели развития этих стран. Попытки интерпретации развития восточноазиатских стран в XX в. через призму западоцентристской теории модернизации уже явно не удовлетворяют как политическую элиту, так и ученых, представителей общественных наук этих стран.

Теория модернизации, во многом опирающаяся на тезис М. Вебера о христианских основах капитализма и невозможности его возникновения вне западной (христианской) цивилизации, доказывала, что импульс движению незападных стран к современности был дан извне, Западом (концепция «западный вызов — восточный ответ»), а духовные основы современности составили западные, понимаемые как универсальные, ценности: индивидуализм, рационализм, отношение к труду как к долгу перед собой и богом, демократические принципы политической власти и т. д. В связи с этим, одной из наиболее дискуссионных проблем для исследователей, изучавших новый и новейший период, явилась проблема соотношения традиционного и западного в процессе модернизации незападных обществ.

Первоначально сторонники теории модернизации считали, что по мере развития процесса модернизации традиция вытесняется современностью. В дальнейшем в рамках эволюционирующей теории модернизации утвердилось положение о том, что становление современного общества вне евро-американского мира происходит путем взаимодействия традиционного и западного (современного). Характер, глубина, условия, в которых происходит это взаимодействие, и определяют специфику становления современного общества в той или иной стране. Как отмечал в свое время один из крупнейших представителей теории модернизации Дж. Фэрбэнк, «ключ к истории — внутри»<sup>1</sup>. Аналогичную точку зрения высказывал и один из ведущих конфуцианцев современности, Ду Вэймин, утверждавший, что традиции в современном обществе — это не просто «исторический осадок, пассивно лежащий на дне современного сознания, а, напротив, сдерживающая и мобилизующая сила, способная придать особую форму современности в каждом данном обществе»<sup>2</sup>. Но даже, несмотря на признание особой роли традиций в процессе «осовременивания» незападного общества, как психологически-компенсаторных, сдерживающих и мобилизующих, традиция, опирающаяся на определенную систему ценностей, не рассматривалась как источник современности.

Те исследователи, которые отстаивали (и отстаивают) точку зрения о начале процесса модернизации на Востоке (главным обра-

зом в странах Восточной Азии) до активного «воздействия Запада», отыскивали новые черты в доколониальном развитии восточных стран, соответствующие чертам, характерным для раннего этапа модернизации в Европе: коммерциализацию экономики<sup>3</sup>, становление национального рынка<sup>4</sup>, оформление рационалистических воззрений в токугавском конфуцианстве и буддизме<sup>5</sup>, зарождение «протоконституционалистских» тенденций в китайском неоконфуцианстве<sup>6</sup> и т. д. Тем самым взгляды этих авторов оставались столь же западоцентристскими, как и у тех, кто считал, что начало становления современных обществ на Востоке было связано с западным «толчком» или «ударом».

Стремление выйти за пределы западоцентристского видения новой и новейшей истории азиатских стран поставило на повестку дня вопрос о том, могут ли неевропейские духовные ценности стать основанием для формирования современного общества. Интерес к этой проблеме был основательно подогрев и стремительными экономическими успехами восточноазиатских стран начиная с 1960-х гг.

В 1980—1990-е гг. в исследованиях американских и восточноазиатских ученых и риторике восточноазиатских политических лидеров появилась своеобразная альтернатива европоцентристскому видению процесса модернизации — концепция «азиатских ценностей» (*Asian Values*).

Так называемые «азиатские ценности», базой которых явилось конфуцианство, были представлены как альтернатива западным ценностям, ставшая основой ускоренного капиталистического развития восточноазиатских стран и превращения их в современные, но не аналогичные западным. В этой связи интересно отметить, что в работах ранних теоретиков модернизации (Дж. Фэрбенка, А. Фейерверкера, Э. Балаша и др.) конфуцианство вслед за М. Вебером рассматривалось как главный тормоз на пути капиталистического развития восточноазиатских стран.

Не существует единого перечня «азиатских ценностей», так же как и мнения по поводу обозначения их в качестве «азиатских», а не «конфуцианских» или «китайских». Однако, опираясь на работы исследователей, сторонников данной концепции, можно вы-

делить круг тех культурных ценностей, которые относят к разряду азиатских: приоритет корпоративизма над индивидуализмом; преимущественная опора на личные связи и взаимные обязательства, нежели на букву закона; почтительное отношение к власти и социальной иерархии; стремление к консенсусу и социальной гармонии; высокая мотивация к обучению, трудолюбие, усердие и бережливость; принятие сильного государства, вмешивающегося в социальные и экономические дела<sup>7</sup>.

Первые работы, посвященные конфуцианству как основе ускоренного индустриального развития восточноазиатских стран, появились на рубеже 1970—1980-х гг. В 1979 г. американский футуролог Г. Кан обозначил преимущества конфуцианской традиции, заключающиеся в «воспитании преданных, целеустремленных, ответственных и образованных индивидов и обостренном чувстве организационной идентичности и лояльности к различным институтам»<sup>8</sup>. В 1980 г. в журнале «Экономикс» вышла статья Р. Макфаркухара «Постконфуцианский вызов». Подобно таким социологам, как П. Бергер и Г. Кан, изучавшим феноменальный экономический рост Тайваня, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи с конца 1970-х гг., Макфаркухар отмечал, что существует связь между идеологической доктриной (т. е. конфуцианством) и экономической активностью (т. е. капитализмом), а влияние конфуцианства на экономическое развитие позитивно<sup>9</sup>. К работам подобного плана нужно отнести и сочинение корейского ученого Кима Ильгона «Порядок и экономика в конфуцианской культуре», вышедшее в свет в 1984 г., в котором автор доказывал, что основополагающие ценности конфуцианства, такие как почтительное отношение к образованию, уважение к власти, межличностные отношения, опирающиеся на иерархию и сыновнюю почтительность, внесли решающий вклад в экономический прогресс восточноазиатского региона<sup>10</sup>.

Подчеркивание особой (или даже ведущей) роли конфуцианства в формировании современного общества в восточноазиатских странах привело к появлению таких теоретических конструктов, как «восточноазиатская модель развития», «конфуцианский капитализм» и «конфуцианская демократия».

Термин «восточноазиатская модель развития» был предложен в 1980-е гг. в работах Г. Кана и Э. Фогель<sup>11</sup>. Один из теоретиков восточноазиатской модели развития, П. Бергер, квалифицировал ее как «неиндивидуалистическую версию капиталистической модернизации», в основе которой лежат конфуцианские добродетели солидарности и трудовой дисциплины<sup>12</sup>. Наиболее последовательным сторонником этой концепции выступил китайский социолог Юй Инши, крупнейшая работа которого «Современная китайская религиозная этика и торговый дух» (1987) явно полемизировала с сочинением М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Юй Инши доказывал, что существует прямая связь между китайской религией, обращенной с эпохи Тан к внутреннему миру человека, и стремительным развитием китайской торговли в XVI в. Согласно Юй Инши, в эпоху Тан китайский буддизм и даосизм заложили основы секулярного общества и позитивную оценку мирской деятельности. В течение династии Сун неоконфуцианство, инкорпорировав в себя часть буддистского и даосского идейного наследия, оформило идею реформирования социального порядка. Влияние неоконфуцианства было очень мощным, оно принижало все слои китайского общества. Так, например, Юй Инши указывает, что по мере быстрого роста населения в XVI в. усилилась конкуренция в экзаменационной системе и нередко ученые мужи, провалившиеся на экзаменах, уходили в торговлю, неся с собой конфуцианские ценности. Торговцы в позднеминский период стали вторым наиболее образованным сословием общества, способствуя аккумуляции конфуцианского знания. Профессия торговца в этот период приобрела собственное дао, придающее ей религиозное значение, а торговец оказался способен к накоплению дэ. В то же время китайские торговцы активно развивали логические методы организации торгового обмена и в значительной степени рационализировали свою деловую практику. По словам Юй Инши, именно конфуцианская этика взрастила триумф меркантилизма в эпоху Мин<sup>13</sup>. Аналогичную оценку конфуцианству дает в своей работе «Дух китайского капитализма» Г. Реддинг. Автор превозносит конфуцианские ценности, которые обеспечили развитие китайского финансового успеха<sup>14</sup>.

С начала 1990-х гг. в исследовательскую практику входит термин «конфуцианский капитализм», который, по мнению тайваньского ученого Вэй У, означает взгляд на семью как «базовую экономическую единицу» и ориентацию на достижение «консенсуса в рамках всей семьи», а также принятие государством на себя заботы о благополучии среднего класса или, другими словами, создание государства «всеобщего благоденствия»<sup>15</sup>.

Основным типом капиталистического предприятия восточноазиатских стран стало семейное предприятие, опирающееся на родственные связи и конфуцианскую этику внутрисемейных отношений и управляемое главой семьи. Здесь можно сослаться на исследование Вонга Сюлуня «Конфуцианская семья как двигатель экономического развития» (1988), в котором семейное предприятие представлено в качестве фундамента китайского капитализма<sup>16</sup>. Несмотря на примитивную организацию управления, предприятия такого типа достигают высоких результатов. Секрет успеха кроется «в том же личном факторе: надежных связях и прочном доверии между партнерами, тесной взаимопомощи в рамках налаженных связей, низком уровне транзакционных издержек в условиях семейного управления, легкости получения информации даже помимо специальных институтов. Все это не только создает благоприятную среду для деловой активности, но и позволяет компании оставаться на плаву даже в случае серьезного просчета ее руководителя. В сущности, каждая китайская компания поддерживается плотной паутиной наработанных ею связей...»<sup>17</sup>.

Традиционная восточноазиатская приверженность «сетевой социальности» привела к формированию системы сетевого бизнеса. Как отмечал Г. Гамильтон в своей работе «Азиатская сеть бизнеса», «наиболее важной структурной чертой азиатской капиталистической экономики является то, что она организуется посредством сети корпораций»<sup>18</sup>. В современных условиях такой тип организации бизнеса удачно накладывается на формирующуюся сетевую структуру институтов глобального капитализма.

Нельзя сбрасывать со счетов и важные для деловой жизни черты национального характера восточноазиатских народов: трудо-

любие, честность, упорство, скромность и пр. Эти черты обычно включаются в перечень азиатских ценностей. На страницах исследовательской литературы можно встретить термин «конфуцианский динамизм» — тип поведения, который характеризуется личным усердием, упорством в достижении поставленной цели, уважением к статусу лица, бережливостью и скромностью<sup>19</sup>. Носителем данного типа поведения в рамках восточноазиатской меркантилистской культуры является так называемый «конфуцианский торговец/купец», впервые появившийся на страницах работ Юй Инши. Идея Юй Инши оказала большое влияние на восточноазиатских ученых. Так, например, в 1984 г. историки из КНР Тан Лисин и Чжан Хайпэн написали статью о торговцах из Хуэйчжоу (одна из наиболее влиятельных торговых корпораций эпох Мин и Цин), сочетавших в себе коммерческую хватку и классическую ученость. В 1994 г. на экраны Китая вышел фильм «Рассказы о торговцах из Хуэйчжоу», который был с воодушевлением встречен правительством провинции Аньхуэй и общественностью<sup>20</sup>.

В конце концов, характеризуя восточноазиатский капитализм, необходимо отметить особую роль государства. Как показывает практика экономического развития стран Восточной Азии, экономическая эффективность хозяйственного либерализма отлично уживается здесь с государственным патронажем и авторитарными тенденциями в политике. По мнению одного из современных исследователей Айхва Он, «в западных либеральных демократиях социальное регулирование осуществляется опосредованно, через набор стратегий, программ и техник, которые формируют экономические семейные и общественные институты. В либеральных экономиках Азии социальное регулирование не столько рассеяно в различных инстанциях, сколько сосредоточено в государственном аппарате, и проблемы управления представлены как проблемы религиозного и культурного отличия от Запада... В противоположность рациональному, расчетливому субъекту неолиберального Запада, который идет по пути индивидуализма, стараясь быть хозяином себя, экономики азиатских тигров создают рациональный субъект, который оформляется властью государства...»<sup>21</sup>.



Исходной теоретической посылкой, обосновывающей существование «конфуцианской демократии», является тезис о возможности развития демократии вне либеральной традиции<sup>22</sup>. Идея наличия демократических элементов в конфуцианстве зародилась в среде так называемых «новых конфуцианцев» в конце 1950-х гг. в Гонконге и нашла выражение в изданном ими Манифесте 1958 г. «Новые конфуцианцы» опирались на идеи Мэнцзы: «Поднебесная принадлежит всем»<sup>23</sup>. Более глубокую разработку идея «конфуцианской демократии» получила позднее, в 1990-е гг.

Ряд исследователей обосновывали, что конфуцианство, несмотря на приверженность иерархии, содержит в себе демократические элементы. Так, специалист по теории демократии и прав человека из Вандербилтского университета Б. Э. Эккерли выделила три теоретических элемента, составляющие, по ее мнению, основу «конфуцианской демократии»: «гуманность» (жэнь), как ценностное ядро конфуцианства вне зависимости от временного контекста; представление об изначальной доброте природы человека, разработанное Мэнцзы; практика «чистой критики», как возможность и даже обязательство критиковать политический авторитет, власть<sup>24</sup>. Конфуцианство ориентирует человека на постоянное самосовершенствование, самовозвращивание. Конфуцианский гуманизм можно рассматривать как принцип «моральной метафизики», выражающий созидающее личностное начало. Согласно конфуцианской демократии, жэнь есть практика всех по отношению ко всем, но практика в контексте всеобщей взаимосвязи, что ведет к выхолащиванию ценности иерархии. Самосовершенствование человека происходит посредством ритуала и через практику социальных, экономических и политических институтов. Исходя из представлений об изначальной доброте человеческой природы, для ее успешной реализации требуется не всеобъемлющий контроль и жесткое руководство, а совершенствование институтов, в рамках которых действует человек. В этом случае политический критицизм, опирающийся на жэнь и принцип совершенствования человеческой природы, должен препятствовать авторитарным тенденциям и создавать благоприятные условия для лучшего самосовершенствования человека.

Особенности азиатской демократии нередко связывают с приоритетом групповой ориентации в культурах стран Восточной Азии, носителем демократии здесь является не индивид, а группа. Поскольку общественные интересы здесь превосходят индивидуальные, люди в азиатских обществах менее эгоистичны, а единство и стабильность всего общества более важны, чем права индивида. Поведение человека обусловлено не индивидуальными правами, а долгом и ответственностью. Индивидуализм в этой системе даже вреден. Таким образом, ценностной матрицей азиатской демократии выступают не либеральные ценности индивидуализма с приоритетом прав человека, а ценности группового характера: самоотрицание, самодисциплина, самопожертвование во имя общей цели, сыновняя почтительность, упорная работа в команде<sup>25</sup>. Такая демократия не отрицает элементов авторитаризма, выраженных в сильном лидерстве, и может быть обозначена как «направляемая».

Каковы потенциальные познавательные возможности концепции «азиатских ценностей», может ли она являться авторитетной альтернативой западоцентристским концепциям модернизации? Нужно отметить, что концепция «азиатских ценностей» весьма противоречива и глубоко политизирована.

Во-первых, сомнение многих исследователей вызывает тезис о центральной роли конфуцианства в ценностных системах всех восточноазиатских народов. Скорее здесь нужно говорить о сложном культурно-религиозном комплексе, составляющие элементы которого (наряду с конфуцианством здесь представлены буддизм, даосизм, христианство) находятся в различном соотношении в случае каждой конкретной страны<sup>26</sup>. Само конфуцианство приверженцами концепции «азиатских ценностей» зачастую трактуется упрощенно и даже искаженно. При этом упускается из виду то, что оно не является унифицированной, однородной системой взглядов и суждений и может иметь не только позитивное, но и негативное влияние на развитие современных обществ в восточноазиатских странах.

Во-вторых, под сомнение ставится традиционность того конфуцианства, которое стало базой ускоренного капиталистического

развития восточноазиатских стран. Ряд исследователей предлагают использовать в отношении современного конфуцианства термин «изобретенная традиция», выступающий продуктом становления индустриального общества<sup>27</sup>. «Изобретенная традиция» призвана устанавливать символическую преемственность с историческим желаемым прошлым и служит символической опорой стабильности, порядка и социальной интеграции в хаосе постоянных изменений и конфликтов современного мира. Более того, современное развитие восточноазиатских стран соотносится по своей типологии с развитием стран Европы на начальных стадиях модернизации.

В-третьих, многие понятия, которыми оперируют представители концепции «азиатских ценностей»; расплывчаты и неконкретны. Это касается терминов «конфуцианский торговец», «конфуцианская семья» и т. д.

Научная значимость концепции «азиатских ценностей» снижается ее сильной идеологизированностью и политизированностью. Эта концепция была позитивно воспринята политической элитой ряда восточноазиатских стран и взята на вооружение в качестве идеологической базы, обеспечивающей возможность существования особого рода капитализма и демократии в Восточной Азии, как важнейших признаков современного общества незападного типа. По словам Ду Вэймина, новая восточноазиатская модернность формировалась прежде всего как противовес западной принудительной модернизации<sup>28</sup>.

В 1983 г. в Сингапуре под руководством Ду Вэймина был создан Институт восточноазиатской философии, который занимался продвижением и реинтерпретацией конфуцианства<sup>29</sup>. Этот институт сыграл не последнюю роль в распространении конфуцианских идей и их популярности в правящей элите восточноазиатских стран. В 1980-е гг. правительства Тайваня, Сингапура и Южной Кореи официально признали в качестве направляющей силы экономического развития своих стран конфуцианские ценности.

В 1984 г. в Пекине была создана «Конфуцианская организация», находившаяся под покровительством компартии Китая. В 1990-е гг. власти КНР, стремясь занять лидирующие позиции

в конфуцианском «возрожденческом» движении, объявили конфуцианство главным компонентом китайской интеллектуальной традиции и современного экономического прогресса. В 1994 г. в Пекине состоялась международная конференция представителей правительственных и неправительственных организаций из Сингапура, Японии, Южной Кореи, Тайваня, США, Германии, на которой было создано Международное конфуцианское общество. Возглавили это общество бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю и бывший премьер Госсовета КНР Гу Му<sup>30</sup>.

Популяризации идей азиатской демократии способствовала состоявшаяся весной 1993 г. в Бангкоке конференция глав сорока азиатских стран, где была подписана декларация, отвергавшая универсалистскую трактовку прав человека. В декларации говорилось о необходимости учитывать национальные и региональные особенности, фундаментальные различия исторического, культурного и религиозного характера<sup>31</sup>.

Наиболее последовательными и активными сторонниками концепции «азиатских ценностей» среди восточноазиатских политиков являлись премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю и премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир. Главным содержанием их риторики являлось стремление не только отстоять специфическую модель модернизации восточноазиатских стран, опирающуюся на «традиционные» азиатские ценности, а не на западные, но и продемонстрировать процесс «азиатизации Азии».

По мнению А. Дирлика, одного из крупнейших современных американских востоковедов, политизированная концепция «азиатских ценностей» способствовала становлению «восточного ориентализма». Дирлик отмечает, что «главное в конфуцианском возрождении — это пропаганда выхолощенного конфуцианства, вне исторического и социального контекста, что воспроизводит существенные процедуры ориентализма, на этот раз самими восточными деятелями. Превращение такого «конфуцианства» в гегемонистский глобальный дискурс капитализма вводит ориентализм в центр глобальной власти, но не как воплощения «Востока», а посредством прославления ориентализированных субъективностей

как универсальной модели для подражания»<sup>32</sup>. Активный выход в последние годы Китая, центра конфуцианской ойкумены, на мировой рынок культурных идентичностей с глобальным конфуцианским проектом, выразившимся, в частности, в формировании международной сети Институтов Конфуция, лишь способствовал дальнейшему развитию «восточного ориентализма».

В качестве заключения хотелось бы отметить, что концепцию «азиатских ценностей» необходимо рассматривать и понимать в контексте современного развития конкуренции между западной и азиатской моделями модерности. Что в свое время очень точно охарактеризовал Ду Вэймин: «Казалось бы устаревшие конфуцианские институциональные императивы и предпочтения возродились вновь как более утонченные способы решения проблем усложнившегося плюралистического мира, чем односторонняя приверженность к инструментальной рациональности и сопутствующим ей чертам, например, эффективности»<sup>33</sup>. Такое понимание будет способствовать плодотворному использованию научно-исследовательского потенциала концепции «азиатских ценностей».

---

<sup>1</sup> См.: *Березный Л. А.* Критика методологии американской буржуазной историографии Китая (проблемы общественного развития в XIX — первой половине XX в.). Л., 1968. С. 121.

<sup>2</sup> *Ду Вэймин.* Глобальное сообщество как реальность: изучение духовных ресурсов социального развития // Китайская философия и современная цивилизация. М., 1997. С. 23.

<sup>3</sup> *Березный Л. А.* Американская историография новой истории Китая: кризис парадигм? // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 3. С. 119.

<sup>4</sup> *Ли Бочжун.* Формирование национального рынка в Китае в период с 1500 по 1840 г. // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература : РЖ. Сер. 10, Китаеведение. 2001. № 2. С. 114—122.

<sup>5</sup> *Загорский А. В.* Япония и Китай: пути общественного развития в оценке японской историографии. М., 1991.

<sup>6</sup> *Barry Wm. T. de.* Asian Values and Human Rights: a Confucian Communitarian Perspective // *China Review International*. 1999. Vol. 6, N 2. P. 421—426.

<sup>7</sup> *Jun Sang-In.* No (Logical) Place for Asian Values in East Asia's Economic Development // *Development and Society*. 1999. Vol. 28, N 2. Dec. P. 192; *Khong C. O.* Asian Values: the Debate Revisited // «Asian Values» and Democracy in Asia: Proceedings of Conference «The Future of the Asia-Pacific Region», Hamamatsu, Shizuoka, Japan,

28 March 1997 [Electronic resource]. URL: <http://www.mhtml:file:///J:\Asian; Lee Seung-hwan>. Asian Values and the Future of the Confucian Culture [Electronic resource]. URL: [http://www.ieas.or.kz/vol12\\_1/authors; Yao Souchou](http://www.ieas.or.kz/vol12_1/authors; Yao Souchou). Confucian Capitalism. Discourse, practice and the myth of Chinese enterprise. N. Y., 2002. P. 10.

<sup>8</sup> Цит. по: *Малявин В. В.* Китай управляемый. Старый добрый менеджмент. М., 2005. С. 65—66.

<sup>9</sup> *Zurndorfer H. T.* Confusing Confucianism with Capitalism: Culture as Impediment and/or Stimulus to Chinese Economic Development [Electronic resource]. URL: <http://www.lse.ac.uk/collectious/EconomicHistory>.

<sup>10</sup> *Lee Seung-hwan*. Op. cit.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Цит. по: Азиатские ценности: цивилизационный или политико-идеологический феномен? // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература: РЖ. Сер. 9, Востоковедение и африканистика. 2004. № 2. С. 36.

<sup>13</sup> *Zurndorfer H. T.* Op. cit.

<sup>14</sup> *Yao Souchou*. Op. cit. P. 15.

<sup>15</sup> Цит. по: *Малявин В. В.* Указ. соч. С. 66—67.

<sup>16</sup> *Zurndorfer H. T.* Op. cit.

<sup>17</sup> *Малявин В. В.* Указ. соч. С. 60.

<sup>18</sup> *Yao Souchou*. Op. cit. P. 16.

<sup>19</sup> *Малявин В. В.* Указ. соч. С. 66.

<sup>20</sup> *Zurndorfer H. T.* Op. cit.

<sup>21</sup> Цит. по: *Малявин В. В.* Указ. соч. С. 61.

<sup>22</sup> Подробнее см.: *Ackerly B. A.* Is Liberalism the Only Way toward Democracy? Confucianism and Democracy // Political Theory. 2005. Vol. 33, N 4. Aug. P. 547—576.

<sup>23</sup> *Cheng A.* The Way of Confucius and Sprouts of Democracy // The 11<sup>th</sup> Symposium on Confucianism and Buddhism Communication and Philosophy of Culture. 29.03.2008. URL: <http://www.hfu.edu.tw/~lbc/BC/11th/disc/papers/26.pdf> (дата обращения: 12.08.2009).

<sup>24</sup> *Ackerly B. A.* Op. cit. P. 552.

<sup>25</sup> *Inoguchi T., Newman E.* Introduction // «Asian Values» and Democracy in Asia...

<sup>26</sup> *Park M.* The Development of East Asian Studies in Korea // Sungkyun J. of East Asian Studies. 2001. Vol. 1, N 1. Aug. P. 112—130.

<sup>27</sup> *Khong C. O.* Op. cit.

<sup>28</sup> Азиатские ценности: цивилизационный или политико-идеологический феномен?.. С. 36.

<sup>29</sup> *Cheng A.* Op. cit.

<sup>30</sup> *Zurndorfer H. T.* Op. cit.

<sup>31</sup> *Tang J.* A Clash of Values? Human Rights in the Post-Cold War World // «Asian Values» and Democracy in Asia...

<sup>32</sup> Цит. по: Азиатские ценности: цивилизационный или политико-идеологический феномен?.. С. 40.

<sup>33</sup> Там же. С. 37.

*С. Г. Мереминский*

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ АНГЛО-НОРМАНДСКОЙ ЭПОХИ В АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVI — НАЧАЛА XXI в.

Значимость исторических сочинений, созданных в Англии в течение первого столетия после Нормандского завоевания 1066 г., трудно переоценить. На исключительное значение этого периода для формирования представлений об английском прошлом в разное время указывали такие крупные ученые, как В. Гэлбрейт, Р. Сазерн и Дж. Кэмпбелл<sup>1</sup>. Хорошо известно, что именно труды авторов англо-нормандского времени служили основой для сочинений и средневековых хронистов последующих столетий, и антиквариетов раннего Нового времени, и историков XIX в. Анализ рассмотрения этого сюжета английскими исследователями XVI — начала XXI в. позволяет сделать определенные выводы об общем развитии изучения средневекового историописания. В истории изучения англо-нормандских исторических текстов выделяется три периода, которые можно условно обозначить как: 1) антикварный, или эрудитский (середина XVI — середина XIX в.); 2) позитивистский (середина XIX в. — 1960-е гг.); 3) современный (с конца 1960-х гг.).

Главными достижениями ученых-антиквариетов первого периода были соби́рание и каталогизация старинных рукописей (Дж. Лиланд, М. Паркер, Р. Коттон), публикация источников (У. Лэмбард, Дж. Селден, Г. Уортон, У. Дагдейл, Т. Хирн), а также создание библиографических справочников по средневековой литературе (Дж. Бэйл, Дж. Питтс, Т. Таннер). Их усилиями к началу XIX в. была выявлена и опубликована большая часть исторических сочинений англо-нормандской эпохи, однако качество изданий, как правило, оставляло желать лучшего.

Ситуация начала меняться в первой трети XIX в., когда в английском обществе наметился подъем интереса к национальной истории и культуре. В столице и провинции стали возникать мно-

гочисленные объединения любителей старины. Под влиянием немецкой науки в британской историографии утвердились новые принципы работы с источниками, основанные на приемах критики текстов. Важнейшим событием этого периода стало создание многотомного собрания источников по истории Великобритании (*Rolls Series*), куда вошли многие памятники англо-нормандской эпохи. Одновременно значительная часть этих источников была впервые переведена на английский язык. В 1930—1950-е гг. стали появляться первые исследования, специально посвященные проблеме английского средневекового историописания, в частности, в первое столетие после Нормандского завоевания (В. Гэлбрейт, Р. Дарлингтон). Однако для исследователей этого периода, как и для их предшественников, было характерно «потребительское» отношение к источникам. Их не интересовал содержащийся в нем авторский замысел, литературный и культурный контекст, в котором создавалось то или иное произведение.

Лишь с 1970-х гг. в британской медиевистике, отчасти под влиянием немецкой (Й. Шперль и его школа) и французской (Б. Генэ) историографии, начал возникать интерес к этому кругу проблем. Важную роль в стимулировании исследований сыграл цикл лекций Р. Сазерна, посвященный аспектам европейской традиции историописания. Большое значение имела и опубликованная почти одновременно с этим монография А. Грэнсден об английском средневековом историописании.

В современных исследованиях, посвященных средневековой исторической литературе, выделяются три направления, которые можно условно обозначить как филологическое, этнопсихологическое и историко-культурное. Представители первого из них (как правило, литературоведы, а не историки), следуя методологии так называемого «лингвистического поворота», стремятся рассматривать памятники средневекового историописания прежде всего как литературные произведения. Особое распространение этот подход получил среди американских исследователей (Н. Партнер, М. Оттер, Дж. Блэкер). В работах, относящихся к «этнопсихологическому» направлению, анализируется, прежде всего, влияние исторических сочинений на формирование нацио-



нального самосознания. В трудах Э. Уильямс, Дж. Гиллингема, Х. Томаса эта проблематика достаточно плодотворно исследуется на материале Англии эпохи после Нормандского завоевания. Однако в рамках нашей темы представляется наиболее плодотворной методология, характерная для работ историко-культурного направления, посвященных изучению феноменов письменной культуры и социальной памяти в Средние века (Р. Мак-Киттерик, П. Гири). Применительно к англо-нормандской эпохе существует немало работ, в которых этот круг вопросов анализируется на примере отдельных авторов (Вильгельм Мальмсберийский, Гальфрид Монмутский, Генрих Хантингдонский) или центров (Кентерберри, Вустер, Дарем, Бери Сент-Эдмундс), однако обобщающих работ практически нет.

---

<sup>1</sup> Galbraith V. H. *Historical Research in Medieval England*. L., 1951. P. 24—27; Southern R. W. *Aspects of the European Tradition of Historical Writing*: 4. *The Sense of Past* // *Transactions of the Royal Historical Society*, 5<sup>th</sup> ser. 1973. Vol. 24. P. 246—247; Campbell J. *Some Twelfth-Century Views of the Anglo-Saxon Past* // *Peritia*. 1984. Vol. 3. P. 131—150.

В. В. Высокова

## ЭДВАРД ГИББОН, «ИСТОРИЯ УПАДКА И ГИБЕЛИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» И БРИТАНСКИЕ ИСТОРИКИ XX в.

Значение английского историка второй половины XVIII в. Эдварда Гиббона (1737—1794) в западной историографии огромно. Его обширный труд «История упадка и гибели Римской империи» был переведен на все важнейшие языки мира, а в странах английского языка он еще и сейчас, два века спустя, переиздается в дешевых, доступных изданиях как классическое литературное произведение. Этот факт имеет уникальную природу, если иметь в виду,

что Гиббон в силу слабого здоровья не получил систематического образования и был фактически самоучкой. Однако он оказался проницательным наблюдателем своего времени. Размышления о судьбах Британской империи, взлет которой Гиббон наблюдал, определили направленность его интереса к античным и средневековым авторам. Именно имперский дискурс — расцвет и крушение Римской империи — сделал актуальным сочинение Гиббона вплоть до начала XXI в.

Подтверждением этого тезиса является литературное наследие выдающегося премьер-министра Великобритании У. Черчилля, написавшего, в значительной степени подражая Гиббону, шеститомную работу «Вторая мировая война», три тома мемуаров и получившего в 1953 г. Нобелевскую премию по литературе («за... мастерство исторического и биографического описания...»). У. Черчилль сам признавал, что стиль его историописания в значительной степени сложился под влиянием Гиббона: яркое историческое повествование, простирающееся широко над предметом исследования, обогащенное анализом и рефлексией<sup>1</sup>. Черчилль вспоминал о своих юношеских годах: «Я начал... “Упадок и гибель Римской империи” Гиббона и сразу был захвачен повествованием и очарован стилем... Я буквально пожирал Гиббона. Я триумфально одолел его от начала до конца и наслаждался всем этим»<sup>2</sup>.

Другим примером влияния Э. Гиббона в XX в. является творчество знаменитого фантаста А. Азимова. Он написал более десяти популярных книг по истории, в том числе «Римская республика» (1966), «Римская империя» (1967), «Ближний Восток: 10 000 лет истории» (1968). Однако известность ему принесли научно-фантастические романы о будущем, посвященные Галактической империи и объединенные общим названием «Основание» («Foundation»). Популяризатор науки, биохимик по профессии, А. Азимов, синтезируя знания генетики, астрономии, истории, опрокинул имперский дискурс в будущее. Его герои, как герои «Истории» Гиббона, также ведут борьбу за гегемонию в галактическом мире. В англо-американской литературной традиции Азимов вместе с А. Кларком и Р. Хайнлайном входит в «Большую тройку» писателей-фантастов XX в.

Эволюция британской историографии «Истории» Гиббона в XX в. выглядит в самых общих чертах следующим образом. Основанием для научного изучения Гиббона стало то обстоятельство, что внук его душеприказчика лорда Шеффилда в 1894 г. передал на хранение в Британский музей весь имеющийся в семье архив Гиббона. За этим фактически сразу последовало первое научное издание «Истории упадка и гибели Римской империи» в семи томах. Оно было осуществлено английским византинистом, искусствоведом и филологом ирландского происхождения Дж. Б. Бьюри в 1896—1902 гг.<sup>3</sup> Это открыло новую эру в изучении Гиббона и самой Римской империи в британской историографии. Дж. Б. Бьюри<sup>4</sup>, А. Тойнби<sup>5</sup> и другие авторы в анализе поздней античности уже больше не раздваивались в критике Гиббона между «разумом и католическим суеверием»<sup>6</sup>, как это было до конца XIX в. С этого момента он больше не воспринимался как литератор и, более того, начал рассматриваться как один из основателей национальной историографической традиции. В 1920—1950-х гг. с этих позиций были написаны классические биографии Гиббона<sup>7</sup>, что поставило на повестку дня проблему комплексного изучения наследия историка, проведения археографической работы по всем его сочинениям. Выдающийся вклад здесь в развитие гиббонианы внесла Джей Элизабет Нортон, подготовившая к изданию уже большую к тому времени библиографию сочинений историка в 1940 г. и его переписку в трех томах в 1956 г.<sup>8</sup> Свообразным итогом первого этапа научного изучения наследия историка в XX в. стало лозаннское издание в 1952 г. «Избранная Гиббониана»<sup>9</sup>.

В результате в середине XX в. британские историки смогли преодолеть ограничения концепции Гиббона об упадке Римской империи, в частности, они оценили и позитивные достижения христианства, в особенности монашества и христианской литературы, более дифференцированно отнеслись к германскому миру. И, может быть, самое важное — историки составили более точное и многостороннее представление о развитии Восточной Римской империи вследствие изучения социальных и экономических аспектов. На место концепции «упадка и гибели» пришло альтер-

нативное представление о некоей метаморфозе античной культуры<sup>10</sup>. Таким образом, можно констатировать, что в середине XX в. «История упадка и гибели Римской империи» становится только историографическим фактом. В текущей историографии Римской империи был пересмотрен основной тезис Гиббона об ее «упадке и гибели». Однако это совсем не снизило интереса историков к Гиббону и его творческому наследию.

Переходными к новому, более глубокому осмыслению научного наследия Э. Гиббона стали работы Арнальдо Мамильяно (1908—1987), эллиниста еврейско-итальянского происхождения, который значительный период своей академической деятельности был связан с Оксфордом. Сегодня он получил известность как один из основателей такого направления исторических исследований, как история историописания. Изучая древнегреческих историков и их приемы описания, он справедливо усматривал в них истоки современной историографии. Что было естественно, Мамильяно «не прошел» мимо «Истории упадка и гибели Римской империи» Э. Гиббона. Первые работы Мамильяно, посвященные историку, начали выходить в 1950-е гг.<sup>11</sup> И с этого времени Гиббон постоянно в поле его внимания, что показывает значимость Гиббона в истории изучения поздней античности и в целом в национальной британской историографии. Мамильяно неоднократно разбирает исследовательские приемы Гиббона и считает его образчиком для последующих поколений историков, выявляя континуитет в развитии западной историографии<sup>12</sup>. В 1960—1980-е гг. изучение творчества Гиббона заметно диверсифицируется. В значительном количестве появляются работы, посвященные Э. Гиббону как литератору, как историку и другим аспектам его жизни и деятельности<sup>13</sup>. Среди работ этого периода высокую оценку в академических кругах получили сочинения Патриции Креддок<sup>14</sup>. Все шире становится направление исследований, заданное Мамильяно, интерпретирующее Гиббона и его научное наследие в контексте истории историописания<sup>15</sup>.

В 1990-е гг. открывается современный период изучения Гиббона. Надо заметить, что двухсотлетие со дня смерти Гиббона в 1994 г. стало событием в британской национальной историо-

графии. Было подготовлено и опубликовано два новых самостоятельных и конкурирующих между собой издания «Истории упадка и гибели Римской империи». В первом, под редакцией маститого к этому времени историка Хью Тревор-Ропера<sup>16</sup>, был использован текст «Истории» издания Бьюри, но с оригинальными примечаниями Гиббона, учтены многие комментарии из современных исследований. Второе же вышло под редакцией оксфордского историка, знатока Гиббона Дэвида Уомерсли<sup>17</sup>, что стало новым словом в казалось бы уже вдоль и поперек изученной гиббониане. Надо заметить, что докторская диссертация Уомерсли была посвящена Гиббону и демонстрировала новый исследовательский ракурс — внутренний мир историка. В центре внимания оказались аллюзии в «Истории» в качестве «интимного регистратора эмоций» Гиббона<sup>18</sup>. В 1995 г. Уомерсли подготовил и издал трехтомное издание «Истории» Гиббона с бросающим вызов введением (открытие истинного Гиббона), библиографическим индексом (задуманным еще самим историком) и генеральным индексом ко всем семи томам классического издания<sup>19</sup>. Трехтомник 1995 г. — самое современное и самое близкое к оригинальному тексту издание Гиббона, с самыми полными сносками и библиографической информацией по спорным вопросам в изучении Гиббона. Также Уомерсли стал инициатором издания «Эдвард Гиббон: двести лет исследований» в 1997 г., где смог объединить самых крупных специалистов по этой теме<sup>20</sup>. Кроме того, он написал и издал в 2002 г. книгу «Гиббон и “Стражи святого града”: историк и его репутация. 1776—1815»<sup>21</sup>. Работа посвящена истории конфликта между Гиббоном и теми, кого он называл «стражами Святого града». Но это не просто перечисление нападок на «Упадок и Гибель» со стороны церкви, предпринятое МакКлоем 60 лет назад<sup>22</sup>. Это стремление понять взаимосвязь между историком и его читателями, опыт самовыражения Гиббона, а также обстоятельства и силу воздействия авторов его эпохи на читательскую аудиторию. Этот аспект Уомерсли развивает в своих самых последних работах, посвященных другим авторам, современникам Гиббона<sup>23</sup>.

Серьезным конкурентом Д. Уомерсли в исследовании духовного мира Гиббона в современной историографии выступает пред-

ставитель Кембриджской школы интеллектуальной истории Джон Покок. Он известен своими работами об английских писателях эпохи Просвещения, анализом «неоримских» элементов в историописании XVIII в. Политико-философский дискурс XVIII в. — в центре его внимания<sup>24</sup>. Э. Гиббон занял главное место в творчестве Дж. Покока. Квинт-эссенцией исследований Покока стала четырехтомная монография «Варварство и религия», увидевшая свет в 1999—2005 гг.<sup>25</sup> В первом томе «Просвещение Эдварда Гиббона» рассматривается период становления историка в 1737—1864 гг. Во втором томе «Нарративы гражданского правления» Покок изучает гражданские опыты историка. Третий том сосредоточен на рассмотрении формирования и бытования самого дискуссионного тезиса историка о роли христианства в процессе гибели Римской империи. Четвертый том «Варвары, туземцы и империи» выводит читателя на осмысление имперского дискурса жизни Э. Гиббона. Последний аспект занял существенное место в новейшей историографии Гиббона. Здесь выделяется коллективная работа под редакцией МакКиттерика «Эдвард Гиббон и империя» 1997 г.<sup>26</sup>

Список адептов и исследователей Эдварда Гиббона в XX в. названными авторами не исчерпывается<sup>27</sup>. Однако фактом является мощное «присутствие» и влияние историка второй половины XVIII в. в британской и шире европейской историографии XX в. Чем же определяется триумфальное «шествие» Э. Гиббона на протяжении двух веков и XX в. в частности? Во-первых, прекрасный литературный стиль «Истории» Гиббона, знатока Вергилия и автора «Критических замечаний на шестую книгу Энеиды» («Critical Observations on the Sixth Book of the Aeneid», 1770). Во-вторых, широкая постановка мировоззренческих вопросов — вопросов веры. «История упадка и гибели Римской империи» сразу же имела сенсационный успех, отмеченный полемикой теологов с книгой Гиббона. В 1783 г. «История» была включена в список запрещенных церковью книг, что немало способствовало ее распространению. В-третьих, предмет внимания Гиббона — Римская империя (со II в. н. э. и до 1453 г.), его идеи о судьбах империй. Кроме того, авторский стиль отличает изысканная ирония, переходящая в самоиронию. Таким образом, среди выдающихся исторических со-

чинений в британской традиции не было другого труда, который достиг подобного литературного уровня, подобного влияния и воздействия на умы последующих поколений, как «История упадка и гибели Римской империи» Э. Гиббона.

<sup>1</sup> *Quinault R.* Winston Churchill and Gibbon // *Edward Gibbon and Empire* / eds. R. McKitterick, R. Quinault. Cambr., 1997. P. 317—332.

<sup>2</sup> *Churchill W.* My Early Life: a Roving Commission. N. Y., 1958. P. 111.

<sup>3</sup> *Gibbon Ed.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire / ed. J. B. Bury. L., 1896—1902. Vol. 1—7.

<sup>4</sup> *Bury J. B.* History of the Later Roman Empire. L., 1923—1958. Vol. 1—2.

<sup>5</sup> *Toynbee A. A.* Critique of Gibbon's General Observations on the Fall of the Roman Empire in the West // *A Study of History*. 2nd ed. L., 1955. Vol. 9. P. 741—757.

<sup>6</sup> *The Transformation of the Roman World. Gibbon's Problem after Two Centuries* / ed. by L. White. Berkeley, 1966.

<sup>7</sup> *Black J. B.* The Art of History: a Study of Four Great Historians of the Eighteenth Century. N. Y., 1926; *Leslie S.* Gibbon, Edward (1737—1794) // *Dictionary of National Biography* / eds. Sir Leslie Stephen, Sir Sidney Lee. Oxf., 1921. Vol. 7. P. 1129—1135; *Low D. M.* Edward Gibbon, 1737—1794. L., 1937; *Young G. M.* Gibbon. Cambr., 1948.

<sup>8</sup> *Norton J. E.* A Bibliography of the Works of Edward Gibbon. N. Y., 1940 (repr. 1970); *Idem.* The Letters of Edward Gibbon. L., 1956. Vol. 1—3.

<sup>9</sup> *Miscellanea Gibboniana* / ed. G. R. de Beer, L. Junod, G. A. Bonnard. Lausanne, 1952.

<sup>10</sup> *Christ K.* Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt, 1972; частичный перевод на русский язык К. Криста сделан Э. Д. Фроловым [Electronic resource]. URL: <http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/frolov/frol030.htm>.

<sup>11</sup> *Momigliano A.* Gibbon's Contributions to Historical Method // *Historia*. 1954. N 2. P. 450—463 (repr.: *Momigliano A.* Studies in Historiography. N. Y., 1966. P. 40—55).

<sup>12</sup> *Momigliano A.* After Gibbon's Decline and Fall // *The Age of Spirituality: a Symposium*. N. Y.; Princeton, 1980. P. 7—16; *Idem.* The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Oxf., 1963; *Idem.* Studies in Historiography. Garland, 1985; *Idem.* Essays in Ancient and Modern Historiography. Wesley, 1977; *Idem.* The Classical Foundations of Modern Historiography. L., 1991; *Idem.* Eighteenth-Century Prelude to Mr. Gibbon / Gibbon et Rome à la lumière de l'historiographie moderne / ed. P. Ducrey. Geneva, 1977; *Idem.* Gibbon from an Italian Point of View // *Edward Gibbon and the Decline and Fall of the Roman Empire* / ed. G. W. Bowersock. Cambr., 1977; *Idem.* Declines and Falls // *Amer. Scholar*. 1979. N 49. Winter. P. 37—51; *Idem.* After Gibbon's Decline and Fall // *Age of Spirituality: a symposium* / ed. K. Weitzmann. Princeton, 1980.

<sup>13</sup> *Harold L. Bond.* The Literary Art of Edward Gibbon. L., 1960; *Swain J. W.* Edward Gibbon the Historian. N. Y., 1966; *Jordan D. P.* Gibbon and His Roman Empire. L., 1971; *Gay P.* Style in History. N. Y., 1974.

<sup>14</sup> *Craddock P. B.* Edward Gibbon, Luminous Historian, 1772—1794. Baltimore, 1989; *Idem.* Historical Discovery and Literary Invention in Gibbon's «Decline and Fall» // *Modern Philology.* 1988. May. P. 569—587; *Idem.* Young Edward Gibbon: Gentleman of Letters. Baltimore, 1982; *Idem.* Edward Gibbon: a Reference Guide. Boston, 1987.

<sup>15</sup> *Porter R.* Edward Gibbon: Making History. L., 1988; *Dickinson H. T.* The Politics of Edward Gibbon // *Literature and History.* 1978. N 8. P. 175—196; *Beer G. de.* Gibbon and His World. L., 1968; *Bowersock G. W.* Gibbon's Historical Imagination. Stanford, 1988; *Brownley M. W.* Appearance and Reality in Gibbon's History // *J. of the History of Ideas.* 1977. N 38. P. 651—666; *Idem.* Gibbon's Artistic and Historical Scope in the Decline and Fall // *Ibid.* 1981. N 42. P. 629—642; *Ghosh P. R.* Gibbon's Dark Ages: Some Remarks on the Genesis of the Decline and Fall // *J. of Roman Studies.* 1983. N 73. P. 1—23.

<sup>16</sup> *Gibbon Ed.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire / ed. H. Trevor-Roper. N. Y., 1993—1994. Vol. 1—6.

<sup>17</sup> *Gibbon Ed.* The History of the Decline and Fall of the Roman Empire / ed. D. Womersley. L., 1994. Vol. 1—3.

<sup>18</sup> *Womersley D.* A Complex Allusion in Gibbon's Letters // *Brit. J. for Eighteenth-Century Studies.* 1987. N 10. P. 55—57; *Idem.* A complex Allusion in Gibbon's Memories // *Notes and Queries.* 1989. N 36. P. 68—70.

<sup>19</sup> *Womersley D.* A Companion to English Literature from Milton to Blake. Oxf., 2000.

<sup>20</sup> Edward Gibbon: bicentenary essays / eds. D. P. Womersley, J. Burrow, J. G. A. Pocock. Oxf., 1997.

<sup>21</sup> *Womersley D.* Gibbon and «the Watchmen of the Holy City»: the Historian and his Reputation, 1776—1815. Oxf., 2002; *Peu.: Pocock J. G. A.* The Ironist. Review of David Womersley's The Watchmen of the Holy City // *London Review of Books.* 2002. N 14. Nov.

<sup>22</sup> *McCloy T. S.* Gibbon's Antoganism to Christianity. L., 1933.

<sup>23</sup> *Womersley D.* A Companion to English Literature from Milton to Blake; *Idem.* James Boswell. The Life of Samuel Johnson. Penguin, 2008.

<sup>24</sup> *Pocock J. G. A.* Politics, Language and Time : Essays on Political Thought and History. L., 1989; *Idem.* Virtue, Commerce and History : Essays on Political Thought and History Chiefly in the Eighteenth Century. L., 1985.

<sup>25</sup> *Pocock J. G. A.* Barbarism and Religion. Vol. 1 : The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737—1764. L., 1999; *Barbarism and Religion.* Vol. 2 : Narratives of Civil Government. L., 1999; *Barbarism and Religion.* Vol. 3 : The First Decline and Fall. L., 2003; *Barbarism and Religion.* Vol. 4 : Barbarians, Savages and Empires. L., 2005.

<sup>26</sup> Edward Gibbon and Empire / ed. R. McKitterick, R. Quinault. Cambr., 1997. P. I—IX; *Peu.: Cartledge P.* The Classical Review, New Series. 1998. Vol. 48, N 1. P. 160—161.

<sup>27</sup> *Cosgrove P.* Impartial Stranger: History and Intertextuality in Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire. N. Y., 1999; *Drake H. A.* Lambs into Lions: explaining early Christian intolerance // *Past and Present.* 1996. N 153. P. 3—36; *Wootton D.* Narrative, Irony, and Faith in Gibbon's Decline and Fall // *History and Theory.* 1994. N 33. Dec. P. 77—105.



## ЕЩЕ РАЗ О МЕСТЕ ИОГАННА ГУСТАВА ДРОЙЗЕНА В НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

И. Г. Дройзен (наряду с Трейчке и Зибелем) считается одним из основоположников прусской исторической школы<sup>1</sup>. В историографических параметрах он обычно представлен как критик объективизма Ранке, как апологет прусской державы и поборник политического релятивизма в качестве историографического принципа. В конце 20-х гг. XX в. Ф. Мейнеке попытался смягчить такую (ставшую правилом) характеристику акцентом на моральном аспекте дройзеновской мысли. Именно он интерпретировал три понятия (введенных Дройзеном в оборот) — эллинизм, пруссачество и *Historik* — как составляющие единственной в своем роде попытки переплавить культурные, политические и научные идеи в программу оживления Германии после Ольмюца и краха Франкфуртского Национального собрания, — программу, которая была бы и нравственной и современной<sup>2</sup>. После Второй мировой войны Х.-Г. Гадамер представил Дройзена основателем новейшей герменевтики, которая весьма отличается от герменевтики Шлейермахера, Гегеля и Дильтея. Он же представил Дройзена мыслителем-предтечей философии М. Хайдеггера<sup>3</sup>. После капитального исследования в сфере немецкой историографии, выполненного Георгом Иггерсом, а также после трудов Й. Рюзена и К.-Г. Шпилера Дройзен признан инициатором дискурса, обладающего как теоретическим, так и систематическим зарядом, но в то же время находящегося в рамках той самой гуманистической традиции, которую обычно олицетворяет Гете<sup>4</sup>.

Как известно специалистам, первый том дройзеновских историко-теоретических размышлений в издании П. Лея (1977), наилучшего на сегодняшний день, посвящен Йорну Рюзену, наверное, самому выдающемуся исследователю наследия Дройзена<sup>5</sup>. В самом деле, Й. Рюзен первым доказал, что систематически изложен-

ные в *Historica* теории последовательно воплощались Дройзеном в его историографической практике. Надо заметить, еще до штудий Рюзена Ф. Мейнеке высказал мысль, что к теоретическим изысканиям великий немецкий антиковед, кроме всего прочего, был побуждаем впечатлением от поражения Пруссии при Ольмюце и опасением угрозы со стороны Франции после Реставрации 1852 г.<sup>6</sup> Однако Рюзен показал, что подобной «эпистемологической ломки» у Дройзена не было, а на проблему взаимосвязей теории и практики, а также культуры и политики влияли еще в своей ранней стадии изыскания Дройзена об Александре Македонском, эллинистической культуре и прусских политических реалиях. В свою очередь, по мнению Рюзена, такого рода влияние обуславливалось и интересами идейных вдохновителей Дройзена (Гегеля, Августа Бека и В. фон Гумбольдта). Действительно, еще во время учебы в университете Дройзен замыслил создание ряда работ, обосновывавших притязания истории на автономность как самостоятельной научной дисциплины. Что же касается занятий культурой эллинизма, то они притягивали его в значительной мере потому, что он осознавал «эллинистическую» природу культуры своего собственного времени (тот ее «эллинистический привкус», на который жаловался Буркхардт и который Ницше называл предпосылкой своего «нигилизма»). Точно так же Александром Македонским Дройзен интересовался во многом благодаря своему представлению о том, что строительство нации в середине XIX в. обусловлено скорее функционированием сильного государства, нежели неким спонтанным процессом<sup>7</sup>. Рюзен показал, что такие мысли настраивали Дройзена критически как к «объективистской» историографии (в том числе — практикуемой Ранке), так и к любому «антикварно»-эмпирическому исследованию прошлого<sup>8</sup>.

Дройзен всегда подчеркивал, что наиболее качественное историографическое изыскание проистекает из интереса историка к проблемам собственной эпохи. При этом он исходил из того, что любое такого рода изыскание, неизбежно выходящее на связь между теорией и практикой, может способствовать выработке принципов некоего (кантианского) «практического разума». А сам «практический разум» может быть значим и для эпохи, скорее отли-

чающейся от своего прошлого, нежели имеющей с ним какое-либо сходство. Дройзен рано пришел к убеждению, что занятие эмпирической историографией — дело, пронизанное этикой, но не в платоновском понимании, а в духе софистов<sup>9</sup>. Как и они, немецкий эллинист склонялся к реалистической этике, под которой понимал этику истории. При этом он видел в идеях фон Гумбольдта методику (от которой отказался идеал «объективизма» Ранке), предпочитаемую из-за ее манеры «интерпретировать» «критику», а не как принцип герменевтики<sup>10</sup>.

Учитывая такого рода реализм, который сочетает скептицизм софистов с моралью, не надо удивляться, что *Historica* не была должным образом оценена в свое время. П. Лей указывает, что занятия Дройзена по принципам *Historica*, проводимые более четверти века, посещались более чем скромно. Сам Дройзен отмечал, что коллеги весьма отчужденно воспринимали такого рода его деятельность<sup>11</sup>. «Grundriss der Historik», с которым Дройзен сначала знакомил своих друзей и студентов, а затем опубликовал в трех изданиях, был изрядно сжат, чтобы найти отклик у теоретиков, и весьма афористичен, чтобы наглядно преподнести читателю какие-либо востребованные в исследованиях методологические откровения. Следует отметить, что в своих комментариях к первому юбнеровскому изданию этих лекций Э. Ротхакер (сам опубликовавший «Grundriss» четвертым изданием в 1925 г.) попытался увязать теории Дройзена с основными течениями немецкой философии конца XIX — XX в.<sup>12</sup> Добавлю, что до недавнего времени исследователей интересовали в этом труде знаменитого эллиниста, прежде всего, политические воззрения автора и его теории построения государства, но в гораздо меньшей степени — историко-методологические принципы<sup>13</sup>. Б. Кроче и Р. Коллингвуд относились к последним крайне скептически<sup>14</sup>. Достойное место в теории истории *Historica* обрела только тогда, когда Гадамер объявил ее предтечей философии Хайдеггера. В сегодняшних историко-философских дискуссиях Германии Дройзен, как правило, выглядит историком, который заложил основы «буржуазной» (по Х. Уайту — «гражданско-национальной») альтернативы Марксу и Ницше<sup>15</sup>. В сравнении с Марксом Дройзен в таких изыскани-

ях все более предстает серьезным, хотя и буржуазным философом социальной практики; по сравнению с Ницше он выглядит все более авторитетным и в то же время оптимистично взирающим на вещи опять-таки буржуазным специалистом по «генеалогии морали»<sup>16</sup>.

Действительно, как считают многие специалисты, *Historica* содержит экспликацию теоретических принципов бюргерской идеологии середины XIX в. (в ее национально-индивидуалистической фазе)<sup>17</sup>. Если воспринимать этот труд как продукт такого рода идеологических воззрений, характерных для эпохи после Великой Французской революции, то не стоит удивляться, что его общественный резонанс в XIX в. был весьма невелик. *Historica* оказывается дискурсом-инсайдером, результатом полемики в среде господствующего класса, нацеленной на поиск придания абсолютного позитива собственному исторически обусловленному существованию<sup>18</sup>. Дело в том, что в отличие от историков, ограничивающихся обычной демонстрацией своих идейных воззрений в собственно исторических своих трудах (Ранке, Трейчке, Моммзен), Дройзен препарировал идеологию, исследовал способы, благодаря которым она (через обретение определенных форм исторического дискурса) может достигнуть социально приемлемого эффекта<sup>19</sup>. Обращаясь к понятийному аппарату современных историко-теоретических дискуссий, можно сказать, что Дройзен демонстрировал, как определенный вид «*der Schreibaktivität*» (в данном случае — историописание) порождает определенного читающего субъекта, идентифицирующего себя с моральным универсумом, который воплощен в «законе» сообщества, политически организованного как национальное государство, а экономическое — как часть международной системы производства и обмена<sup>20</sup>.

Следует оговориться, что характеристика труда Дройзена как проникнутого определенной идеологией не снижает в глазах многих немецких специалистов ценности его историзма. Так, Л. Альтюссер пишет, что идеологию в практике изысканий, подобных работе Дройзена, следует рассматривать не столько как искажение или ложную трансляцию действительности, сколько как определенную практику ее отражения. Функция подобной формы

отражения — в создании специфического субъекта, воспринимающего так ее информацию, что она способна внедриться в социальную систему исторически конкретного поля общественной деятельности. Поэтому совсем не обязательно воспринимать конкретные формы искусства, литературы и историографии как осознанно сконструированный инструментарий для убеждения людей в истинности каких-либо доктрин. Напротив, идеологическое содержание искусства и т. п. создает такого рода субъективность, которая должна стать для реципиента «своей» настолько, чтобы он воспринимал ее как искусство и т. д.<sup>21</sup>

*Historica* Дройзена, если сравнивать ее с трактатами XIX в., посвященными исторической мысли, оригинальна постольку, поскольку коррелируется с этой идеологической функцией<sup>22</sup>. Именно данное обстоятельство побуждало Дройзена выходить за пределы «критических» методов, отточенных Ранке и исторической школой, поскольку он увидел возможности, открывающиеся в многообразии изображения одних и тех же комплексов исторических событий<sup>23</sup>. Подобный акцент в композиции историографического творчества делал труд немецкого эллиниста крайне оригинальным, ибо новейшая теория истории мало что добавила на этот счет (сие, по мнению ряда специалистов, касается как марксистской, так и «буржуазной» теории истории<sup>24</sup>). Но оригинальность Дройзена не только в этом. При внимательном анализе становится ясным, что предложенное им — не столько теория историографической композиции, сколько уникальный вид историографической дидактики. Х. Уайт пишет: «Дройзен учит историков тому, как могут создаваться многообразные варианты прочтения истории, — для культивирования у читателя определенных нравственных (гражданских — в том числе) принципов и одновременно для положительного восприятия им, читателем, существующей социальной системы»<sup>25</sup>.

В данной связи следует учитывать, что понятие *Historik* (оказывающееся для историописания тем же, что поэтика для вымысла и риторика для искусства речи) появилось в 1837 г. в работе либерального историка и публициста, представителя культурно-исторической школы Георга Гервиниуса<sup>26</sup>. По аналогии с традици-

онными различиями между поэтическими формами эпоса, лирики и драматургии Гервиниус разделял и виды историографических описаний. Дройзен воспринял эту методику как ассимиляцию истории беллетристикой и заметил, что если история отличается от естественных наук и от философии, то она должна отличаться и от литературы<sup>27</sup>. По его мнению, *Historik* должна задаваться по сути кантовским вопросом — как возможна *Geschichte*? — причем термин *Geschichte* обозначает и специфичный способ существования человека, и особую манеру изображения этого способа бытия в дискурсе. В конечном счете Дройзен превращает двойной смысл термина в организационный принцип своего анализа проблем, связанных с историописаниями. Соответственно он делит свою работу на две основные части. Первая — «Методика», о формах и содержании исторического способа мышления [«эвристика», «критика», «интерпретация» и «аподейксис» (показ, изображение)]. Вторая — «Систематика», о формах и содержании манеры исторического рассказа («нравственные силы», проникающие в историческое бытие, и понятия «человек» и «человечество», образующие одновременно базис и цель истории).

Нетрудно заметить, что Дройзен не просто разделяет в истории форму и содержание, как это делают обычно большинство теоретиков историографии, идентифицируя содержание с фактами, а форму с композицией или характером изложения. Немецкий же эллинист подразумевает под содержанием дискурса понимание историком фактов и нравственные импликации, которые следуют из их анализа. Препарирование Дройзеном исторического описания позволяет, таким образом, говорить о «содержании формы» дискурса по аналогии с тем, как говорят о содержании какой-либо данной формы исторического существования. Ибо когда рассматривают какой-то памятник или явление, то исторический дискурс — нечто совсем иное, нежели референт, о котором этот дискурс упоминает. Он — дискурсивное событие, которое как по форме, так и по содержанию отличается от других событий (войн, экономических процессов и т. п.) в силу своего статуса способа рассуждения. Понимаемый именно таким образом истори-

ческий дискурс обладает содержанием, которое можно назвать целью дискурса и которое нельзя спутать с его предметом<sup>28</sup>.

Дройзен понимал, что историческая рефлексия в большей степени связана с явлениями возможными, нежели с подлинными. Поэтому он и выдвигал на первый план проблему исторического описания и реконструируемую историком картину прошлого *наряду* с дискурсом, призванным приблизить эту картину к пониманию читателя. Изображение (описание) прошлого для Дройзена — не филологическая проблема, не вопрос «стиля» или риторики именно потому, кроме всего прочего, что материал историка предстает перед последним не как какой-то ландшафт или зрелище, которое тот должен запечатлеть подобно художнику<sup>29</sup>. Прошлое для историка — то, что наличествует и отсутствует одновременно. Оно присутствует в «остатках», «следах» и в унаследованной общественной практике, а отсутствует как формы общественной жизни, о которых эти «следы» и практика сообщают<sup>30</sup>. Отсюда основная задача историка может состоять не просто в реконструкции минувших эпох, но, прежде всего, в раскрытии (*Erschließen*) прошлого через обнаружение (*Enthüllung*) и выделение (*Erhebung*) в нем настоящего или, наоборот, — в обогащении (*Bereicherung*) настоящего через раскрытие (*Erschließen*) и разведывание (*Aufklärung*) скрытого в нем прошлого<sup>31</sup>. Из «двойственной природы исследуемого» вытекают «разные формы его изображения»<sup>32</sup>. Этих форм четыре: 1. Исследовательская (из которой проистекает мимезис научного процесса, применимого для локализации и идентификации явления, привлекшего внимание историка)<sup>33</sup>. 2. Повествовательная (порождающая мимезис направления развития, которое приняло данное явление, и излагающая, как его обнаружил исследователь)<sup>34</sup>. 3. Дидактическая (извлекающая мораль из истории, продемонстрированной в исследованном нарративе, особенно в педагогических целях)<sup>35</sup>. 4. Дискуссионная, она же — форма обсуждения (связывает моральные выводы, извлеченные из дидактической формы, с современными социальными вопросами и практическими проблемами читателя)<sup>36</sup>.

Способы интерпретации, как и изобразительные формы, имеют свой предмет исследования, свою цель, собственный материал

и свои речевые признаки. «Соответственно задаче оказывается более подходящей и даже необходимой одна или другая», — пишет об этих формах Дройзен. Плюс к тому классифицируются они в соответствии с богатством своего содержания и своей пользы для наивысшей ценности историка — культивирования в читателе специфичного исторического сознания.

Следует отметить, что четыре «формы изображения» истории отнюдь не корреспондируются с четырьмя формами интерпретации (прагматической, условной, психологической и этической)<sup>37</sup>. Последние могут использоваться в каждой из этих изобразительных форм. И важно не столько то, чтобы привести подходящую форму интерпретации в соответствие с данной формой изображения, сколько объяснить историка, как может воздействовать на читателя та или иная форма. Качество этого воздействия будет зависеть от того, в какой мере оно переориентирует читателя с позиции обычного созерцателя человеческой драмы на позицию осознанного представителя тех «нравственных сил», которые заложены в существующей социальной системе. Таким образом, цель здесь не стимулирование некоего «объективного» (иначе говоря — «внепартийного») восприятия действительности (ибо объективность историка может быть только «партийной»). Дройзен помещает проблему объективности в контекст своего разбора цели исторического описания только для того, чтобы оставить ее в покое посредством следующего рассуждения: «Объективная внепартийность... бесчеловечна. Гораздо человечнее быть партийным»<sup>38</sup>. Так как человек познает (естественно, и в мыслях и на практике) свое историческое бытие через принадлежность к огромному числу общественных групп, его взгляды на действительность «партийны», хочет он того или нет. При объяснении прошлого своей социальной и политической среды историка приходится (по отношению к ее развивающимся составляющим) занимать позицию, которая также «партийна», — даже тогда, когда он сосредоточивает внимание своего читателя на «высокой мысли», которая «умиротворяет» любой исторический конфликт<sup>39</sup>. Это мысль о картине единства, в котором части сливаются в целое и тем самым свидетельствуют о всеобщности, в которой все сферы человеческой



жизни воспринимаются «в своей взаимосвязанности, противоположности, в своей всесторонней поступательности»<sup>40</sup>.

Идейные ориентиры Дройзена отчетливо просматриваются в защите им светской формы христианского провиденциализма, идеи «диалектики» истории, оборачивающей частные пороки на пользу обществу. Плюс — в его открытой защите нового исторического мышления против всех его прототипов, а также в прославлении им функционирования гражданского общества как оценочного критерия в отношении достижений социальных формаций прошлого. Дройзен выделяется среди прочих адептов гражданского общества своей попыткой связать формы описания исторических структур и процессов с потребностями социальной системы, преклоняющейся перед конкуренцией, эгоизмом и насилием и в то же время славящей идеалы сотрудничества, самоотверженности и мира<sup>41</sup>. Достигается подобный эффект двумя группами весьма оригинальных действий — на двух уровнях, формальном и материальном. На формальном уровне, как следует из раздела о *Methodik*, теория отдает приоритет «интерпретациям» и девальвирует «критику». Одновременно Дройзен вводит в эти рассуждения категорию «интереса» (в противоположность широко употребляемым в его время категориям «разумности» и «вкуса») как человеческого качества, наиболее соответствующего исторической рефлексии. На материальном уровне, как следует из раздела о *Systematik*, выделяется приоритет «практических общностей» и принижаются их «естественные» и «идеальные» противоположности.

«Практические общности», по Дройзену (как опять-таки верно замечено Уайтом)<sup>42</sup>, включают в себя сферы хозяйства, права и политики, которые, в свою очередь, опосредуют «естественные общности» (семью, племя, народность) и «идеальные общности» (язык, искусство, науку и религию). Истории, таким образом, придается особое содержание, которое может идентифицироваться с социальной практикой конкретной современности конкретного историка.

Схематизация связей, предполагаемых между тремя отмеченными группами «общностей», не передает глубины и тонкости интерпретаций, представленных в *Historica*. Но цель этих интер-

претаций обозначена в резюмирующих тезисах «Grundriss der Historik», где имеет место основательная переформулировка аристотелевых положений «Этики» и «Политики», понимаемых в духе «граждановедения» Нового времени<sup>43</sup>. Исторический процесс мыслится здесь как продукт «работы», в ходе которой каждый индивид (пусть и бессознательно), институт (пусть и с ограниченными возможностями) и каждый класс (хотя бы и незначительный) занимают положенное место и получают должную функцию в универсальной диалектике «индивидуального эго» и «всеобщего эго». При этом категории Аристотеля используются для дефиниций элементов подобной диалектики следующим образом: «материал» истории — «естественные общности»; его формы проявляются через «идеальные» и «практические» общности; их непосредственная первопричина — «работники», т. е. «каждый из людей», а их последняя по счету причина, их цель (или — конечная цель) — не что иное, как сама «история» и осознание этого обстоятельства<sup>44</sup>. Таким образом, история — «родовое понятие» для человечества, «знание человечества о самом себе» и его «самодостоверность» (*Selbstgewißheit*)<sup>45</sup>.

Но возвеличивание исторического сознания как продукта эволюции и как родового понятия человечества дает в руки Дройзена светский эквивалент той теологии истории, которая, по его мнению, в своей августиновской форме сделала возможной идею свободы как универсальной человеческой ценности<sup>46</sup>. Речь не о проанализированной К. Левитом операции, когда принципы христианской священной истории переводятся в светские понятия типа гегельянских<sup>47</sup>. История понимается не как нечто, находящееся во власти «высших сил», а как процесс, в котором «светское» становится собственным средством и целью: «История есть *gnîqij autÏn* нравственного мира и его совесть»<sup>48</sup>. Это та самоидентичность средства и цели, которая эффективно подрывает всякое побуждение «проповедовать» будущее или (с ретроградными намерениями) «идеализировать» прошлое<sup>49</sup>. Демонстрируя существование глубоких причин для того, чтобы представить положение вещей именно таким, какое оно есть, она рождает у человека чувство удовлетворения порядками «настоящего». В этом основа дройзе-

новского «реализма» и перспектива, позволяющая ему возводить историческое познание не в ранг искусства, науки или философии, но в ранг дисциплины вероятного, дисциплины одновременно эмпиричной и спекулятивной<sup>50</sup>.

Перелагая критерий адекватности любого видения реалий на социальную практику и на институты, воплощающие ее, Дройзен излагает нормативы исторически вероятного, посредством которых можно судить о любой радикальной или реакционной версии исторической «действительности» и, соответственно, браковать или не браковать ее. Он ясно осознает слабости концепции реализма, основанной на эмпирической эпистемологии. Перенося понятие исторической реалии не на сообщение, а на «этические силы», он показывает, что четко видит претензии так называемых гуманитарных наук, начавших формироваться в его время. Ибо историческая реалия никогда не возникает благодаря просто «опыту». Она вырабатывается и формируется благодаря специфической организации опыта, практики общества, которая создает картину действительности. Видимо, здесь причина того, что он заострял внимание на возможности создавать альтернативные и в то же время имевшие право на существование картины исторической действительности плюс стремился к классификации и типизации этих картин<sup>51</sup>. Но в данном случае подобные полотна должны были быть столь же многообразны, как и формы социально опосредованного опыта, возможные в практике конкретной эпохи. А это опять-таки причина того, что проблема изображения исторической реалии занимала его так же, как и Ницше, который был единственным современником Дройзена, систематически задумывавшимся над этой проблемой. Однако эта проблема занимала Дройзена гораздо больше, чем Ницше, так как он писал с позиций философа, высоко оценивавшего подобный гражданский идеал, который Ницше и другие пытались разоблачить и раскритиковать<sup>52</sup>.

Если задаться вопросом, как можно оценивать сделанное Дройзеном как теоретиком истории, то, прежде всего, бросается в глаза, что его мысль явно противостоит мысли Маркса и Ницше, защищая определенный вид либерального провиденциализма<sup>53</sup>. Глядя на подобные противоречия, исследователи обычно задают вопрос

о критериях оценки альтернативных возможностей концептуализации истории и ее теоретических проблем. Ряд специалистов считает, что недостаточно отстаивать специфическую концепцию исторической объективности (как это имеет место в марксизме или в неопозитивизме) и указывать на то, что Дройзен необъективен, ибо он не только задается вопросом, в чем состоит специфическая объективность истории, но и определенно защищает такое понимание исторической объективности, которое отличается от всех сциентистских понятий объективности<sup>54</sup>. Те же специалисты полагают, что также недостаточно осваивать перспективу в духе Ницше, которая всякую форму исследования человека помещает в «Fiktionalitätspektrum», сообразно с тем, служит ли она целям «жизни» или целям «воли к власти»<sup>55</sup>. Ибо Дройзен довольно ясно ставит вопрос, каким образом можно провести границу между фикцией и фактом, возможностью и действительностью. Ведь важнейший вопрос истории, который поднимает Дройзен, вовсе не вопрос об объективности и истинности исторической мысли, а вопрос об автономии этой мысли по отношению к другим формам мышления и вопрос об автономии историографии в отношении иных дисциплин<sup>56</sup>.

*Historica* Дройзена — определенно самая концентрированная и систематическая защита автономии исторического познания, которая когда-либо предпринималась (даже учитывая работы Кроче и Коллингвуда в XX в.). Притязания же на автономность формы познания или дисциплины не могут быть обоснованы путем теории, так как для оценки подобных притязаний требуется позиция, находящаяся вне процессов осмысления обсуждаемой дисциплины<sup>57</sup>.

В соответствии с этим вопрос об особенностях сделанного Дройзеном касается проблемы функций идеологии или идеологических ценностей, которые присущи претензиям истории на автономность. Как известно, до XIX в. прошлое исследовалось под сильнейшим влиянием императивов либо общекультурного характера, либо внеисторичных по своей спецификации, а именно императивов философских, педагогических, религиозных, риторических и т. д. Почему же «история», понимаемая как действия людей в прошлом и как постановка историографических вопросов, стала

казаться специальной областью науки — с собственными, присущими ей объектами исследования и собственной методологией? Ряд специалистов полагает, что причиной тому во времена Дройзена стала очевидность невозможности отличить подобные «методы» от тех, которые применялись всеми в гуманистических изысканиях со времен Ренессанса<sup>58</sup>.

Почему это произошло именно в Германии, отчасти объясняется формированием там наиболее ярких проявлений социально-европейского порядка XIX в.: печальный опыт миллениаристских ожиданий и разочарований, связанных с инерцией наката на империю волн Французской революции, с романтизмом и подъемом новой светской идеологии, основывавшей свои претензии на специфических версиях толкования исторического процесса<sup>59</sup>. Но, как четко осознал Дройзен, «критический метод Ранке» (один из продуктов подобных условий) не содержал ничего, что уже не было бы воплощено в практике исторического правоведения, филологии и антиковедения эрудитов конца XVIII в. И хотя созданная Ранке историческая школа избрала в качестве базы для своих изысканий новый предмет (национальное государство вместо исследования регионов или какого-либо современного института, как это делали Мезер или Геттингенский кружок), этот подход был скорее прагматичным, нежели теоретическим и методологическим<sup>60</sup>.

Методологическую составляющую исторического дискурса XIX в. нельзя преувеличивать<sup>61</sup>. Когда о нем говорили, то прославляли уникальность предмета его исследования, богатство и многообразие его «содержания», это «единство в отсутствии единства», чье существование можно предполагать на основе его нарративного направления<sup>62</sup>. Восхищались многообразием перспектив в изучении генезиса широчайшего круга явлений и в притязаниях этого дискурса на «прониновенность» и одновременно на «объективность». Он действительно притязал на то, чтобы быть и искусством и наукой, стремился к космополитической шире и этической конструктивности (по выражению Х. Уайта) в своем воздействии на общество<sup>63</sup>. Но, несмотря на все это, следует помнить, что названные свойства такого дискурса порождали не метод и не теорию, а скорее дискурсную модель, по которой можно было судить

о любых обобщениях относительно социальной действительности и относительно так называемого интуитивного познания «реализма»<sup>64</sup>, к которому стремилось тогдашнее искусство<sup>65</sup>.

И в заключение еще одно наблюдение. В сравнении с оригинальностью Гегеля оригинальность Дройзена по отношению к предмету историописания состояла в том, чтобы осознать конструктивные и в сущности своей практические функции исторической рефлексии в XIX в.<sup>66</sup>, когда к философии (как к возможной царице наук) имело место такое же недоверие, как и к теологии<sup>67</sup>. На оригинальность может претендовать и осознание Дройзеном того, что история — скорее дискурс, нежели объективный процесс или эмпирически наблюдаемая структура общественных отношений, дискурс, которому удастся включить читателя в круг этических понятий, определяющих его социальную практику.

---

<sup>1</sup> См., например: *Southard R.* Droysen and the Prussian School of History. Lexington, 1995; *Gooch G. P.* History and Historians in the Nineteenth Century. Boston, 1959. P. 125—131; *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie. München, 1936. S. 492—496; *Diwald H.* Das historische Erkennen. Leiden, 1955. S. 50—76; *Below G. von.* Die deutsche Geschichtsschreibung. München ; Berlin, 1924. S. 48—50.

<sup>2</sup> См.: *Meinecke F.* Johann Gustav Droysen: Sein Briefwechsel und seine Geschichtsschreibung, 1929/1930 // *Schaffender Spiegel. Studien zur deutschen Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft.* Stuttgart, 1948. S. 198—210. Ср.: *Hübner R.* J. G. Droysens Vorlesungen über Politik // *Zeitschrift für Politik.* 1917. N 10. S. 325—376; *Hintze O.* Gesammelte Abhandlungen. Göttingen, 1964. Bd. 2. S. 453—499.

<sup>3</sup> См., например: *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. С. 246, 248—249, 256, 258, 261—268, 272—273, 277, 283, 286, 291, 311, 337, 341, 580, 587; *Его же.* Эстетика и герменевтика // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 260—261. См. также: *Warnke G.* Gadamer Hermeneutics, Tradition and Reason. Stanford, 1987. P. 21—22; *Bentz V. M.* Droysen's Hermeneutics // Retrieved October, 2007. P. 19.

<sup>4</sup> См.: *Iggers G. G.* Deutsche Geschichtswissenschaft: Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart. München, 1971. S. 104—119; *Rüsen J.* Begriffene Geschichte: Genesis und Begründung der Geschichtstheorie J. G. Droysens. Paderborn, 1969; *Spieler K.-H.* Untersuchungen zu Johann Gustav Droysens. Berlin, 1970.

<sup>5</sup> См.: *Droysen J. G.* Historik / hrsg. P. Leyh. Stuttgart, 1977. Bd. 1 : Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen. Stuttgart, 1857; Grundriss der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung. 1882 (далее соответственно — Historik I; Vorlesungen; Grundriss).

<sup>6</sup> См.: *Hock W.* Liberales Denken im Zeitalter der Paulskirche. Droysen und die Frankfurter Mitte. Münster, 1957. S. 44—45.

<sup>7</sup> См.: *Hübner R. J.* Op. cit. S. 326—328; *Birtsch G.* Die Nation als sittliche Idee. Der Nationalstaatsbegriff in Geschichtsschreibung und politischer Gedankenwelt J. G. Droysen. Cologne, 1964. S. 36—45.

<sup>8</sup> *Rüsen J.* Op. cit. S. 15, 61—88, 91, 113.

<sup>9</sup> Ibid. S. 29; *Historik.* S. 258.

<sup>10</sup> См. об этом из последних работ: *Chladenius J. M.* Introduction // *The Hermeneutics Reader* / ed. K. Mueller-Vollmer. N. Y., 2006. P. 12—13.

<sup>11</sup> *Historik.* Vorwort. S. IX. Anm. 4.

<sup>12</sup> *Rothacker E. J. G.* Droysens Historik // *Mensch und Geschichte. Studien zur Anthropologie und Wissenschaftsgeschichte.* Bonn, 1950. S. 54—58.

<sup>13</sup> Наиболее заостренно это обозначил А. Момильяно. См.: *Momigliano A.* *Genesi storica e funzione attuale del onetto di Ellenismo* // *Momigliano A.* *Contributo alla storia degli studi classici.* Roma, 1955. P. 181—193, 263—273.

<sup>14</sup> *Collingwood R. G.* *The Idea of History.* Oxf., 1956. P. 165—166; *Croce B.* *La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte.* Bari, 1951. P. 3—41.

<sup>15</sup> См.: *White H.* *Rev.: Historik.* By Gustav Droysen / hrsg. P. Leyh. Stuttgart, 1977. Bd. 1 // *History and Theory.* 1980. Vol. 19, N 1. P. 76.

<sup>16</sup> См., например: *Hunermann P.* *Der Durchbruch geschichtlichen Denkens im 19. Jahrhundert.* Freiburg, 1957. S. 49—132.

<sup>17</sup> См. об этом: *White H.* *Rev.* P. 76—77; *Idem.* *Droysen's Historik: Historical Writing as a Bourgeois Science* // *White H.* *The Content of the Form: Narrative, Discourse and Historical Representation.* Baltimore, 1987. P. 88—90. См. также: *Jäger F.* *Bürgerliche Modernisierungskrise und Historische Sinnbildung: Kulturgeschichte bei Droysen, Burckhardt und Max Weber.* Göttingen, 1994. S. 61 u. folg.

<sup>18</sup> *Hintze O.* Op. cit. S. 454. См. также: *Birtsch G.* Op. cit. S. 36—37.

<sup>19</sup> Нетрудно заметить, что подобный метод прямо противоположен появившемуся в Германии в середине XX в. (в результате открытия новых средств и способов описания социальной реальности) взгляду, согласно которому идеология так или иначе способствует искажению истины. Наиболее ярко такой взгляд проявился, как известно, в исследованиях спецификации семиотических механизмов. См.: *Bart H.* *Wahrheit und Ideologie.* Retsch, 1961. S. 287. См. также: *Lübbe H.* *Politische Philosophie in Deutschland. Studien zu ihrer Geschichte.* Basel ; Stuttgart, 1963. S. 163.

<sup>20</sup> В литературе уже неоднократно отмечалось: такого рода дройзеновские характеристики потенциальных читателей актуализируются его убежденностью в том, что выбор историком предмета своего исследования должен диктоваться потребностью углубить понимание того, как прошлое повлияло на настоящее. Наиболее раннее наблюдение на этот счет см.: *Gilbert E.* *New Edition of Johann Gustav Droysen's Historik* // *J. of the History of Ideas.* 1883. Vol. 44, N 2. P. 335.

<sup>21</sup> См.: *Althusser L.* *Marxismus und Humanismus* // *Für Marx.* Frankfurt a/M, 1969. S. 181—186; *Idem.* *Ideologie und ideologische Staatsapparate* // *Lenin und Philosophie.* Reinbek, 1978. S. 4. См. также: *Coward R., Ellis J.* *Language and Materialism: Developments in Semiology and the Theory of the Subject.* L., 1977. P. 71—78. X. Уайт, иссле-

дую дройзеновские подходы к идеологии, во многом исходил из политологических изысканий Ф. Джеймсона. См.: *White H.* Rev. P. 77; *Idem.* Droysen's Historik. P. 91—92; *Jameson F.* The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, 1981. Как отмечается в ряде исследований взаимосвязей историописания и литературы, формы изложения исторических событий особенно важны для конструирования обозначенной выше субъектности, так как связаны с «реалиями», а не только с «воображаемыми» явлениями и образами (как это присуще литературе), и так как они в то же время дистанцируются от подобных «реалий», помещая их в сферу модальности «прошлого», которое, с одной стороны, отличается от «настоящего», а с другой — переплетено с ним (см.: *Carpenter R. H.* History as Rhetoric: Style, Narrative, and Persuasion. Columbia, 1995. P. 48—53; *Berkhofer Jr., Robert F.* Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Camb. (Mass.), 1995. P. 116). Из антиковедов подобные мысли отчасти продемонстрировал А. Демандт, отметив, что исторические описания позволяют читателю дать волю воображению, в то время как сам он остается в рамках системы понятий, продиктованных современной ему средой. Однако происходит это так, что в нем формируется ощущение «реальности», которая ему более понятна, нежели окружающая социальная действительность. То есть историческое описание способно вызвать у субъекта ощущение такой «реальности», которая выступает критерием для определения того, что в настоящем должно считаться реальным. Тем самым такие описания — необходимый элемент для всякой современной им идеологии, нуждающейся в подобном критерии для закрепления человека в определенном месте существующей системы (см.: *Demandt A.* Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im historisch-politischen Denken. München, 1978. S. 22 u. folg.).

<sup>22</sup> Сольдаризируясь с Дройзеном, Альтхуссер считает, что искусство и литература становятся эффективными, если в качестве подобной субъектности конструируют для «потребителя» образ законопослушного гражданина, в этом состоит их моралистический заряд, независимо от их тематики и уровня качества. Но искусство и литература становятся революционными и несут социальную угрозу не тогда, когда преподносят какие-то негативные взгляды или с симпатией отображают революционную тематику, а тогда, когда создают субъектность, чуждую социальной системе, к которой принадлежит читатель (зритель) (ср. это с позицией К. Маурера, которая считает, что Дройзен прекрасно осознавал эти закономерности: *Maurer K.* Literary Crossings: the Representation of Nation in Academic Historiography and Historical Prose in Nineteenth Century Germany // *Nineteenth-Century Contexts.* 2007. Vol. 29, N 4. P. 364—366). По этой причине господствующие социальные группы дают зеленый свет таким формам изображения бытия, которые питают ментальность законопослушного гражданина, — независимо от собственных предпочтений в отношении искусства, литературы и морали (*Althusser L.* Marxismus und Humanismus. S. 185—186). Отсюда, по мнению немецкого политолога, важнейшие теоретические споры в историографии, литературоведении и философии идут скорее вокруг вопросов формы, проблем изображения, нежели касаются его предмета или его методологии (*Idem.* Ideologie und ideologische Staatsapparate. S. 6—7).



Англо-американские специалисты, разделяющие (по времени — параллельно с Альтюссером) хотя бы частично подобную точку зрения, делали акцент на том, что особенно четко характер вышеотмеченной полемики демонстрирует история историографии, игравшей ведущую роль в политэкономии со времен Французской революции (особенно следует выделить авторов следующих сборников: *Theories of History* / ed. P. Gardner. N. Y., 1959; *Philosophical Analysis and History* / ed. W. H. Dray. N. Y., 1966. В наибольшей степени противоречивость взглядов на данный счет в указанном направлении историософии из современников Альтюссера демонстрировал А. Данто. См., например: *Danto A. C. Analytical Philosophy of History*. Cambr., 1965. P. 201—216). По мнению Х. Уайта, благодаря особенностям своей сути историография является таким способом отображения действительности, который наиболее оптимален для формирования гражданина. И не потому, что ее содержание говорит о патриотизме, национализме или о моральных ценностях, но потому, что она (благодаря применению особых нарративных форм изображения) наиболее приспособлена к производству представлений о преемственности, цельности, ограниченности и индивидуальности чего-либо, представлений, к которым равнодушно любое «цивилизованное» общество, стремящееся дистанцироваться от хаоса «природных» форм жизни (*White H. Droysen's Historik*. P. 93—94. См. также: *Idem*. Translator's Introduction // Antoni C. *From History to Sociology*. Detroit, 1959. P. IX—XXVIII; *The Abiding Relevance of Croce's Idea of History* // *J. of Modern History*. 1963. Vol. 35; *The Tasks of Intellectual History* // *The Monist*. 1969. Vol. 3/8. P. 606—630; *What Is a Historical System?* // *Biology, History and Natural Philosophy* / ed. A. D. Breckland, W. Yourgrau. N. Y., 1972; *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore, 1978). Опять-таки развивая некоторые идеи *Historik*, Уайт специально отмечал, что для чтения с «правильным настроением» труды, созданные большинством современных историков, должна быть принята ментальная (схожая с дройзеновской) позиция субъектности, разделяющей эти представления — и не только как ценности, но и как категории, пригодные для концептуализации действительности, в которой читатель живет. Такая субъектность склонна усваивать излагаемую ей мораль как собственную (см.: *The Irrational and the Problem of Historical Knowledge* // *Irrationalism in the Eighteenth Century* / ed. H. E. Pagliaro [Studies in Eighteenth-Century Culture; vol. 2]. Cleveland, 1972). В одной из рецензий на сборник статей Уайта отмечается, что мораль такого рода, в свою очередь, служит критерием рассмотрения исторических событий под углом, позволяющим воспринять их как объективно данные. Если она идентифицируется с подлинным опытом общества, к которому принадлежит читатель, то дефиниции и способы отображения жизни, предлагаемые этим опытом в качестве принципов понимания исторической действительности, с полным правом могут считаться «идеологией» в широком, аналитическом смысле, как ее понимал Альтюссер (*Toews J. E. Review of The New Historicism* / ed. H. Aram Veeger; *White H. The Content of the Form: Narrative, Discourse and Historical Representation* // *History of the Human Sciences*. 1991. Vol. 4, N 1. P. 154—159).

<sup>23</sup> См.: *Hardtwig W. Historismus als ästhetische Geschichtsschreibung: Leopold von Ranke* // *Geschichte und Gesellschaft*. 1997. Bd. 23. S. 99—114; *Harth D. Biographie*

als Weltgeschichte. Die theoretische und ästhetische Konstruktion der historischen Handlung in Droysens Alexander und Rankes Wallenstein // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 1980. Bd. 54. S. 58—104.

<sup>24</sup> См., например: *Fulda D.* Texte der Geschichte: Zur Poetik modernen deutschen Denkens // *Poetica*. 1999. Т. 21. S. 29—60.

<sup>25</sup> *White H.* Droysen's Historik. P. 97.

<sup>26</sup> *Gervinus G. G.* Grundzüge der Historik. Leipzig, 1837.

<sup>27</sup> Vorlesungen. S. 217.

<sup>28</sup> *White H.* Rev. P. 81.

<sup>29</sup> Vorlesungen. S. 217.

<sup>30</sup> *Ibid.* S. 71—87. Как известно, наиболее фундированно тезис о том, что историописание базируется не на sources, а на traces, с апелляцией к Дройзену пытался в 50—60-е гг. XX в. продемонстрировать Дж. Ринайер. См., например: *Renier G. J.* History: Its Purpose and Method. L., 1950. P. 96 ff.

<sup>31</sup> *Historik.* S. 219.

<sup>32</sup> Vorlesungen. S. 219.

<sup>33</sup> *Ibid.* S. 222—229.

<sup>34</sup> *Ibid.* S. 229—249.

<sup>35</sup> *Ibid.* S. 249—265.

<sup>36</sup> *Ibid.* S. 265—280.

<sup>37</sup> *Ibid.* S. 163—166.

<sup>38</sup> *Ibid.* S. 236.

<sup>39</sup> *Ibid.* S. 249.

<sup>40</sup> *Ibid.* S. 64—265.

<sup>41</sup> *White H.* Rev. P. 86—87.

<sup>42</sup> *Ibid.* P. 87.

<sup>43</sup> Grundriss. S. 436.

<sup>44</sup> *Ibid.* S. 407—411.

<sup>45</sup> *Ibid.* S. 444.

<sup>46</sup> Vorlesungen. S. 364—366.

<sup>47</sup> *Löwith K.* Meaning in History: the Theological Implications of the Philosophy of History. Chicago, 1949. P. 82 ff.

<sup>48</sup> *Ibid.* P. 41.

<sup>49</sup> *Ibid.* P. 163.

<sup>50</sup> См.: *Meinecke F.* Die Entstehung des Historismus // *Meinecke F.* Werke. München, 1959. Bd. 3. S. 67.

<sup>51</sup> См.: *White H.* Rev. P. 88—89.

<sup>52</sup> См.: *Wittkau-Horby A.* Droysen and Nietzsche: Two Different Answers to the Discovery of Historicity // *The Discovery of Historicity in German Idealism and Historicism.* Berlin ; Heidelberg ; N. Y., 2005. P. 67 ff. См. также: *Reill P. H.* The German Enlightenment and the Rise of Historicism. Berkeley ; Los Angeles ; L., 1975. P. 88—92.

<sup>53</sup> См.: *White H.* Droysen's Historik. P. 95. См. также: *Уайт Х.* Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002. С. 323 и след.

<sup>54</sup> *Burger Th.* Droysen's Defense of Historiography: A Note // *History and Theory*. 1977. Vol. 16. P. 173; *Maclean M. J.* Johann Gustav Droysen and the Development of Historical Hermeneutics // *History and Theory*. 1982. Vol. 21, N 3. P. 348 ff.; *White H.* Rev. P. 89. См. также: *Пакутов А. И.* Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982. С. 119.

<sup>55</sup> См.: *White H.* Rev. P. 90. См. также: *Pflaum C. D. J. G.* Droysens Historik in ihrer Bedeutung für die moderne Geschichtswissenschaft. Gotha, 1907. S. 87. Об аналогичном подходе к творчеству Ранке см.: *Gay P.* Style in History. N. Y., 1974; *Смоленский Н. И.* Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования // *Методологические и историографические вопросы исторической науки*. Томск, 1966. Вып. 4. С. 187 (Тр. Томск. ун-та; т. 167).

<sup>56</sup> См.: *Bravo B.* Philologie, histoire, philosophie de l'histoire: Etude sur J. G. Droysen, historien de l'antiquité. Breslau, 1968. P. 15 sq.

<sup>57</sup> См. об этом: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Возведение истории в ранг науки (к юбилею Иоганна Густава Дройзена) // *Диалог со временем*: альм. интеллект. истории. М., 2008. Вып. 25/1. С. 26—54. К наблюдениям Савельевой и Полетаева следует добавить, что в XIX в. притязания истории на автономность в качестве науки отстаивали весьма немногие интеллектуалы. При этом последние критиковали любого коллегу, кто употреблял интерпретационные методы из других отраслей познания, но использовал их либо для построения своих историописаний, либо для объяснений событий прошлого. Можно сказать, что подобное поведение отчасти предвещало функции историцизма К. Поппера (см.: *Popper K.* The Poverty of Historicism. L., 1960. P. 3, 17). Такая стратегия оказалась эффективной, так как благодаря ей на место теории заступила практика, эмпирика историков, которой до сих пор недоставало (см.: *White H.* Droysen's Historik. P. 101). Правда, это не объясняет авторитета, который историческая наука приобрела в течение XIX в. и который при всех ее притязаниях на автономность позволил эмпирической историографии достигнуть много большего, нежели любая теория (см.: *Пакутов А. И.* Указ. соч. С. 150—152). Учет этого обстоятельства позволяет перенести внимание с теории и практики исторической науки на само историописание как на особую форму дискурса в гуманитарной сфере социальных групп любого столетия.

<sup>58</sup> См.: *Hünemann P.* Op. cit. S. 122—123.

<sup>59</sup> *Below G. von.* Op. cit. S. 12—13; *Iggers G. G.* Op. cit. S. 58; *White H.* Rev. P. 89.

<sup>60</sup> *Vorlesungen*. S. 50—51.

<sup>61</sup> См.: *Vaüm X.* Метаистория. С. 494.

<sup>62</sup> См.: *Nisbet R. A.* Social Change and History: Aspects of the Western Theory of Development. N. Y., 1969. P. 240 ff.; *Humphreys R. S.* The Historian. His Documents and the Elementary Modes of Historical Thought // *History and Theory*. 1980. Vol. 19, N 1. P. 16. См. также: *Zagorin P.* History, Referent and Narrative: Reflections and Postmodernism // *History and Theory*. 1999. Vol. 38, N 1. P. 1—24.

<sup>63</sup> См.: *White H.* Rev. P. 91.

<sup>64</sup> Если отмечается, что гражданское сознание в своей новейшей форме может только описать объект, но не способно рассказать о нем, и если на этом основании

данное сознание именуется реалистичным (*Lukács G. Erzählen oder Beschreiben? // Essays über Realismus, Werke. Neuwied ; Berlin, 1971. S. 203 u. folg.*), то лишь потому, что в данном случае уступается первенство дискурсивной модели, чьи прототипы были созданы лучшими гражданскими историками XIX в. (*Hunermann P. Op. cit. S. 123*).

<sup>65</sup> Ср.: *Yaüm X. Метаистория. С. 494. См.: Sußmann J. Geschichtsschreibung oder Roman? Zur Konstitutionslogik von Geschichtserzählungen zwischen Schiller und Ranke (1780—1824). Stuttgart, 2000. S. IV.*

<sup>66</sup> См.: *Hintze O. Op. cit. S. 480—482. Ср.: Metz K. H. Grundformen historiographischen Denkens. Wissenschaftsgeschichte als Methodologie. Dargestellt an Ranke, Treitschke und Lamprecht. Mit einem Anhang über zeitgenössische Geschichtstheorie. München, 1979. S. 66—71; Koselleck R. Geschichte // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1975. Bd. 2. S. 594—595.*

<sup>67</sup> Весьма негативную оценку этому явлению (через отслеживание судеб позитивизма) см.: *Барз М. А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. С. 176—177.*

А. В. Шаманаев

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ

Изучение организационных принципов и форм деятельности Одесского общества истории и древностей (ООИД) представляет большой интерес в связи с особенностями истории этой организации. ООИД было одним из первых научно-исторических (НИО) и первым археологическим обществом в России<sup>1</sup>. Оно существовало с 1839 по 1922 г. (почти 83 года), показав редкий для отечественных НИО пример долголетия. ООИД осуществляло широкий круг действий по выявлению, изучению, популяризации и охране памятников истории и археологии<sup>2</sup>.

История деятельности Одесского общества неоднократно рассматривались исследователями. До 1917 г. были опубликованы несколько обзоров к 30-, 50- и 75-летию создания ООИД. Приуро-

ченность этих работ к юбилейным датам определила как их содержание, так и оценочные суждения. Так, их авторы рассматривали обстоятельства создания общества, основные достижения и наиболее важные официальные моменты жизни ООИД. По вполне понятной причине результаты деятельности общества оценивались исключительно в благоприятном для него свете, а недостатки или проблемы оставались за рамками внимания авторов<sup>3</sup>.

В 1920—1940-х гг., в условиях жесткого идеологического давления на историков и археологов, все достижения дореволюционных исследователей либо замалчивались, либо оценивались критически<sup>4</sup>. На долгие годы деятельность ООИД оказалась забытой. Исключение составляют несколько работ по частным вопросам работы общества<sup>5</sup>. Только в 1960—1970-х гг. отмечается возрождение интереса к трудам Одесского общества. Однако авторы немногочисленных публикаций по этой теме ограничивались общими обзорами, созданными на основе дореволюционных публикаций. Изменение политического климата в стране способствовало появлению положительных оценок деятельности ООИД по изучению и охране исторических и археологических памятников Южной России<sup>6</sup>. Более того, при создании в 1959 г. Одесского археологического общества прямо указывалось на преемственность этой организации с ООИД. Цель, задачи, формы деятельности нового общества повторяли положения уставных и программных документов дореволюционного прототипа<sup>7</sup>.

В 1980—1990-х гг. в Одессе была проведена научная конференция, посвященная 150-летию Одесского общества истории и древностей. В сборник тезисов докладов вошли 14 публикаций, посвященных различным аспектам деятельности ООИД<sup>8</sup>. Жанр тезисов не позволил авторам детально представить разработки интересовавших их вопросов. Необходимо отметить, что в этот период авторы немногочисленных монографий по истории отечественной археологии практически не обращались к рассмотрению вклада Одесского общества в развитие российской науки. Так, В. Ф. Генинг и А. А. Формозов ограничились простой констатацией факта создания в 1839 г. ООИД<sup>9</sup>. Такой подход нельзя признать оправданным и соотносимым с действительным значением дея-

тельности Одесского общества. Несколько больше внимания трудам ООИД уделил Г. С. Лебедев. Однако и в его исследовании на первый план выдвинуты петербургские (Русское археологическое общество, Археологическая комиссия) и московские (Московское археологическое общество, Исторический музей) организации и учреждения<sup>10</sup>. При этом нужно учитывать, что ООИД было создано раньше и с первых лет вело активную работу по изучению и сохранению памятников Северного Причерноморья.

В последние годы ситуация с изучением деятельности ООИД, к сожалению, принципиально не изменилась. До сих пор нет обобщающего монографического исследования истории Одесского общества. Это вызывает сожаление, поскольку подробные труды по истории Московского и Русского археологических обществ были опубликованы еще на рубеже XIX—XX вв.<sup>11</sup> Конечно, эти работы требуют дополнения и развития исследований, но не утратили значения до настоящего времени.

Для последнего десятилетия можно отметить рост интереса как к отдельным научно-исследовательским организациям, в том числе к региональным научным обществам, так и к ученым, краеведам, организаторам науки дореволюционной России<sup>12</sup>.

Данная тенденция затронула и проблемы изучения истории Одесского общества. Современные исследователи обратились к изучению деятельности ООИД на основе конкретных памятников, различных направлений исследовательской работы, биографий руководителей и членов Общества<sup>13</sup>. Особо стоит выделить монографию И. В. Тункиной, несколько разделов которой посвящены непосредственно трудам Одесского общества по организации изучения, сохранения и музеефикации античных памятников Северного Причерноморья<sup>14</sup>. Несмотря на фундаментальный характер труда И. В. Тункиной, в нем рассмотрены вопросы, касающиеся только классических древностей, и охвачен период до середины XIX в. (что вполне объективно, учитывая гигантский объем источниковой базы исследования)<sup>15</sup>.

Первые научно-исторические общества в России возникли во второй половине XVIII в., но их существование было недолгим (Архангелогородское историческое клевретство, 1768; Вольное

Российское собрание, 1771—1787)<sup>16</sup>. В первой четверти XIX в. отмечается существование всего четырех организаций, ориентированных на исторические исследования. Прежде всего это Общество истории и древностей российских при Московском университете (ОИДР), созданное в 1804 г. Кроме него, в стране действовали словесное отделение Общества наук при Харьковском университете (1812), Курляндское общество литературы и искусств (1816) и Латышское литературное общество (1824) в Митаве. Большая часть обществ, деятельность которых имела гуманитарную направленность, возникла после 1863 г.<sup>17</sup> Возникновение в Одессе историко-археологического общества имело исторические предпосылки.

Идея создания на юге России научной организации любителей древностей была высказана в середине 1820-х гг. И. А. Стемпковским. В 1823 г. он представил генерал-губернатору Новороссийского края и Бессарабии М. С. Воронцову записку «Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае»<sup>18</sup>. И. А. Стемпковский был не просто собирателем древностей, но имел специальную подготовку. Пребывая с русским оккупационным корпусом в Париже, он занимался в Академии надписей и словесности, был избран ее членом-корреспондентом<sup>19</sup>. Главная идея записки И. А. Стемпковского заключалась в обосновании необходимости создания научного общества, которое «имело бы целью разыскивать, собирать и хранить, описывать и объяснять все памятники древности на северных берегах Черного моря»<sup>20</sup>.

Однако вместо предполагаемого исторического общества в 1825 г. был создан Одесский городской музей древностей, первый специализированный археологический музей в Северном Причерноморье (в 1858 г. был объединен с музеем ООИД)<sup>21</sup>. В 1828 г. создается и научное общество, но совершенно иной направленности: Общество сельского хозяйства Южной России<sup>22</sup>. Следует отметить, что некоторые члены этой организации позже вошли в состав ООИД. Кроме того, исследователи отмечают наличие в Одессе в начале 1830-х гг. кружка любителей древностей. В основном он объединял чиновников канцелярии М. С. Воронцова и преподавателей Ришельевского лицея (создан в 1817 г.)<sup>23</sup>. Таким

образом, к середине 1830-х гг. складываются предпосылки для учреждения в Одессе историко-археологического научного общества.

Одесское общество было создано в 1839 г. по инициативе группы лиц, заинтересованных в развитии исторических и археологических исследований в Новороссийском крае. В ее состав входили Д. М. Княжевич, А. Г. Стурдза, А. Я. Фабр, М. М. Кирьяков, Н. Н. Мурзакевич<sup>24</sup>.

Можно отметить, что М. М. Кирьяков и Н. Н. Мурзакевич вместе учились в Московском университете, что позволяет предположить их знакомство с деятельностью Общества истории и древностей российских — первого отечественного научно-исторического общества<sup>25</sup>. Судя по всему, некоторые принципы работы ОИДР и наименование организации были заимствованы при образовании ООИД.

В январе 1839 г. попечитель Одесского учебного округа Д. М. Княжевич представил министру народного просвещения С. С. Уварову ходатайство об открытии научного общества и проект его устава. Министр утвердил устав 25 марта 1839 г., и 23 апреля состоялось первое заседание ООИД<sup>26</sup>.

Избранный секретарем, Н. Н. Мурзакевич составил записку на имя М. С. Воронцова, в которой изложил меры, необходимые для успешной деятельности Общества<sup>27</sup>. В конце 1839 г. генерал-губернатору Новороссийского края и Бессарабии удалось получить разрешение Николая I на выделение Обществу 5 000 руб. ассигнациями в год, права производить и контролировать археологические раскопки в Южной России, а также назначения наследника престола Александра Николаевича покровителем ООИД<sup>28</sup>.

Статус Одесского общества изменился только в 1872 г. после пожалования Александром II (остававшимся покровителем) почетного звания «императорского» «в воздание заслуг, оказанных отечественной науке»<sup>29</sup>.

Состав, структура, цель и задачи деятельности ООИД определялись уставом. Длительное существование Общества требовало неизбежных корректировок ряда положений этого документа. Изменения отразились в четырех редакциях устава (1839, 1842,



1873, 1896). Наиболее существенными изменениями характеризуется редакция 1896 г.

Цель Общества в основном оставалась без изменений и заключалась в изучении истории и археологии Северного Причерноморья (Новороссийский край, Бессарабия, с 1873 г. побережье Кавказа). Задачи Общества корректировались в соответствии с представлениями о методике исследований, способах популяризации исторических знаний, формах охраны памятников истории и культуры<sup>30</sup>. Необходимо отметить, что цель и задачи Общества, закрепленные в уставах, в целом совпадают с положениями записки И. А. Стемповского середины 1820-х гг.<sup>31</sup>

В состав Одесского общества входили: почетный президент (М. С. Воронцов, более никто не избирался), члены-основатели (5 человек, избраны единовременно), почетные, действительные члены, члены-корреспонденты и сотрудники, соревнователи (последние избирались до 1852 г.). По данным 1901 г., со времени возникновения в состав ООИД входили: 61 почетный и 411 действительных членов, 154 члена-корреспондента, 13 соревнователей (без учета изменения статуса)<sup>32</sup>.

Одесское общество возглавлял президент, выполнявший представительские функции и содействовавший деятельности ООИД в силу административного положения. Президентами Общества состояли: Д. М. Княжевич — попечитель Одесского учебного округа (1839—1844), А. Г. Строганов — Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор (1856—1877), С. М. Воронцов — высокопоставленный военный, чиновник, общественный деятель (1878—1882), А. М. Дондуков-Корсаков — генерал-губернатор Одессы (1882—1890), Х. Х. Рооп — командующий Одесским военным округом (1890—1911), великий князь Александр Михайлович (1911—1917).

Непосредственное управление осуществлял вице-президент. Какого-то определенного принципа для его избрания не было. Вице-президентами ООИД состояли: А. С. Стурдза — отставной дипломат, помещик (1839—1842), С. В. Сафонов — правитель канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, историк (1842—1844?), А. Ф. Негри — дипломат, историк (1844—

1854), Н. И. Пирогов — хирург, попечитель Одесского учебного округа (1857—1858), Димитрий (Муретов) — архиепископ Херсонский и Одесский (1870—1875), Н. Н. Мурзакевич — профессор Ришельевского лицея (1875—1883), В. Н. Юргевич — профессор Новороссийского университета (1883—1898), А. Л. Бертье-Делард — военный инженер, археолог и историк (1899—1920).

Вице-президент выполнял обязанности при поддержке секретаря, который избирался из профессоров Ришельевского лицея, а после его реформирования — Новороссийского университета. В период с 1842 по 1866 г. существовала должность помощника секретаря. Финансовыми вопросами Общества занимался казначей<sup>33</sup>.

С 1896 г. Общество управлялось советом в составе: президента, вице-президента, секретаря, казначея и четырех уполномоченных членов<sup>34</sup>.

Кроме того, в число должностных лиц Общества входили: библиотекарь, хранители Одесского (с 1839) и Феодосийского (с 1850) музеев, Судакской (с 1868) и Аккерманской (с 1896) крепостей, Мелек-Чесменского кургана в Керчи (с 1869). Для подготовки к печати «Записок ООИД» избирался издательский комитет, не имевший постоянного состава<sup>35</sup>.

Звание «почетного члена» могли получать лица, проявившие себя в сфере гуманитарных наук (в основном истории и археологии), оказавшие или могущие оказать содействие работе Общества. Они были освобождены от уплаты членских взносов, а также от необходимости непосредственно и регулярно участвовать в деятельности ООИД<sup>36</sup>. Состав почетных членов был весьма разнородным. Кроме известных отечественных и зарубежных деятелей науки и культуры (например, В. А. Жуковский, П. С. Уварова, И. Е. Забелин, Р. Вирхов), этого звания удостаивались представители местной гражданской и военной администраций, министры (как правило, народного просвещения — Д. А. Толстой, И. Д. Делянов), церковные иерархи. Нужно отметить, что некоторые лица, избранные почетными членами, имели очень далекое отношение как к Новороссийскому краю, так и Одесскому обществу, например, в 1876 г. это звание получил император Бразилии Педро II (Дон-Педро д'Алькантара)<sup>37</sup>.

В действительные члены могли избираться лица, деятельность которых, прежде всего научно-исследовательская, была направлена на достижение целей ООИД. Действительные члены (за исключением иностранцев) должны были оплатить диплом, а также вносить ежегодные взносы<sup>38</sup>.

Для содействия трудам действительных членов ООИД избирались сотрудники (проживавшие в Одессе и имевшие возможность непосредственного участия в работе) и корреспонденты (в России и за границей). Как и действительные члены, они должны были уплачивать членские взносы (в том же размере), но не имели права избираться в состав должностных лиц. С 1896 г. условное различие между сотрудниками и корреспондентами было ликвидировано (остались только члены-корреспонденты). Кроме того, они были освобождены от уплаты ежегодных взносов<sup>39</sup>.

До 1852 г. в состав Общества избирались «соревнователи», последние два в 1869 г. были причислены к сотрудникам. В целом эта группа была малочисленной (всего 11 человек) и большого влияния на деятельность ООИД не оказала<sup>40</sup>.

Основой финансового существования ООИД было ежегодное государственное пособие в размере 1 428 руб. 57 коп. серебром (5 000 руб. — ассигнациями), предоставленное Николаем I. В 1891 г. размер правительственного пособия был увеличен до 2 500 руб., а с 1909 г. оно составило 4 500 руб.<sup>41</sup> Для сравнения Русское археологическое общество получало ежегодное государственное пособие в размере 3 000 руб. (1847—1865), 5 000 (1866—1896), 8 000 (с 1896)<sup>42</sup>. Московское археологическое общество пользовалось пособием в размере от 3 000 (с 1872) до 5 000 руб. (с 1882)<sup>43</sup>.

Другие источники доходной части бюджета были не сопоставимы с этой суммой. Так, в 1860—1980-х гг. ежегодные членские взносы составляли 3, позже 5 руб. с человека. Избрание в действительные члены Общества предусматривало выдачу диплома и единовременную плату 10 руб., в корреспонденты — 5 руб. Небольшой доход приносила продажа «Записок Одесского общества истории и древностей» (в основном распространялись бесплатно или по минимальной цене) и дубликатов из музейной коллекции.

Одна из основных статей расходов Одесского общества была связана с изданием его «Записок» (33 тома, 1844—1919). По данным за 1868 г., издание 7-го тома «Записок» обошлось в 782 руб. 60 коп., что составило 46 % общих расходов (1 691 руб. 60 коп.)<sup>44</sup>. В 1872 г. расходы на печать 8-го тома составили 968 руб. 50 коп. (25 % от 3 839 руб. 55 коп.)<sup>45</sup>.

Сопоставимая сумма затрачивалась на содержание здания, библиотеки, музея, командировки членов Общества, печать отдельных изданий ООИД. Периодически возникали экстраординарные расходы, покрывавшиеся из разных источников. Так, в начале 1880-х гг. остро встал вопрос о строительстве нового здания для музея и библиотеки ООИД. Разумеется, необходимой суммой Общество не располагало. Проблема была решена благодаря пожертвованию 30 тыс. руб. городским головой Одессы Г. Г. Маразли из собственных средств и выделению 18 900 руб. городской думой<sup>46</sup>.

В конце XIX — начале XX в. Одесское общество распоряжалось несколькими премиями для поддержки исследований по археологии и истории юга России. В 1894 г. почетным членом Общества А. Л. Бертье-Делагардом была учреждена премия в размере 600 руб. за лучшее сочинение по истории и археологии Новороссийского края и, прежде всего, Крыма. Другую премию выделила Одесская городская дума (500 руб.). Еще одна была учреждена дочерьми одного из основателей ООИД Д. М. Княжевича и состояла в процентах с капитала в 2 000 руб.<sup>47</sup> Однако присуждение премий шло медленно. Только в 1900 г. Э. Р. фон Штерн был удостоен премии, предоставленной А. Л. Бертье-Делагардом<sup>48</sup>.

Таким образом, обращение к организационным принципам деятельности Одесского общества истории и древностей позволяет рассмотреть механизм институализации такого составляющего структурного элемента исторической науки, как историко-археологические научные общества.

<sup>1</sup> Степанский А. Д. К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России // АЕ-1974. М., 1975. С. 49.

<sup>2</sup> Синицин М. С. Развитие археологии в Одессе // ЗОАО. Одесса, 1960. Т. 1(34). С. 7—14.

<sup>3</sup> Брун Ф. К. Тридцатилетие Одесского общества истории и древностей, его записки и археологические собрания // ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 328—351; Юргевич В. Н. Краткий очерк деятельности Императорского Одесского общества истории и древностей // Там же. 1886. Т. 14. С. 52—58; *Его же*. Исторический очерк пятидесятилетия Императорского Одесского общества истории и древностей (1839—1889). Одесса, 1889. С. 43—77; Марков А. К. Императорское Одесское общество истории и древностей: обзор деятельности за 1839—1888 гг. [отд. оттиск]. [СПб.], [1888]; Варнеке Б. В. Императорское Одесское общество истории и древностей (1839—1914) // ЖМНП. 1914. Ч. 54, дек. С. 47—61; Попруженко М. Г. Императорское Одесское общество истории и древностей // ИВ. 1914. № 11. С. 544—555.

<sup>4</sup> Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. М., 2004. С. 33—77.

<sup>5</sup> Гриневиц К. Э. Сто лет херсонесских раскопок. Севастополь, 1927. С. 9—23.

<sup>6</sup> Синицин М. С. Указ. соч. С. 7—11; Разгон А. М. Охрана исторических памятников в России (XVIII — первая половина XIX в.) // Очерки истории музейного дела в СССР. М., 1971. С. 252—253.

<sup>7</sup> Синицин М. С. Указ. соч. С. 12—13; Станко В. Н. Одесское археологическое общество // 150 лет Одесскому обществу истории и древностей (1839—1989) : тез. докл. юбилейной конф. Одесса, 1989. С. 5—8.

<sup>8</sup> 150 лет Одесскому обществу истории и древностей (1839—1989). С. 3—37.

<sup>9</sup> Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1986. С. 37—38; Генинг В. Ф., Левченко В. Н. Археология древностей — период зарождения науки. Киев, 1992. С. 19—20.

<sup>10</sup> Лебедев Г. С. История отечественной археологии (1700—1917). СПб., 1992. С. 233.

<sup>11</sup> Веселовский Н. И. История Императорского Русского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования (1846—1896). СПб., 1900; Историческая записка о деятельности Императорского Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890.

<sup>12</sup> См., например: Басаргина Е. Ю. Русский археологический институт в Константинополе : очерки истории. СПб., 1999; Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете : историогр. очерки. СПб., 2003; Бердинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. М., 2003; 120 лет учреждения губернских ученых архивных комиссий в России : материалы науч. конф. Рязань, 2007.

<sup>13</sup> См., например: Боровкова В. Н. Коллекционеры и торговцы керченскими древностями. Керчь, 1999; Федосеев Н. Ф. Пантикапей и «охрана памятников» в Керчи // ИНК. 2005. № 9. С. 155—170; Непомнящий А. А. Подвижники криво-ведения. Симферополь, 2006 (Биобиблиография криво-ведения ; вып. 7); *Его же*. А. Л. Бертье-Делагард в историко-краеведческом изучении Крыма в конце XIX — начале XX в. // Французы в Крыму. Симферополь, 2004. Кн. 1. С. 15—30; Бобкова О. М. Фабр А. Я.: портрет администратора на фоне эпохи. Симферополь, 2007 (Биобиблиография криво-ведения ; вып. 8).

- <sup>14</sup> *Тункина И. В.* Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002. С. 104—143, 215—219, 256—280, 393—606.
- <sup>15</sup> См. рецензию: *Маринович Л. П.* [Рец. на]: Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб.: Наука, 2002. 676 с. // ВДИ. 2004. № 1. С. 236—240.
- <sup>16</sup> *Степанский А. Д.* Первые исторические общества в России // ВИ. 1973. № 12. С. 204—208.
- <sup>17</sup> *Разгон А. М.* Указ. соч. С. 357; *Степанский А. Д.* К истории научно-исторических обществ... С. 39.
- <sup>18</sup> *Формозов А. А.* Страницы истории русской археологии... С. 40.
- <sup>19</sup> *Ашик А. Б.* Некролог: Иван Алексеевич Стемпковский // ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 907—914. Подробнее см.: *Тункина И. В.* Указ. соч. С. 120—135.
- <sup>20</sup> *Стемпковский И. А.* Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае // ОЗ. 1827. Ч. 29, кн. 81. С. 49.
- <sup>21</sup> *Тункина И. В.* Указ. соч. С. 215—220, 290.
- <sup>22</sup> См.: *Боровский М. П.* Исторический обзор пятидесятилетней деятельности Императорского Общества сельского хозяйства Южной России с 1828 по 1878 г. Одесса, 1878.
- <sup>23</sup> *Бобкова О. М.* Указ. соч. С. 159—160.
- <sup>24</sup> *Варнеке Б. В.* Указ. соч. С. 52.
- <sup>25</sup> *Мурзакевич Н. Н.* Автобиография (1806—1883) // РС. 1887. Т. 53. С. 267.
- <sup>26</sup> *Мурзакевич Н. Н.* Записка о состоянии и действиях Одесского общества любителей истории и древностей с 23 апреля 1839 по 1 января 1840 г. // Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей 4 февраля 1840 г. Одесса, 1840. С. 62—63; *Попруженко М. Г.* Указ. соч. С. 552.
- <sup>27</sup> *Захарова О. Ю.* Светлейший князь М. С. Воронцов. Симферополь, 2004. С. 241.
- <sup>28</sup> ПСЗ РИ. Собр. 2-е. СПб., 1840. Т. 14. Отд. 1. С. 934. № 12985.
- <sup>29</sup> *Попруженко М. Г.* Указ. соч. С. 555.
- <sup>30</sup> Устав Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1839; То же. Одесса, 1842; Устав Императорского Одесского общества истории и древностей // ЖМНП. 1873. Ч. 169. С. 14—25; То же // ЗООИД. 1896. Т. 19. Прил. С. 1—14.
- <sup>31</sup> *Стемпковский И. А.* Указ. соч. С. 40—72.
- <sup>32</sup> *Маркевич А. И.* Состав Императорского Одесского общества истории и древностей в 1839—1902 гг. // Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей за 1901 г. Одесса, 1902. С. I—II, 1—44.
- <sup>33</sup> Там же. С. 1—5.
- <sup>34</sup> Устав Императорского Одесского общества истории и древностей... 1896. С. 10—11.
- <sup>35</sup> *Маркевич А. И.* Указ. соч. С. 5—9.
- <sup>36</sup> Устав Императорского Одесского общества истории и древностей... 1873. С. 14; То же. 1896. С. 2.
- <sup>37</sup> *Маркевич А. И.* Указ. соч. С. 9—12.

<sup>38</sup> Устав Императорского Одесского общества истории и древностей... 1873. С. 14—15; То же. 1896. С. 2—3.

<sup>39</sup> Устав Императорского Одесского общества истории и древностей... 1873. С. 16; То же. 1896. С. 28; Отчет Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1861 по 14 ноября 1862 г. Одесса, 1863. С. 14.

<sup>40</sup> *Маркевич А. И.* Указ. соч. С. 43—44.

<sup>41</sup> [Протокол] 395-го заседания Императорского Одесского общества истории и древностей. 7 сентября 1909 г. // ЗООИД. 1910. Т. 28. С. 68—70.

<sup>42</sup> *Веселовский Н. И.* Указ. соч. С. 361—364.

<sup>43</sup> Историческая записка о деятельности Императорского Московского археологического общества... С. 115—116.

<sup>44</sup> Одесское общество истории и древностей. Отчет с 14 ноября 1867 по 14 ноября 1868 г. // ЖМНП. 1869. Ч. 142. С. 453—464.

<sup>45</sup> Отчет Императорского Одесского общества истории и древностей с 14 ноября 1872 по 14 ноября 1873 г. Одесса, 1874. С. 25.

<sup>46</sup> Императорское Одесское общество истории и древностей в 1884 г. // ЖМНП. 1885. Ч. 238. С. 110—112.

<sup>47</sup> Премии, находящиеся в распоряжении Императорского Одесского общества истории и древностей // ЗООИД. 1895. Т. 18. Прил. С. I—II.

<sup>48</sup> [Протокол] 330-го заседания Императорского Одесского общества истории и древностей. 14 ноября 1900 г. // ЗООИД. 1901. Т. 23. С. 93—94.

*В. Д. Камынин*

## МЕСТО ИСТОРИКОВ «СТАРОЙ ШКОЛЫ» 1920-х гг. В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В XX в.

Историографические исследования в настоящее время переживают непростой этап развития. Характерными его чертами можно считать, во-первых, скептическое отношение некоторых историков к историографическим исследованиям, во-вторых, размежевание в среде самих историографов. Первая черта проявляется в требовании к историографам сузить задачи своих исследований, свести их к созданию «критически-провоцирующих статей»<sup>1</sup>. В этом видится проявление тенденции рассматривать историографию только как вспомогательную историческую дисциплину, «обслужива-

ющую» интересы исторической науки. Выделение историографии в особую отрасль исторического знания со своим предметом исследования порождает критику в адрес историографов как людей, занимающихся «псевдонаукой», «особой формой имитации работы мысли в исторической науке» и т. д.<sup>2</sup>

На современном этапе произошло размежевание в среде самих историографов по вопросам о смысле, задачах и методике историографии. Четко выделяется два подхода к этим вопросам. Один из них реализуется в рамках «проблемной» историографии, традиционно направленной на подведение итогов изучения определенной исторической проблемы, выявление неизученных или дискуссионных вопросов, определение направлений возможных будущих изысканий по данной проблеме. Второй подход трактует историографию как историю исторической науки, вынося на обсуждение научной общественности много важных теоретических вопросов развития исторического знания.

Обратимся лишь к одному из них. Большие споры в современной историографии вызывает вопрос о преемственности и разрывах в российской исторической науке. Особый интерес в этом отношении представляет XX столетие, на протяжении которого Россия несколько раз переживала смену общественного строя. В связи с тем, что историческая наука тесно связана с идеологией и политикой, перед историографами встает вопрос о том, какое влияние оказывают трансформации общественного строя на развитие исторической науки.

В советское время прочно утвердилось представление о том, что после 1917 г. в России сформировалась новая историческая наука, характерной чертой которой был полный разрыв с дореволюционной историографической традицией как в области методологии, так и исследовании конкретно-исторических проблем. Зеркальным отражением этого подхода является нигилистическое отношение ряда современных авторов к советской исторической науке на основании того, что она представляла собой «особый научно-политический феномен, гармонично вписанный в систему тоталитарного государства и приспособленный к обслуживанию его идейно-политических потребностей»<sup>3</sup>.



По нашему мнению, составить правильное понимание о преемственности или разрыве между дореволюционной и советской историографической традицией возможно при внимательном изучении феномена историков «старой школы» 1920-х гг., который представлял собой своеобразный «мостик», перекинутый между двумя этапами отечественной историографии XX столетия.

Историки «старой школы» продолжали свои исследования в Советском государстве вплоть до конца 1920-х гг. Отрицать их вклад в историческую науку, писать о том, что они не «делали погоды» и не оказывали влияния на развитие исторической науки, значит, грешить против истины и обеднять процесс развития отечественной историографии в советский период.

Между историками «старой школы» и историками-марксистами часто проходили дискуссии, которые в 1920-е гг. еще носили научный характер. Дискуссии проходили в том случае, когда историки одного из направлений затрагивали вопросы, являвшиеся полем исследования другого направления. Наличие научных дискуссий свидетельствовало не только о том, что в исторической науке в Советской России в первое десятилетие советской власти имел место научный плюрализм, но и то, что научное сообщество, называемое историками «старой школы», передавало историкам-марксистам часть наследия дореволюционной историографии, которое особенно ярко проявлялось в советской историографии в области изучения древней и средневековой истории России.

В своих работах, созданных после Октябрьской революции, большинство историков «старой школы» отстаивало представления о ведущей роли государственности в историческом процессе, о «закрепощении» и «раскрепощении» созданных государством сословий, о бесклассовом характере русского исторического развития, о приоритете в истории политических, юридических и нравственно-эстетических факторов и т. д. Их критика формационного подхода к истории давала о себе знать и в 50—60-е гг. XX столетия, проявляясь в дискуссиях об «азиатском способе производства», «многоукладности» и др.

Широкое распространение среди обществоведов «старой школы» получило неокантианство. А. С. Лаппо-Данилевский после

революции начал печатать новое издание своей книги «Методология истории», которое вышло в 1923 г. уже после смерти автора. Позиции этого автора в объяснении исторического процесса отстаивали Л. П. Карсавин, С. Л. Франк, Вен. М. Хвостов и др. Неокантианство оказывало влияние на историков «старой школы» вплоть до конца 1920-х гг. Д. М. Петрушевский в книге «Очерки по экономической истории средневековой Европы» (1928) именно с этих позиций открыто выступил против марксизма, называя социально-экономические категории, которыми оперировала марксистская методология истории, субъективными конструкциями. На этих позициях продолжали стоять и некоторые советские историки, особенно те, которые занимались изучением средневекового периода (А. Я. Гуревич).

С другой стороны, часть представителей «старой школы» претерпевала определенную эволюцию под влиянием новых исторических реалий и в конечном итоге волилась в состав советской исторической науки. Пропаганда новыми властями материалистического понимания истории привела Р. Ю. Виппера, А. Е. Преснякова, Е. В. Тарле, Б. Д. Грекова, С. А. Голубцова и других историков к выводу о необходимости сочетания идейных и экономических моментов в объяснении исторического развития. Н. И. Кареев призывал историков быть вне борьбы партий и классов, признать марксизм как одно из направлений в современной социологии.

Таким образом, через историков немарксистского направления 1920-х гг. советская историческая наука сохранила преемственность с дореволюционной историографической традицией, и «связь времен» не была прервана.

---

<sup>1</sup> Булдаков В. П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 322.

<sup>2</sup> См. подробнее: Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. К вопросу о функциях и месте историографических исследований в развитии исторической науки // Вестн. Тюмен. ун-та. 2004. № 1. С. 79—91; *Их же*. К 95-летию со дня рождения В. Я. Кривоногова (1911—1977) // Россия и мир: история и историография : междунар. альм. Екатеринбург, 2006. Вып. 1. С. 170—180.

<sup>3</sup> Афанасьев Ю. Н. Феномен советской историографии // Советская историография. М., 1996. С. 37.

*С. Я. Гаген*

## ИСТОРИЯ ПРАВА КАК НАУКА В ТРУДАХ М. В. ШАХМАТОВА (1888—1943) И СОВРЕМЕННОСТЬ\*

Не будет преувеличением утверждать то, что историк русского права Мстислав Вячеславович Шахматов (27.10.1888 — 07.12.1943)<sup>1</sup> фактически полузабыт<sup>2</sup> современной наукой, несмотря на солидные научные результаты более чем двадцатипятилетней научной и педагогической деятельности в Праге. Среди его достижений в первую очередь следует назвать уникальное и до сих пор единственное исследование становления исполнительной власти в Русском государстве<sup>3</sup>, а также публикацию ряда интереснейших памятников права, собранных им в двух археографических экспедициях, оплаченных Славянским институтом в Праге (в Прибалтику в 1932 г. и Югославию в 1938 г.)<sup>4</sup>.

Впрочем, «полузабыт» Мстислав Шахматов еще и по той причине, что работал в области угасающей ныне отрасли научного знания — «истории права», которая пережила свой расцвет на рубеже XIX—XX вв., но к середине прошлого столетия фактически пришла в упадок по идеологическим причинам, а ныне находится под угрозой исчезновения из юридического образования.

В этой связи большой интерес представляет выполненный М. В. Шахматовым обзор о положении науки русского права в СССР в 1938 г.<sup>5</sup>, в котором подчеркивается утрата историей права статуса науки в советском обществе. Впрочем, некоторые наблюдения и выводы исследователя интересно сравнить с настоящим временем.

Статус самостоятельной науки для истории права обоснован словами последнего до большевистского переворота профессора

---

\* Исследование архива М. В. Шахматова, являющегося собственностью Славянского института АН Чехии, поддержано РГНФ (гранты № 07-03-18009е, 09-03-18005е).

кафедры истории права Петроградского университета Ф. Тарановского: «История права есть не только отдел общей истории... Она выделяется из общей истории по специфической обработке изученного материала... Специфическая историко-юридическая обработка заключается в облечении результатов исследования в юридические конструкции по периодам развития»<sup>6</sup>.

В Советской России выделение истории права в самостоятельную область невозможно, по мнению М. В. Шахматова, так как она подчинена совершенно истории экономической жизни и изучается ее методами, согласно с марксистской методологией<sup>7</sup>.

Однако следует заметить, что и в настоящее время история права не выделяется в самостоятельную дисциплину, несмотря на модную ныне тенденцию выделять самые разнообразные «истории», от истории интеллектуалов до истории чувств и пр.

В первой части своей статьи М. В. Шахматов называет физические причины упадка историко-правовых исследований в Советской России, подробно описывая физическое уничтожение или гибель от голода видных русских профессоров — историков права во время красного террора и Гражданской войны: М. А. Дьяконов, А. С. Лаппо-Данилевский, Ф. Ф. Зигель умерли от голода, А. Е. Нодле был застрелен, В. М. Грибовский, А. Н. Филиппов и А. Я. Шпаков умерли в изгнании. В Советской России остались только средних способностей исследователи, которые пошли на сотрудничество с марксистской властью: С. Б. Юшков, И. А. Машиновский, Н. А. Максимейко<sup>8</sup>.

Однако, несмотря на весь ужас, вовсе не эти факты являются главными в утрате историей права статуса науки.

Среди главных причин вырождения истории права из самостоятельной науки в «служанку идеологии», если использовать намек на известное средневековое выражение, Шахматов подчеркивает четыре, на которых следует остановиться.

Во-первых, «с точки зрения дореволюционного национального мировоззрения, свойственного русскому законодательству, существовало надклассовое общегосударственное, объективное право, вытекавшее из абсолютной правды и менявшее лишь свои формы соответственно эпохе»<sup>9</sup>. Коммунисты отрицают существо-

вание такого права: с их точки зрения «право — это система (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая организованной силой его (т. е. этого класса)». Следовательно, по мнению большевиков, «всякое право есть только организованное насилие, организованное угнетение одного класса другим»<sup>10</sup>.

В процитированном месте речь идет о «естественном праве с меняющимся содержанием», идее Рудольфа Штаммлера (1856—1938).

Во-вторых, «с точки зрения объективной науки, существовавшей в России до революции, право может быть самостоятельным фактором развития общества наравне с другими факторами»<sup>11</sup>. По марксистской доктрине право есть только надстройка над экономическим фундаментом или базисом. Поэтому история права не может иметь вполне самостоятельного существования, а может быть лишь более или менее влоростепенным дополнением к истории экономического быта»<sup>12</sup>.

В-третьих, «Русское государство старого режима было государством национальным, для которого национальное имя России имело принципиальное значение. СССР, наоборот, государство интернациональное, переставшее именовать себя Россией и преследующее страшными гонениями русский национализм. Поэтому официально для них (согласно постановлению первой всероссийской конференции историков-марксистов) не может существовать истории русского права, а только история права народов СССР или вообще сравнительная история права всех народов мира. В “Малой советской энциклопедии” под словом “Россия” говорится, что это “бывшее название страны, на территории которой образовался СССР” и что термин “русская история (согласно заявлению М. Н. Покровского) есть контрреволюционный термин”»<sup>13</sup>.

В-четвертых, «Императорское Российское Правительство основывало свое законодательство и управление на тысячелетней традиции. Поэтому оно поддерживало разработку истории русского права и русской истории, которые исследовали историческую преемственность государственных учреждений и различных правовых институтов. Большевики принципиально отрицают все государственное и юридическое прошлое России, и поэтому история

русского права им не нужна для их политических целей и в лучшем случае может быть только терпима. Для большевиков имеет значение только история законодательства, начинающаяся с октябрьского переворота 1917 года»<sup>14</sup>.

Итак, во-первых, научный статус истории права в гносеологическом плане может быть только при признании существования некоторых изменяющихся во времени, но тем не менее абсолютных представлений о справедливости (в смысле неокантианского постулата о «естественном праве с меняющимся содержанием»). Только в этом случае справедливо суждение Н. П. Новгородцева (декана Русского юридического факультета в Праге и начальника Шахматова): «Никогда не было и не будет такого общественного состояния, по отношению к которому предшествующие состояния были бы только средствами. Все они носили в себе и свою цель, и свое оправдание. Лишь при этом взгляде получают значение и смысл бесследно погибшие цивилизации древних народов, благородные, но безрезультатные подвиги отдельных лиц, вдохновенные усилия и жертвы предшествующих поколений»<sup>15</sup>. Другими словами, только в этом случае возможно в смысле Дильтея «историческое сознание»<sup>16</sup>, которое является способом самопознания для человечества в целом.

Второй процитированный выше пункт созвучен с первым. Эти два пункта показывают, что Шахматов противопоставляет детерминизму вообще и экономическому детерминизму в частности неокантианскую идею «абсолюта», проявляющегося в естественном праве в различной степени интенсивности в юридической действительности общества разных эпох. В наше время процитированные критические аргументы М. В. Шахматова, на мой взгляд, сохраняют актуальность, так как экономический детерминизм (или географический детерминизм евразийства) преобладает в современных вузовских учебниках. Плоские монокаузальные концепции популярны в силу того, что понятны и домохозяйкам, получающим второе высшее образование, а также они экономно и быстро укладываются в студенческие головы.

Третий пункт Шахматова самый страшный — националистический. Правда, в современной России учение Л. Гумилева о враж-

денной пассионарности народов (учение о врожденном свойстве рас — базовая идея фашистской идеологии), а также цивилизационное учение О. Шпенглера, официального идеолога нацизма, признаны на самом высоком уровне и официально входят в одобренные государством учебники, так что не совсем понятно, чем может быть страшен русский национализм.

В этой связи совершенно не удивительно, что наши президенты-юристы официально заявляют, что для русского народа свойственен «правовой нигилизм», т. е. подразумевается, что русские как народ не способны к созданию правового государства по своей природе. В настоящее время стандартной учебной дисциплиной в юридических вузах является «История отечественного государства и права» или «История государства и права России» (Россия понимается как территория! «Предмет изучения: история государств и правовых систем, существовавших на территории современной России»), т. е. по прежнему «история русского права» не изучается в вузах. Основная идея современных вузовских учебников: русский народ — импотент в правовой сфере, тоскует о сильной руке, склонен к авторитаризму и т. д. и т. п. И вообще, русский народ не является субъектом истории права!

Четвертый пункт Шахматова о традициях и преемственности государственных учреждений как официальной политике. Современное российское законодательство фактически так же, как и в 1917 г., начинается с государственного переворота 12 июня 1990 г. (провозглашение Россией суверенитета) и никак не основывается на русских правовых традициях, так как официально провозглашен курс на заимствование европейского правового опыта, курс «возвращения на столбовую дорогу цивилизации» (слова наших президентов-юристов). Ссылка на западную правовую традицию, как средневековая ссылка на авторитет, обязательна для наших идеологов. Сакраментальное «а вот на Западе» внесено стараниями говорящих по телевизору голов в обыденное правосознание. В обыденном и профессиональном правосознаниях от домохозяек до судей Верховного суда напрочь отсутствует идея ценности русской правовой традиции!

Таким образом, в современной Российской Федерации история права не существует в качестве науки, а история русского права вообще не существует по идеологическим причинам. Это подтверждается и сокращением в госстандарте по юридической профессии часов на преподавание курса истории Русского государства и права (до 12, а то и 8 часов на весь курс на заочных отделениях).

<sup>1</sup> М. В. Шахматов является племянником известного русского филолога, исследователя древнерусских летописей А. А. Шахматова (1864—1920).

<sup>2</sup> Слово «полузабыт» наиболее подходяще для данной ситуации, так как о М. В. Шахматове что-то помнят, но помнят очень приблизительно и неточно, как об одном из столпов чуждого и даже отвратительного ему евразийства. М. В. Шахматову пришлось много оправдываться из-за случайной публикации в евразийском издании. См.: *Шахматов М. В.* Самобытничество и любовь к отечеству // Возрождение. 1925. № 153, 160, 174.

<sup>3</sup> *Шахматов М. В.* Исполнительная власть в Московской Руси // Зап. научно-исследовательского объединения. Прага, 1935. Т. 1 (старая нумерация — Т. 6). С. 161—254; *Его же.* Компетенция исполнительной власти в Московской Руси. Ч. 1 : Внутренняя охрана государства // Там же. Прага, 1936. Т. 4 (старая нумерация — Т. 9). С. 137—219; *Его же.* Компетенция исполнительной власти в Московской Руси. Ч. 2 : Охрана личности // Там же. Прага, 1937. Т. 6 (старая нумерация — Т. 11). С. 109—224.

<sup>4</sup> *Шахматов М. В.* Памятники русской старины в Рижских исторических архивах // Русские в Латвии : сб. «Дни русской культуры». Рига, 1933. С. 44—46; *Его же.* Челобитная «мира» московского царю Алексею Михайловичу 10 июня 1648 г. / изд. М. В. Шахматов. Прага, 1933. С. 1—23, VIII; *Его же.* Сочинения Эпиктета в древнем славянско-русском переводе // *Byzantinoslavica*. Praha, 1933/34. Т. 5. S. 520—521; *Schachmatoff M. V.* Ruská starodávná průvodní listina vyslanci Ferdinanda I., krále českého atd. // Зап. научно-исследовательского объединения. Прага, 1938. Т. 8 (старая нумерация — Т. 13). С. 77—97.

<sup>5</sup> Обзор публикуется на основании рукописи в Архиве Шахматова в Славянском институте АН Чехии. На немецком языке обзор опубликован: *Schachmatoff M. V.* Der Stand der Russischen Rechtsgeschichte in Sowjetrußland / ein Sammelwerk ; hrsg. von Bolko Freiherr von Richthofen // *Bolschewistische Wissenschaft und «Kulturpolitik»*, Schriften der Albertus-Universität. Königsberg ; Berlin, 1938. Bd. 14. S. 219—235.

<sup>6</sup> *Тарановски Т.* Предмет и задача т. н. внешней истории права // Зап. Русского научного института в Белграде. 1930. Вып. 1. С. 85.

<sup>7</sup> *Schachmatoff M. V.* Der Stand der Russischen Rechtsgeschichte... S. 224.

<sup>8</sup> *Ibid.* S. 221—222.

<sup>9</sup> М. В. Шахматов ссылается на следующие работы: *Дювернуа Н.* Источники права и суд в древней Руси. СПб., 1860; *Шахматов М. В.* Государство правды (опыт по истории древнерусских политических идей) // Евразийский временник. Бер-



лин, 1925. Т. 4. С. 268—303; *Его же*. Опыты по истории древнерусских политических идей. Т. 1 : Учения русских летописей домонгольского периода о государственной власти. Кн 1 : Начало соборности; Кн 2 : Начало единоличной власти. Прага, 1927 (магистерская диссертация); *Тарановский Ф. В.* Энциклопедия права. 2-е изд. Белград, 1923 (совр. изд. — М., 1999).

<sup>10</sup> *Schachmatoff M. V.* Der Stand der Russischen Rechtsgeschichte... S. 223.

<sup>11</sup> «Из этой точки зрения исходили все общие учебники по русской истории права, которые появились до революции: Владимирский-Буданов, Сергеевич, Дьяконов, Филиппов, Загоскин, Самоквасов и др.» (*Ibid.* S. 223. Anm. 10).

<sup>12</sup> *Ibid.* S. 224. Даны ссылки на кн.: *Покровский М. Н.* Марксизм и особенности исторического развития России. М., 1925; *Его же*. Ленинизм и русская история М., 1929—1930; *Нечкина М.* Русская история в освещении исторического материализма. Казань, 1923; Малая советская энциклопедия. М., 1929. Т. 7 : Исторический материализм.

<sup>13</sup> *Schachmatoff M. V.* Der Stand der Russischen Rechtsgeschichte... S. 222—223. Даны ссылки на кн.: Малая советская энциклопедия. М., 1930. Т. 7. С. 427—428; Учебник по истории народов СССР. Эпоха Империализма. М., 1931; Книга для чтения по истории народов СССР / под ред. М. Н. Покровского. М., 1930.

<sup>14</sup> С него начинают свой обзор также многие справочники советского права: Основы Советского права / ред. Д. Магеровский. 2-е изд. М., 1929; *Гурвич Г.* Основы советской конституции. 5-е изд. М., 1926; *Малицкий А.* Советское государственное право. Харьков, 1926; *Энгель Е.* Основы советской конституции. М., 1923; *Schachmatoff M. V.* Der Stand der Russischen Rechtsgeschichte... S. 222. Anm. 5.

<sup>15</sup> По этому поводу см.: *Новгородцев П. И.* Об общественном идеале. Пг., 1917; *Его же*. Об общественном идеале. М., 1991. С. 66.

<sup>16</sup> *Diemer A.* Bewußtsein // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Freiburg, 1971. Bd. 1. S. 888.

Т. П. Нестерова

## ФЕНОМЕН ТОТАЛИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОНЦЕПЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Исследование тоталитарного общества, его особенностей, динамики его развития и гибели в последние десятилетия привлекли к себе внимание многих исследователей. В исторической науке сложилось несколько концептуальных, иногда взаимоисключаю-

щих подходов к изучению явления тоталитаризма. Нет единства в определении значения термина «тоталитаризм», определении хронологических и пространственных рамок явления.

Культура тоталитарного общества — один из наименее изученных аспектов тоталитаризма как такового. В немногих исследованиях, посвященных развитию культуры в рамках тоталитаризма, в основном рассматриваются отдельные аспекты функционирования культуры (прежде всего искусства) в тоталитарном обществе<sup>1</sup>. Чаще всего ставился принципиальный вопрос: правомерно ли вообще говорить о культуре тоталитарного общества или правильнее вести речь о культуре в условиях тоталитарного общества? Существовала ли вообще тоталитарная культура?

Для отечественной исторической науки проблема тоталитарной культуры долгие годы оставалась в достаточной степени закрытым объектом. В советскую эпоху объектом исследования были творчество того или иного деятеля культуры, произведения определенной школы и т. п., при этом внимание в основном обращалось на явления культуры, имевшие оппозиционную направленность (естественно, речь шла о произведениях, созданных в Германии или Италии). При этом основное внимание было обращено на культуру, оппозиционную тоталитаризму, чаще всего развивавшуюся в эмиграции. В работах отечественных авторов подчеркивалось, что европейские тоталитарные режимы не создали своей культуры или же она имеет крайне низкую ценность и не заслуживает внимания исследователей. Так, в «Германской истории» (1970) автор раздела об искусстве 1930-х гг. Л. И. Гинцберг писал, что «немногочисленные крупные писатели и художники, оставшиеся в Германии... были враждебны нацизму и по существу являлись внутренними эмигрантами. Что же касается официального искусства Третьей империи, то его отличительными чертами были сугубо утилитарный характер и чрезвычайно низкий художественный уровень... развитие немецкой культуры... продолжалось преимущественно за пределами страны»<sup>2</sup>. Близкой позиции придерживалась и видная исследовательница итальянской культуры Цецилия Кин, автор соответствующего раздела в «Истории Италии» (1971): «Создать собственно фашистскую культуру оказалось неосуше-

ствимым для этой публики (т. е. для фашистов. — *Т. Н.*) делом», хотя Цецилия Кин отмечала, что фашизм поддерживала значительная группа итальянских интеллектуалов, и полностью отрицать существование фашистской культуры как явления нельзя<sup>3</sup>.

В то же время для авторов советской эпохи существование советской культуры было явным и не подлежащим какому бы то ни было сомнению фактом. «Народная по форме и социалистическая по содержанию» советская культура, самая передовая культура в мире, стала объектом «исследований» множества советских идеологов и историков. Аналогичный подход к явлениям собственной и чужой культуры можно отметить и у нацистских и фашистских авторов<sup>4</sup>.

Культура и искусство занимают особое место в идеологии и практике тоталитарного общества. Роль и место культуры и культурной деятельности в как в ранних, так и относительно современных проектах построения идеального общества тоталитарного типа (от Платона до Уильяма Морриса и Джорджа Оруэлла) зависят только от места пропаганды в политике данного режима. Культура должна обеспечивать пропагандистскую деятельность и воспевать достижения и успехи режима, героизм борцов-соратников. Каждый тоталитарный режим провозглашает необходимость создания новой культуры, достойной величия свершений режима, отвергающей отжившее и создающей новое. «Необходимо создавать, иначе мы будем только эксплуататорами ветхого наследия; необходимо создать новое искусство нашего времени, фашистское искусство», — подчеркивал Муссолини<sup>5</sup>.

Таким образом, становится очевидным, что культура тоталитарного общества по сути автаркична. Культура либеральной европейской цивилизации в рамках любой модели тоталитаризма ставилась под сомнение, рассматривалась как упадочное искусство. Культура конкурирующих или враждебных форм тоталитаризма отрицалась как явление. Собственная культура признавалась самым ярким и заметным явлением в мировой культурной жизни.

«Итальянцы должны выработать в себе автаркическую ментальность; более того, они должны интенсивно жить в “мистике автаркии”, — подчеркивал Муссолини в ноябре 1937 г. — Автарки-

ческая дисциплина для Италии абсолютно необходима, абсолютно логична и абсолютно справедлива»<sup>6</sup>.

Следует отметить, что идеологи тоталитарных режимов понимали естественность культурной автаркии, кроме того, они ставили (и решали в положительном смысле) вопрос об автаркической традиции национальной культуры. Одним из проявлений такой тенденции может считаться, например, политика «культурной мелиорации», особенно активно развернутая в Италии после 1938 г. Важнейшим из направлений этой политики стала борьба против иностранного влияния и «буржуазных привычек». В статье «Автаркия духа», опубликованной в феврале 1939 г. в журнале «Gerarchia», Федерико Форни подчеркивал, что культурная автаркия характерна для всех народов во все исторические эпохи и сходство явлений не означает их взаимосвязи: каждая культура, каждый народ создают нечто новое, характерное исключительно для него. «Новый дух — это наш дух, — подчеркивал Форни. — В начале было Слово... И это новое слово сказал Муссолини, обращаясь к миру. Кроме автаркии материальной, автаркии фактов, мы видим автаркию духа, воплощенную для нас в Доктрине фашизма, благой вести для всех народов»<sup>7</sup>. «Наше время — героическое время фашизма, когда новое знание рождается в нашей живой традиции, и реализация автаркии прежде всего происходит в сфере духа и в сфере разума и лишь затем продолжается в борьбе за национальную независимость в сфере экономики. Тоталитарная автаркия — это жизнь, это акт созидания духа, не знающего границ во времени и в пространстве»<sup>8</sup>.

Провозглашение собственного национального и исторического превосходства над всеми остальными народами было характерно не только для политики фашистского режима, постоянно подчеркивавшего значимость итальянской культуры<sup>9</sup>. Еще более прямолинейно такая линия была выражена в политике и идеологии гитлеровской Германии, подчеркивавшей превосходство немцев и немецкой культуры; такое отношение нацистского руководства к германской культуре и истории было замечено и современниками. Следует отметить, что в Италии подчеркивание германского превосходства воспринималось с некоторой иронией, особенно

в первые годы существования нацистского режима — хорошо известны слова Муссолини о том, что «тридцать веков истории позволяют нам с сожалением смотреть на некоторые доктрины, возникшие за Альпами и разделяемые людьми, предки которых еще не умели писать, в то время как в Риме были Цезарь, Вергилий и Август»<sup>10</sup>. Нацистская политика в сфере культуры однозначно следует «генеральной теории расизма»<sup>11</sup> и создает иллюзию самостоятельного развития истинно германской национал-социалистической культуры<sup>12</sup>, отмечал в большой статье, посвященной современному германскому искусству, итальянский публицист Федерико Федеричи.

Послевоенная историографическая традиция в Германии и Италии основывалась на отрицании тоталитаризма как явления, отрицании его культуры и достижений. В Федеративной Республике Германии было последовательно произведено очищение от нацистской политической традиции, и нацизм, как и его культура, уже в 1960-х гг. вышел из сферы политики и стал предметом объективного научного анализа. Иначе шло развитие итальянской исторической науки. Существование крупных и влиятельных партий на левом и правом флангах итальянского политического спектра привело к сохранению идеологического противостояния и в исторической науке. Левые исследователи, постоянно обращавшиеся к образам Сопротивления, принципиально отстаивали тезис, что фашизм не только не мог создать ничего позитивного, но и вообще не мог создать ничего своего, фашизм по сути своей эклектичен<sup>13</sup>. Их противники, напротив, подчеркивали значимость фашистского периода в истории Италии, указывая, что фашизм создал много нового, своего, самостоятельного, сохраняющего ценность до сего дня<sup>14</sup>.

Среди итальянских историков можно четко выявить и выраженных антифашистов, отрицавших существование фашистской культуры, и апологетов фашистской культурной традиции. Только в 1960-х гг. в работах Ренцо Де Феличе<sup>15</sup> и исследователей его школы появляются черты объективного анализа фашизма как явления, в том числе и анализа фашистской культуры, но такая объек-

тивность вызвала враждебное отношение со стороны как правых, так и левых историков.

В последние десятилетия и в Италии стал возможен более взвешенный подход к анализу итальянской культуры фашистского периода. Стали появляться объективные исследования феномена фашистской культуры и ее отдельных аспектов. Исследование Алессии Педио «Культура незавершенного тоталитаризма»<sup>16</sup> ввело в научный оборот значительное число источниковых материалов, посвященных официальной культуре фашистского периода. В работах Карло Галеотти<sup>17</sup> проанализировано понятие «фашистский стиль» применительно к культуре Италии и к жизни итальянцев в период фашизма.

Особое место в современной итальянской историографии фашистской культуры занимают исследования Эмилио Джентиле, одного из учеников Ренцо Де Феличе. Э. Джентиле проанализировал многие аспекты истории Италии, прежде всего фашистского периода, показал влияние фашизма на культуру и искусство, на духовную жизнь итальянского общества<sup>18</sup>.

Как ни парадоксально, итоги работы итальянских ученых над темой «фашистская культура» обобщила американская исследовательница Рут Бен-Гиат<sup>19</sup>. Она проследила основные направления итальянской историографии по данной теме, выявила противоречия в подходах разных исследователей и показала объективность самого факта существования фашистской культуры.

Книга Рут Бен-Гиат, выдержавшая в Италии уже несколько изданий и ставшая бестселлером, в то же время показала, что проблема фашизма как явления истории страны остается в Италии до настоящего времени предельно политизированной и актуальной, поэтому объективный подход к ней вызывает у итальянских исследователей затруднения. Проблема фашистской культуры также до настоящего времени остается предметом идеологической борьбы в итальянской исторической науке, и чаще всего не итальянские ученые, а исследователи из других стран дают более объективные характеристики как истории фашизма в целом, так и фашистской культуре как явлению. В итальянской же историографии наиболее объективной точки зрения придерживается так называе-

мая «ревизионистская» школа, основателем которой был Ренцо Де Феличе.

<sup>1</sup> В частности, см. главу «Искусство при тоталитарных режимах», написанную В. М. Володарским, в наиболее значительной русскоязычной работе по тоталитаризму в XX веке (Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996. С. 209—246). См. также крупнейшее исследование по истории искусства при тоталитаризме: *Golomstock I. Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy and People's Republic of China*. Harvill, 1990. В том же 1990 г. книга вышла в Италии. В русском переводе опубликована под названием: *Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство*. М., 1994.

<sup>2</sup> Германская история. М., 1970. Т. 2. С. 226.

<sup>3</sup> История Италии. М., 1971. Т. 3. С. 444—445.

<sup>4</sup> См., например: *Lolini E. La cultura fascista e la sua funzione internazionale // Critica fascista*. 1935. Т. 14, N 4, 15 dic. P. 60.

<sup>5</sup> *Dizionario mussoliniano*. Bologna, 1994. P. 14.

<sup>6</sup> *Ibid.* P. 17.

<sup>7</sup> *Forni F. Autarchia dello spirito // Gerarchia*. 1939. N 2.

<sup>8</sup> *Tortorici G. Tradizione e autarchia // Ibid.* 1939. N 9.

<sup>9</sup> См.: *Guerra G. B. Fascisti: Gli italiani di Mussolini — Il regime di italiani*. Milano, 1996. P. 154—164.

<sup>10</sup> Цит. по: История Италии. Т. 3. С. 116—117.

<sup>11</sup> *Federici F. L'arte nello Stato Nazionalsocialista // Gerarchia*. 1937. N 9. P. 632.

<sup>12</sup> *Ibid.* P. 637.

<sup>13</sup> См., например: *Алампи П. Происхождение фашизма*. М., 1961; *Pavone C. Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*. Torino, 1995; *Bertoldi S. Camicia nera. Fatti e misfatti di un Ventennio italiano*. Milano, 1994.

<sup>14</sup> См.: *Pisanò G. Io, fascista*. Milano, 1997. Подробный анализ правой итальянской историографии см.: *Germinario F. L'altra memoria*. Torino, 1999.

<sup>15</sup> *De Felice R. Rosso e Nero*. Milano, 1995; *Idem. Fascismo, antifascismo, nazione*. Roma, 1996; *Idem. Mussolini*. Milano, 2001; и др.

<sup>16</sup> *Pedio A. La cultura del totalitarismo imperfetto. Il Dizionario di politica del Partito nazionale fascista (1940)*. Milano, 2000.

<sup>17</sup> *Galeotti C. Achille Starace e il vademecum dello stile fascista*. Catanzaro, 2000; *Idem. Mussolini ha sempre ragione. I decaloghi del fascismo*. Milano, 2000.

<sup>18</sup> См.: *Gentile E. Il mito dello Stato Nuovo dall'antigiolittismo al fascismo*. Roma ; Bari, 1982; *Idem. Il culto dell' littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*. Roma, 1994; *Idem. Fascismo di pietra*. Roma ; Bari, 2007 и другие книги этого автора.

<sup>19</sup> *Ben-Ghiat R. La cultura fascista*. Bologna, 2000.

*С. А. Васютин*

## РЕВИЗИЯ СТАЛИНСКОГО МАРКСИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОЧЕВНИКОВ КОНЦА 1960-х — СЕРЕДИНЫ 1980-х гг.

В конце 1960-х — середине 1980-х гг. в советской историографии появились новые подходы к решению проблем социально-политической организации кочевников. Эти изменения прежде всего были связаны с воздействием эпохи «оттепели», которая поменяла атмосферу в научном сообществе (были реабилитированы многие исследователи, возродился интерес к дореволюционной историографии, приветствовалось творческое осмысление марксизма, обсуждались ключевые вопросы формационной теории). Историческая наука стала более открытой к внешним влияниям, развивались связи с зарубежными учеными, велись дискуссии на международных конференциях, конгрессах и форумах, стали доступны зарубежные исследования, появилась переводная литература.

В западной исторической науке в послевоенный период происходило формирование новых исторических парадигм (цивилизационной, структуралистской, историко-антропологической) и направлений (история ментальностей, неозволюционизм, мир-системный анализ и пр.), шел активный поиск новых методов реконструкции прошлого, вырабатывались разные стратегии междисциплинарного синтеза. Для кочевниковедческих изысканий в СССР особенно важными были цивилизационная концепция А. Тойнби, неозволюционистские теории «вождества» и «раннего государства», историко-антропологические исследования.

Влияние этих идей на советских исследователей было достаточно опосредованным, так как проблемы переходных обществ обсуждались и разрабатывались советскими учеными параллельно и в контакте с зарубежными исследователями. Конкретные результаты этих обсуждений были все же несколько скромнее, поскольку в конечном итоге были приняты только те теории, которые рас-



сма­тривались как органи­чное продол­жение идей К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Наиболее значимой разработкой для оценки социальных отношений у нома­дов стала концепция ранне­классового общества — общества переходного от первобытного к классовому. Применительно к социальным оценкам нома­дов концепция ранне­классового общества отражала убеждения части советских кочевниковедов в том, что сословно-классовое общество даже потенциально не могло возникнуть у нома­дов.

Особая роль в разработке новых подходов отводилась Г. Е. Маркову. В своей докторской диссертации «Кочевники Азии...» (1967) он отверг возможность применения к кочевым обществам феодальной парадигмы и высказал гипотезу о том, что кочевникам «свойственен самостоятельный способ производства»<sup>1</sup>. Важное значение имел и другой вывод Г. Е. Маркова о том, что у нома­дов разных эпох принципиальные различия в общественно-политической организации отсутствовали, так как у кочевников динамика социально-политических изменений имела циклический характер, что выражалось в переходе общественной организации кочевников из «общинно-кочевого» состояния в «военно-кочевое» и обратно<sup>2</sup>.

Заслугой другого выдающегося кочевниковеда С. Е. Толыбекова стала разработка концепции кочевого аула как универсальной единицы, характерной для общественных систем нома­дов всех эпох. Он считал, что не род, а аул (аил) был основной хозяйственной ячейкой кочевых обществ<sup>3</sup>.

Другой специалист, А. М. Хазанов, в своей монографии «Социальная история скифов» (1975) пришел к выводу о том, что «общество скифов» демонстрирует большое «сходство» с кочевыми социумами Древности, Средневековья и Нового времени, причем подразумевалась «их принципиальная однотипность» и «сходство многих конкретных форм социальной организации и общественных институтов». Общий уровень социального развития кочевников он обозначил как «раннеклассовый»<sup>4</sup>. Главное отличие нома­дов от других раннеклассовых социумов, по его мнению, заключалось в «пороге» классовости, который не могли преодолеть кочевники.

Оригинальная концепция в 1980-е гг. была разработана Н. Э. Масановым. В общественном развитии нома­дов он выявил противоборство двух тенденций — «дисперсности» (необходимость рассеивать скот в процессе кочевания) и «относительной концент-

рации» (необходимость вступать в политические союзы для решения вопросов внешней политики и осуществления судопроизводства). В соответствии с данными тенденциями социальная организация кочевников рассматривалась как иерархия самостоятельно функционирующих и взаимодействующих между собой разноуровневых структур: «биосоциальной» (семья, аил), «социальной» (род, племя) и «государственно-административной» (политарные союзы, империи)<sup>5</sup>.

С. Г. Кляшторный на основании анализа древнетюркских источников в духе историко-антропологических изысканий смог вычленить комплекс представлений о подвигах и славе мужа-воина (героя-воина), о престижности военной деятельности, героике войны. «Слава» и «удача» были неизменными атрибутами «мужа-воина», определявшими его статус, так как «муж-воин оружием добывал свое богатство»<sup>6</sup>.

Несмотря на указанные инновации, следует признать, что большинство исследователей оставались приверженцами формационной теории в ее советской официальной версии, что нашло отражение в обоснованиях тезиса о существовании у кочевников частной собственности на землю и, соответственно, классового феодального общества<sup>7</sup>.

В целом в конце 1960-х — середине 1980-х гг. наблюдалась трансформация теоретических подходов к оценке социально-политической организации кочевых сообществ. Она выражалась в отходе от жесткого формационно-хронологического принципа, заложенного сталинским «Кратким курсом истории ВКП(б)». Для ряда советских нomaдологов стали очевидны противоречия между формационными характеристиками и социальными реалиями жизни кочевников. Они наглядно показали, что кочевничество представляло иную «линию» развития, которая не вписывалась в «законы» пятичленки. В ряде работ Г. Е. Маркова, А. М. Хазанова, Н. Э. Мазанова речь шла не только о ревизии сталинского марксизма, но и о формировании новых концептуальных основ для оценки социально-политической организации кочевников.

---

<sup>1</sup> Марков Г. Е. Кочевники Азии (хозяйственная и общественная структура скотоводческих народов Азии в эпохи возникновения, расцвета и заката кочевничества) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1967. С. 7, 30.

<sup>2</sup> Там же. С. 28—30.

<sup>3</sup> *Толыбеков С. Е.* Кочевое общество казахов в XVII — начале XX века (политико-экономический анализ). Алма-Ата, 1971. С. 157—158, 500—506, 509 и др.

<sup>4</sup> *Хазанов А. М.* Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М., 1975. С. 200, 252, 265—267, 271.

<sup>5</sup> *Масанов Н. Э.* Проблемы социально-экономической истории Казахстана на рубеже XVIII—XIX вв. Алма-Ата, 1984. С. 95—105; *Его же.* Элементы структуры социальной организации кочевников Евразии // Этнические культуры Сибири. Проблемы эволюции и контактов : сб. науч. тр. Новосибирск, 1986. С. 20—26; *Марков Г. Е., Масанов Н. Э.* Значение относительной концентрации и дисперсности в хозяйственной и общественной организации кочевых народов // Вестн. МГУ. Сер. 8, История. М., 1985. № 4. С. 87, 95.

<sup>6</sup> *Клишторный С. Г.* Основные черты социальной структуры древнетюркских государств Центральной Азии (VI—X вв.) // Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии: проблема социальной мобильности. М., 1986. С. 219—223; *Его же.* Формы социальной зависимости в государствах кочевников Центральной Азии (конец I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) // Рабство в странах Востока в средние века. М., 1986. С. 320—326.

<sup>7</sup> См., например: *Лашук Л. П.* О характере классовообразования в обществах ранних кочевников // ВИ. 1967. № 7. С. 105—108, 117—121; *Его же.* Кочевничество и общие закономерности истории // СЭ. 1973. № 2. С. 84—85; *Семенюк Г. И.* О некоторых особенностях перехода к феодализму кочевых племен и народов (на материалах Казахстана) // Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С. 268—276; *Его же.* Проблемы истории кочевых племен и народов периода феодализма (на материалах Казахстана). Калинин, 1974. С. 42, 46—60, 66 и др.; *Абрамзон С. М.* Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ // СЭ. 1970. № 6. С. 67—69; *Васильченко И.* Еще раз об особенностях феодализма у кочевых народов // ВИ. 1974. № 4. С. 195—198; *Федоров-Давыдов Г. А.* Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 47—48, 51, 109—117, 134—141, 168—171; *Его же.* Общественный строй кочевников в средневековую эпоху // ВИ. 1976. № 8. С. 39—46; *Грайворонский В. В.* От кочевого образа жизни к оседлости (на опыте МНР). М., 1978. С. 26—29; *Златкин И. Я.* Некоторые проблемы социально-экономической истории кочевых народов // НАА. 1973. № 1. С. 61—67; *Его же.* Основные закономерности развития феодализма у кочевых скотоводческих народов // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. М., 1982. С. 256—267; *Вайнштейн С. И.* Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М., 1972. С. 86; *Потапов Л. П.* О феодальной собственности на пастбища и кочевья у тувинцев // Социальная история народов Азии. М., 1975; *Таскин С. М.* Введение // Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). М., 1984. С. 16, 26, 30—32; *Андрианов Б. В.* Неоседлое население мира (историко-этнографическое исследование). М., 1985. С. 97; и др.

# ОТ УНИВЕРСАЛЬНОГО К УНИКАЛЬНОМУ: ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

*Т. В. Куц*

## ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АБРИС\*

Создание «коллективного портрета» отдельной социальной группы позволяет понять механизмы функционирования социума, характер взаимодействия общественных групп, принципы социальной стратификации и способы корпоративной саморегуляции. Исследования, проводимые в таком русле, расширяют наши представления об обществе, помогая определить тренды социального развития и значение статусных категорий в жизни людей определенной эпохи. Обращаясь к историографическому аспекту изучения социальной истории Византии, следует отметить степень изученности данной проблематики и наличие ряда работ, которые исследуют социальные структуры византийского общества<sup>1</sup>.

Проследим характер изучения интеллектуальной среды поздневизантийского времени в историографическом срезе, чтобы показать динамику исследований этой социальной страты и выявить проблемные поля, которые требуют дальнейшего осмысления. Но прежде чем перейти к истории изучения этого вопроса, поясним выбор темпорального промежутка, который мы ограничили поздневизантийским периодом. С одной стороны, XIV—XV вв.

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 08-01-00238а.

долгое время находились на периферии исследовательских штудий, уступая место более «выигрышному» средневизантийскому времени. Лишь недавно палеологовский период византийской истории стал объектом повышенного исследовательского интереса, и эта тенденция все более нарастает, принеся уже значительные историографические «дивиденды». С другой стороны, поздневизантийское время дает богатый фактический материал для реконструкции той социальной группы, которую образовывали носители византийской интеллектуальной культуры<sup>2</sup>. Дело в том, что в жизни поздней Византии происходил небывалый всплеск интеллектуальной работы, который обычно определяют как «Палеологовский Ренессанс». Данный феномен особенно оттеняет глубокий экономический и политический кризис, который подвел империю к финальной развязке в 1453 г. В этой связи вполне объяснимо обращение исследователей к изучению поздневизантийской интеллектуальной среды в условиях кризиса и упадка империи, поскольку представители этой среды в силу своего политического веса и социального статуса влияли на многие сферы общественной жизни.

Изучением византийских интеллектуалов византинисты долгое время пренебрегали, обвиняя греческую интеллигенцию в сервильности и подлострастии перед властью, уличая ее в рабской зависимости от античных образцов и подражательстве в литературном творчестве. На панорамной картине византийской социальной истории интеллектуалам было отведено периферийное положение, поскольку фокус исторических исследований был наведен на другие общественные группы, которые считались вершителями судеб империи. Императоры и чиновники, землевладельцы и крестьяне казались главными действующими лицами эпохи и ключевыми фигурами византийской реальности.

Впервые интеллектуальная среда как социокультурное явление была препарирована в докладе И. Шевченко на XIV Международном конгрессе византинистов в 1971 г.<sup>3</sup> Надо заметить, что сам Конгресс стал вехой в византиноведении, поскольку впервые центральной темой научного форума были заявлены исследования по истории XIV в., благодаря чему внимание исследователей было привлечено к этому малоизученному периоду византийской исто-

рии. Американский ученый И. Шевченко, выступая с пленарным докладом, дал собирательный портрет поздневизантийской образованной элиты, обратившись к анализу базовых характеристик, которые описывали эту немногочисленную, но влиятельную социальную группу. По сути, И. Шевченко не только актуализировал проблему исследования этого социального феномена, но и наметил основные направления и подходы к изучению византийской ученой среды. Однако исследователь не ставил перед собой задачи дать более полную демографическую, этническую, социальную характеристики, ограничиваясь в основном статистическими изысканиями и обобщающими замечаниями относительно «стиля жизни» византийских писателей. Кроме того, его наблюдения распространялись преимущественно на XIV в. Но именно эта работа стала этапной в развитии исследовательских штудий, обозначив проблему изучения византийской интеллектуальности XIV—XV вв. и разрушив традиционный предвзятый взгляд на византийскую интеллигенцию.

После выхода в свет книги И. Шевченко «Общество и интеллектуальная жизнь в поздней Византии»<sup>4</sup>, составленной по принципу *variorum reprints* и включавшей в том числе бухарестский доклад, появилась блестящая рецензия А. П. Каждана<sup>5</sup>, которая скорректировала отдельные выводы и развила некоторые положения, касающиеся характеристики интеллектуальной элиты поздневизантийского общества. А. П. Каждан уточнил и расширил список тех, кого следует отнести к группе интеллектуалов, ввел некоторые новые параметры в изучение писательской среды XIV—XV вв. Эти две работы явились для многих исследователей мощным стимулом к изучению интеллектуальной ситуации в поздней Византии.

В отечественной историографии тема интеллектуальной жизни Палеологовского времени была поднята в 1976 г. И. П. Медведевым, автором книги «Византийский гуманизм XIV—XV вв.»<sup>6</sup>. Он воссоздал «литературный быт» эпохи, проанализировав такие формы духовного общения, как театр и эпистолярные связи, а также исследовал деятельность выдающегося поздневизантийского гуманиста Георгия Гемиста Плифона и его интеллектуального

кружка. Стиль общения византийских интеллектуалов, не являясь целью специального изучения, был обозначен ученым контурно, на отдельных примерах, одновременно открывая перспективу исследования этого вопроса на более широком источниковом материале.

Большое значение для реконструкции мира поздневизантийских интеллектуалов имели работы 70—90-х гг. XX в., которые были связаны с изучением отдельных персоналий, частных проблем и более узких сюжетов, непосредственно сопряженных с историей византийской интеллектуальности. В специальной литературе рассматривались проблемы византийской традиции воспитания и обучения (Ф. Тиннефельд<sup>7</sup>, П. Шпек<sup>8</sup>, Р. Браунинг<sup>9</sup>), отношения интеллектуалов к западной науке (Ф. Тиннефельд<sup>10</sup>), гуманистические тенденции в интеллектуальной жизни (Г. Хунгер<sup>11</sup>), представления о дружбе в образованных кругах (Ф. Тиннефельд<sup>12</sup>), формы интеллектуального общения (И. П. Медведев<sup>13</sup>, К.-П. Мачке<sup>14</sup>), взаимоотношения интеллектуалов и власти (М. А. Поляковская<sup>15</sup>) и другие вопросы, которые являлись штрихами к собирательному образу византийского ученого сообщества. Трудami историков создавалась целая галерея портретов деятелей культуры поздневизантийского времени<sup>16</sup>. В исследованиях отечественных и зарубежных византиноведов, посвященных конкретным фигурам ученого мира, акцент делался не только на характеристику их литературного наследия, но и на воссоздание духовно-эмоциональной атмосферы эпохи через призму оценки взглядов и воззрений византийских интеллектуалов (Х.-Г. Бек<sup>17</sup>, Ф. Тиннефельд<sup>18</sup>, М. А. Поляковская<sup>19</sup>).

Особое внимание исследователей, обращавшихся к изучению XV в., традиционно приковывала судьба византийских писателей накануне и после гибели империи. Вызванная трагическими событиями эмиграция стимулировала сближение двух культурных традиций. Тема взаимодействия византийского и итальянского гуманизма стала главной в серии работ Д. И. Джеанакоплоса<sup>20</sup>, в трудах Г. М. Хартмана<sup>21</sup>, П. О. Кристеллера<sup>22</sup>, И. Монфасани<sup>23</sup>, Н. Г. Вилсона<sup>24</sup>. Проблема «исхода» византийских интеллектуалов была обозначена и в исследованиях И. П. Медведева, но переме-

щение культурных центров на периферию рассматривалось им преимущественно на примере Георгия Гемиста Плифона<sup>25</sup>. Феномен трансплантации культуры как на окраины византийского мира, так и в Италию являлся характерной чертой бытования интеллектуальной среды позднего периода.

В последние несколько лет в мировой науке заметно оживилась разработка проблем византийской истории XIV—XV вв. в целом и интеллектуальной истории этого времени в частности. Об активизации интереса к этой эпохе свидетельствует тематика ряда прошедших конференций и научных мероприятий. В 2000 г. в рамках коллоквиума «Византия, Венеция и франко-греческий мир (XIII—XV вв.)», прошедшего в Венеции, была поднята тема культурных и научных контактов Запада и Византии<sup>26</sup>. В 2001 г. в Вашингтоне состоялся симпозиум по истории поздневизантийской Фессалоники, где особенно четко была показана интеллектуальная линия в судьбе второго по значению города в империи<sup>27</sup>. На международных конгрессах византинистов в Париже (2001) и Лондоне (2006) позднему периоду истории Византии также было уделено значительное внимание<sup>28</sup>. В ряде докладов, которые были представлены на этих форумах, прозвучала тема интеллектуальной жизни в различных аспектах и интерпретациях (Дж. Баркер<sup>29</sup>, Дж. Деннис<sup>30</sup>, Ф. Тиннефельд<sup>31</sup>, Т. В. Куц<sup>32</sup>). Растущий интерес к поздневизантийским реалиям определен отчасти публикациями сочинений писателей этого периода, осуществленных в последние десятилетия на Западе (А. Ангелу<sup>33</sup>, Н. Николудис<sup>34</sup>, Х. Патринелис<sup>35</sup>, Ф. Тиннефельд<sup>36</sup>, Ю. Хрисостомидес<sup>37</sup>). Издание новых источников и появление комментированных переводов открыли перед специалистами широкие перспективы в изучении мира интеллектуалов последнего периода византийской истории.

Среди недавних фундаментальных работ, исследующих феномен византийской интеллектуальности, следует назвать книгу К.-П. Мачке и Ф. Тиннефельда «Общество в поздней Византии: группы, структуры и формы жизни»<sup>38</sup>, которая вышла в свет в 2001 г. В опубликованной немецкими учеными монографии особое место занял раздел, посвященный группе литераторов (*die Literaten*). Авторы предприняли попытку дать определение поня-



тию «литератор», опираясь прежде всего на данные источников. Выделяя центры духовной активности в Византии, отмечая открытость писательской среды к латинскому Западу, исследователи подтвердили многие наблюдения И. Шевченко, касающиеся причин упадка культурной монополии Константинополя. Особое внимание авторами книги было уделено вопросу социальной принадлежности византийских ученых, их социально-политической функции в обществе. Следуя примеру И. Шевченко, немецкие исследователи привели просопографический список литераторов, уточнив и расширив круг византийских ученых. Однако, на наш взгляд, данное исследование не поставило точку в проблеме изучения интеллектуальной среды, а наоборот, показало перспективность дальнейшей разработки этой темы.

Многие современные ученые все активнее обращаются к изучению духовной жизни поздневизантийского общества. Но традиционно в центре внимания ученых оказывается переломный для империи XIV в., который был полон идейных исканий, религиозных разногласий и политических катаклизмов. На фоне большого количества работ, посвященных изучению интеллектуальной жизни XIV в., отчетливо проступает недостаточная изученность интеллектуальной ситуации следующего столетия. Конец XIV — первая половина XV в. стали для Византии временем тяжелых испытаний, когда государство приближалось к своей финальной трагедии, подведшей черту тысячелетнему существованию цивилизации. И именно изучение последнего столетия существования Византии дает возможность увидеть динамику тех изменений, которые затронули интеллектуальную среду в условиях кризиса и гибели империи.

В целом отечественные и зарубежные византилисты, не ощущая острой изолированности ученых друг от друга, работают в едином проблемном русле и оперируют близкими методологическими приемами, постепенно расширяя тематический и временной диапазон. Благодаря этому нельзя разделять историографические опыты изучения византийской интеллигенции по национальным школам и направлениям. Этому единому течению византиноведческих исследований принадлежат и работы некоторых историков

уральской школы византиноведения, в которых тема интеллектуальной жизни поздней Византии стала одной из ведущих.

Результатами усилий исследователей по изучению истории интеллектуальной жизни Византии в XIV—XV вв. стала реконструкция поздневизантийской интеллектуальной среды, позволившая не только создать собирательный образ этой влиятельной прослойки византийского общества, но и определить роль и место этой группы в социальной, политической и культурной жизни империи.

---

<sup>1</sup> *Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса XI—XII вв. в Византии. М., 1971; *Ostrogorsky G.* Observations on the Aristocracy in Byzantium // *Dumbarton Oaks Papers.* 1971. Vol. 25. P. 3—32; *Laiou A.* The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of Arrested Development // *Viator.* 1973. Vol. 4. P. 131—151; *Idem.* The Greek Merchant of the Palaeologan Period: a Collective Portrait // *Proceedings of the Academy of Athens.* Athens, 1982. P. 96—124.

<sup>2</sup> Появление просопографического лексикона Палеологовского времени (*Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit.* Wien, 1976—1994. F. 1—12) активизировало изучение византийской интеллектуальной среды, позволив провести демографические и статистические изыскания.

<sup>3</sup> *Ševčenko I.* Society and Intellectual Life in the XIVth Century // *XIV Congrès International des Etudes Byzantines.* Bucarest, 1971. P. 7—30.

<sup>4</sup> *Ševčenko I.* Society and Intellectual Life in Late Byzantium. L., 1981.

<sup>5</sup> *Kazhdan A.* The Fate of the Intellectual in Byzantium: A Propos of Society and Intellectual Life in Late Byzantium by I. Ševčenko (London: Variorum Reprints, 1981) // *Greek Orthodox Theological Review.* 1982. Vol. 27, N 1. P. 83—97.

<sup>6</sup> *Медведев И. П.* Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976; 2-е изд., с изм. и доп. СПб., 1997. Гл. 1: Интеллектуальная жизнь Византии XIV—XV вв.

<sup>7</sup> *Tinnefeld F.* Von Tradition und Wandel humanistischer Erziehung in Byzanz // *Gymnasium.* 1989. Bd. 96. H. 5. S. 429—443.

<sup>8</sup> *Speck P.* Die kaiserlich Universität von Konstantinople. München, 1972.

<sup>9</sup> *Browning R.* Byzantine Scholarship // *Browning R.* Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977. P. 3—20.

<sup>10</sup> *Tinnefeld F.* Das Niveau der Abendländischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jahrhundert // *Byzantinische Forschungen.* 1979. Bd. 6. S. 241—280.

<sup>11</sup> *Hunger H.* Klassizistische Tendenzen in der byzantinischen Literatur des 14. Jahrhunderts // *XIV Congrès International des Etudes Byzantines.* Bucarest, 1971. S. 83—95.

<sup>12</sup> *Tinnefeld F.* Freundschaft und παιδεία: die Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos // *Byzantion.* 1985. T. 55. Fasc. 1. S. 210—244.

<sup>13</sup> *Медведев И. П.* Литературные «салоны» в поздней Византии // Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 53—59.

<sup>14</sup> *Matschke K.-P.* Die spätbyzantinische Öffentlichkeit / Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter. Beitrag zur Mentalitätsgeschichte. Gedenken für E. Werner / ed. S. Tanz. Frankfurt a/M, 1993. Bd. 2. S. 155—223.

<sup>15</sup> *Чекалова А. А., Поляковская М. А.* Интеллектуалы и власть в Византии // Византийские очерки : тр. российских ученых к XIX Междунар. конгр. византистов. М., 1996. С. 5—24.

<sup>16</sup> См., например: *Поляковская М. А.* Портреты византийских интеллектуалов. Екатеринбург, 1992 ; 2-е изд. СПб., 1998.

<sup>17</sup> *Beck H.-G.* Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis // Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Philosophische-historische Klasse. Sitzungsberichte. Wien, 1974. Bd. 294. Abh. 4. S. 5—16.

<sup>18</sup> *Tinnefeld F.* Georgios Philosophos. Ein Korrespondent und Freund des Demetrios Kydones // *Orientalia Christiana Periodica.* 1972. Bd. 38. H. 1. S. 141—171.

<sup>19</sup> *Поляковская М. А.* К характеристике средневекового ученого (значение научной дискуссии в понимании Димитрия Кидониса) // *Античная древность и средние века.* 1983. Вып. 20. С. 40—51; *Ее же.* К характеристике византийской образованности: учителя и ученики // Там же. 1987. Вып. 23. С. 111—120.

<sup>20</sup> *Geanakoplos D. J.* Interaction of the «Sibling» Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330—1600). New-Haven ; L., 1976; *Idem.* Constantinople and the West. Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissance and the Byzantine and Roman Churches. Wisconsin, 1989.

<sup>21</sup> *Hartmann G. M.* Die Bedeutung des Griechentums für die Entwicklung des italienischen Humanismus // *Probleme der neugriechischen Literatur.* Berlin, 1960. Bd. 2. S. 3—36.

<sup>22</sup> *Kristeller P. O.* Humanismus und Renaissance. Die antiken und mittelalterlichen Quellen. München, 1973. Bd. 1.

<sup>23</sup> *Monfasani J.* Byzantine Scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other Émigrés. Variorum Reprints. L., 1995.

<sup>24</sup> *Wilson N. G.* From Byzantium to Italy. Greek Studies in the Italian Renaissance. Baltimore, 1992.

<sup>25</sup> *Медведев И. П.* Византийский гуманизм XIV—XV вв. С. 55.

<sup>26</sup> *Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo): Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di R.-J. Loenertz, Venezia, 1—2 dicembre 2000.* Venezia, 2002.

<sup>27</sup> Материалы симпозиума см.: *Dumbarton Oaks Papers.* 2003. Vol. 57.

<sup>28</sup> XXe Congrès international des études byzantines. P., 2001. Vol. 1—3; Proceedings of the 21<sup>st</sup> International Congress of Byzantine Studies. London, 21—26 August, 2006. L., 2006.

<sup>29</sup> *Barker J. W.* Late Byzantine Thessalonike: A Second City's Challenger and Responses // *Dumbarton Oaks Papers.* 2003. Vol. 57. P. 5—33.

<sup>30</sup> *Dennis G. T. Demetrios Kydones and Venice // Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII—XV secolo). P. 495—502.*

<sup>31</sup> *Tinnefeld F. Intellectuals in Late Byzantine Thessalonike // Dumbarton Oaks Papers. 2003. Vol. 57. P. 153—172.*

<sup>32</sup> *Kushch T. V. Die byzantinische Wissenschaft im 15. Jahrhundert in Abschätzungen der Zeitgenossen // XXe Congrès international des études byzantines. Vol. 3. P. 87.*

<sup>33</sup> *Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / ed. by A. Angelou. Vienna, 1991.*

<sup>34</sup> *Nicoloudis N. Laonikos Chalkokondyles: a Translation and Commentary of the «Demonstrations of Histories» (Books I—III). Athens, 1996.*

<sup>35</sup> *Μανουήλ Χρυσολωρά Λογος πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο. Εἰσαγωγή καὶ ἔκδοσις Χ. Πατρινέλη καὶ Δ. Ζ. Σοφιανοῦ. Αθήνα, 2001.*

<sup>36</sup> *Demetrios Kydones. Briefe / Übers. und erl. von F. Tinnefeld. Stuttgart, 1981—2003. Bd. 1—4.*

<sup>37</sup> *Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his Brother Theodore / ed. J. Chrysostomides. Thessalonike, 1985.*

<sup>38</sup> *Matschke K.-P., Tinnefeld F. Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen und Lebensformen. Köln ; Weimar ; Wien, 2001.*

С. И. Маловичко

## СПОР М. В. ЛОМОНОСОВА И Г.-Ф. МИЛЛЕРА КАК КОНФЛИКТ РАЗНЫХ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Профессиональных историков уже давно интересует спор между М. В. Ломоносовым и Г.-Ф. Миллером не в смысле «правильности» или «ошибочности» приводимых аргументов, а соответствия оппонентов требованиям дисциплинарного профессионализма. Важно, что такой интерес всегда возвращал историографический конфликт в научную коммуникацию, а не в межэтническую и идеологическую плоскости<sup>1</sup>. Историки обращают внимание на отношение спорящих сторон к историческим источникам и замечают, что в основе спора лежали различные источники по древнерусской истории и нет никаких данных в пользу того, что Ломоносов «тщательно изучал источники русской истории, в частности, лето-

писи»<sup>2</sup>. Исследование источниковедческих практик Ломоносова и Миллера дает возможность увидеть множественность принимаемых решений между полюсами — «более достоверные» и «менее достоверные» источники, но не позволяет выйти за рамки проблем профессионализации исторической науки и тем самым возвращает исследователей к традиционному разговору об узкодисциплинарном «рационализме».

Представляется, что для понимания конфликта между двумя историописателями XVIII в. важно применить широкий надрациональный подход компаративной историографии, соотносящий зарождающуюся науку с современным ей обществом, с массовым сознанием и сосредоточивающий внимание не только на феномене внутридисциплинарных, но и внедисциплинарных интеллектуальных практик. Следует обратить внимание не столько на зависимость историков от тех или иных исторических источников, сколько представить их источниковедческие практики одним из инструментов для понимания историографических операций, производимых историками, выявить их отношение к истории и связь с той или иной практикой конструирования прошлого. О «расплывчатости» или «размытости» границ между разными уровнями знания сегодня задумываются рефлектирующие об исторической эпистемологии историки<sup>3</sup>. Выход за рамки дисциплинарного рационализма историографии дает возможность признания бытования не только «научного» знания, но одновременного (со)существования разных его уровней.

Если посмотреть на источниковедческую работу Ломоносова по истории России, то можно заметить, что, рефлексировав о том или ином памятнике, он полагался не на критерий возможной «достоверности», базирующийся на критике документа (как это делал Миллер), а исходил из «полезности» его сообщений для конструирования положительного исторического образа России. Желая отстоять один из элементов старой московской культуры от нападков рационалистической историографии, Ломоносов защищал и свою источниковую базу<sup>4</sup> голословным патриотизмом, заявляя: «...сего древнего о Славенске (город, якобы построенный славянами в III тыс. до н. э. — С. М.) предания ничем опровергнуть нельзя». Несмотря на то, что больше никакие исторические ис-

точники этого не подтверждают, он подчеркивал, что сообщение о Славенске и Русе «само собою стоять может, и самовольно опровергать его в предосуждение древности славенороссийского народа не должно»<sup>5</sup>.

Следует отметить, что для Ломоносова было вполне очевидным сравнение современных исторических сочинений со средневековыми хрониками. О работе Миллера он заключил, что она неосновательнее сочинений «европейских славных авторов (авторов средневековых хроник. — С. М.)». Ломоносов не старался отличить исторические источники от исторических сочинений, о чем свидетельствуют его замечания: «Христофор Целларий примечает», «Страбон говорит», «Несторово, Стриковского и других авторов свидетельство», «Киевского Синопсиса автор упоминает» и т. д., а самого Миллера он противопоставил летописцу Нестору, Стрыйковскому (польский хронист XVI в.) и «Синопсису» (1674)<sup>6</sup>.

Иное мы наблюдаем в исследовательской практике Г.-Ф. Миллера. Он делает попытку провести различие между средневековыми источниками и исторической литературой, называя авторов первых или «летописателями», или «писателями средних времен», но часто и позднесредневековых хронистов, и своих современников — собратьев по цеху именовал «историками»<sup>7</sup>. Миллер применял приемы критики источников, определяя их «достоверность» не только при помощи рациональной процедуры «возможности произошедшего», но и исходя из определения времени возникновения источника, отдавая предпочтение, например, летописи Нестора<sup>8</sup>, нежели более позднему сочинению московской поры<sup>9</sup>. Применяемый Миллером подход к историческим источникам вполне вписывался в практику современной ему рационалистической историографии. Почти в эти же годы известный французский ученый Николай Фрере советовал больше доверять тем источникам, авторы которых были более близки ко времени описываемых исследователем событий<sup>10</sup>.

В документальной фазе историографических операций спорящих сторон разница заключалась еще в том, что Ломоносов использовал в основном позднесредневековые московские, украинские и польские сочинения, Миллер в большей степени — древ-

нерусские летописи и иностранные исторические источники. В их объяснительных стратегиях также есть черты отличия. Ломоносов не всегда следил за логикой своего объяснения и не сверял между собой те произвольные изменения, которым подвергал сообщения исторических источников, например, заменяя летописных «старцев градских» на «старых городских начальников»<sup>11</sup>, т. е. на княжеских чиновников. События прошлого он пропускал сквозь фильтр актуального настоящего, поэтому критически относился к традициям древнего новгородского народоправства, а народное вече называл «самовольным скопищем»<sup>12</sup>. Ход исторических событий Ломоносов нередко воспринимал и объяснял обычными для общественного сознания антропоморфными категориями. Русский ученый критиковал Миллера за то, что он «опровергает мнение о происхождении от Мосоха (внука библейского Ноя. — С. М.) Москвы»<sup>13</sup> и т. д.

Напротив, Миллер требовал точности в восстановлении исторических событий, стремился избегать всего того, что ни по каким историческим известиям доказано быть не может. Не создавая крупных обобщений, он обращал внимание на любое сообщение источников, подчинял свою работу описательности и подчеркивал: «Должность истории писателя требует, чтоб подлиннику своему в приведении всех... приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается, и здравое рассуждение у читателя вольности не отнимает»<sup>14</sup>. «Здравое рассуждение» позволяло Миллеру с рационалистических позиций объяснять некоторые места исторических источников, как, например, летописное сообщение о «призвании варягов», которому он не стал полностью доверяться<sup>15</sup>.

Разной оказалась и литературная фаза историографических операций Ломоносова и Миллера. Нарративная и риторическая обработка исторического дискурса подчинялись у них различным требованиям. У Миллера они служат объяснению исторических событий, у Ломоносова — риторическим задачам. Он даже советует Миллеру «древних латинских историков необходимо читать должно, а следовательно, и штилю их навывкнуть»<sup>16</sup> и труд историка не отделяет от труда писательского. Ученый использо-

вал понравившиеся ему речевые обороты из чужих текстов, незначительно их обрабатывая и подчиняя нуждам своего письма истории. Так, сравнение Вступления к «Древней российской истории» Ломоносова и Prooemium (вступления) к «Методу легкого познания истории» Жана Бодена предоставляет возможность заметить такую дискурсивную операцию. Слова русского ученого «Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы?...» не что иное, как перефразированная мысль французского историописателя второй половины XVI — начала XVII в. о том, что если люди, награжденные любознательностью, наслаждаются даже баснословными рассказами, то какую радость они испытают перед правдивыми фактами?<sup>17</sup>

Следует согласиться с учеными, отмечающими присутствие в литературном дискурсе Ломоносова черт барочной культуры, не свойственных рационалистической системе классицизма<sup>18</sup>. Эти черты несложно вычленишь и в его письме истории. Однако если в литературе Ломоносов и был последним представителем европейского Возрождения<sup>19</sup>, то в историческом дискурсе его голос был не одинок. Не только русский ученый с почтением относился к античной историографии и советовал учиться у древних, но и некоторые другие европейские историописатели (эта связь как нельзя лучше говорит в пользу присутствия в историческом сознании Ломоносова барочных форм). Им так же, как и Ломоносову, импонировал раскрашенный рассказ, они призывали смотреть на читателей как на учеников, нравиться им, одевшись в одежду педагога<sup>20</sup>.

Важно заметить, что критики Ломоносова находили несоответствие его исторических опытов требованиям, которые предъявлялись к историческим работам в середине и третьей четверти XVIII в. Ему указывали на незнание приемов исторической критики и добавляли, что такие истории, которые пишет он, уже давно не принято писать<sup>21</sup>. Ломоносов, следуя моде, присущей еще ренессансной историографии (конструирование национальной идентичности при помощи «легенды о Трое»<sup>22</sup>), писал о славянах: «Древность самого народа даже до баснословных еллинских времен



простирается и от Троянской войны известна»<sup>23</sup>. Как тут не вспомнить замечание С. Л. Пештича, что «не освободился Ломоносов вполне от влияния историографических построений XVII в.»<sup>24</sup>.

В период начала строительства национальных государств актуализируется историографическая культура, тесно связанная с общественным сознанием и выполнявшая практические задачи конструирования национального прошлого, а также контроля над национальной памятью. Ее истоки уходят в эпоху Ренессанса в Западной Европе, а на ее востоке в то же самое время книжники подводят идеологический фундамент под строительство Московского государства. В XVII — начале XVIII в. у Ломоносова было немало предшественников в западноевропейской, а также в западнославянской и даже южнославянской и восточнославянской (украинской) исторической мысли. Его европейские современники с чисто практическими целями создавали исторические нарративы. У Ломоносова оказались последователи (намного менее знаменитые) и в российской историографии. Таким образом, практика историописания, ориентированная на политические вкусы общества в XVIII в., была распространена по всей Европе<sup>25</sup>.

Риторичный стиль написания истории Ломоносовым — это лишь внешняя, барочная литературная обработка конструируемого им текста, а выбранная практика отношения к историческим источникам не случайная, а вполне отрефлексированная. Она совершенно не говорит о том, что Ломоносов, как писал Милюков, оказался «ниже» уровня, который демонстрировал Татищев<sup>26</sup>. Ведь даже имевший меньший опыт историописательства, чем Ломоносов, А. П. Сумароков смог посмеяться над теми, кто уверовал в сообщения польских и украинских позднесредневековых сочинений о Мосохе и Москве<sup>27</sup>.

Здесь уместно остановить внимание на нескольких примерах восприятия подходов описания прошлого Ломоносовым и Миллером некоторыми современниками, российскими просвещенными читателями — авторами, людьми, не принадлежавшими к цеху историков, но попробовавшими свое перо на ниве историописательства. Так, академик В. К. Тредиаковский (1703—1769) раскритиковал один из исторических источников, который помогал

Ломоносову выстраивать «доисторическое» прошлое славян (летопись Крекшина), написав, что сообщение о строительстве городов славянами в 3099 г. от Сотворения мира «есть не право»<sup>28</sup>. Напротив, известный правовед (первый профессор права в Московском университете) Ф. Г. Дильтей (1723—1781, приглашен в Россию хлопотами Миллера) российскую древность представил так же, как Ломоносов, начав с легендарного князя Славена и со строительства славянами городов в III тыс. до н. э.<sup>29</sup> Отставной военный Ф. И. Дмитриев-Мамонов (1727—1805) свой исторический опыт писал уже на основании сюжетов как Ломоносова, так и Дильтея (правда, рядом с их именами поставил еще имя летописца Нестора), поэтому древность славян он начал описывать с библейского Мосоха<sup>30</sup>.

Скандално известный поэт И. С. Барков (1732—1768), одно время работавший переписчиком у Ломоносова и под его влиянием полюбивший исторические штудии, на основе его же «Древней российской истории» составил «Краткую российскую историю» (вошедшую в издание «Сокращенной универсальной истории» Г. Кураса), в которой не последовал за «баснословием» оригинала и начал изложение российского прошлого с последних веков I тыс. н. э.<sup>31</sup> Наконец, другой известный общественный деятель и архангелогородский историописатель (земляк Ломоносова) В. В. Крестинин (1729—1795), под влиянием рационализма описывая историю г. Холмогоры, критиковал за неточность «догадок» и Миллера, и Ломоносова<sup>32</sup>. Таким образом, не обязательно нужно было быть русским, чтобы принять патриотический настрой исторического письма Ломоносова — и, напротив, можно было писать «срамные оды», пересыпанные русской ненормативной лексикой, любить свой край, посвящая ему все творческие силы, и при этом сделать выбор в пользу рационалистической позиции в историческом дискурсе, которую отстаивал Миллер.

Позиции двух российских историков оказались диаметрально противоположными не под влиянием норманнской проблемы. Дело было в понимании научной истины и ее значения. Это был спор о существовании истории, о назначении истории, о роли историка<sup>33</sup>. Действительно, не лишним будет припомнить, что еще до начала известного спора Ломоносов критиковал Миллера за некоторые

места в его «Истории Сибири» (например, грабежи отрядом Ермака коренных сибирских народов<sup>34</sup>), которые по отношению к героям национального прошлого «с несколькими похулением написаны»<sup>35</sup>. Русский ученый не мог допустить, чтобы такое прошлое помещалось в историю.

Таким образом, мы подошли к проблеме целеполагания истории, которая, как уже можно догадаться, не обязательно связана с профессионализмом. Например, писателю Сумарокову импонировал тот подход к истории, который предлагала рационалистическая историография, и перед своими немногочисленными историческими опытами он ставил цель, отличную от той, которую демонстрировали труды Ломоносова. Если практика изучения истории у Сумарокова несла в себе наивный рационализм, то его целеполагание близко к миллеровскому («не полезно вымышленное повествование», «вредоносна ложная История»<sup>36</sup>).

Целеполагание Ломоносова иное. Что «соплетать», а что «не соплетать» у него подчинялось формуле «не предосудительно ли славе российского народа будет»<sup>37</sup>. Свою роль историописателя он оценивает как великий труд — «велико есть дело». Исследователь говорит прямо, что его задача не повествование о прошлом, а конструирование национальной идентичности посредством соединения прошлого и настоящего: «...преноса минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долгою времени разделила». У русского ученого присутствует полная уверенность в том, какой он сконструирует историю своего отечества, такой она и будет.

Ломоносов, конечно, говорит об объективности: «...твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то целую сил возможность», но его практическое отношение к истории ставило «истину» в зависимость от иного — «соблюсти похвальных дел должную славу»<sup>38</sup>. Ученый не считал приемлемым, чтобы русский читатель знакомился с периодами истории своего государства, разрушающегося под воздействием внутренних смут, и поэтому привлекал сановников к запрету публикации такой истории<sup>39</sup>. Не случайно, что при подготовке его работы «Древняя российская история» к изданию А. Л. Шлёцер вынужден был откорректировать обращение «К читателю» и вместо слов, что Ломоносов со-

брал «все (здесь и далее выделено нами. — С. М.) к объяснению оныя служащее», поставил «что ему полезно казалось к познанию России прежде Рурика»<sup>40</sup>.

Русский ученый возложил на себя определенную социальную функцию и ответственность за отбор, сохранение или забвение исторических сюжетов. По сути, Ломоносов реализовывал так называемую «политику памяти», которая определяла, «какое прошлое достойно сохранения, а какое — забвения»<sup>41</sup>. Подобное отношение к истории называют «практическим» или «прагматическим»<sup>42</sup>. Взгляд Ломоносова на письмо истории вполне отвечает характеристикам этих историй. Русский ученый, выполняя социальную функцию, пытался формировать уверенность в исторической славе, исконную исключительность в самосознании формирующейся нации.

Для российской исторической памяти социально ориентированная практика историописания Ломоносова была не нова. Московские книжники находили славянскую «славу» еще в III тыс. до н. э., определили «сродство» императора Августа с князем Рюриком, которого вместе с варягами вывели от «своих» и т. д. В последней четверти XVII в. московская историческая конструкция приняла удары наукообразного польско-украинского исторического нарратива (с набором не менее героических сюжетов о славянах) и почти без сопротивления включила в себя ряд мифологем (происхождение названия «Москва» от библейского Мосоха и «Руси» от «своих», строительство Киева в V в., династия Кия и т. д.), привнесенных многократно тиражируемым (типографским путем с 1674 г.) киевским «Синописисом». Однако уже со второй четверти XVIII в. устои формирующейся русско-украинской социальной памяти с рационалистических позиций все сильнее стали колебать Байер, Татищев, а затем и Миллер. Они, говоря словами Ницше, стали «оскорблять некоторые национальные святыни» ради нового знания<sup>43</sup>, ради научной истории, рационально добывавшейся «истины».

Для власти и значительной части российской интеллектуальной элиты нужны были примеры «похвального» исторического опыта. В новом социокультурном пространстве возникла потребность создания «нужной» для Империи идентичности, и не случайно

в России историописание становится государственным занятием. Но поскольку никакая идентичность «не является естественно заданной, — замечает Л. П. Репина, — то она должна вырабатываться через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов»<sup>44</sup>. Происходит актуализация барочных сюжетов московских, украинских и польских текстов. Эти тексты вносил в современность не только Ломоносов, но именно он стал последовательно проводить политику отбора уже известных и создания новых элементов прошедшего. Тем самым его работа над прошлым была иной, нежели того требовала зарождающаяся научная практика.

Можно отметить, что дискурсивная практика Ломоносова носила не научный, а социальный характер. С такой практической историей, как подчеркнул Кроче, полемизировать нельзя<sup>45</sup>. Нельзя полемизировать с «другой» историей, так как принципы ее организации совершенно не соответствуют принципам «иной» истории. В XVIII в., пишет Джон Тош, когда социальная память продолжала создавать интерпретации, удовлетворяющие новые формы политических и социальных потребностей, развивается подход, состоящий в том, «что прошлое ценно само по себе и ученому следует, насколько это возможно, быть выше политической целесообразности»<sup>46</sup>. Эта «иная» история и становится со временем классической европейской историографией. Сложилась две историографические культуры, которые формировались средой и разным пониманием ценностей. Каждая из них выполняла социальные функции, но если в историографической культуре, которую представлял Ломоносов, социальные функции историописания доминировали над научными, то историографическая культура, носителем которой выступил Миллер, признавала приоритет научной функции перед социальной.

Практика изучения истории у представителей научно ориентированной историографической культуры несла в себе черты рационализма, и именно она закладывала основы нормативного для того времени образца исторического исследования и комплекс правил оформления исторического письма. Реакция некоторых просвещенных читателей на историописание Ломоносова демонстрирует, что уже начиная с XVIII в. решение о «научности» и «ненаучности», «рациональности» и «нерациональности» той или иной

практики историописания стало принадлежать как раз научно ориентированной историографической культуре. Однако социально ориентированное историописание так и не было вытеснено сугубо научной историографией, поэтому здесь надо вспомнить меткое замечание Арона, что разные отношения к истории могут «исчезнуть не скорее, чем интересы, которым они отвечают, или жизненные позиции, которые они выражают»<sup>47</sup>.

Конечно, профессиональная историография, не расставшись с позитивизмом, продолжает (как это делает Дж. Тош) замечать, что историческое сознание «должно превалировать над социальной потребностью», и призывает бороться с социально ориентированной «ложной» практикой историописания<sup>48</sup>. Тем не менее не нужно забывать, что та история, с которой Тош призывает бороться, если и не нужна науке (хотя в ней можно найти много интересного для историографа), то вполне востребована обществом. Вместе с профессионализацией исторического знания, начиная с XVIII в., историография, с одной стороны, начала борьбу с социально мотивированным «ложным» истолкованием прошлого, с другой стороны, она стала (и это вполне объективный процесс) отрываться от общественного исторического сознания. Уже в середине XVIII в. у нее наметились разрывы и с групповыми ожиданиями российского общества. Ведь отношения истории (как науки) и общества к прошлому не обязательно должны совпадать. Чаще всего они разные. Власть и общество всегда ждут определенную историческую литературу, а подобный заказ дискурса выполняет социально ориентированная историографическая культура.

Напрашивающийся вывод о (не)профессионализме Ломоносова в сравнении с Миллером надо оставить в стороне. Ломоносов не может быть «плохим» или «хорошим» историком, он просто был «другим» историком — принадлежавшим к историографической культуре, конструировавшей «похвальный» исторический опыт и служившей общественному сознанию. Ломоносов писал в духе времени, откликался на требования настоящего, выполнял заказ дискурса, шедший от современной ему власти, а также значительной части общества и в итоге оказался более востребованным властью и просвещенной элитой, нежели его современники-историки. Поэтому, если исторические работы Ломоносова не имели

большого влияния на развитие историографии (исторической науки), то они были «любопытны» как для августейшего, так и для обычного читателя, давая возможность видеть «бесспорную» славу своих предков в древности.

Социально ориентированное видение прошлого служит массовому сознанию (оказывая определенное влияние на научное историческое знание), оно возникло даже не на стыке общественного сознания и историографии (такой «стык» трудно себе представить, так как их границы проницаемы), а появилось ранее самой научной истории. Для нормативной историографии эта историографическая культура представляется «другой» («ненаучной»), нерациональной и не подчиняющейся правилам научного дискурса, но она поддерживается и/или актуализируется историческим сознанием общества и навязывающей обществу «нужный» образ прошлого властью.

---

<sup>1</sup> См.: *Соловьев С. М.* Писатели русской истории XVIII века // Соловьев С. М. Соч. : в 18 кн. М., 1995. Кн. 16. С. 221—237, 251—256; *Милюков П.* Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. С. 87, 109; *Пешич С. Л.* Русская историография XVIII в. : в 3 ч. Л., 1965. Ч. 2. С. 205, 213.

<sup>2</sup> *Шанский Д. Н.* Запальчивая полемика: Герард Фридрих Миллер, Готтлиб Зигфрид Байер и Михаил Васильевич Ломоносов // *Историки России, XVIII — начало XX века.* М., 1996. С. 33—34; *Каменский А.* Михайло Ломоносов // Радиостанция «Эхо Москвы». 15.10.2005 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.echo.msk.ru/programs/netak/39324/> (дата обращения: 14.01.2009).

<sup>3</sup> См., например: *Collins R.* Concealing the Poverty of Traditional Historiography: Myth as Mystification in Historical Discourse // *Rethinking History.* 2003. Vol. 7, N 3. P. 341—365.

<sup>4</sup> Надо заметить, что уже В. Н. Татищев называл автора сочинения, на которое ссылается Ломоносов, «сей сказатель, или паче враль» (см.: *Татищев В. Н.* История Российская. М., 1994. Т. 1. С. 311).

<sup>5</sup> *Ломоносов М. В.* Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа Российского» // Ломоносов М. В. Для пользы общества... М., 1990. С. 190—191.

<sup>6</sup> Там же. С. 175—197. Подробнее о споре русских и немецких историков см.: *Маловичко С. И.* Дискуссия немецких и русских историков XVIII столетия о восточнославянских городах как спор двух методов исторического познания // «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании : материалы Междунар. науч. конф. / под ред. С. Н. Полторака. СПб., 2001. С. 128—131.

<sup>7</sup> См.: *Миллер Г.-Ф.* Сочинения по истории России. Избранное / отв. ред. В. И. Буганов. М., 1996. С. 5, 16, 355; *Его же.* О народах, издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 32—36.

<sup>8</sup> Как известно, уже после спора с Ломоносовым в 1755 г. Миллер опубликовал свою источниковедческую работу о летописи Нестора (см.: *Миллер Г.-Ф.* О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оных // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1755. Апр. С. 275—298).

<sup>9</sup> См.: *Миллер Г.-Ф.* Происхождение народа и имени Российского. СПб., 1749. С. 52.

<sup>10</sup> См.: *Fréret N.* Sur l'origine & le mélange des anciennes Nations, & sur la manière d'en étudier l'histoire // Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mémoires de Littérature tirés des Registres de cette Académie, depuis l'année MDCCXLIV jusques et compris l'année MDCCXLVI. Vol. 18. P., 1753. P. 51.

<sup>11</sup> См.: *Ломоносов М.* Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года // Ломоносов М. В. Для пользы общества... С. 275.

<sup>12</sup> *Ломоносов М.* Для пользы общества...; *Его же.* Идеи для живописных картин из российской истории // Ломоносов М. Записки по русской истории. М., 2003. С. 479.

<sup>13</sup> *Ломоносов М.* Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 176.

<sup>14</sup> См.: *Миллер Г.-Ф.* Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. СПб., 1750. Кн. 1. С. 121.

<sup>15</sup> *Миллер Г.-Ф.* О народах, издревле в России обитавших. С. 91, 102.

<sup>16</sup> *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. 6 : Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. М. ; Л., 1952. С. 24.

<sup>17</sup> См.: *Bodini I.* Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Genevae, [1610]. P. 17.

<sup>18</sup> См.: История русской литературы. Т. 3 : Литература XVIII века. М. ; Л., 1941. Ч. 1. С. 285; *Tschizewskij D.* Die slawistische Barockforschung // Die Welt der Slaven. 1956. Jg. 1. H. 4. S. 435—441; *Муссеева Г. Н.* Ломоносов // История русской литературы / под ред. Д. С. Лихачева, Г. П. Макагоненко. Л., 1980. С. 529—530.

<sup>19</sup> См.: *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века : учебник для высш. учеб. заведений. М., 1939. С. 108.

<sup>20</sup> См., например: *L'abrégé des Annales ecclésiastiques de l'éminentissime Cardinal Baronius.* Fait par l'illustrissime & révérendissime Messire Henry de Sponde, évêque de Pamiez. Mis en françois par Pierre Coppin Docteur en théologie. 4 t. en 2 vol. P., 1655. Vol. 1. P. 478—479, 785; *Argenson M. de, Le Marquis.* Reflexions sur les historiens François et sur les qualités nécessaires pour composer l'histoire // Memoires de l'Académie des Incriptions. P., 1761. T. 28. P. 338, 628.

<sup>21</sup> См.: *Nk.* Anhang zu dem ersten bis zwölfsten Bande der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Berlin ; Stetin, 1771. S. 231—236; *Прийма Ф. Я.* Ломоносов и «История



Российской империи при Петре Великом» Вольтера, XVIII век. М.; Л., 1958. Сб. 3. С. 171—174, 181.

<sup>22</sup> Например, в конце XVI в. известный историк Этьен Паскуа еще не осмеливался разрушать мнение французской элиты о древнем происхождении французов (см.: *Les Oeuvres d'Estienne Pasquier, contenant ses Recherches de la France*. Amsterdam, 1723 [Réimpr. Genève, 1971]. Vol. 2. P. 48).

<sup>23</sup> Краткий Российский летописец с родословием. Соч. Михаила Ломоносова // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 293—294.

<sup>24</sup> *Пештич С. Л.* Указ. соч. С. 205.

<sup>25</sup> См.: *Whittaker C. H.* The Autocracy Among Eighteenth-Century Russian Historians // *Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State* / ed. by Th. Sanders. N. Y., 1999. P. 18.

<sup>26</sup> См.: *Милюков П.* Указ. соч. С. 108.

<sup>27</sup> См.: *Сумароков А. П.* «Ядовитый», комедия // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, покойного действительного статского советника, ордена Св. Анны кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова. 2-е изд. М., 1787. Ч. 5. С. 141—178.

<sup>28</sup> См.: *Тредиаковский В.* Три разсуждения о трех главнейших древностях Российских. СПб., 1773. С. 119.

<sup>29</sup> См.: *Дилтей Ф. Г.* Первые основания Универсальной истории с сокращенно хронологию в пользу обучающегося Российского дворянства. М., 1763. Ч. 2. С. 317.

<sup>30</sup> См.: *Дмитриев-Мамонов Ф. И.* Хронология, переведенная тщанием сочинителя философа дворянина, из науки, которую сочинил г. де Шевиньи, с прибавлением Российской. М., 1782. Ч. 2. С. 68—69.

<sup>31</sup> См.: *Барков И. С.* Краткая российская история // Сокращенная Универсальная история, содержащая все достопамятные случаи, с приобщением краткой Российской истории. СПб., 1762. С. 337.

<sup>32</sup> См.: *Крестинин В.* Начертание истории города Холмогор. СПб., 1790. С. III—V.

<sup>33</sup> *Каменский А. Б.* Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705—1783) // Миллер Г.-Ф. Сочинения по истории России. Избранное. С. 384; *Его же.* Михайло Ломоносов // Радиостанция «Эхо Москвы». 15.10.2005.

<sup>34</sup> Интересно, но в советской историографии Миллера будут критиковать за то, что он пытался скрыть «жестокие методы колонизации» (см.: *Бахрушин С. В.* Г.-Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г.-Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 54.

<sup>35</sup> См.: Протокол Исторического собрания от 3 июня 1748 г. // Библиогр. зап. 1861. Т. 3, № 17. С. 515—517.

<sup>36</sup> *Сумароков А. П.* Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году в месяце майи. Писал Александр Сумароков. СПб., 1768. С. 48.

<sup>37</sup> *Ломоносов М.* Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 197.

<sup>38</sup> *Ломоносов М. В.* Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года, сочиненная

Михайлом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской Императорской и Королевской Шведской академий наук. СПб., 1766 [Репринт]. С. 3—4.

<sup>39</sup> Речь идет о предпринятом Миллером опыте написания труда об истории Смутного времени (см.: *Миллер Г.-Ф.* Опыт новейшей истории о России // Сочинения и переводы, к пользе и увеселениям служащие. 1761. Янв. С. 3—63; Февр. С. 99—154; Март. С. 195—244), публикация которого была прекращена после жалоб Ломоносова к К. Г. Разумовскому.

<sup>40</sup> См.: *Вознесенский А. В.* Неизвестный вариант издания «Древней Российской истории» М. В. Ломоносова // XVIII век. Сб. 16 : Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века / отв. ред. А. М. Панченко. Л., 1989. С. 217.

<sup>41</sup> См.: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. Т. 2 : Образы прошлого. СПб., 2006. С. 412.

<sup>42</sup> См.: *Кроче Б.* Теория и история историографии. М., 1998. С. 22; *Арон Р.* Введение в философию истории // Избранное. СПб., 2000. С. 493; *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Указ. соч. С. 533, 537.

<sup>43</sup> См.: *Ницше Ф.* О пользе и вреде истории для жизни // Соч. М., 1990. Т. 1. С. 175—176.

<sup>44</sup> *Репина Л. П.* Память и знание о прошлом в структуре идентичности // Диалог со временем : альм. интеллект. истории. № 21. Спец. выпуск : Исторические мифы и этнонациональная идентичность. М., 2007. С. 11.

<sup>45</sup> *Кроче Б.* Указ. соч. С. 22.

<sup>46</sup> *Тош Дж.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 15—16.

<sup>47</sup> *Арон Р.* Указ. соч. С. 494.

<sup>48</sup> *Тош Дж.* Указ. соч. С. 29, 31—32.

Ю. Е. Барлова

## **«ВИГСКИЙ НАРРАТИВ» И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА «СТАРОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЕДНЫХ» В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

В 1834 г. в Англии был принят закон «О поправках к законодательству о бедных», отменивший обязательные сборы в пользу неимущих и нуждающихся и поставивший в центр новой системы социальной помощи институт работных домов. Реформа была

проведена в атмосфере практически единогласной критики так называемого «старого законодательства о бедных» («The Old Poor Law») и основанной на нем «старой системы» социальной помощи. В официальных документах, речах, письменных сочинениях первой половины XIX в., непосредственно оформлявших необходимость реформы 1834 г., красной нитью проходил тезис о несовершенстве «старого законодательства о бедных» по причине *избыточности* социальной помощи. Этот тезис хорошо иллюстрируется высказыванием знаменитого историка Алексиса де Токвиля, посетившего Англию накануне реформы. Он писал, что в Англии «наиболее велик процент населения, зависящий от организованного милосердия», так как «это общество... лечит беды, которые в других местах не замечают». «В Англии, — добавлял Токвиль, — средний уровень жизни, на который может рассчитывать человек (бедняк), выше, чем в любой другой стране мира. Но это значительно усиливает разрастание пауперизма в данной стране»<sup>1</sup>.

Образ «старой системы» как избыточной, «бедноцентристской» и усиливающей нищету и пауперизм создавался в рамках нарратива, лежавшего в основе дискуссий и исследований о проблемах бедности, нищеты и безработицы. Этот нарратив иногда именуют «вигским» — возможно, потому, что реформа 1834 г. была проведена парламентским большинством, тогда еще определявшим себя как партию вигов. То, что образ «старой системы» в историографии британской социальной политики довольно долго оставался преимущественно отрицательным, не может не свидетельствовать о популярности и распространенности «вигского нарратива» в Новое время.

Англия, как известно, является страной с давними и прочными традициями помощи бедным. Поэтому интересно, почему критики «старой системы» в XIX в. одержали такую внушительную победу, а также как и в связи с чем менялись оценки природы и значения «старого законодательства» в общественно-политической мысли и историографии Нового и Новейшего времени.

Под «старым законодательством о бедных», реформированном в 1834 г., подразумевался не один закон, а целая «коллекция» (больше пятидесяти) парламентских актов и королевских статутов, при-

нятых в XVII—XVIII вв. Наибольшее значение среди них традиционно придается «Акту о помощи бедным» (1597), юридически закреплявшему необходимость социальной поддержки «пожилых, беспомощных и бедных», а также «больных и искалеченных... сирот, одиноких матерей». Этот закон учреждал систему приходских попечителей по призрению бедных (*overseers of the poor*), предписывал сбор налогов в пользу бедных (*poor rates*) в каждом приходе, разрешал помогать трудоспособным пауперам (которые, однако, должны были отработать получаемую помощь на благо прихода) и вводил «обязательное ученичество» детей бедняков как подмастерьев<sup>2</sup>. Важным также являлся провозглашенный принцип «взаимной ответственности» родителей и детей, обязывавший трудоспособного человека содержать, под угрозой ежемесячного штрафа в 20 шиллингов, «неимущих, старых, слепых, хромых и немощных» родственников<sup>3</sup>.

Одновременно с закреплением необходимости социальной помощи была закреплена и неизбежность наказания «бродяг, праздношатающихся и упорных нищих», представлявших угрозу общественному порядку и спокойствию. Иными словами, законодатели как можно более детально разграничили тех, кто в силу возраста или болезни «был вынужден жить за счет помощи и милосердия», и «упорных бродяг» (*sturdy vagabonds*), «нарушителей спокойствия» (*rufflers*), «не боящихся наказания попрошаек» (*valiant beggars*), «ленивых праздношатающихся» (*idle wanderers*), «жуликов» (*rogues*), «бродяг» (*tramps*), «браконьеров» (*poaches*)<sup>4</sup>.

Законы 1597 г. несколько раз пересматривались и усовершенствовались: более детально излагался порядок и механизм сбора налогов, появились пункты о полном запрете бродяжничества и попрошайничества (разрешалась лишь милостыня в виде еды), а также об ужесточении наказания бродяг. Первая «новая» редакция получила название «Акт о законодательстве в отношении бедных» (1601)<sup>5</sup>, еще он известен под названием «Елизаветинского закона о бедных» и до сих пор считается столпом всей «старой системы» социальной помощи в Англии. Документ сопровождался отдельным постановлением «Об Использовании Благотворительных Средств», которое закладывало основы так называемого

«частного сектора» системы социальной помощи, поощряя благотворительность и «продвигая» идеи филантропии среди аристократов и купцов.

По сути, принятие «законов о бедных» означало, что государство берет на себя ответственность за социальную помощь, начинает создавать комплекс институтов и мер для ее реализации и определяет категории тех, кто в этой помощи нуждается. Однако механизм воплощения этих законов в жизнь носил не общегосударственный, а скорее местнический характер. Каждый приход назначал неоплачиваемого («на общественных началах») попечителя, который должен был собирать налоги с каждого «занимающего землю» жителя прихода пропорционально его доходу и направлять эти средства для «помощи беднякам данного прихода». Помощь могла осуществляться в различных формах — это и еженедельные прямые денежные выплаты, и обеспечение одеждой, едой, жилищем, и медицинская помощь больным и старикам, и помощь одиноким матерям, заключавшаяся в поиске отцов и взыскании с них средств в пользу детей вплоть до «созревания» последних, и предоставление убежища бездомным. Трудоспособные безработные получали свое пособие по безработице (*dole*), но должны были отработать какое-то время на «пополнении материальных запасов прихода». При этом магистраты несли ответственность за то, чтобы каждый приход знал своего попечителя и чтобы последний выполнял свои обязанности. Выявленные нарушения (например, если в приходе обнаружится трудоспособный паупер, который получает пособие, но не работает) грозили наказанием<sup>6</sup>. Со своей стороны работодатель нес ответственность за сохранение рабочих мест в периоды кризисов или неурожаев, что, как считает исследователь Е. Леонард, «являлось отражением традиционного ожидания от хозяина ответственности за благосостояние своих слуг» — «патерналистской модели» отношений работодателя и работника, характерной для доиндустриального общества<sup>7</sup>.

Все вышеперечисленные установления были компонентами так называемого «открытого призрения» (*outdoor relief*). Наряду с ним в «старой системе» практиковалось и «закрытое призрение» (*indoor relief*), или призрение в работном доме. Работные дома существова-

ли в Англии с XVII в., но вначале, как правило, они имели форму «рассеянных мануфактур». В 1723 г. работные дома были юридически включены в существовавшую систему социальной помощи. «Акт о проверке работным домом» (1723), или «Акт Нэтчбулля», давал приходам право выбора — осуществлять помощь бедным в форме выплат или организовать работный дом, куда пауперы, действительно нуждавшиеся в помощи, помещались в обязательном порядке на определенное время — «проверить, так ли велика их нужда», — и получали там работу, пищу и одежду. В течение XVIII в., по словам исследователя В. Куирка, работные дома «входили и выходили из моды во многих графствах — в зависимости от смены материальных обстоятельств в приходе или администрации»<sup>8</sup>. Зачастую работный дом того времени выглядел как «пространство для обитания под одной крышей больных, стариков, беспризорников и нескольких беременных девочек. Они жили вместе и периодически принуждались к работе»<sup>9</sup>.

Наконец, последней составляющей «старого законодательства» стала «Спинхемлендская система» 1795 г., которая вообще никогда не имела статуса закона и являлась не чем иным, как прецедентом, принятым в одном графстве и впоследствии заимствованным другими. Так, в мае 1795 г. мировые судьи графства Беркшир собрались в таверне «Пеликан» в местечке Спинхемленд с намерением установить новый минимум заработных плат на селе и тем самым уменьшить уровень сельской бедности. В итоге была выработана «спинхемлендская шкала», по которой каждый «бедный и усердный человек» получал от прихода определенную сумму денег как прибавку к жалованью. Шкала представляла собой таблицу, в которой учитывалось семейное положение бедняка, количество детей и действующая цена на хлеб. Если хлеб дорожал, прибавка увеличивалась. Примеру Спинхемленда вскоре последовала почти половина английских графств.

Таким образом, тремя основными принципами системы социальной помощи в том виде, в каком она сложилась к концу XVIII столетия, были:

1) государственное (законодательное) конституирование категорий неимущих, «действительно» нуждающихся в помощи;

2) оказание социальной помощи за счет обязательных налоговых отчислений;

3) приход как главная административная единица, ответственная за регулирование проблем с бедными, помощь «заслуживающим» бедным и наказание бродяг и попрошаек.

Первые попытки критики этой системы появились еще в XVII в. Великий английский просветитель Джон Локк в специально подготовленном докладе по этому вопросу в 1696 г. отмечал, что «половина лиц, получающих помощь от прихода, способны сами зарабатывать себе на жизнь», а «зло происходит не от недостатка продовольствия и безработицы среди бедных, а от... отсутствия дисциплины и коррупции манер»<sup>10</sup>. В том же русле располагались и аргументы мыслителей XVIII в. Большинство из них основывалось на принципе личной обусловленности бедности (люди сами виноваты в своей нищете) и считало, что выходом является отказ от дотаций бедным и ориентация последних на самопомощь. Родоначальником этого подхода является Джозеф Тауншенд, который уже в 1786 г. в работе «Исследование законов о бедных доброжелателем человечества» высказал идеи, которые впоследствии повторил знаменитый мыслитель Томас Мальтус и которые позднее были объединены термином «мальтузианство». «Количество пищи, — писал Тауншенд, — вот что регулирует численность человеческого вида»<sup>11</sup>. Рано или поздно численность населения начинает превышать количество пищи, поэтому в обществе всегда должны быть бедные, которые обречены на голод и нуждаются в работе. Они и являются истинными виновниками чрезмерной нищеты, так как увеличивают свою численность ранее, чем будет обеспечена достаточная для их поддержания провизия. Таким образом, Тауншенд выделял три причины роста нищеты: безрассудное размножение бедных, леность и порочность бедняков, лишенных добродетелей протестантской этики — трудолюбия, трезвости и бережливости, и английские законы о бедных, по которым общество должно содержать пауперов. Выход из положения — воздействовать на нищету голодом. Голод — идеальное средство принуждения бедных к труду: беднякам «мало известны мотивы,

которые стимулируют деятельность более высоких слоев общества: гордость, честь, честолюбие. В результате лишь только голод может заставить их работать»<sup>12</sup>.

Аргументы Тауншенда почти слово в слово повторялись в сочинениях Т. Мальтуса. В ставшем классическим труде «Опыт о законе народонаселения...» (1798) он предложил знаменитую формулу, объясняющую нехватку средств к существованию на всех: население имеет тенденцию к росту в *геометрической* прогрессии, тогда как средства к существованию растут в *арифметической*. Мальтус считал, что «система государственной помощи бедным поощряет размножение населения и тем самым увеличивает бедность. Поэтому, чтобы поднять благосостояние населения, нужно отменить законы о бедных и предоставить помощь нуждающимся всецело частной благотворительности»<sup>13</sup>. Через несколько лет те же аргументы повторил экономист Давид Риккардо: «Только прививая беднякам ценности независимости, — писал он, — и обучая их не искать постоянно систематической или случайной благотворительности, а иметь собственные источники поддержки... мы значительно приблизимся к более стабильному и здоровому государству»<sup>14</sup>.

Иереимия Бентам перефразировал все ту же аргументацию в своей работе «В защиту излишеств. Боль и наслаждение» (1818). Он настаивал на том, что, проводя жесткие и даже антисоциальные меры в отношении бедных, можно не только блокировать, но и устранять социальные проблемы: «Если сделать помощь бедным *болезненной* (здесь и далее выделено нами. — Ю. Б.), — писал он, — бедные от этого лишь выиграют, так как будут стремиться *сами поддерживать себя*... и в дальнейшем это приведет их к наслаждению... Бедные перестанут быть паразитами. Им вернут их достоинство». В этой же работе Бентам разработал план «Паноптикона» — некоего прообраза работного дома XIX в., в котором должны были содержаться все трудоспособные люди без собственности и без профессии (их он насчитал около миллиона). Суровая диета, изоляция и строгая дисциплина, верил Бентам, сделают бедных продуктивными, трезвыми и замедлят их чрезмерное воспроизводство.



Были в Англии и те, кто в дискуссиях о социальной помощи стоял на противоположенном «полюсе» и придерживался кардинально иного взгляда на нищету и ее причины. Так, Уильям Хэзлитт, писатель и публицист, в памфлете «Мальтус и свободы для бедняков» (1807)<sup>15</sup> обвинял Т. Мальтуса в том, что тот «сделал себя пророком богатых и великих, особенно тех из них, кто не склонен к подаяниям... с помощью магических формул типа “излишнее” или “избыточное” население». Показательно, что Хэзлитт, в отличие от большинства своих современников, хотя бы пытался говорить от лица самих бедных, ссылаясь на их мнения: «Не так давно я спросил старого работающего крестьянина — думает ли он, что нищета в его округе возникла по причине увеличения работающих бедняков, в результате которого стало не хватать работы на всех. Он ответил: “Нет!”, сказав, что в его местности не стало больше людей, чем обычно, и не больше, чем требуется для того, чтобы выполнять соответствующие работы летом, чтобы выжить зимой... Выжить зимой! Боже праведный! Неужели эти слова не ранят сердца богатых и могущественных сильнее, чем любой плач?» Хэзлитт, по сути, предлагает сократить расходы на роскошь: «...лошади для удовольствий и экипажей, повсеместно содержащиеся в этом королевстве, потребляют такое количество продукции, производимой землей, какого было бы достаточно для содержания всех пауперов... Мальтус... подаст бедному жесткое, как скребок, полотенце, а сам возьмет чистый белый носовой платок, чтобы стереть помаду со щеки раскрашенной проститутки!...» В то же время Хэзлитт признает, что налоги на бедных тяжелы для обычных людей, «гуманность которых оказалась обескровленной налоговым бременем, возложенным на них их экономикой», и тоже поддерживает идею самопомощи: «Спасение бедняков, я убежден, должно происходить изнутри их круга»<sup>16</sup>.

Чарльз Холл, врач по образованию, в труде «Влияние цивилизации на народы европейских государств» (1805), обратившись к статистическим данным, показал, что в силу огромной смертности, особенно детской, среди бедняков естественный прирост этой части общества крайне низок. А раз так, то утверждение Мальтуса, будто нищета народных масс есть следствие их неразумного

размножения, — ложно. Не невежество и тупость народа являются причиной его нищеты, а, наоборот, нищета масс — причина их умственной и нравственной неразвитости.

В общественно-политических дискуссиях конца XVIII — начала XIX в. победу одержал, однако, именно «вигский нарратив», основанный на идеях «мальтузианцев», что было вполне закономерно и объяснимо. Две его четкие линии аргументов самым естественным образом накладывались на дискурс и риторику эпохи. Первая линия перекликалась с «модными» идеями свободы рынка и торговли, вторая исходила из еще более ранних идей и во многом была предопределена ценностной системой протестантизма, тесно связанной с развитием новых капиталистических отношений. Нормы и ценности протестантской этики перекликались с идеей личной ответственности человека за свое материальное положение. Возможно, поэтому даже критики мальтузианства также не отвергали идеи самопомощи как выхода из кризисной для бедных ситуации. Таким образом, несложно было доказать, что организованная и систематическая социальная помощь подрывает бережливость, личную ответственность и трудовую дисциплинированность.

В русле обозначенных линий аргументов располагались и выводы Королевской комиссии 1832—1834 гг. по изучению законодательства о бедных, целью которой было оценить эффективность системы социальной помощи в стране. В ее отчете, опубликованном в 1834 г. и ставшем официальным поводом для реформирования всего «старого законодательства», особой критике подверглась упоминавшаяся выше «спинхемлендская система», которая была названа «колыбелью зла» и «универсальной системой пауперизма»<sup>17</sup>.

Аргументы были следующими:

1. Система распространилась практически на половине английской территории — значит, по сути, приобрела статус неписаного закона.

2. Она позволяла работодателям платить нанятым работникам максимально низкое жалованье, ведь графство все равно оплачивало разницу с прожиточным минимумом. Заработная плата бедняков оставалась неизменной, росли лишь налоги на бедных, тяжким бременем ложившиеся на плечи фермеров — основных налогоплательщиков.

3. Нарушались «все прецеденты» помощи бедным, так как помощь оказывалась не только немощным, старикам или зависимым, но также и трудоспособным.

4. Сотни рассказов приходских священников указывали на аморальность и деградацию сельской бедноты.

«Акт о поправках к законодательству о бедных», принимавшийся в условиях забастовок, мятежей, выступлений луддитов в более чем 80 частях страны, был презентован как попытка ликвидации всех этих безобразий, якобы вызванных несовершенством «старого» института помощи бедным.

Только к середине XIX в., когда стали всплывать недостатки новой системы, появились попытки переосмысления старой. Одной из первых таких попыток стала «левая», социалистическая трактовка «старого законодательства». Связана она в первую очередь с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса; позднее, в конце XIX — начале XX в., эта трактовка получила развитие в работах фабианских социалистов, супругов С. и Б. Веббов. В «Капитале» Маркса появилось хлесткое название «Кровавое законодательство против экспроприированных», дававшее, по сути, характеристику той части «старого законодательства», которая касалась наказания «упорных» бродяг и попрошаек. Венцом этой части Маркс считал «Акт о наказании бродяг и упорных нищих» (1597), который «дал окончательную формулировку закона о бедняках и бродягах». Смысл Марксовой критики репрессивной части английского «старого законодательства» заключался в том, что главными жертвами жестоких наказаний становились крестьяне, согнанные с земель в результате огораживаний и устремившиеся за лучшей долей в города<sup>18</sup>. По Марксу, эксплуатация крестьянства осуществлялась в Новое время в Англии с двух сторон: посредством огораживаний и «старого законодательства». Поэтому он ни в коем случае не считал — да и не мог считать — «старую систему» «бедноцентристской» и в этом смысле, конечно же, расходился с «вигским нарративом». Более того, еще одним пунктом его критики были работные дома, на которые была сделана основная ставка при реформе системы социальной помощи в 1834 г. Наконец, и он и Энгельс положительно оценивали компонент *помощи* нуждающимся

как таковой и налоговых отчислений в пользу последних. В работе «Немецкая идеология» (1845) Маркс полемизировал с Риккардо (последний обличал «старое законодательство» за то, что оно «настолько раздуло расходы на содержание бедных, что если продолжать в том же духе, то вскоре они поглотят чистый годовой доход страны»). Он открыто призывал восстать против «всех этих химер, идей, догм и воображаемых конструкций буржуазного общества», «висящих на шее современного сознания, как хомут»<sup>19</sup>. Энгельс же в своем труде «Положение рабочего класса в Англии» (1845), подробно анализировавшем бедствия английских социальных низов, повествует о случае, когда полицейский магистрат, вопреки правилам, выдал «значительную сумму из кружки для сбора на бедных» жительнице местечка Спиталфилдз, сыновья которой «были арестованы за кражу из магазина и моментальное поглощение куска говядины». Магистрат отдал такое распоряжение, узнав, что муж женщины, в прошлом полицейский, погиб и что она ютится с шестью детьми в тесной и грязной комнатенке, продав за еду все, вплоть до мебели и постельного белья. Энгельс восхищается поступком магистрата и приводит его в пример как доказательство нужности отчислений в пользу бедных<sup>20</sup>. Однако расхождение классиков марксизма с «вигским нарративом» не было полным, так как тезис о повсеместной *деградации* сельской бедноты вследствие политики властей, в принципе, подходил к теории классовой борьбы и смены формаций. Как и английские реформаторы первой половины XIX в., Маркс и Энгельс считали, что социальная помощь по спинхемлендскому принципу способствовала моральному разложению как работодателей, в одностороннем порядке перекадывавших расходы по заработной плате на графства, так и работников, чья производительность труда и заработки падали<sup>21</sup>.

Следующий «виток» в оценке «старой системы» произошел в первой половине XX в. Назовем его «неолиберальным», так как, в целом располагаясь в русле традиционной вигской интерпретации, он был лишен ненависти к «бедноцентристской» системе, характерной для риторики первой половины XIX в. Выразитель этого подхода — Дж. М. Тревельян. Он называл «старую систе-

му» «хорошим замыслом, приведшим к ужасным последствиям», критикуя, как и его предшественники, в основном «моральную составляющую» и в основном «спинхемлендскую систему». «Фермер, — писал Тревельян, — не спешил выплачивать должный минимум заработной платы, так как разница все равно возмещалась приходом, а рабочий поневоле попадал в категорию пауперов — даже если он был обеспечен работой... среди фермеров рос эгоизм, среди “пауперизированных батраков” росли праздность и преступления»<sup>22</sup>. В то же время Тревельян отвергал аргументы экономистов первой половины XIX в. о том, что именно «спинхемлендская система» привела к увеличению числа бедных. Этот рост был связан, по его мнению, не с увеличением рождаемости, а со снижением смертности: «...не глупым мировым судьям Спинхемленда, а хорошим врачам Великобритании обязана тем, что между 1801 и 1831 гг. население Англии, Уэльса и Шотландии выросло с 11 миллионов до 16,5 миллионов человек»<sup>23</sup>.

В середине XX столетия появляется новая интерпретация «старой системы», которую можно смело назвать «ревизионистской», ибо представители ее впервые действительно попытались «сбросить с себя хомут» (эта метафора Маркса будет здесь как нельзя кстати) «вигского нарратива». Классической в этом смысле стала статья Марка Блога «Миф о старом законодательстве о бедных» (1963), в которой политики и экономисты XIX в. обвинялись в использовании Спинхемленда для «очернения» всей системы социальной помощи с целью создания необходимого настроения для реформы 1834 г.<sup>24</sup> Автор также указывал, что «достоверность» любых нарративов снижается в силу отсутствия точных данных о расходах и функционировании децентрализованной системы, в которой решения принимались местным чиновничеством и духовенством: «Да, есть сведения о полном объеме расходов в более чем 15 000 приходов, с 1802 по 1834 г., но мы не можем знать, как именно расходовались средства на социально уязвимые группы — стариков, немощных, бездомных детей, одиноких матерей... В ряде приходов сохранились детальные отчеты о расходовании средств, но все равно трудно восстановить, на каком основании конкретный человек получал шесть шиллингов в неделю... *Мальтузианская*

морализаторская сказка об угрожающих последствиях помощи бедным победила *перед* тем, как были собраны необходимые данные, и *до того*, как система “произвела свои угрожающие последствия”... Но этот нарратив повторялся в дискурсе — политиками, экономистами, духовенством, представителями Королевских комиссий и пр. так часто, что получил статус “абсолютной научной правды, основанной исключительно на естественном законе”<sup>25</sup>. Вслед за Блогом к похожим выводам пришли Дж. П. Хьюзел и К. Д. М. Шнель: согласно их аргументам, обнищание сельского населения было вызвано отнюдь не «старой системой», а скорее массовым перемещением промышленности на Север и деиндустриализацией на Юге страны, увеличением уровня сельскохозяйственной безработицы, упадком ремесла, экономическим спадом после 1815 г. и иными факторами. Социальная же помощь бедным, напротив, защищала сельскую бедноту от безработицы и потери альтернативных источников заработка.

Практически одновременно с появлением «ревизионистского нарратива» в 40-е гг. прошлого века знаменитый социолог Карл Поланьи — в своей не менее знаменитой и ставшей классической работе «Великая трансформация» — вновь обращается к нарративу «вигскому», причем как к *основе* понимания истории становления социальной политики, посвящая отдельную одноименную главу Спинхемленду. «Утверждая, что изучение Спинхемленда означает анализ истоков цивилизации XIX в., — пишет Поланьи, — мы имеем в виду не только его экономические и социальные последствия и даже не определяющее влияние, которое оказали эти последствия на современную политическую историю, но тот, как правило, неизвестный нашему поколению факт, что все наше социальное сознание формировалось по модели, заданной Спинхемлендом»<sup>26</sup>. Так происходит второе рождение «вигского нарратива», который, судя по материалам специальной интернет-конференции, проведенной в 2004 г. и посвященной юбилею выхода в свет «Великой трансформации», продолжает оказывать существенное влияние на социологическую мысль и — более того — берется за основу рекомендаций в отношении социальной политики в современной России. Так, Т. Ю. Сидорина пишет: «Поставленный

в центр рассмотрения 7-й главы “Великой трансформации” закон Спинхемленда в реальности вводил право существовать не работая как систему, как практику, причем называя эту практику “правом на жизнь”. Безусловно, в основе закона — требование обязательной работы, доплата полагалась лишь работающим. Но, как мы знаем, последствия Спинхемленда оказались столь плачевными, что иначе как развращающим этот Закон нельзя и назвать. Люди получили реальную возможность не работать... И при новом режиме, режиме “экономического человека”, никто не стал бы работать за плату, если он мог обеспечить себе средства к существованию, ничего не делая»<sup>27</sup>. Такой же точки зрения придерживается Р. А. Школлер, который, вслед за Поланьи трактуя Спинхемленд как своего рода «право на жизнь» по принципу дополняющей субсидии», утверждает, что он препятствовал формированию рынка труда в Англии. При всей антигуманности системы работных домов, считает Школлер, именно Акт 1834 г. создал предпосылки образования национального рынка труда<sup>28</sup>.

Очевидно, что оценки «старой системы», существующие в сегодняшнем научном дискурсе, до сих пор во многом балансируют между «вигским нарративом» и ревизионизмом. И все же в современной историографии преобладают попытки более взвешенного подхода к оценке «старого законодательства» — подхода, выражаясь словами исследователей Фреда Блока и Маргарет Сомерс, «освобожденного от мифологий и нарративов, сконструированных два столетия назад». Одну из таких попыток представляет собой статья указанных выше авторов. Их основная мысль сводится к тому, что «спинхемлендский эпизод сам по себе не мог привести к последствиям, которые ему приписывают». «Старая система», считают Блок и Сомерс, законодательно закрепляла обязанность на местном уровне участвовать в судьбах тех, кто попал в нужду в результате болезни, уродства, распада семьи или временной безработицы. «В то же время, — пишут они, — в действительности в применении на практике этого законодательства в различных графствах и приходах наблюдались значительные расхождения, так как последние экспериментировали с использованием различных стратегий и политик, предназначенных для того, чтобы помочь бед-

ным, защитить их, сохранив при этом стимулы к труду». Значение «старой системы» авторам видится и в том, что «репертуар социальной помощи», который до сих пор обсуждают современные политики, «немногим отличается от перечня мер, применявшихся в Англии в XVII—XVIII вв.». Это минимальный гарантированный доход, страхование на случай сезонной безработицы (в зимние месяцы ряд графств предоставлял сельскохозяйственным рабочим еженедельные дотации в зависимости от размера семьи), общественные работы и работные дома, субсидии работодателям (в ряде приходов фермерам, нанимавшим безработных, доплачивали из фонда, собранного из налогов), стимулирование трудовой деятельности (иногда налог на бедных заменяли насильственным распределением определенного количества безработных), дотации на детей (тем сельскохозяйственным работникам, у которых было 2—3 несовершеннолетних ребенка и более, доплачивалась определенная сумма к жалованью)<sup>29</sup>.

Историк медицины Саманта Уильямс, кстати, дополняет данный список. На основе анализа приходских архивов она утверждает, что к началу XIX в. примерно в трех четвертях приходов юго-востока Англии существовал «аналог обязательного медицинского страхования» — практиковались контракты, заключаемые между хирургом-фармацевтом (обычная для того времени квалификация врача) и приходом и обязывающие врача оказывать бесплатную медицинскую помощь беднякам. Эти контракты, по данным Уильямс, практически полностью вытеснили метод, когда врач выписывал пациенту счет за определенную услугу, а приход его оплачивал. Более того, медицинский рынок благодаря такого рода «страховым полисам» стал конкурентным, и врачи стремились заключить подобный контракт, чтобы вытеснить своих соперников<sup>30</sup>.

Пол Слэк, бывший редактор журнала «Past and Present», автор книг «Бедность и политика в Тюдоровской и Стюартовской Англии» и «Английское законодательство о бедных в 1531—1782 гг.»<sup>31</sup> вообще отказывается признавать термины «старое законодательство» и «старая система». Это было, как он считает, скорее «неровное и локальное» регулирование проблем с бедными, «находившее выражение в тысячах тщательно фиксируемых небольших



еженедельных выплатах, которые в сумме своей выливались в достаточно обширный трансфер денежных средств от богатых к бедным... но которые не удалось объединить «в целиком безличностную дисциплинарную машину». Слэк отмечает, с одной стороны, позитивное влияние системы на сознание тех, кто платил налог на бедных: «Для половины домовладельцев сам по себе факт уплаты налога делал их членами уважаемого сообщества и *отгораживал от нищих и нарушителей порядка*... Машина социального обеспечения давала плательщикам этого налога *чувство групповой идентичности* и осознание социального превосходства, по мере того как она конструировала четко очерченную категорию зависимых бедных». С другой стороны, он признает, что в XVIII в. затраты на содержание бедных действительно выросли — «как в реальных цифрах, так и в восприятии налогоплательщиков и законодателей», и система выглядела неадекватной в новых экономических условиях. Вывод Слэка в целом ближе к ревизионистской трактовке. «Английское “старое законодательство”, — пишет он, — громче лаяло, нежели кусало. Оно служило ряду целей: установлению более строгого социального контроля, облегчению участи части населения и демонстрации щедрости власти, ее милосердия». Еще один вывод автора затрагивает так называемый «европейский контекст» проблемы. Несмотря на «бессистемность», английская «система» была, по мнению ученого, более эффективной, чем подобные институты в других странах<sup>32</sup>.

Следует отметить, что отдельную группу современных исследований представляют работы, анализирующие английское «старое законодательство» в европейском контексте, при изучении истории других стран. Так, Т. Смит в опубликованной недавно статье «Идеология милосердия, образ английского законодательства о бедных и дебаты о праве на вспомоществование во Франции, 1830—1905 гг.» указывает на то, что во Франции дискуссии о социальной помощи долгое время определялись «заграничным примером» Англии. «Французская боязнь любого рода социальных программ, — пишет Смит, — имела в своей основе испорченный образ английского законодательства о бедных». Он анализирует аргументы французских политиков, которые во второй половине

XIX в. выступали против социальных дотаций и бесплатной медицинской помощи беднякам, и приходит к выводу, что они «использовали негативный образ английского законодательства о бедных, организовав тщательно инструментированную и дезинформирующую пропагандистскую кампанию»<sup>33</sup>.

В русле компаративного подхода располагается и фундаментальный труд П. Линдерта, изучавшего и сравнивавшего социальные затраты в европейских государствах с XVIII в. по настоящее время. Согласно его выводам, объем государственных затрат на социальную помощь к концу XVIII столетия превышал 1 % национального дохода только в Нидерландах, Англии и Уэльсе. К 1820-м гг. Англия и Уэльс, по мнению Линдерта, становятся мировыми центрами социальной помощи — как фактически (2,66 % от национального дохода), так и в публичных дебатах<sup>34</sup>.

Итак, обсуждение историками английской системы социальной помощи в том виде, в каком она существовала в Новое время, продолжается, и в современной историографической полемике по этому вопросу «вигский нарратив» продолжает занимать весомое место, представляя собой одну из двух основных аргументативных стратегий. Его современные сторонники по-прежнему основываются на «мальтузианской» посылке о том, что любое перераспределение налогов в пользу бедных ведет лишь к ухудшению положения последних, так как ставит их в ловушку зависимости от общественной щедрости. Однако не меньший вес в сегодняшних дебатах имеют и те, кто оценивает «старую систему» с позиций интересов самих нуждающихся в помощи социальных слоев — бедняков, пожилых, немощных людей — вне зависимости от того, виноваты они в своей печальной участи или нет.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Slack P. Poverty and Policy in Tudor and Stuart England. L., 1993. P. 5.

<sup>2</sup> Nicholls G. A. History of the English Poor Law. L., 1898. Vol. 1. P. 125.

<sup>3</sup> Ibid. P. 128.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Еще он известен под названиями «Елизаветинский закон о бедных» и «Старый закон о бедных».

<sup>6</sup> *Leonard E. M.* The History of the English Poor Relief. L., 1965. P. 226—236.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> *Quirk V.* Lessons from the English Poor Laws // Refereed paper presented to the Australian Political Studies Association Conference, University of Newcastle, 25—27 September 2006. P. 10.

<sup>9</sup> *Jones K.* The making of Social Policy in Britain. L., 1993. P. 7.

<sup>10</sup> *Quirk V.* Op. cit. P. 9.

<sup>11</sup> *Townsend J.* Dissertation on the Poor Law by a Well-Wisher of Mankind. Berkeley ; Los Angeles ; L., 1971. P. 38.

<sup>12</sup> Ibid. P. 23.

<sup>13</sup> Цит. по: *Jones K.* Op. cit. P. 8—9.

<sup>14</sup> Ibid. P. 10—11.

<sup>15</sup> *Hazlitt W.* Reply to Malthus. Malthus and the Liberties for the Poor. L., 1807. P. 3—6.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> См.: Report from the Select Committee on the Poor Laws (1817), Report from the Select Committee on the Poor Laws (1819), Report from the Select Committee on Labourer's Wages (1824), Report from His Majesty's commissioners for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws. L., 1834.

<sup>18</sup> См., например: *Штокмар В. В.* Кровавое законодательство Тюдоров против обезземеленных народных масс Англии // Учен. зап. ЛГУ. № 130. Секция ист. наук. Л., 1957. С. 18.

<sup>19</sup> См.: *Proyect L.* The Unrepentant Marxist [Electronic resource]. URL: <http://www.louisproyect.worldpress.com/2008/02/03/htm>.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> *Треvelyан Дж. М.* История Англии от Чосера до королевы Викторин. Смоленск, 2002. С. 496—497.

<sup>23</sup> Там же. С. 498.

<sup>24</sup> *Blaug M.* The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New // The J. of Economic History. 1963. Vol. 23, N 2. June. P. 151—184.

<sup>25</sup> Ibid. P. 182.

<sup>26</sup> *Полянй К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002. Гл. 7.

<sup>27</sup> *Сидорина Т. Ю.* Мифологемы человеческого существования и формирование социальной политики в XIX—XX вв.: К. Полянй и Л. фон Мизес // 60-летие выхода в свет «Великой трансформации» Карла Полянй: уроки для России : материалы науч. конф. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.Ecsocman.edu.ru/db/msg/176965.html>.

<sup>28</sup> *Школлер Р. А.* Чем закон Спинхемленда препятствовал формированию рынка труда в Англии? // 60-летие выхода в свет «Великой трансформации» Карла Полянй...

<sup>29</sup> *Block F., Somers M.* In the Shadow of Speenhamland: Social Policy and the Old Poor Law // Politics and Society. 2003. Vol. 3. P. 11—12, 32.

<sup>30</sup> *Williams S.* Practitioner's Income and Provision for the Poor. Parish Doctors in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries // *Social History of Medicine*. 2005. № 18(2). P. 159—186.

<sup>31</sup> *Slack P.* Poverty and Policy in Tudor and Stuart England; *Idem.* The English Poor Law, 1531—1782. *New Studies in Economic and Social History*. Cambr., 1995.

<sup>32</sup> *Slack P.* The English Poor Law... P. 205—208.

<sup>33</sup> *Smith T.* The ideology of charity, the image of the English Poor Law and debates over the right to assistance in France, 1830—1905 [Electronic resource]. URL: [http://journals.cambridge.org/article\\_S0018246X97007553](http://journals.cambridge.org/article_S0018246X97007553).

<sup>34</sup> *Lindert P. H.* Growing Public. Social Spending and Economic Growth since the 18<sup>th</sup> century. Vol. 1 : The Story. Cambr., 2004. P. 8.

М. Ю. Чепурина

## ЗАГОВОР БАБЁФА В ОСВЕЩЕНИИ СОВЕТСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Результат сравнения советской историографии с любой «буржуазной», на первый взгляд, кажется predetermined. Не нужно даже вникать в предмет исследования одной и другой, чтобы с уверенностью сказать: у нас — формации, классовая борьба, «иллюстративный метод», плоские формулы, гипертрофированная роль экономики, возвеличивание любых революционеров и бунтарей, даже склонных к откровенному бандитизму; у них же — естественно, критический подход, большая объективность, свобода от политического давления, живой человек вместо абстрактного класса...

Однако не все так просто. Перечисленное и верно, и не верно. Точнее, оно является лишь частью ответа на вопрос о различии во взглядах отечественных и французских историков на деятельность Бабёфа. Если же вспомнить, что отнюдь не все советские историки (особенно в послесталинский период) были рабами «краткого курса», а марксизм был довольно распространенным явлением в кругах французских исследователей, тема данной статьи начнет выглядеть намного интереснее.

При общем взгляде советская историография «равных» предстает как долгий ряд попыток «оправдать» заговор, доказать, что он отнюдь не был таковым, найти аргументы против представления о Бабёфе как далеком от масс и не доверяющем массам путчисте. «Не о заговоре шла речь, а о подготовке вооруженного восстания»<sup>1</sup>, — писал П. П. Щеголев. Тайная Директория «подготовляла всеобщий бунт трудящихся»<sup>2</sup> — указывал В. Займель. «Движение “равных” по необходимости должно было носить нелегальный характер, но оно было связано с массами, и цель организации состояла в том, чтобы подготовить широкое народное выступление»<sup>3</sup> — напоминал В. М. Далин. Что заставляло исследователей с таким упорством бесконечно доказывать простую, в общем-то, вещь? Недопустимость путчистской тактики с точки зрения ленинизма? Или то, что тезис об узкозаговорщическом характере бабувизма упорно воспроизводился и в школьных учебниках, и в научных работах<sup>4</sup>? Итог дискуссии в своих последних статьях подвела Г. С. Черткова, придя к выводу, что «равные» были и заговором и движением одновременно<sup>5</sup>.

Что касается французских исследователей, то проблема характера бабувистского движения не волновала их столь сильно. Для большинства западных авторов широкая пропаганда «равных» — естественная вещь, сведения о сторонниках вне «инсурреക്ഷионного комитета» — отнюдь не сенсация.

Любопытно, что уже сами названия книг отечественных исследователей «народного трибуна» говорят о том, что их интересовала в первую очередь персона самого Бабёфа: «Грахх Бабёф — предвозвестник диктатуры трудящихся», «Грахх Бабёф накануне и во время Великой Французской революции», «Грахх Бабёф во время термидорианской реакции». Сравним названия французских работ: «Бабёф и заговор во имя равенства», «Бабёф и “заговор равных”», «Грахх Бабёф и “равные”, или Первая действующая коммунистическая партия», «Бабёф и коммунистическая партия в 1796 г.»... Заглавия соответствуют содержанию: западные исследователи по сравнению с советскими действительно уделяют гораздо больше внимания самому заговору, подпольной организации, товарищам Бабёфа. Если в советских работах более или менее

заметными фигурами выступают только Ф. Буонарроти и С. Маршалль, а имена остальных так и остаются для читателя пустым звуком, то французские авторы уделяют достаточно внимания и Ш. Жермену, и А. Дарте, и П. Антонелю, и Р. Дебону, и Ф. Лепелтье; упоминают они и менее заметных персонажей. Во всех или почти всех французских монографиях о «заговоре равных», как правило, отведено место для кратких биографий товарищей Бабёфа. Что касается отечественных исследований, то самые фундаментальные из них — сочинения В. М. Далина и Г. С. Чертковой — посвящены периодам жизни Бабёфа, предшествовавшим заговору. Другие же работы — как научные (П. П. Щеголев), так и популярные (В. Займель, А. Г. Пригожин и др.) — почти ничего не сообщают о соратниках «народного трибуна», хотя охватывают все время его жизни. За исключением биографий Буонарроти и Маршалля (таковые выходили как у нас, так и на Западе), немногие советские работы, в которых воскрешаются личности товарищей Бабёфа, — это статьи В. М. Далина о Дидье-Журдейле<sup>6</sup> и Н. Эзине<sup>7</sup>.

Уделяя внимание членам «инсurreкционного комитета», французские историки писали и о противоречиях между ними. К. Мазорик отмечал, что в отношении бабувистов следует говорить не о партии, а лишь о движении: «секретная Директория никогда не имела партийного духа, монолитного политически и идеологически»<sup>8</sup>; насколько соратники Бабёфа придерживались коммунизма и что это был за коммунизм — такой вопрос ставит он перед будущими исследователями<sup>9</sup>. М. Домманже полагал, что в 1796 г. соратники Бабёфа все еще делились на бывших эбертистов и робеспьеристов, что постоянно проявлялось в политических разногласиях<sup>10</sup>. «Что касается проектируемой политической организации, то она описана нам Буонарроти, — писал Ж. Брюа. — Но среди заговорщиков были большие споры и “конституционный” труд “равных” был далек от завершения, когда их арестовали»<sup>11</sup>. Он же указывал на то, что среди заговорщиков были значительные разногласия по поводу переходного периода — между восстанием и установлением коммунизма<sup>12</sup>. Отметим, что все три названных историка принадлежали к числу марксистов.

Можно ли найти что-то подобное у отечественных авторов? В работе П. П. Щеголева «Тайная Директория» показана как целостный одушевленный организм: именно она решает, она изобретает, она действует, она выступает в качестве подлежащего в большинстве предложений, освещающих деятельность заговорщиков. Противоречия между бабувистами если и упоминаются, то не как реально влияющие на их деятельность, а как преодолеваемые и преодоленные: «Видную роль в их (бабувистов. — М. Ч.) составе играли бывшие “бешеные” и эбертисты, — писал советский биограф Бабёфа. — Было также довольно много экс-робеспьеристов вроде Дарте. Задача бабувистского руководства и сводилась к тому, чтобы в едином сплаве ассимилировать представителей этих зачастую разнородных течений»<sup>13</sup>. Для Щеголева нет различия мнений: есть отклонения от правильного курса: «Дебон и Дарте предлагали учредить единоличную диктатуру... но большинство высказалось за коллегиальную форму правления»<sup>14</sup>. В подробности внутрипартийных разногласий автор не вдаётся. Уклонения от «генеральной линии» не входили в сферу интересов советских историков.

Не интересовал их и предатель Ж. Гризель. Отечественные исследователи не пытались выяснить, что толкнуло его на вступление в группу и на донос. Другое дело — французская историография. В популярной книжке П. Бессана-Массене Гризель выступал одним из главных героев, хотя и оценивался весьма отрицательно: повествование начинается с художественного очерка о его знакомстве с бабувистами<sup>15</sup>. Значительный интерес к фигуре Гризеля проявил Ж. Вальтер: историк считал, что будущий предатель оказался втянут в заговор, сам того не желая<sup>16</sup>, а потом сделал правильные выводы: «Внимательный и умный наблюдатель, Гризель не замедлил понять, что предприятие, в которое он вовлечен, лишено последовательности и имеет очень мало шансов на успех»<sup>17</sup>. По мнению Мазорика, донос был написан уже тогда, когда полиция и без того шла по следу заговорщиков: Гризель просто-напросто осознал безнадежность предприятия<sup>18</sup>. Ж. Брюа был согласен с этой мыслью: по его словам, будущий предатель изначально был искренним бабувистом, а на донос решился, когда понял, что дело

кончится плохо<sup>19</sup>. В советской историографии никаких вопросов и ответов относительно личности Гризеля мы не обнаружили: в драме заговора он выступает как персонаж-маска, персонаж-функция, лишенный настоящего характера, психологии и как будто нужный лишь для того, чтобы герои приняли мученическую смерть, увековечившую их в истории.

Как мы видим, различия национальных историографий проявляются не только в оценках тех или иных фактов, но и расстановке акцентов, в выборе тем для исследования, в подчеркивании одних моментов как более важных и затушевывании других как безынтересных, не имеющих значения. Что послужило причиной именно таких расхождений между советскими и французскими исследованиями «равных»?

Без сомнения, свою роль сыграло то, что в России оказался архив Бабёфа: обширная коллекция документов, освещающая жизнь первого коммуниста, была куплена Институтом марксизма-ленинизма в 1920-х гг. (ныне — РГАСПИ, ф. 223). Вероятно, это в некоторой степени определило характер советских исследований, их ориентированность прежде всего на личность самого Бабёфа. В. М. Далин и Г. С. Черткова — самые видные специалисты по заговору «равных», — изучая документы хронологически, восстановили события юности и молодости Бабёфа. До источников, касающихся заговора, очередь просто не дошла: этот период, главный в жизни «народного трибуна», так и остался слабым местом в советской историографии. Потому-то из отечественных работ так мало можно почерпнуть о товарищах Гракха по «тайной Директории» и разногласиях между ними.

И все-таки представляется, что дело не только в доступе к архиву Бабёфа одних и невозможности другим попасть в него. Национальные стереотипы, мировоззрение, привычки, воспитание, политические взгляды не могли не отразиться на том, под каким углом зрения видели «равных» русские и зарубежные историки. Привыкшие к большевистской риторике, советские ученые, говоря о бабувистах, сознательно или бессознательно воспроизводили внушенный пропагандой образ родной компартии: всеобщее единодушие, демократический централизм, власть большинства, пре-



данность руководителю. Стремление доказать, что «равные» являлись не путчистами, а сторонниками народной революции, — косвенная дискуссия об Октябре 1917 г. с европейскими социал-демократами, попытка оправдать большевиков. Сосредоточенность на фигуре Бабёфа, весьма вероятно, проистекает из советского культа вождя. Но не только из него: позволим себе предположить, что для русской истории вообще свойственна преувеличенная роль личности, героя, идеолога. Аналогичную раскладку можно наблюдать в исторических сочинениях, посвященных интеллектуальной культуре предреволюционной Франции: если западные ученые интересовались распространением просвещенческих идей в массах<sup>20</sup>, то их советских коллег занимали взгляды классиков XVIII в. — Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, но не их общественное восприятие<sup>21</sup>. Предпочтение общего частному, большого маленькому, коллективного индивидуальному — было ли это подчинением коммунистическому режиму или естественной чертой «восточного» народа с крепкими архаическими традициями?

Воздержимся от далекоидущих выводов. Отметим лишь главное: внимательное изучение национальных историографий может дать результаты, интересные не только узкому специалисту.

<sup>1</sup> Щеголев П. П. Гракх Бабёф. М., 1933.

<sup>2</sup> Займель В. Гракх Бабёф — борец за диктатуру трудящихся. М.; Л., 1928. С. 74.

<sup>3</sup> Далин В. М. Бабёф в 1795—1797 гг. Факты и идеи // Бабёф Г. Соч. М., 1982. Т. 4. С. 10.

<sup>4</sup> Калашишникова В. Бабёф и «заговор равных» // Ист. журн. 1939. № 8. С. 112; Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой Французской революции. Л., 1985. С. 440—442.

<sup>5</sup> *Chertkova G. De la place de Babouvisme dans l'histoire de mouvement révolutionnaire européen // Les Historiens russes et le Révolution française après le Communisme. P., 2003. P. 155—158; Черткова Г. С. От Бабёфа к Буонарроти: движение во имя равенства или «заговор равных»? [Электронный ресурс]. URL: [http://vive-liberta.narod.ru/journal/chert\\_egalite.pdf](http://vive-liberta.narod.ru/journal/chert_egalite.pdf).*

<sup>6</sup> Далин В. М. «Агент связи» Бабёфа — Дидье-Журдейль // Из истории общественных движений и международных отношений. М., 1957. С. 244—257.

<sup>7</sup> Далин В. М. Вандомский процесс // Французский ежегодник, 1978. М., 1980. С. 187—198.

<sup>8</sup> *Mazauric C. Babeuf et la conspiration pour l'égalité. P., 1962. P. 142.*

<sup>9</sup> *Mazauric C.* Babeuf et la conspiration pour l'égalité. P. 148.

<sup>10</sup> *Dommanget M.* Sur Babeuf et la conjuration des égaux. P., 1970. P. 140.

<sup>11</sup> *Bruhat J.* Gracchus Babeuf et les égaux, ou le premier parti communiste. P., 1978. P. 137.

<sup>12</sup> *Ibid.* P. 147—148.

<sup>13</sup> *Щеголев П. П.* Указ. соч. С. 133.

<sup>14</sup> Там же. С. 135.

<sup>15</sup> *Bessand-Massenet P.* Babeuf et le Parti communiste en 1796. P., 1926.

<sup>16</sup> *Walter G.* Gracchus Babeuf et la conjuration des égaux. P., 1937. P. 140.

<sup>17</sup> *Ibid.* P. 159.

<sup>18</sup> *Mazauric C.* Op. cit. P. 204.

<sup>19</sup> *Bruhat J.* Op. cit. P. 161.

<sup>20</sup> См., например: *Cochin A.* Les sociétés de pensée et la Démocratie moderne. P., 1978; *Mornet D.* Les Origines intellectuelles de la Révolution Française. P., 1967; *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции. М., 2001.

<sup>21</sup> См., например: *Волгин В. П.* Развитие общественной мысли во Франции. М., 1957; *Момдзян Х. Н.* Диалектика в социально-политических размышлениях Руссо // Французский ежегодник, 1978. С. 36—46; *Сиволоп И. И.* Вольтер о революционных движениях XVII—XVIII вв. // Французский ежегодник, 1960. М., 1961. С. 370—387.

Н. Н. Баранов

## К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ЛИБЕРАЛИЗМА В ВИЛЬГЕЛЬМИНСКОЙ ГЕРМАНИИ

В современной немецкой историографии, по мнению авторитетного исследователя Л. Галя, понятия «либерализм» и «буржуазное общество» являются ключевыми категориями в контексте изучения последних двух столетий истории Германии и Европы<sup>1</sup>. Практически нет ни одного исследовательского поля, которое в той или иной степени не соприкасалось бы с ними. Это обстоятельство обуславливает особую динамику развития исследований либерализма, что позволяет при обновлении перспектив обнаруживать все новые аспекты обозначенной проблематики.

Анализ общих тенденций развития современной немецкой историографии либерализма показывает, что она эволюционировала от истории идей к социальной истории, от политики к обществу, а в последнее время вплотную приблизилась к новому осознанию ценности культурно-исторических установок, которые позволяют рассматривать идейно-политическую проблематику в новом ракурсе. В самом общем виде эта основная тенденция отражается в известном смещении исследовательских интересов: от собственно либерализма к буржуазному обществу. Комплексные исследования такого рода применительно к XIX столетию осуществляются в университетах Билефельда и Франкфурта-на-Майне, а также и в значительном количестве отдельных работ<sup>2</sup>. Напротив, в исследованиях, посвященных XX в., подобный поворот или еще не произошел, или только начинается.

Вместе с тем показательно, что исследователи «традиционного» либерализма осознают значение социально-исторических аспектов при рассмотрении вопросов социального фундамента либеральных позиций, взаимодействия союзов, движений и партий, опосредованной связи общественных структур и политических предпочтений при формировании мировоззренческих установок.

Состоявшаяся переоценка культурно-исторических начал демонстрирует также тесную связь исследований либерализма и буржуазного общества с развитием исторической науки в целом. Именно работы по истории либерализма показывают, как на основе анализа таких культурных форм проявления национального движения, как праздники, памятники, стрелковые союзы, можно и нужно изучать способы популяризации и распространения в обществе политических установок. Равным образом формируется новая легитимация индивидуально-биографических штудий, идет ли речь о репрезентации личности в обществе или о новых культурно-антропологических подходах к человеку как индивидууму.

В последние годы существенный вклад в постановку исследовательских проблем внесли сравнительно новые направления исторического знания, прежде всего связанные с женской и профессиональной историей. В какой мере буржуазное общество не-

сло маскулинно-патриархальный отпечаток и какую роль в нем играли (или могли играть) женщины; в какой степени либерализм можно рассматривать как движение, в котором доминировали протестанты, и какое отношение к нему имели католики — это безусловно важные и перспективные вопросы.

Еще с начала 70-х гг. XX в. множились указания на отсутствие детальных исследований регионального и локального уровня. Между тем большинство исследований концентрировалось на отдельных или нескольких крупных городах, регионах или территориальных государствах. Тем не менее подобные сюжеты проникали даже в крупные обобщающие произведения. Работы Г.-У. Велера, Д. Лангевише, Т. Ниппердея и Дж. Шехана постоянно указывают на многообразие региональных условий, обуславливавших специфику проявлений либерализма<sup>3</sup>.

Дополнительный импульс изучению либерализма дает развитие исследований по проблемам национализма. К историкам пришло осознание того, что либеральный и национальный образ мыслей не только шли рука об руку, но и на протяжении всего XIX в. являли собой две стороны одной медали. Поэтому вряд ли удивительно, что уже с середины 80-х и еще сильнее в 90-е гг. XX в. именно в работах по национализму образ либерализма и буржуазного общества приобрел новые грани.

Наконец, тенденция последнего времени — многочисленные исследовательские проекты, посвященные тем историческим периодам, которые раньше не пользовались вниманием. Сейчас уже правило, а не исключение работы, переносящие из эпохи в эпоху, переступающие классические временные цезуры (такие как 1815, 1848—1849, 1867—1871 гг.).

Исследования по истории буржуазного общества и либерализма предстают, таким образом, как чрезвычайно плодотворная, инновационная отрасль исторического знания. Но до получения заключительных результатов ей еще очень далеко. Связано это, по меньшей мере, с двумя обстоятельствами. Во-первых, множество квалифицированных работ на локальном и региональном уровнях чем дальше, тем больше создают пеструю, неоднозначную,

иногда противоречивую картину. Во-вторых, методологический плюрализм, множественность используемых теорий с обширным исследовательским потенциалом. Их противоположение формирует плодотворную конкуренцию, благодаря которой диалектические элементы любого исследования выявляют и выдвигают на передний план все новые подходы и оценки.

В то же время представляется, что применительно хотя бы к XIX столетию в последние годы обозначилась фундаментальная тенденция, которая оказывает существенное влияние на весь ход исследований. Она проявляется прежде всего в отказе от единственной объясняющей конструкции. Вместо этого проявляется стремление если не поставить под сомнение любую такую методологию, то хотя бы модифицировать ее. Одновременно за счет этого формируется более пристальное внимание к неоднозначности, многосторонности изучаемых явлений. Предпосылка для этого — интенсификация самого процесса исследований. То, что сначала воспринималось как непересекающиеся множества, — представление о многочисленных локальных и региональных вариантах либерального движения как проявлениях буржуазных общественных отношений, — в то же время вело к восприятию некоей «второй исторической реальности» наряду с тенденциями национального уровня. Так, например, уже неоднократно доказанное положение о сильных позициях, которые занимали буржуазия и либеральные партии на уровне общин и в парламентах отдельных германских государств, существенно меняет представление о «дефиците буржуазности» на общенациональном уровне. Даже если речь идет о тех периодах и сюжетах, которые до сих пор рассматриваются с критических позиций, как, например, политика национал-либералов на имперском уровне на рубеже веков, по крайней мере, у современных авторов реже встречаются призывы к долгу и сценарии краха. Наоборот, растет стремление объяснять исторические процессы условиями того времени, когда они происходили, абстрагируясь от знания о будущем и не опускаясь до уровня уже известных историкам последствий. Можно было бы говорить о новом прочтении историзма, если бы это понятие не оставалось

в значительной степени табуизированным или, во всяком случае, невостребованным.

Многозначным становится и видение тех процессов, которые долгое время расценивались исключительно позитивно, как, например, либеральное движение в предмартовский период. Причина тому — скептическое отношение к национальному образу мышления предмартовских либералов, в котором большинство историков уже с самого начала (а не только на стадии распада) усматривает агрессивный потенциал. В результате формируется такой богатый, вполне свободный от предвзятости образ, или лучше сказать, множественные образы, которые могут претендовать на адекватное отражение прошлого.

Если поставить вопрос о том, чего все еще недостает в решении главных исследовательских проблем, то надо отметить три сферы:

1. Исследования буржуазного общества XX в. находятся в самом начале. Это относится в первую очередь к проблеме буржуазия — национал-социализм. Х. Мёллер показал, что даже с определением понятия «буржуазия» в минувшем столетии возникает гораздо больше трудностей, чем в предшествующие эпохи<sup>4</sup>.

2. Новые культурно-исторические подходы заслуживают того, чтобы использовать их с большей интенсивностью. Они позволяют, в частности, дать более точное объяснение тому, каким образом система идей и институтов (что представляет собой либерализм) связана или не связана с крупными общественными группами, такими как буржуазия. Возможно, именно такой подход позволит преодолеть все еще недостаточную связь между исследованиями буржуазии и либерализма, на что справедливо указывает Д. Лангевише. Обращению к свойствам ментального может помочь использование новых подходов, которые до сих пор недостаточно используются для решения задач исторической науки.

3. До сих пор крайне недостаточными остаются знания о консерватизме. В XIX в. он наряду или вместе с политическим католицизмом играл роль главного противника и оппонента либерализма, но в то же время всегда оставался востребованным частью буржуазии. Выводы по истории либерализма могли бы быть точ-

нее, если бы стали яснее его отношения с политическими соперниками. Однако условием этого является прежде всего работа по уточнению самой дефиниции «консерватизм».

---

<sup>1</sup> *Gall Lh.* Vorwort // *Historische Zeitschrift*. Sonderheft 17. Bürgertum und bürgerlich-liberale Bewegung in Mitteleuropa seit dem 18. Jahrhundert, 1997. S. VII—X.

<sup>2</sup> См., например: *Der europäische Liberalismus im 19. Jahrhundert: Texte zu seiner Entwicklung*. Frankfurt a/M, 1981; *Gall Lh.* Bürgertum, liberale Bewegung und Nation. München, 1997; *Liberalismus*. Königstein, 1985; *Liberalismus und imperialistischer Staat: der Imperialismus als Problem liberaler Parteien in Deutschland, 1890—1914*. Göttingen, 1975.

<sup>3</sup> См.: *Langewiesche D.* Liberalismus in Deutschland. Frankfurt a/M, 1988; *Nipperdey Th.* Deutsche Geschichte, 1866—1918. Arbeitswelt und Bürgergeist. München, 1990; *Sheehan J.* Der deutsche Liberalismus von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, 1770—1914. München, 1983; *Wehler H.-U.* Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 3 : Von der «Deutschen Doppelrevolution» bis zum Beginn des ersten Weltkrieges, 1849—1914. München, 1995.

<sup>4</sup> См.: *Möller H.* Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokratie. München, 1985.

О. Н. Яхно

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАЧАЛА XX в. (СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕКЛАМЫ)\*

Одним из самых заметных явлений рубежа XIX—XX вв. является быстрый рост городского населения. Города притягивали активных, ищущих заработка людей. Городское население увеличивалось в основном за счет молодых, наиболее сильных, работоспособных жителей окружающих территорий, уравнивая социально-экономическое положение, права и интересы различных социальных групп. Являясь промышленным, финансовым, административным центром, город формировал и новую городскую

---

\* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 08-01-83103а/У.

культуру. Ее неотъемлемой частью являются различные структуры и учреждения, которые соответствовали передовому современному общественному укладу. Капитализм объективно требовал повышения культурного уровня общества, распространения не просто элементарных знаний. Рост грамотности формировал и специфическую информационную городскую среду. Повышая информированность общества, активно распространяя эталонные оценки и суждения, пресса способствовала унификации культурного пространства как на общероссийском, так и на местном уровнях. Еще более этому способствовало распространение коммерческой рекламы.

Рекламная проблематика начала XX в. (предметы быта, гигиены, одежда, парфюмерия и т. д.) красноречиво говорит об экономической ситуации в стране, об адресности изданий и содержащейся в них рекламы. Потребителями рекламы были состоятельные господа, с устойчивым доходом, с не консервативным, но респектабельным вкусом. «В период 1908—1913 гг. — время расцвета русской рекламы, коммерческой, деловой, биржевой, рекламы услуг, театральной, медицинской, женской, — был наработан богатейший опыт организации рекламного дела, подачи текста, рекламного дизайна, традиции формирования слоганов, выработки фирменных знаков и т. п.»<sup>1</sup>. Помимо информации о товарах и услугах, используемых в повседневной жизни, реклама демонстрирует актуальные ценности, эстетические нормы. Реклама позволяет нам восстановить образ положительного героя, его стиль жизни, потребительские вкусы. Информация ментального характера в таком источнике, как реклама, непосредственно не фиксируется. Именно поэтому она обладает исследовательской ценностью, так как на потребительское значение вещи или услуги наслаиваются ценностные смыслы. Реклама и зафиксировала для нас несколько важных переходов в общественном сознании.

Во многих случаях реклама является единственным источником, который сохранил в совокупности упоминания о вещах и услугах. Предметы и бумаги повседневной жизни не считаются особо важными, выбрасываются владельцами, приходят в негодность, часто уничтожаются. Осознавая, что рекламировались «дорогие» това-



ры и услуги, мы можем восстановить все-таки наиболее актуальные тенденции в определенный исторический отрезок времени.

Первое, что бросается в глаза, — изменение статуса многих профессий. Ощущение свободы выбора и принципиальной возможности реформ было связано с растущей социальной мобильностью, открывавшей новые возможности, а диктовать новые нормы стали новые профессиональные и интеллектуальные группы<sup>2</sup>. Предприниматели и врачи сделались самыми влиятельными группами в области формирования общественного мнения. В частности, это можно заметить в том, с какой настойчивостью продвигались идеи гигиены в массы. Здоровье и прогресс были девизом времени.

Кстати, прогрессивность выразилась и в художественном оформлении рекламы. В начале XX в. таким стилем был модерн. Он изначально был направлен на привнесение искусства в частную жизнь человека и утверждал, что самое прозаическое содержание может быть представлено в высокохудожественной форме. Еще и поэтому реклама становится важным источником для реконструкции, так как формирование стиля всегда тесно связано с определенными социальными и идейными условиями. Стили возникают под влиянием крупных социальных перемен и первоначально отражают прогрессивные идеологии новых социальных условий<sup>3</sup>.

С другой стороны, образ успешного горожанина формировался подспудно и нередко шел от самих городских жителей. Реклама чутко реагировала на «ожидания» потенциальных потребителей. Через сто лет трудно оценить, насколько влияли рекламируемые товары и услуги на образ жизни и насколько широко они вошли в реальный быт. Но реклама четко зафиксировала изменение представлений о красоте, здоровье, способах их поддержания, физическом воплощении различных возрастов. Решительно все могли, как объявляла реклама, соответствовать требованиям времени. Отчетливо фиксируются требования быть здоровым, энергичным, следить за новыми идеями и техническими достижениями. Явлениями, несовместимыми с понятиями о красоте тела, были объявлены ожирение, худоба, неэстетичная пластика бюста. «Причинами полноты, кроме наследственности, является негигиенический

образ жизни, неумеренность в еде, злоупотребление питьем, сладкими и пряными веществами, а главное, отсутствие движения. Одним из рациональных методов борьбы с полнотой является диета с физическим методом лечения, т. е. применение массажа, гимнастики, спорта»<sup>4</sup>.

Нагляднее всего это проявилось в рекламе средств гигиены и косметики: мыла, зубных порошков, кремов, помад и прочих средств по уходу. Веснушки, загар, наряду с угрями и желтыми пятнами, объявлялись недостатками кожи, с которыми можно было бороться. «Крем “Метаморфоза” единственно признанный женщинами всего мира. Бесспорно радикально удаляет веснушки, угри, пятна, загар, морщины и другие дефекты лица»<sup>5</sup>. Газеты призывали присоединяться к счастливым обладателям хороших волос, так как определенное мыло «совершенно устраняло перхоть и необычайно способствовало росту волос»<sup>6</sup>. Варианты средств были разнообразны и в большинстве своем имели очень звучные названия. Крем «Снежинка», мыло «Снег», парфюмерия «Экстаз», японский крем «Банзай». Как загар у женщин, так и лысина у мужчин были недостатком, который можно было исправить с помощью косметики: «“Яволь” сохраняет ваши волосы»<sup>7</sup>.

Важным было сочетание эффективности действия при небольших усилиях со стороны человека. Например, в рекламе бритвы отмечалась именно возможность бриться в домашних условиях, что экономило деньги и время. «Жилетеном может пользоваться каждый безо всякой опасности пореза, не тратя ни денег на парикмахера, точение и правку, ни времени на хождение за этим»<sup>8</sup>. В театральном журнале было напечатано обращение к каждой женщине, чтобы они знали, что «благодаря месячным поясам Руссель с подушечками» они могут чувствовать себя «опрятно, гигиенично и без забот»<sup>9</sup>.

Актуальным становится имидж, с одной стороны, добросовестного профессионала, а с другой — добропорядочного гражданина. В рекламе аптекарских и парфюмерных товаров фирмы Р. Келлера акцент делался именно на эти качества. «Известная доброкачественность и “свежесть” товаров. Известная умеренность цен и добросовестное исполнение заказов. Интересны для всех расчетливых, но вместе с тем любящих комфорт и порядок хозяев»<sup>10</sup>.

Поддерживать хороший тонус также становилось просто с помощью современных достижений. «Если Вы страдаете какой-либо слабостью, нервностью, истощением, недостатком жизненной энергии или если Вам недостает здоровья, полноты, чистой крови, если Вам не хватает юношеской свежести, магнетической внешности, делающей столь привлекательной женщину. Питательное средство “Альбукола”»<sup>11</sup>. Старый человек исчез, по крайней мере, из языка. Его сменили «солидные», «хорошо сохранившиеся» дамы и господа. Техническая идея консервации заменила биологическую и одновременно моральную идею старости.

Реклама, используя определенный эффект сенсационности, обращалась к каждому в очень настоятельной форме. «Каждая женщина может сделаться красивой и надолго сохранить свою красоту. Крем “Ренессанс” создает, поддерживает и возвращает красоту, молодит и делает лицо юношески свежим... Вообще очищает лицо, делает кожу гладкой и красивой»<sup>12</sup>. В таком же ключе печатались объявления о продаже различных лекарств. «Грехи молодости, ненормальный образ жизни и тяжелые условия разрушают нервную систему и вызывают половое бессилие. В борьбе с тяжелым недугом наука изыскивает средства, и ее последним могучим словом является могучее питательное и силовосстанавливающее средство Лецитал»<sup>13</sup>. Правда, на этой же рекламной странице помещаются предложения купить книги игривого содержания или 10 секретных фотокарточек парижского содержания. Практический подход чувствуется и в объявлении и продаже книги, которая помогает овладеть искусством быть всегда занимательным.

Идею здоровья, простоты, гигиеничности стали применять и к костюму. Повседневная одежда претерпела значительные изменения. Удешевлялся материал, упрощался крой, появлялось готовое платье, фабричная отделка и т. д. В печатных изданиях предлагалось купить по каталогам готовые вещи или воспользоваться услугами магазинов. Но и они обещали удовлетворить запросы «лиц, привыкших хорошо одеваться и желающих сберечь время и деньги. Изящный покрой»<sup>14</sup>. Зато реклама столичного универсального магазина опиралась на необходимость отвечать требованию времени и «удовлетворять всему, что опытом признано удобным, полезным и необходимым»<sup>15</sup>.

В начале XX в. сформировался универсальный комплект одежды и для женщин. Вариант, состоящий из юбки и блузки, оказался удобным для большинства жительниц. Постепенно стирается граница между костюмом различных слоев населения. Модные тенденции и новинки были предназначены для всех слоев. Например, с модным фасоном могла ознакомиться и воспользоваться им любая женщина. «Самое модное, новое, изящное, эффектное и практичное для дам и барышень есть блуза “Кимоно”, сшитая из наилучшей тонкой шерстяной набивной материи в японско-турецком вкусе»<sup>16</sup>. Одновременно с развитием спорта, хобби, путешествий появляются объявления о специализированной одежде. Новые занятия напрямую связаны с урбанизацией, городской культурой, где живут новые мужчины и женщины в новых условиях. Таким образом, реклама формировала новые потребности у покупателей путем воздействия на референтные группы. Революционное разрушение традиций, дерзкие заимствования из различных культур были предвестниками борьбы за различные свободы: социальные, духовные, сексуальные<sup>17</sup>.

Изменения коснулись такой стороны повседневной жизни, как питание. Рекламные объявления свидетельствовали об изменении продуктового календаря. Фрукты, ягоды, зелень становятся доступными круглый год. В местные екатеринбургские магазины, судя по рекламе, привозились арбузы, сладкие мессинские апельсины. Мандарины, свежие ананасы и бананы, свежие алжирские финики и другие фрукты. Появляются продукты быстрого приготовления или полуфабрикаты для приготовления десертов, мороженого, разнообразных настоек, фруктовой воды в домашних условиях. Особенно в этом случае подчеркивался фактор времени, необходимый для приготовления блюд.

Конечно, большая часть рекламы была направлена на продвижение на рынке престижных продуктов. Это касалось спиртных напитков, сладостей, кофе, какао и пр. Но реклама подтверждает в то же время широкий ассортимент рыбы, мяса дичи, пива в екатеринбургских магазинах. Их перечень и сегодня вызывает удивление и даже легкую зависть. Например, такое объявление: «СЕЛЬДИ керченские, дунайские, костельбавские, королевские, сосьвенские,

астраханские, архангельские, тураханские; копчушки, лососина; семга двинская, печерская; кета, белорыбица; балык нельмовый, гурьевский, осетровый, белужий. Икра: паюсная, моксуновая, кетовая, щучья, лещевая, язевая. Малосолая: белуга, севрюга, осетр уральский, шип казалинский, остер сибирский, моксун, судак. Морожены: осетр, нельма, моксун икряный, моксун холостой, стерлядь, сырок, щука, язь. Налим, окунь, карась, ерш. Ежедневное копчение моксунов, стерлядей, нельмы, сырка. Зернистая икра 2 р. 30 к.»<sup>18</sup>.

Обязательным было соблюдение постов, и на это магазины реагировали соответствующим образом, о чем также оповещали горожан. «Постные припасы: грибы сухие, соленые и в маринаде, грузди; вишни; крупы различные; масло горчичное и подсолнечное; сельди копчушки дешевыя; мед сотовый, уфимский и спущенный, сибирский; консервы растительные для стола. Масло галлипольское (деревянное) превосходное. Цены умеренные. Доставка покупок в квартиры»<sup>19</sup>.

Чтобы успешно справиться с ведением домашнего хозяйства, предлагалось большое количество всевозможной домашней утвари. Это касалось кухонной и столовой посуды, различных приспособлений для поддержания чистоты комнат, одежды и белья. Рекламировались некоторые новинки домашней бытовой техники: пылесосы, стиральные машины, миксеры, чайники и т. п. «Паромойка Иона — непобедимая стиральная машина. Стирает исключительно паром и одновременно дезинфицирует белье. Ничуть не нарушает и не портит белье»<sup>20</sup>.

Цивилизация старалась максимально упростить некоторые трудоемкие стороны повседневной жизни. В век открытий во всех областях особенно осознается динамизм современной жизни. «ВЕСЬМА оригинальный и практичный новоизобретенный прибор. Аппарат-кухня с сухой вечно не портящейся массой, благодаря которой аппарат-кухня моментально зажигается и горит сильным пламенем без копоти и дурного запаха, горение 1 к. в час. Абсолютно безопасно. Чудо-кухня необходима каждому семейному и холостому, гг. офицерам незаменима в походе. Благодаря складному прибору служит походной кухней»<sup>21</sup>.

Таким образом, реклама живо отзывалась на все насущные требования времени. В периоды перемен актуализируются такие черты, как готовность постоянно меняться, менять окружающий мир, ощущать остроту новизны. Реклама и служит примером этого нового ощущения времени. Она смело опирается на авторитет науки, продвигая последние достижения в области медицины, химии, механики и т. д. Реклама начала XX в. отчетливо демонстрировала становление новой культуры, более открытой, основанной на возможности обсуждать любые проблемы. Новым также становится вовлечение всех слоев населения в «модное потребление». Она давала каждому возможность через потребление товаров и услуг ощутить причастность к всеобщему и универсальному. Одновременно шло формирование образа современного горожанина, а он должен быть рациональным, деятельным, добропорядочным. Много товаров, хороших и разных, позволяет новому, включенному в систему рыночных отношений человеку активно формировать себя, подбирать свое окружение, создавая из множества стандартных товаров индивидуальный стиль.

<sup>1</sup> См.: *Макашина Л. П.* Русская реклама. Отечественная практика (1703—1918): учеб. пособие. Екатеринбург, 1995. С. 17.

<sup>2</sup> См.: *Гусарова К.* Тело на распутье: взгляд на чистое и грязное во второй половине XIX века // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. Весна (№ 7). С. 160.

<sup>3</sup> См.: *Савельева О. О.* Коммерция в стиле модерн // Человек. 2002. № 5. С. 60.

<sup>4</sup> Журнал для женщин. 1916. № 12. С. 24.

<sup>5</sup> Зауральский край. 1915. 30 марта.

<sup>6</sup> Уральская жизнь. 1909. 14 июня.

<sup>7</sup> Там же. 22 мая.

<sup>8</sup> Весь мир. 1911. № 11.

<sup>9</sup> Рампа и жизнь. 1913. № 43.

<sup>10</sup> Царь-колокол. 1891. № 1. С. 15.

<sup>11</sup> Зауральский край. 1915. 24 июня.

<sup>12</sup> Новый журнал для всех. 1909. № 3. Ст. 122.

<sup>13</sup> Весь мир. 1911. № 33.

<sup>14</sup> Новый журнал для всех. 1909. № 3. Ст. 116.

<sup>15</sup> Царь-колокол. 1891. № 1. С. 17.

<sup>16</sup> Уральский край. 1911. 24 фев.

<sup>17</sup> См.: *Затулий А. И.* Трансформация костюма XX века // Общественные науки и современность. 2007. № 5. С. 169—170.

<sup>18</sup> Уральский край. 1910. № 235.

<sup>19</sup> Екатеринбургская газета. 1906. № 1.

<sup>20</sup> Уральский край. 1910. 4 июля.

<sup>21</sup> Екатеринбургская газета. 1906. № 1.

*Т. В. Краева*

## СССР 1930-х гг. В ОСМЫСЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Исследование советского режима всегда выступало во французском россиеведении в качестве одной из самых притягательных и приоритетных тем, несколько затмевая даже, быть может, другие периоды отечественной истории. Специфика современной французской историографии советской истории определилась в середине 90-х гг. XX — начале XXI в. под воздействием ряда факторов, в частности: распада СССР, окончания «холодной войны», становления демократических институтов на постсоветском пространстве. Одним из важнейших условий нового взгляда французов на советскую историю выступило отстранение в процессе исследования от политической подоплеки эпохи «холодной войны». Зарубежные исследователи отмечают, «чтобы изменить взгляд, прежде всего, необходимо было избавиться от политического анахронизма, пронизывающего суждения о прошлом»<sup>1</sup>, немаловажен также и аспект включенности в проблемное поле нового поколения исследователей, практически не вовлеченных в свое время в политические бои коммунизма. Для широкого круга отечественных читателей исследование советской истории французами связано, прежде всего, с именами Николя Верта, работа которого «История советского государства» стала по сути первым учебным пособием по данному периоду отечественной истории в постсоветской России, а также Элен Каррер Д'Анкосс, историка, политолога, специалиста по истории России, постоянного секретаря

Французской академии наук, работы которой посвящены различным периодам российской истории, немалая доля из них приходится на исследование советской действительности. В 1990-е гг. эти исследователи являются частыми гостями российских радиопередач, посвященных проблемам сталинизма и переосмыслению опыта тоталитаризма современным обществом.

Длительное время исследования советской истории шли в рамках теории тоталитаризма. В связи с этим для многих современных французских авторов тоталитарный концепт приобрел негативный смысл, поскольку он вырабатывался на фоне «холодной войны». Характерен в этом смысле призыв в начале 1990-х гг. Н. Верта «деполитизировать дискурс о СССР и рассматривать советскую реальность без шор тоталитарной школы, которая преобладала до сих пор»<sup>2</sup>. Критика тоталитарной концепции была связана также с гипертрофированностью в изучении политического в ущерб социальному, экономическому и культурному, а также чрезвычайным схематизмом объяснительной модели. Между тем в нынешних подходах к исследованию советской истории сказывается влияние актуального для 1970—1980-х гг. спора советологов-тоталитаристов и советологов-ревизионистов. В интерпретации первых СССР представлял собой тоталитарный режим, закрытое социальное пространство с тотальным вмешательством власти на протяжении всего своего существования. Главным его критерием был террор, причем подчеркивалось, что, даже ослабев после смерти Сталина, террор не переставал напоминать о себе до крушения режима и был составной частью системы. Для историков-ревизионистов действительно тоталитарный характер был присущ СССР только в течение сталинского периода с сопутствующим ему массовым террором, однако после 1953 г. происходит расшатывание основ, общество становится все более непокорным, и с 1960—1970-х гг. можно говорить о возникновении зачатков свобод и гражданского общества в СССР. Во-первых, ревизионисты полагали, что эволюция от ленинского режима к сталинскому не была неизбежной, т. е., по сути, отрицают преемственность режимов; во-вторых, ими подчеркивается существующий разрыв



теории тоталитаризма с практикой советской действительности. В качестве примера может выступать коллективизация как вынужденная мера (отстаивание интересов меньшинства — рабочих перед подавляющим большинством — крестьянами), а вовсе не соответствующая логике тоталитаризма. Кроме того, историки-ревизионисты обращали внимание на то, что государство-монолог — это лишь схематичное представление, внутри аппарат пронизывали противоречия и консенсусы, импровизации, конкурентные интересы и расходящиеся концепции. Немаловажное значение придавалось также новым интерпретациям в осмыслении сценариев и механизмов террора. Так, например, в ряде случаев насилие не являло собой неотъемлемое средство советского режима, но представлялось как возможность для самореализации отдельным «маленьким людям».

В 1990-е гг., после крушения СССР, этот спор обрел новое воплощение. В связи с тем, что распад Советского Союза не помещался в обозначенные историками-ревизионистами социальные параметры и не был ими прогнозирован, вновь происходит оживление политической истории, в том числе и в рамках тоталитарной концепции.

Несмотря на определенный скепсис в отношении тоталитарного концепта, в современной французской историографии сделаны, на наш взгляд, серьезные шаги в деле переосмысления тоталитарного феномена, в том числе и на советском материале. Об этом свидетельствуют разработки участников Парижских коллоквиумов по тоталитаризму (2000—2004 гг.). Материалы этих дискуссий, изданные под редакцией известного французского историка, профессора университета Париж X, редактора журнала «Коммунизм» Стефана Куртуа, позволяют выделить характерные черты современного подхода при изучении тоталитарных феноменов. Например, выделяется множественность моделей тоталитаризма, что позволило Стефану Куртуа в предисловии к известной «Черной книге коммунизма»<sup>3</sup> сделать сопоставление преступлений советского и нацистского режимов, вызвавшее острую дискуссию даже среди авторов книги (в частности, глава, посвященная России, была

написана Н. Вертом). Парижские коллоквиумы в конечном итоге показали, что отныне тоталитаризм должен рассматриваться не как универсальное явление с определенным набором признаков, но как динамически меняющийся, многовариантный феномен.

Французская исследовательница советско-французских отношений 1920—1930-х гг. Софи Кёрэ подчеркивает, что долгое время «сплошное отсутствие архивов, в сущности, способствовало подталкиванию части исторической рефлексии о советском коммунизме к абстракции системных конструкций, особенно вокруг понятия тоталитаризма»<sup>4</sup>. Доступность с середины 1990-х гг. новых архивных материалов определила новый характер исследований по советской истории. Одна из тенденций современной французской историографии может быть выражена образной формулой исследовательницы Арлетт Фарж — «Вкус архива»<sup>5</sup>, давшей название одной из ее работ (Париж, 1989). В русле современной французской историографии важнейшей из задач становится стремление «обнаружить и передать архивные данные, не искажая их устаревшими интерпретациями или субъективными комментариями»<sup>6</sup>. Историк должен практиковать самоустранение, не затеяя своим рассказом вкус самого источника. В соответствии с обозначенной тенденцией французские исследователи советской истории все более пристальное внимание уделяют работе с новыми источниками, не избегая их многочисленных и обширных цитирований, их работы насыщены конкретными деталями, появляются труды, выполненные в жанре микроистории. В числе таких исследований можно назвать работу специалиста по новейшей истории Института политических исследований в Гренобле Пьера Бруэ «Коммунисты против Сталина» (Париж, 2003)<sup>7</sup>, Софи Кёрэ «Великий свет с Востока» (Париж, 1999)<sup>8</sup> и др. Особый отклик как у французских, так и у русских читателей вызвала книга Николя Верта «Остров каннибалов» (Париж, 2006)<sup>9</sup>, где автор рассказывает о том, как тысячи советских заключенных, арестованных во время сталинских чисток, были без еды и крыши над головой брошены на необжитой полосе сибирской земли, расположенной посреди реки Оби на острове Назино. По сведениям автора, в конце весны

1933 г. меньше чем за четыре недели умерли 4 тыс. из 6 тыс. заключенных, были зарегистрированы десятки случаев каннибализма. Книга написана по архивным материалам и показаниям свидетелей, которые семьдесят лет держались в секрете. Отечественная исследовательница Н. В. Трубникова, характеризуя особое отношение французских исследователей к рассекреченным источникам, говорит даже о «почти позитивистской вере в самоценность документа»<sup>10</sup>, отсутствии выраженной концептуальности, что приводит к усилению вкуса к сфере культурного. Таким образом, в фокус исследований обновленной социальной истории попадает «живой сталинизм». Новые социальные историки начинают обращаться к таким темам, как изучение интересов, объясняющих процессы включения личности в общественную систему (карьера, материальная выгода), индивидуального сознания в рамках коллектива, связей между социально-экономической структурой и личным действием. Данные подходы характерны для сборника научных трудов «Власть и общество в Советском Союзе» (Париж, 2002), цикла статей и дискуссий на страницах «Cahiers du Monde Russe» в 1996—2000 гг.

На нынешнем этапе переосмысление советской истории продолжается также в рамках современной цивилизационной теории. Интересна и показательна в этом смысле работа «От СССР к России. Советская цивилизация: генезис, история и метаморфозы от 1917 г. до наших дней» (Париж, 2006)<sup>11</sup>, авторы которой — преподаватели университетских курсов русской цивилизации и новейшей истории Жан-Робер Равио и Талин Тер Минассиан. Хронологически работа охватывает период социально-политической истории СССР (1917—1991) и последующий постсоветский период. Авторы исходят из того, что СССР был «не просто государством, политическим режимом и социально-экономической моделью, но настоящей цивилизацией»<sup>12</sup>. Исследователи говорят о цивилизационном сдвиге, связанном со сталинской модернизацией. Если в октябре 1917 г. происходит политический слом старого мира и установление новой системы управления, то подлинная тотальная социальная и социокультурная революция начи-

нается с 1929-го — года «великого перелома» и длится в течение десятилетия на протяжении 1930-х гг. Так, охватывающая период 1929—1941 гг. глава книги имеет название «Пришествие советской цивилизации: эра масс». Именно сталинский модернизационный проект дал импульс перерождению общества: традиционное и сельское, оно встает на индустриальный путь. В качестве результата Равио и Минассиан подчеркивают, что «менее чем за 30 лет (1930—1960), т. е. в пределах одного поколения, страна на три четверти деревенская и крестьянская становится в большинстве городской и индустриальной. Сталинизм дал рождение новой цивилизации в этимологическом смысле термина (от лат. *civitas*): новой цивильности, новому гражданству, новому Городу. Урбанизация, размах и скорость которой были значительными, представляет собой конкретное проявление этого подлинного цивилизационного поворота»<sup>13</sup>. Этот цивилизационный сдвиг проявился и в складывании новых культурных и поведенческих кодов. В частности, изменение грамматики и лексики языка, наполнение ранее привычных слов и выражений новыми неясными и неустанно меняющимися смыслами<sup>14</sup>. Эта культурная трансформация отражает во многом трансформацию социальную: крушение четкой стратификации общества, потрясение основ социального порядка приводит к шаткому образованию вроде «стечения масс». Созданное посредством организации масс в «советский коллектив» общество находится под воздействием идеологических институтов. «Великий перелом» обусловил также трансформацию диктатуры партии-государства в тиранию. Авторы подчеркивают, что личность Сталина как нельзя более соответствует классической дефиниции тирана, а террор стал главным средством социальной регуляции<sup>15</sup> в эру масс. Между тем после смерти Сталина, создавая свое социальное бытие, формируя поведенческие правила, «советский коллектив» с течением времени все же находит возможности для индивидуального свободного пространства, и в первую очередь в сфере частной жизни. При этом чем больше укореняется коллективное, тем больше растет и развивается частное. В конечном счете, эта диалектика приводит к серьезным противоречиям, ослабляющим

постепенно основы «сталинской модели», что становится все более ощутимым с конца 1970-х гг. Авторы делают вывод о том, что наследие советской цивилизации измеряется важностью ее материального наследства, прежде всего индустриального, равно как и глубокого отпечатка в менталитете. А сама советская цивилизация — это проявление одной из сторон не западной формы модерности<sup>16</sup>.

Подводя итог, следует отметить, что современная французская историография советской истории может быть сведена к следующим основным концепциям: теории тоталитаризма, новой социальной истории, а также цивилизационной теории. Между тем на современном этапе в целом можно наблюдать некоторую концептуальную неопределенность подходов в осмыслении политических, социальных и культурных процессов советской истории 1930-х гг.

---

<sup>1</sup> *Cœuré S.* La grande lueur à l'Est. Les Français et l'Union soviétique, 1917—1939. P., 1999. P. 9.

<sup>2</sup> *Werth N.* De la soviétologie en général et des archives soviétiques en particulier // *Le Débat.* 1993. N 77. P. 128.

<sup>3</sup> *Courtois S., Werth N., Panné J.-L. et al.* Le Livre noir du communisme: crimes, terreur, répression. P., 1997.

<sup>4</sup> *Ibid.* P. 10.

<sup>5</sup> *Farge A.* Le Goût de l'archive. P., 1989.

<sup>6</sup> L'histoire aujourd'hui. P., 1999. P. 370.

<sup>7</sup> *Broué P.* Communistes contre Stalin. Massacre d'une génération. P., 2003.

<sup>8</sup> *Cœuré S.* Op. cit.

<sup>9</sup> *Werth N.* L'île aux cannibales: 1933, une déportation-abandon en Sibérie. P., 2006.

<sup>10</sup> *Трубникова Н. В.* Французское россиеведение: традиции тоталитарной парадигмы и новые исследовательские стратегии // *Изв. Томск. политехн. ун-та.* 2005. Т. 308, № 2. С. 182.

<sup>11</sup> *Raviot J.-R., Minassian T.-T.* De L'URSS à la Russie. La civilisation soviétiques: genèse, histoire et métamorphoses de 1917 à nos jours. P., 2006.

<sup>12</sup> *Ibid.* P. 3.

<sup>13</sup> *Ibid.* P. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.* P. 23.

<sup>15</sup> *Ibid.* P. 32.

<sup>16</sup> *Ibid.* P. 144—145.

*Т. А. Баженова*

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»:  
РЕВИЗИОНИСТСКИЙ «ПОВОРОТ»  
В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
60—70-х гг. XX в.**

Феномен «холодной войны» в истории XX в. сложно переоценить. Его изучение определяется, с одной стороны, тем, что это еще совсем недавнее прошлое, с другой, — «холодная война» ознаменовала начало нового мирового порядка, складывавшегося после Второй мировой войны. Все это обусловило чрезвычайный интерес исследователей самых разных направлений — историки, международники, социологи, политологи, экономисты — к общим тенденциям и отдельным явлениям этого сложного процесса. На сегодняшний день историография «холодной войны» в своем развитии прошла три этапа: ортодоксальный, начавшийся практически одновременно с самой «холодной войной» и завершившийся в 60-е гг. XX в.; ревизионистский, сменивший первый этап и продлившийся до 1990-х гг., и постревизионистский, продолжающийся по сей день. Данная работа нацелена на осмысление так называемого ревизионистского «поворота» в историографии «холодной войны» в 60—70-х гг. XX в.

Несомненно, ортодоксальный период историографии «холодной войны» был самым «горячим». Говоря о хронологических рамках этого периода, следует оговориться, что на Западе (в частности, в американской историографии) он продолжается с середины 40-х до конца 50-х гг. XX в., в то время как в Советском Союзе он окончательно завершился лишь в 1991 г. Основной причиной тому стала политическая конъюнктура: пропагандистский характер литературы, ангажированность исследований, узы политкорректности, тенденциозность — все это породило диаметрально противоположные точки зрения исследователей, работавших по обеим сторонам биполярного мира. Среди работ этого периода — антисоветских и антиамериканских по содержанию — можно назвать советские

труды историков Б. Д. Дмитриева, А. Е. Куниной, В. И. Марушкина, в США — ранние антисоветские статьи А. Шлезингера, Н. Фонтена, Р. Арона и др.<sup>1</sup> Советские историки возлагали ответственность за развязывание «холодной войны» на американский империализм, подталкиваемый к экспансии частным капиталом. Для американских же исследователей было характерным обвинять, прежде всего, «тоталитарный советский коммунизм» и его лидера И. В. Сталина. Все действия Кремля после Второй мировой войны как на международной арене, так и внутри страны были подчинены агрессивным захватническим планам. Необходимо заметить, что литература подобного содержания издается и по сей день.

Американские представители ортодоксов — автор знаменитого американского плана послевоенного расчленения Германии Г. Моргентгау и один из первых теоретиков «холодной войны» У. Липпман — рассматривали «холодную войну» как борьбу двух супердержав за мировую гегемонию. Они считали, что присутствие Красной армии в Восточной Европе угрожает западному миру, но корень этого не увязывали с марксистской идеологией. Г. Моргентгау, Дж. Кеннан, Н. Грэнгер, Л. Хэйл видели основную опасность не в идее мировой революции, а в российском империализме, восходящем корнями к Петру I. Реалисты утверждали, что американский народ тяжело воспринял падение послевоенного мироустройства после рузвельтовских речей о сотрудничестве Великих держав, Четырех свободах и т. д. Сталин не поддержал свободных выборов в Восточной Европе, пошел на нарушения ялтинских договоров — эти факты позволили создать историкам официального направления образ «красного дьявола»<sup>2</sup>. Герберт Фейс, официальный историк «холодной войны», подталкивает своих читателей к выводу о том, что Рузвельт мало чего мог сделать для изменения послевоенного мира, так как Сталин «точил когти» на Восточную Европу и хотел использовать ее как буферную зону для будущей экспансии коммунизма<sup>3</sup>.

Однако, если в СССР клеймили США до самого 1991 г., то в США уже в 60-е гг. XX в. начинается период переосмысления истоков и причин «холодной войны», ревизионистский период, в ходе которого западные ученые своеобразно восприняли и пере-

работали идеи советских ортодоксов. Возникновение такого рода исследований было связано с появлением так называемых «новых левых» в США, а также с острой негативной реакцией американцев на начало войны во Вьетнаме. Исследователи-ревизионисты подвергли серьезному анализу экономическую историю «холодной войны», влияние научно-технического прогресса на международные отношения в послевоенный период, но они так и не избавились от главного порока, присущего их предшественникам, — «демонологии»<sup>4</sup>. Они продолжали видеть историю «холодной войны» в черно-белом цвете, продолжали искать виновного — теперь им стали «американский империализм» и капиталистическая экспансия, в то время как все действия Советского Союза оправдывались «отстаиванием национальных интересов». Хотя, справедливости ради, следует отметить, что и в среде новых левых имел место раскол на «радикалов», рассматривающих американскую историю сквозь призму империализма, и «левых либералов», сконцентрировавших свое внимание на внутренней политике, роли личности и бюрократии. К первым следует отнести братьев Дж. и Г. Колко, Л. Гарднера, Т. Патерсона, У. ЛаФебера, Г. Магдоффа, Г. Алперовица и др., а к левым либералам принято относить Д. Ш. Клеменса, Р. Стила, Д. Флеминга, А. Теохариса и др.<sup>5</sup> В целом эти новые левые и стали инициаторами ревизионистского «поворота». Они подняли серьезные темы: создание системы политического планирования в США (*decision-making*), взаимоотношений государства и капитала, общественные и личные интересы политических деятелей в процессе формирования официальной политики. Однако имел место и правый (консервативный, или изоляционистский) ревизионизм<sup>6</sup>. Исследователи данного направления ратовали за старый изоляционистский *modus vivendi* США и обвиняли «президентов-самоуправцев» Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта в совершенно бессмысленном вступлении в мировые войны<sup>7</sup>. Однако, в отличие от своих левых собратьев, правые ревизионисты не подвергали пересмотру тему сталинских амбиций или сущности советского режима, сосредоточившись лишь на неуместном вмешательстве США в европейские дела, и ограничились констатацией того факта, что некоторые политические решения повлекли за собой тяжелые последствия.



Уильям Эплмэн Уильямс, отец американской ревизионистской историографии<sup>8</sup>, объясняя причины американского экспансионизма, отсылает читателя ко времени отцов-основателей. «Просвещенные джентри, они использовали государственную власть, чтобы создать территориальную и торговую империю не из коммерческих интересов, но для всеобщего блага»<sup>9</sup>. Единственным минусом американской меркантилистской стратегии, по Уильямсу, был акцент на экономическую экспансию как основу для социальных реформ. Доктрина открытых дверей стала воплощением стратегии создания «неформальной империи», основанной на фритредерских законах. И доктрина Трумэна, по Уильямсу, была воплощением этой доктрины открытых дверей и нацелена на получение новых рынков сбыта. Ревизионисты расширили границы своего анализа за пределы узкой темы конфликта США — СССР в Европе и начали изучать «холодную войну» в мировом масштабе. Историки Т. Патерсон, Т. МакКормик и Р. МакМахон отошли от изучения политики сдерживания в Европе и стали рассматривать советско-американский конфликт через призму международной экономической системы и активизации антиколониальных движений после Второй мировой войны<sup>10</sup>. По мнению Колко и Магдофа, политические цели США в послевоенные годы являлись структурными требованиями капиталистической системы. Осознавая потребность доступа к зарубежным рынкам и сырьевым материалам, американские лидеры стремились создать международную систему, позволяющую бизнесменам беспрепятственно торговать по всему миру<sup>11</sup>. Историки-ревизионисты либерального направления полагали, что «холодная война» развязалась лишь по вине американских политических деятелей, потому что последние верили в американское всемогущество и всеведение. Убеденные в том, что их интерпретации международных соглашений были единственно верными, политические деятели США пытались преследовать свои интересы посредством одностороннего применения той силы, которой они обладали<sup>12</sup>.

Таким образом, с новой ревизионистской волной историографии «холодной войны» начался не только пересмотр причин ее возникновения (а соответственно, и виновников в ее развязыва-

нии) — произошел значительный прорыв в методах исследований. Чтобы составить достойную оппозицию своим ортодоксальным соотечественникам, историки-ревизионисты использовали системный подход в своих исследованиях, анализируя совокупность экономических, социальных, политических реалий соответствующего времени. Под влиянием марксистских исследований ревизионисты особое внимание уделяли экономическим аспектам «холодной войны», что способствовало более взвешенному и многостороннему анализу данной проблемы. Немаловажное значение было уделено роли личности в процессе принятия политических решений (эта тема была впоследствии развита и стала самостоятельным предметом исследований). И все же ревизионисты были склонны к «демонологии», возлагая ответственность за развязывание «холодной войны» в целом на США. Но, несмотря на это, данный период в историографии «холодной войны» подготовил почву для дальнейших более серьезных исследований этой темы, лишенных политической ангажированности.

---

<sup>1</sup> *Graebner N.* Cold War Diplomacy: American Foreign Policy, 1945—1960. Princeton, 1962; *Lippman W.* The Cold War. N. Y., 1947; *Morgentau H. J.* In Defense of the National Interest. N. Y., 1951; *Halle L. J.* The Cold War as History. N. Y., 1967; *Herz M. F.* Beginnings of the Cold War. Bloomington, 1966; *Feis H.* Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought. Princeton, 1957; *Feis H.* Between War and Peace: The Potsdam Conference. Princeton, 1960; *Jones J. M.* The Fifteen Weeds (February 21 — June 5, 1947). N. Y., 1955; *Lasch Ch.* The Cold War Revisited and Re-Visioned // New York Times Magazine. 1968. January 14; *Ацевский А.* ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. М., 1983; *Дмитриев Б. Д.* Пентагон и американская политика. М., 1967; *Кунин А. Е., Марушкин В. И.* Миф о миролюбии США. М., 1960; *Лан В. И.* США в военные и послевоенные годы, 1940—1960 гг. М., 1964; *Шевякин А. П.* Загадка гибели СССР. История заговоров и предательств, 1945—1991. М., 2003; *Яковлев Н. Н.* ЦРУ против СССР. М., 1986; *Яковлев Н. Н.* Силуэты Вашингтона. М., 1983.

<sup>2</sup> *Larson D. W.* Origins of Containment. A Psychological Explanation. Princeton, 1985. P. 7—8.

<sup>3</sup> См.: *Ibid.* P. 9.

<sup>4</sup> *Батюк В. И., Евстафьев Д. Г.* Первые заморозки советско-американских отношений в 1945—1950 гг. М., 1995. С. 7.

<sup>5</sup> *Fleming D. F.* The Cold War and Its Origins. N. Y., 1961; *Gardner L.* Architects of Illusion: Men and Ideas in American Foreign Policy. Chicago, 1970; *Kolko G.*

The Politics of War: The World and United States Foreign Policy. N. Y., 1968; *Maddox R.* The New Left and the Politics of the Cold War. Princeton, 1973; *Steel R.* Pax Americana. N. Y., 1967; *Bernstein B.* American Foreign Policy and the Origins of the Cold War. Bobbs-Merrill, 1975; *LaFeber W.* America, Russia, and the Cold War, 1945—1971. N. Y., 1972; *Barnet R.* Roots of War. N. Y., 1973; *Paterson T.* Soviet-American Confrontation, 1973; *Horowitz D.* Empire and Revolution. N. Y., 1960; *Kuklick B.* American Policy and the Division of Germany. N. Y., 1972; *Alperovitz G.* Atomic Diplomacy. N. Y., 1965; *Magdoff H.* Age of Imperialism. N. Y., 1969; *Ambrose S.* Rise to Globalism. N. Y., 1971; *Freeland R.* Truman Doctrine and the Origins of McCarthyism. Wash., 1971; *Theoharis A.* Seeds of Repression. Chicago, 1971; *Wittner L.* Cold War America. N. Y., 1974.

<sup>6</sup> *Hayward S.* Cold War Revisionism // First Principles. 22.09.2009.

<sup>7</sup> *Barnes H.* Perpetual War for Perpetual Peace. Michigan, 1953. P. 187.

<sup>8</sup> См.: *Herman S.* Wolk Revisionism and the Cold War // Air University Review. 1973. March — April.

<sup>9</sup> *Larson D. W.* Op. cit. P. 10.

<sup>10</sup> Encyclopedia of the New American Nation : Left Revisionism [Electronic resource]. URL: [www.americanforeignrelations.com](http://www.americanforeignrelations.com).

<sup>11</sup> *Larson D. W.* Op. cit. P. 113.

<sup>12</sup> *Paterson T.* Soviet-American Confrontation, 1973. Цит. по: Encyclopedia of the New American Nation : Left Revisionism.

С. С. Беляков

## ТВОРЧЕСТВО ГЕРМАНА САДУЛАЕВА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕНОМЕНА ЭТНИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Исследователи этнического национализма<sup>1</sup> не часто обращаются к такому источнику, как современная русская литература. Историки, накопившие значительный опыт в источниковедческом анализе художественной литературы, не рассматривают современные литературные произведения, так как они относятся к периоду, который в большинстве случаев выходит за временные рамки их трудов. Социология и этнология обращаются к изучению макропроцессов, опираясь при этом на различные типы массовых источников, в то время как художественная литература дает материал

скорее для исследования в области микроистории. Литературоведение и литературная критика не интересуются проблематикой этнического национализма, а потому избегают самой постановки проблемы.

Вместе с тем художественная литература может служить достаточно информативным источником для изучения феномена этнического национализма на персональном уровне. Работа на данном исследовательском уровне может служить не альтернативой, а дополнением к традиционным исследованиям, в частности, способствовать более точному описанию националистической картины мира, складывания и бытования национальных стереотипов. В изучении такой актуальной проблемы, как соотношение идеологии этнического национализма и бытовой ксенофобии, данный вид источника также может сыграть определенную роль.

Литература — форма самовыражения для писателя. В художественном произведении отражаются его взгляды, стереотипы (в том числе стереотипы этнические), психологические установки и, в конечном счете, персональная (авторская) картина мира. При этом следует учитывать значительные трудности, возникающие при анализе и интерпретации художественного произведения. Сочинительство воспринимается многими писателями как «игра» со словами, значениями и смыслами. Отделить собственно игровую составляющую от интересующих нас авторских представлений о его собственной нации и отношения этой нации с другими нациями и этническими группами представляется не всегда возможным. Поэтому для данного исследования избраны произведения писателя, чье творчество носит публицистический характер, а игровое начало выполняет сугубо служебную роль по отношению к идейному содержанию.

Герман Садулаев — молодой русский писатель<sup>2</sup> чеченского происхождения, автор четырех книг прозы и десятка повестей и рассказов, опубликованных ведущими всероссийскими литературными журналами, такими как «Знамя», «Дружба народов», «Континент», а также региональными литературными журналами «Аврора» и «Вайнах». В 2008 г. роман Садулаева «Таблетка» вошел в финал престижной литературной премии «Русский Букер»

(за лучший роман года) и даже считался одним из фаворитов. В 2009 г. вошел в финал другой престижной литературной премии — «Национальный бестселлер».

Произведения Садулаева публицистичны. Стиль, сюжет и герой, по-видимому, не самоценны для Садулаева. Его герои, будь то русский юродивый, чеченский «мафиози» или даже девушка на дискотеке — ходячие носители тех или иных идей. Авторскую позицию, как правило, представляет отчасти автобиографический герой-повествователь. Однако наиболее рискованные идеи он оставляет одному из героев, при этом повествователь превращается в собеседника или интервьюера.

Творчество Садулаева, насколько мне известно, еще не становилось объектом научных исследований. Литературная же критика не обращает внимания на этнонационалистическую составляющую его творчества<sup>3</sup>. Между тем рассказы, повести и романы Германа Садулаева дают богатый материал для изучения этнического национализма на персональном уровне.

Чеченский народ в творчестве Садулаева. В большинстве произведений Садулаева, в особенности ранних (2005—2007)<sup>4</sup>, национальная тематика занимает важное, нередко — центральное место. Чеченский этноцентризм Садулаева достаточно очевиден. В его текстах чеченцы по частоте упоминаний, как правило, далеко опережают прочие народы. В «Апокрифах чеченской войны» чеченцы упоминаются 71 раз, русские — 54, туркмены — 20, кабардинцы — 4, евреи — 4 раза. В повести «Одна ласточка еще не делает весны» чеченцы — 82 раза, русские — 24, евреи — 5 раз. В повести «Учение Дона Ахмеда» чеченцы — 72 раза, русские — 46, евреи — 20, китайцы — 16 раз. В рассказе «Бич Божий» чеченцы — 23 раза, русские — 12 раз. В рассказе «Хранители» чеченцы — 10 раз, русские — 6 раз. В «Илли» чеченцы — 27 раз, русские — 1 раз. Свою первую книгу Садулаев назвал «Я — чеченец!».

Чеченское общество для Садулаева — это общество равных: «Среди вайнахов не было ни князей, ни холопов, ни господ, ни слуг»<sup>5</sup>, — говорит герой Садулаева. В рассказе «Бич Божий» эта же мысль уже подается от автора. Вайнахи если и подчинялись чужеземным князьям, то лишь ненадолго, а затем «чеченцы

убивали князя и дальше жили на этой земле уже сами, без господина. А друг у друга чеченцы не батрачили — пасти их стада занимались “пришлые люди” из Дагестана и других краев»<sup>6</sup>. Поэтому над чеченцем нет «господина, кроме Аллаха»<sup>7</sup>.

В чеченском обществе нет и не может быть нищих, бродяг, люмпенов. Этому способствуют как особые нравственные качества чеченцев, так и система организации общества, не позволяющая его членам «опуститься на дно»<sup>8</sup>.

Чеченцев отличают «повышенная пассионарность»<sup>9</sup> и великолепные боевые качества. Во всех столкновениях с врагом чеченцы побеждают — от драки между русскими и чеченскими подростками<sup>10</sup> до криминальных разборок между чеченскими и русскими бандитами<sup>11</sup>.

Чеченцы рождены воевать и побеждать, оружие в руках приносит им радость: «Посмотрите на лицо чеченца, которому дают в руки оружие. Какой светлой радостью озаряется оно, какая нежность завлакивает глаза. <...> И мертвый, он будет сжимать в руках автомат, обнимать его, как невесту в брачную ночь»<sup>12</sup>. Чеченцы стреляют лучше всех, они видят в темноте без приборов ночного видения<sup>13</sup>. Словом, никто не сравнится с ними на войне. В повести «Одна ласточка еще не делает весны», написанной от первого лица, герой, по-видимому автобиографический, угрожает врагам: «Меня зовут Садулаев Герман Умаралиевич. Я чеченец. Я не умею бояться. У нас этот участок мозга, который за страх отвечает, атрофирован напрочь. <...> ...за каждого нашего — десять ваших положим, так принято»<sup>14</sup>.

Чеченцы никогда не сдаются в плен — ни в годы Великой Отечественной, ни на Афганской войне ни один чеченец будто бы не попадал в плен: «Они просто не умеют сдаваться»<sup>15</sup>. Для нас в данном случае не важно, соответствуют ли истине эти слова. Показательно другое: убежденность в наличии у чеченцев особых нравственных качеств, выделяющих этот народ. Лишь подавляющее превосходство противника может заставить чеченцев отступить, однако и в этом случае чеченцы никогда не смиряются с участью побежденных — не станут платить дань и подчиняться кому бы то ни было. Криминальный авторитет Дон Ахмед пояс-

няет герою: «Над чеченцем нельзя крышевать, он может только сам быть крышей»<sup>16</sup>. Такое положение дел в определенной степени осложняет даже криминальный бизнес, ведь в обществе равных очень трудно добиться субординации. Дон Ахмед таким образом объясняет герою интернациональный состав своей «бригады»: с чеченцами сложно работать, «каждый хочет быть доном»<sup>17</sup>.

Идея чеченской национальной исключительности не приводит Садулаева к чеченскому сепаратизму. К идее независимой Ичкерии он относится скептически. Прежде всего, потому что чеченцам Россию все равно не победить. Он порицает Дудаева за то, что тот решился на заведомо проигрышную для чеченцев войну: «Генерал авиации, он должен был понимать, что в современной войне полное господство в небе обеспечивает и победу под ним. Но он повел обреченный народ на войну, на войну с небом»<sup>18</sup>.

Кроме того, Садулаев признает наличие общего культурного пространства, объединенного русским языком, русской литературой, культурным наследием Российской империи и Советского Союза: «У нас одна общая культура, Михаил Булгаков — и наш великий писатель. Как и Чингиз Айтматов. А Махмуд Эсамбаев — наш общий великий танцор, Виктор Пелевин — наш постмодернист»<sup>19</sup>.

Садулаев, человек левых убеждений<sup>20</sup>, в целом положительно оценивает советский период истории. Советский Союз для Садулаева — Родина. Ностальгия по советскому времени, когда «одному человеку было еще дело до другого»<sup>21</sup>, ему не чужда. К теме Великой Отечественной войны он относится с пиететом: общая война и общая победа над общим врагом<sup>22</sup>. Распад Советского Союза — не только величайшее несчастье, но и преступление, совершенное врагами: «Жиды<sup>23</sup> и масоны ослабили КГБ и развалили великую державу, СССР, чтобы бросить достояние ее народов к ногам транснациональных корпораций»<sup>24</sup>.

Будущее Чечни и чеченцев он видит именно в рамках «большой страны», подобной Советскому Союзу, где чеченцы должны занять особое место. Идее чеченского мессианства посвящена повесть «Учение Дона Ахмеда»<sup>25</sup>. Основное содержание — рассказы-поучения лидера питерской чеченской мафии Дона Ахмеда,

обращенные к герою повести. Беседы Дона Ахмеда посвящены древней русской истории и новейшей истории чеченцев<sup>26</sup>.

Дон Ахмед выступает сторонником российской (но не русской!) имперской идеологии, так как большая, сильная, имперская Россия выгодна чеченцам: «В единой великой России и мой бизнес будет единым и великим. <...> Подумай сам, зачем чеченцам отделяться от России? Если Чечню отделить, что останется чеченцам? Только сама Чечня. Старые горы, мелкие речки да остатки нефти»<sup>27</sup>. Но, к счастью, помимо маленькой Чечни есть большая Россия, которая и должна стать жизненным пространством (*sic!*) чеченского народа: «И эти пространства, дарованные нам Всевышним Аллахом... — все земли России. Русский народ вымирает, каждый год коренное население России сокращается на миллион. Если русские земли не заселим мы, это сделают другие, те же китайцы»<sup>28</sup>.

По версии русской истории, предложенной Доном Ахмедом, русское государство было создано варягами, которые «крышевали» торговцев на пути из варяг в греки, собирали дань со своих подданных-славян, защищали их, но и... продавали в рабство. Потом роль варягов перешла к монголам, а в наши дни она должна перейти к чеченцам: «Россия — великая держава, у нее свой путь и особая историческая миссия на Земле. А у чеченцев своя миссия в России. <...> Чеченцы с их активностью, с их авантюризмом должны стать новыми варягами для России и возродить величие ее государственности»<sup>29</sup>. Правда, Дон Ахмед оговаривается, что речь идет не об эксплуатации русского народа чеченским, но о взаимовыгодном симбиозе, однако приведенный выше пример о варягах и славянах заставляет предположить обратное. В любом случае, чеченский народ в такой концепции выступает как народ господствующий, привилегированный. Обращает на себя внимание интернациональный состав «бригады» Дона Ахмеда: украинец, молдаванин, казах, адыгеец, карел и т. д. Но руководит всеми — чеченец. Герою тут же приходит на память старый лозунг: «Пятнадцать республик — пятнадцать сестер»<sup>30</sup>. Таким образом, «бригада» рассматривается в качестве своеобразной модели «великой России» или нового Советского Союза. Моральное



право на господствующее положение чеченцы доказывают с оружием в руках. Ваха, чеченец-ветеран Великой Отечественной, зарезал эстонца, который обозвал его русского друга «русской свиньей»<sup>31</sup>. Дон Ахмед погиб «за Россию» в битве с китайцами<sup>32</sup>.

Но можно ли «учение» Дона Ахмеда отождествлять с авторской позицией? С одной стороны, идею чеченского мессианства высказывает не автор и даже не герой-повествователь. Последний даже дистанцируется от наиболее одиозных (см. ниже) высказываний Дона. С другой стороны, Садулаев, по всей видимости, не случайно дважды (в «Учении Дона Ахмеда» и в «Пурге») обращается к этой теме. Дон Ахмед представлен благородным и бескорыстным воином, подобным князю Святославу Игоревичу, одному из любимых героев самого Садулаева<sup>33</sup>. Не желая прямо подписываться под столь радикальными суждениями, Садулаев, тем не менее, их пропагандирует.

Чеченская этническая исключительность, по мнению Садулаева, обусловлена расовыми особенностями чеченцев. Национальность человека определяется в значительной степени «кровью», т. е. этническим происхождением. Русский парень Динька (Денис) из новеллы «Когда проснулись танки», вошедшей в «Апокрифы чеченской войны» и книгу «Я — чеченец!», ведет себя как настоящий вайнах. Он красив, благороден (никогда не бьет побежденного), отважен до безумия. Секрет раскрывается просто: Динька чеченец по отцу. Незаконнорожденный, но все-таки чеченец по крови, а кровь, как повторяет садулаевский герой вслед за булгаковским, великое дело<sup>34</sup>. Враг Диньки, Сабилов, невысокий, коренастый, «с черепом неандертальской формы»<sup>35</sup>, издевается над ним, бьет лежачего и т. д. Но его поведение объясняется следующим образом: Сабилов не чеченец, а кабардинец, который лишь пытается «очечениться». Когда происхождение героев выясняется, парни-чеченцы, наблюдавшие за дракой, выносят свой приговор: «Извини, Денис. Ты наш брат, и теперь, если что, только скажи нам. Мы всех за тебя убьем. <...> А ты вали отсюда, кабардинская собака»<sup>36</sup>.

Чеченцы — народ сложносоставной, а тейповая система в значительной степени помогает сохранить память об иноэтничных

предках многих чеченцев. И здесь оказывается, что чеченское равенство имеет свои пределы. Так, потомки «лайев», рабов, инкорпорированных в чеченскую общину, оказываются чеченцами второго сорта: «...в советское время и первому секретарю райкома партии могли напомнить, что он потомок “лайев”, рабов. И отказать ему в руке своей дочери или в уважении. Потомки лайев должны были знать свое место»<sup>37</sup>.

Более того, Садулаев развивает мысль о вредоносности инкорпорации в чеченский этнос иноплеменников и опасности смешанных браков. Смешанные браки с русскими девушками развращают чеченский народ и даже угрожают самому его существованию: «...самое страшное оружие русских — женщины... Только русские женщины могут рассеять, уничтожить чеченский народ»<sup>38</sup>.

Идея о вреде смешанных браков<sup>39</sup> касается не только чеченцев. Дон Ахмед видит причину упадка военной силы Рюриковичей в утрате расовой чистоты: «Варяжские князья перемешали свою кровь с династиями Запада и Востока, а также и с покоренными славянами. Боюсь, что и с евреями»<sup>40</sup>.

Инкорпорирование иноплеменников несет не меньшую угрозу. По словам садулаевского героя, в чеченское общество веками были интегрированы представители иных, главным образом горских народов: «...когда им было выгодно, называли себя «чеченцами». <...> «Приспособление» было их стратегией всегда <...> заняв командные высоты, они сменили идеологию коренного народа на свою»<sup>41</sup>. Эти псевдочеченцы повинны во многих бедах народа Ичкерии. «Горный еврей»<sup>42</sup> Дудаев спровоцировал гибельную войну с Россией, вайнахи нечеченского происхождения стали оплотом ненавистного Садулаеву режима Кадырова: «...большинство кадыровцев этнически оказываются не чеченцами, а выходцами из горских племен»<sup>43</sup>. Преступления кадыровцев — особая тема. Падение чеченских нравов: распространение политических доносов, алчность, неуважение к старшим, конформизм — все эти «новочеченские» качества следствие победы Кадырова и его сторонников. «Порча нравов» зашла так далеко, что Садулаев ставит вопрос о формировании новой чеченской нации, которая отличается от «старой» чеченской, как современные греки отличаются

от современников Сократа и Платона<sup>44</sup>. И этот вредоносный процесс, по мнению Садулаева, в конечном счете, связан с деятельностью нечеченцев, проникших в чеченское общество.

Нечеченцы в творчестве Садулаева. Русские в текстах Садулаева упоминаются намного чаще других народов, а тема русско-чеченских отношений является одной из основных в его творчестве. В ранних произведениях Садулаева, посвященных чеченским войнам, русские соответствуют образу врага. «Русские всех убивают»<sup>45</sup>. Садулаев уподобляет русскую авиацию драконам, методично и безжалостно уничтожающим мирных чеченцев. Писатель демонизирует русских, превращая их в кровожадных монстров и демонов: «Духи зла, демоны темных пещер, потомки драконов и змей, бескровные чудовища, терзавшие в древние времена землю и населяющих ее людей. Теперь они снова пришли. На них зеленая, как кожа гигантских болотных жаб, одежда, погоны, как шипы на плечах. Тот, у кого шипы крупнее, тот, у кого больше этих шипов, почитается среди чудовищ за главного, и остальные чудовища слушаются его приказаний. <...> Злые драконы летают над домами, садами и нивами, сжигая все зловонным своим дыханием, обрушивая раскаленную сталь с небес»<sup>46</sup>. Любопытно отметить, что подобная образность в современной русской литературе встречается только у русского имперского (великодержавного) националиста А. А. Проханова. Образы драконов и демонов (врагов), атакующих сверху (символ господства противника, его подавляющего перевеса), чрезвычайно распространены в его поздних романах<sup>47</sup>. Трудно сказать, заимствовал ли Садулаев этот образный ряд у Проханова, или можно говорить о схожести психологических установок эмоциональных и творчески одаренных националистов.

Садулаев в своих ранних вещах отождествляет русских с кочевниками-степняками, «контртеррористическая операция» сравнивается с набегами ордынцев<sup>48</sup>. Не случайно у русского летчика-«дракона» «азиатское лицо»<sup>49</sup>. Россия («Страна Снега»<sup>50</sup>) — не Золотая Орда, но она воспринимается ордынской наследницей: «После распада Золотой Орды на ее развалинах образовалось несколько ханств, продолживших традиции этой самой жестокой,

дикой и варварской империи за всю историю человечества. Одно из них, ведомое своими раскосыми вождями, просуществовало до наших дней. Московский каганат, Нефтяная Орда»<sup>51</sup>.

В произведениях 2007—2008 гг. образ русского меняется. Жестоких и безжалостных «драконов» сменяют мирные, пассивные алкоголики, бродяги («Бич Божий»), добрые, но инертные, «непассионарные» люди («Учение Дона Ахмеда»). Герман Садулаев достаточно откровенно выразил свое отношение к русским во время дискуссии о судьбах современной оппозиции, состоявшейся в прошлом году на страницах журнала «Знамя»: «Русские — народ старый, усталый, ленивый и искушенный»<sup>52</sup>. «Это хороший, умный, добрый, но недостаточно активный народ», — говорит уже герой Садулаева, Дон Ахмед<sup>53</sup>. Русские в «Учении Дона Ахмеда» и в «Пурге» предстают людьми комичными, жалкими, причем их социальный статус и уровень образования роли не играют. Русские бандиты напоминают «переболевших тифом штангистов»<sup>54</sup>, русский учитель описан с толикой симпатии, но рядом с чеченцами он смешон и жалок<sup>55</sup>.

Впрочем, русские бывают достаточно изворотливы и хитры для того, чтобы использовать чеченцев в своих целях: «Руками понтовых и безбашенных горцев все, кому не лень, таскали каштаны из огня. В Питере тамбовцы и казанцы, деля сферы влияния, использовали чеченцев как боевые отряды. Алхазуры с казбеками падали на мостовые с простреленными головами, а владимиры и талгаты получали свои кормушки»<sup>56</sup>.

Но чаще русские предстают простаками, слабыми и недальновидными. Действие романа «Таблетка» происходит в двух мирах — в современном Петербурге и в Хазарии, огромной, малонаселенной, но «демократической» стране, где у власти вечно находится партия «Единая Хазария». Хазары не хозяева в собственном государстве, они — угнетенное большинство, многочисленный, но наивный, бедный, бесправный народ, марионетки в руках иноэтничных (см. ниже) правителей.

Действие рассказа «Бич Божий» происходит в чеченском селе Шали, где русские представлены в основном спившимися бомжами/бичами. Их социальный статус не совсем ясен: то ли низко-

оплачиваемые сельскохозяйственные рабочие, то ли рабы: «Молодым чеченцам, если они не покидали родных сел, было трудно понять, что русские — культурная, свободная, великая нация. Русские, которых они видели, были опущенными бродягами, затюканными рабами»<sup>57</sup>. Таким образом, автор признает русских не только «свободным», но и «великим» народом, однако в художественном мире Садулаева русские предстают людьми несчастными и жалкими. В чеченском мире они маргинальны. Дунька, русская учительница, изнасилованная чеченцем и тронувшаяся рассудком, становится юродивой<sup>58</sup>. Бич Колька, герой рассказа, ведет жизнь отшельника, в конце концов спивается, а после смерти его душа вселяется в огромного черного пса, который приносит жителям села несчастья. Рассказ заканчивается тем, что жители изгоняют-таки «русского» пса на север<sup>59</sup>.

Рядом с чеченцами русские выглядят неполноценными, причем не только бичи, но и нормальные люди. Герой «Таблетки» рассуждает о незаменимости кавказских (не только чеченских) мужчин в России: «Гали, Любы, Клавы и Нади <...> не имели бы никаких шансов поиметь рядом с собой частично трезвого мужика, умеющего работать и приносить домой деньги, равно как и ублажать свою матрону в постели, если бы не Ашоты, Тиграны, Дауды и Сулейманы»<sup>60</sup>. Таким образом, русским отказано не только в способности эффективно трудиться, но и быть полноценными мужчинами.

При межэтнических, в данном случае русско-чеченских, контактах негласные правила поведения, принятые в чеченском обществе, перестают действовать. Повествователь «Одной ласточки» подчеркивает: если бы Дунька оказалась не русской, а чеченкой, ее насильника ждала бы казнь, но «Дунька была русской, приезжей, у нее не было рода, не было ни одного, даже самого далекого родственника, и некому было перерезать горло преступнику»<sup>61</sup>. Таким образом, на представителя другого этноса не могут распространяться чеченские обычаи и традиции, он, в определенном смысле, вне закона. Это состояние чужака вне закона проявляется и при ненасильственных формах межэтнических контактов. Секс-пильного Диньку чеченские девушки воспринимают как не своего,

русского, с которым позволено вести себя достаточно вольно. Даже самые скромные и стыдливые чеченки рядом с русским раскрепощались, переходя грани приличий, и все потому, что «для них Динька был другим, он был вне закона. С ним было можно все, чего нельзя с нами» (с чеченцами. — С. Б.)<sup>62</sup>. Эта же закономерность действует и при контактах чеченских мужчин с русскими девушками. В России чеченец ведет себя не так, как на родине: «В свободной России для чеченского мужчины другие правила: у мужчины есть только одна мать, все остальные женщины — его жены»<sup>63</sup>.

Равенство чеченцев и русских в художественном мире Садулаева возможно лишь при одном условии: если представители этих народов объединяются против общего врага. В рассказе «Оставьте на батареях!» русский националист Георгий и кавказец (национальность не указана, но по всей видимости — чеченец<sup>64</sup>) Анвар Берзоев совместно борются против партии власти<sup>65</sup>. Впрочем, в отдельных произведениях Садулаева встречаются осторожные намеки на другого «врага», против которого следует объединиться.

Особое место в творчестве Садулаева занимает еврейская тема. Упоминания о евреях носят либо нейтральный (в повести «Одна ласточка...»), либо негативный («Апокрифы», «Учение Дона Ахмеда», «Пурга») характер. При этом негативные высказывания практически никогда не принадлежат герою-повествователю, *alter ego* автора. В книге «Я — чеченец» упомянуты «хитрожопые еврейские советники», которые помогли «придурковатому пьянице» (Ельцину?) развалить Советский Союз<sup>66</sup>. «Мошенники с еврейскими фамилиями» провернули аферу с фальшивыми авизо, «подставив» при этом чеченцев<sup>67</sup>.

Бомж Степаныч, один из второстепенных персонажей «Пурги», сравнивает тараканов с евреями, «жидами усатыми и рыжими», и рассуждает о способах их извести<sup>68</sup>. Герой вроде бы не принимает этот антисемитский бред всерьез, однако тема тараканов возникает не случайно. Речь о тараканах, «паразитах» и «рыжих оккупантах» заходит несколькими страницами ранее, а эпизод с антисемитом Степанычем, по-видимому, служит своеобразным

ключом к вопросу о «паразитах»: паразиты расшифровываются либо в социальном плане, как представители господствующих классов<sup>69</sup>, либо в национальном, как евреи<sup>70</sup>. Впрочем, рамки художественного произведения оставляют место для определенной свободы толкований.

Наиболее яркие антисемитские сентенции принадлежат Дону Ахмеду. Он обвиняет евреев в разнообразных грехах, начиная с убийства князя Святослава и заканчивая русской революцией и развалом Советского Союза<sup>71</sup>. В конце концов, «когда ставропольский мужик затеял перестройку, евреи взяли реванш за свои временные поражения, в несколько лет завладев достоянием российских народов»<sup>72</sup>.

Герой решительно отмежевывается от антисемитизма Дона Ахмеда и даже иронизирует над ним, но авторскую позицию это не проясняет. Почему автор сделал этого «клинического» антисемита заглавным героем и к тому же резонером, который, как мы видели, озвучивает идею чеченского мессианства? Может быть, Садулаев всего лишь «прячет уши» под ушанку Степаныча и шапку Дона Ахмеда, как пытался «спрятать уши под колпак юродивого» великий поэт? Ответить на этот вопрос поможет роман «Таблетка», где, впрочем, евреи не упомянуты ни разу.

Герман Садулаев любит иносказания, но сложными загадками читателя не озадачивает. «Ключ» к его «секретам» лежит на видном месте. Обращение Садулаева к столь экзотическому материалу, как Хазария, не говорит о научном интересе к хазарской истории. Герман Садулаев не ученый, академические исследования его не занимают. Его интересуется не историческая Хазария, а вариант хазарского мифа, созданный Л. Н. Гумилевым<sup>73</sup>.

История Хазарии усилиями Льва Гумилева уже давно перестала быть предметом сугубо академическим. «Зигзаг истории», трактат Гумилева о стране, где власть захватили алчные еврейские купцы, превратившие хазар в эксплуатируемое большинство, а хазарского кагана — в марионетку, был произведением более художественным, нежели научным<sup>74</sup>. В истории российской антисемитской мысли он уступает разве что «Протоколам сионских мудрецов». Миф о «Новой Хазарии» (что-то вроде «резервного»

Израиля, созданного на случай гибели еврейского государства в Палестине) в 1990-е гг. получил широкое распространение в кругах русских националистов. В частности, к нему неоднократно обращался А. А. Проханов на страницах газеты «Завтра» и в романе «Господин Гексоген»<sup>75</sup>.

Садулаев хазарскую тему подает осторожно, а наиболее опасные идеи — намеками. Хазария, несомненно, — Россия, инертные, наивные, несчастные хазары — русские. Они не правят своим государством, правят им другие люди, «и на хазар-то не похожи: черные, кучерявенькие, а глаза круглые»<sup>76</sup>. Вот эти «кучерявенькие» представители хазарской элиты, ограбив страну, бросили Хазарию и хазар на произвол судьбы и бежали: «Сталось, что не хазары и были, а другого народа, странного»<sup>77</sup>.

Садулаев в точности воспроизводит антисемитскую версию Л. Н. Гумилева, ни разу, впрочем, не употребляя слово «еврей». Обращение к хазарской теме и ее трактовка, явно позаимствованная у Л. Н. Гумилева, свидетельствуют о юдофобском характере воззрений Садулаева на еврейский народ и его взаимоотношения с другими народами России.

Если к еврейскому вопросу Садулаев подходит осторожно, то о китайцах пишет куда откровеннее. Китайцы — источник постоянной угрозы. Даже торговля китайскими товарами — это, прежде всего, форма экспансии: китайцы своими дешевыми товарами подрывают экономику России<sup>78</sup>. Придет время, рассуждает герой Садулаева, и «древний восточный человек займет приличествующее ему положение, а мы <...> будем скучно-послушно работать под его окрики»<sup>79</sup>. Китайцы покупают продажных русских чиновников и готовятся захватить русские города. Поэтому отважный чеченский герой и собирает народы России для сопротивления захватчикам: «...они устроили жаркую вечеринку китайцам. Трупы узкоглазых ночью вывозили на трех крытых брезентом грузовиках»<sup>80</sup>.

Как видим, китайцы предстают у Садулаева наиболее враждебным (как для чеченцев, так и для русских) народом, не только война, но и сотрудничество (торговля) с которым несет потенциальную угрозу нации. Оптимальным вариантом разрешения «китайского вопроса» видится война на истребление.



В произведениях Садулаева упоминаются и другие народы, однако материала, достаточного для анализа, эти упоминания не дают. Казанских татар и кабардинцев автор касается эпизодически, о туркменах говорится только в «Апокрифах чеченской войны», причем читатель видит их глазами русского героя. При этом интересно отметить, что и татары, и кабардинцы, и эстонцы (см. выше), и туркмены («али-бабы», «погонщики ишаков») <sup>81</sup> оцениваются достаточно негативно.

В произведениях Садулаева 2007—2008 гг. нередко упоминаются американцы и голландцы, но речь об этих народах заходит в связи с темой общества потребления и современной масскультуры, анализ которой выходит за рамки нашей работы.

Таким образом, произведения Германа Садулаева позволяют нам сделать вывод об этнонационалистическом характере мировоззрения их автора, а также определить основные черты его этнонационализма.

Садулаев отстаивает идею об этнической исключительности чеченского народа, который благодаря особым, передаваемым генетически свойствам намного превосходит другие народы России. Из этой концепции органично выводится чеченская мессианская идея: стать во главе народов России.

Другие нации и этнические группы в произведениях Садулаева предстают ущербными, неполноценными и/или враждебными для чеченского народа. Русские в ранних произведениях Садулаева показаны жестокими врагами, а в более поздних — симпатичными, но слабыми, инертными, простодушными, не способными постоять за себя людьми. Отношение к еврейскому народу характеризуется выраженным антисемитизмом, при этом повествователь дистанцируется от антисемитских высказываний других, даже главных героев. Китайский народ оказывается хитрым, жестоким, многочисленным врагом, несущим угрозу как чеченскому народу, так и России, которая воспринимается в качестве «жизненного пространства» для чеченцев. Прочие нации и этнические группы, упоминаемые на страницах романов, повестей и рассказов Германа Садулаева (кабардинцы, казанские татары, туркмены, эстонцы), также характеризуются негативно в сравнении с чеченцами.

Картина мира у Садулаева носит ярко выраженный чеченский этноцентристский и этнонационалистический характер.

<sup>1</sup> Под этническим национализмом здесь понимается не только идеология, но также умонастроение и мировоззрение, при котором собственная нация выделяется как особенная, наделенная некими уникальными качествами, позволяющими поставить ее выше других наций и этнических групп.

<sup>2</sup> Русский писатель — писатель, пишущий по-русски.

<sup>3</sup> Исключением стала рецензия автора этой работы: Журнальная полка Сергея Белякова // Урал. 2006. № 3. С. 246—249.

<sup>4</sup> В романе «Таблетка» и рассказах, опубликованных в 2008 г., национальная тематика отходит на второй план или даже вовсе исчезает.

<sup>5</sup> Садулаев Г. Пурга, или Миф о конце света. М., 2008. С. 107.

<sup>6</sup> Садулаев Г. Бич Божий // Знамя. 2008. № 7. С. 155.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же. С. 154.

<sup>9</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 50.

<sup>10</sup> Садулаев Г. Апокрифы чеченской войны // Континент. 2005. № 126. С. 29—30.

<sup>11</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 60—68.

<sup>12</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! Екатеринбург, 2006. С. 234.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Садулаев Г. Одна ласточка еще не делает весны // Знамя. 2005. № 12. С. 43.

<sup>15</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 227.

<sup>16</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 51.

<sup>17</sup> Там же. С. 106.

<sup>18</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 31.

<sup>19</sup> Там же. С. 47.

<sup>20</sup> Роман Садулаева «Таблетка» посвящен главным образом критике капитализма и общества потребления.

<sup>21</sup> Садулаев Г. Бич Божий. С. 152.

<sup>22</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 222—226, 245—250.

<sup>23</sup> Об антисемитизме Садулаева см. ниже.

<sup>24</sup> Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда // Дружба народов. 2007. № 9. С. 66.

<sup>25</sup> Там же. С. 63—90.

<sup>26</sup> Эти беседы практически без изменений перенесены Садулаевым в его более позднюю книгу: Садулаев Г. Пурга... С. 5—186.

<sup>27</sup> Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда. С. 66.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Там же. С. 88.

<sup>30</sup> Там же. С. 80.

<sup>31</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 249—250.

<sup>32</sup> Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда. С. 90.

<sup>33</sup> Даже гибель Дона Ахмеда подчеркивает связь со Святославом: из его черепа враги-китайцы сделали чайник, как печенег из черепа Святослава — чашу. См.: Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда. С. 90.

<sup>34</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 65.

<sup>35</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 77.

<sup>36</sup> Там же. С. 167—168.

<sup>37</sup> Садулаев Г. Бич Божий. С. 155.

<sup>38</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 21.

<sup>39</sup> Впрочем, вопрос о вреде/безвредности смешанных браков в творчестве Садулаева окончательного разрешения не получает. Тот же Динька и его друг Зелымхан произошли от связи чеченских мужчин с русскими женщинами. У самого Германа Садулаева мать русская, отец чеченец из тейпа Эрсной.

<sup>40</sup> Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда. С. 82.

<sup>41</sup> Садулаев Г. Илли // Знамя. 2006. № 11. С. 80—81.

<sup>42</sup> Садулаев Г. Апокрифы... С. 41.

<sup>43</sup> Садулаев Г. Илли. С. 81.

<sup>44</sup> См.: Садулаев Г. Илли. С. 79—81; *Его же. Хранители* // Континент. 2007. № 132. С. 50—68.

<sup>45</sup> Садулаев Г. Апокрифы... С. 63.

<sup>46</sup> Там же. С. 55—56.

<sup>47</sup> Проханов А. А. Крейсера соната. М., 2003.

<sup>48</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 17—18.

<sup>49</sup> Садулаев Г. Апокрифы... С. 54.

<sup>50</sup> При этом «Страна Снега» противопоставляется как «Великой степи», так и горной Чечне. На одной и той же странице Садулаев уподобляет русских степнякам и противопоставляет русских и степняков друг другу. Это одно из немногих «темных» мест в творчестве Садулаева.

<sup>51</sup> Садулаев Г. Апокрифы... С. 62.

<sup>52</sup> Есть ли будущее у оппозиции в России? // Знамя. 2008. № 11. С. 147.

<sup>53</sup> Садулаев Г. Учение Дона Ахмеда. С. 66.

<sup>54</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 60.

<sup>55</sup> Там же. С. 65—66.

<sup>56</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 72—73.

<sup>57</sup> Садулаев Г. Бич Божий. С. 54.

<sup>58</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 26—27.

<sup>59</sup> Садулаев Г. Бич Божий. С. 161—162.

<sup>60</sup> Садулаев Г. Таблетка. М., 2008. С. 78.

<sup>61</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 26—27.

<sup>62</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 162.

<sup>63</sup> Садулаев Г. Одна ласточка... С. 21.

<sup>64</sup> Представители других кавказских народов в произведениях Садулаева бывают только эпизодическими героями.

<sup>65</sup> Садулаев Г. Оставайтесь на батареях! // Континент. 2008. № 135. С. 98—125.

<sup>66</sup> Садулаев Г. Я — чеченец! С. 170.

<sup>67</sup> Там же. С. 173.

<sup>68</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 89.

<sup>69</sup> Там же. С. 82—83.

<sup>70</sup> Там же. С. 89.

<sup>71</sup> Там же. С. 110—111, 118.

<sup>72</sup> Там же. С. 118.

<sup>73</sup> Герман Садулаев охотно использует терминологию Гумилева и отдельные положения его теории этногенеза. В «Таблетке» он как будто критично и даже иронично высказывается о его работе, однако образ Хазарии в романе Садулаева, несомненно, списан с Хазарии из сочинений Л. Н. Гумилева.

<sup>74</sup> «Зигзаг истории» отдельной главой вошел в монографию Л. Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь» и в сборник статей «Этносфера: история людей и история природы». См.: Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 121—217; *Его же*. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993. С. 366—478.

<sup>75</sup> Проханов А. А. Господин Гексоген. М., 2002.

<sup>76</sup> Садулаев Г. Таблетка. С. 58.

<sup>77</sup> Там же. С. 105.

<sup>78</sup> Там же. С. 64.

<sup>79</sup> Там же. С. 75.

<sup>80</sup> Садулаев Г. Пурга... С. 172.

<sup>81</sup> Садулаев Г. Апокрифы... С. 32, 37—38.

Л. П. Черникова

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ)

В Китае издавна существует традиция изучения истории отношений с Россией, так что образованные круги всегда были более-менее информированы о ней. Однако такой информации часто не хватало среди простого китайского населения, и это привело к широкому бытованию поговорки: «в верхах — горячо, а в низах — холодно», т. е. верхи всегда легко могут договориться, тогда как среди населения изменения курса не всегда понятны и объясняемы.

Среди представителей различных общественных слоев китайского населения в отдельные периоды российско-китайских и главным образом советско-китайских отношений широко распространялось разное (нередко контрастное) восприятие России (и Советского Союза). Нам хотелось выявить причины относительной живучести ряда недружественных России стереотипов в сознании отдельных представителей китайского народа, изложить взгляды китайских историков в определенной хронологической последовательности, сделав акцент на историографии 1990—2000-х гг.

Как отмечают сами китайские ученые<sup>1</sup>, 1980-е гг. стали «прорывом» в исторических исследованиях:

- расширился круг научных тем;
- в исторической науке произошел переход «от абстрактного к конкретному» в изучении отдельных событий и явлений;
- такая новая тематика, как «История русской эмиграции», стала разрабатываться в русле изучения «Истории регионов КНР».

Перед китайскими учеными была поставлена задача — новыми исследованиями обогатить содержание истории Китая, вернуть утраченные страницы истории страны. Все это вызвало повышенный интерес к изучению истории КНР не только со стороны историков, но и политиков, и экономистов. Как полагается, все эти тенденции были закреплены в партийных документах. Одновременно с демократизацией жизни в историческом пространстве шел процесс перевода архивных документов из спецхрана в открытый доступ. Тогда же появился интерес к истории российской эмиграции в Китае (совершенно новое направление), которое стало разрабатываться в русле изучения «Истории регионов КНР».

По истории эмиграции наиболее интересные и разрабатываемые темы:

- политика царской России в Китае в конце XIX — начале XX в.;
- присутствие иностранного, в том числе русского, капитала в Китае;
- строительство КВЖД и ее роль в хозяйственно-экономическом освоении Маньчжурии<sup>2</sup>.

Запрещенные работы:

Ляо Гайлун. Эпоха больших беспорядков (1949—1989 гг.). Б. м. : Народное издательство провинции Хэнань, 1988. 648 с. Тираж 1000 экз. Весь тираж изъят цензурой;

Цзинь Чуньмин. набросок к истории культурной революции в Китае. Б. м. : Сычуаньское народное издательство, 1995. 521 с. Весь тираж изъят цензурой.

Подоплека запретов: «Сомнение — червь, подтачивающий идеи изнутри. Отрицание определенных периодов истории опасно для сплоченности нации» (Дэн Сяопин). Поэтому официальное развенчание культа личности Мао вряд ли возможно.

В современной китайской историографии продолжают сохраняться стереотипы времен борьбы Китая против колониальной экспансии. Частью такого стереотипа является тезис о том, что к России отошли китайские территории. Эта версия продолжает присутствовать как в научной литературе, так и в школьных и вузовских учебных пособиях. Концептуальные построения китайских историков были рассмотрены и подвергнуты убедительной критике в ряде достаточно известных публикаций российских «Китаистов»<sup>3</sup>. И это — предмет длительных споров и концептуальных несоответствий между китайскими и российскими историками.

Многие работы китайских историков написаны в русле «раздела Китая» на сферы влияния империалистическими державами с участием России как государства, проводившего агрессивную политику по отношению к Китаю.

Монографии:

1. Су Цзунминь. История Южно-Маньчжурской железной дороги. Чаньчунь, 1990. 897 с.;

2. Синь Пэйлинь, Чжан Фэнмин, Гао Сяосань. История освоения пров. Хэйлунцзян. Харбин, 1999;

3. Колл. авт. Ша Э цинь хуа ши (История агрессии царской России в Китае). Пекин, 1990. Ч. 4. 532 с.

В этих работах — процесс «проникновения» или «вторжения» царской России в Китай, рассматривается роль русских людей в освоении Маньчжурии.

Статьи:

1. Лан Вэйчэн. Борьба между Японией, США и Россией за Маньчжурию до и после Первой мировой войны // Цзилинь шида сюэбао. 1979. № 4. С. 56—61;

2. Ли Аньци. Коварные замыслы царской России по захвату Китайской Восточной, Луханьской и Чжэнтайской железных дорог, 1895—1898 // Цзилинь дасюе бао. 1979. № 3. С. 73—78;

3. Дуань Гуанда. Сравнительный анализ истории колонизации Ляодунского полуострова и полосы отчуждения КВЖД царской Россией // Бэйфан вэньу. 2001. № 2. С. 93—97.

Эти работы посвящены рассмотрению «сфер влияния» царской России и других иностранных держав в Китае, особенно в пределах Маньчжурии.

Сохраняются также стереотипы периода борьбы гоминьдановского правительства против «коммунистической угрозы», драматических, если не трагических, лет китайско-советской конфронтации. И это — предмет длительных споров и концептуальных несоответствий между китайскими и российскими историками. Дальнейшая история взаимоотношений наших стран в китайской историографии также подается своеобразно, см.:

Хуан Лифу (науч. сотрудник Ин-та всемирной истории АОН КНР, зампред Китайского общества по изучению истории СССР и стран Восточной Европы). Обзор китайских исследований по истории России в столетней перспективе (на основе фондов Государственной библиотеки Китая) // ПДВ. 2008. № 5. С. 89—98;

Ван Мэн. Воздаяние Советскому Союзу. (К алтарю Советского Союза). Миф об образе одного государства // ПДВ. 2008. № 2. С. 161—173.

Жгучий интерес в КНР вызвала перестройка М. С. Горбачева, что привело к встрече глав государств и в конечном итоге способствовало гармонизации отношений. Последующий кризис советской системы и развал СССР способствовали новому буму исторического интереса к процессам в России. В КНР было создано несколько влиятельных и авторитетных Русских центров, которые должны были изучать явления в СССР — России с тем, чтобы не допустить повторения подобных событий при демократизации

общественной жизни в КНР. Эти центры выпускают журналы, дайджесты, их специалисты — историки и политологи — выступают в широкой прессе, на ТВ и радио<sup>4</sup>.

Для этих центров, особенно в первое время, был характерен отраженный взгляд американских советологов на Россию (в связи с буквальным калькированием текстов с американских и европейских аналитических сайтов, посвященных событиям в России). Лишь с накоплением опыта и постепенной корректировкой партийной линии в отношении России (а также в связи с событиями 11 сентября) наметился крен к более взвешенным оценкам событий прошлого и настоящего в отношениях между нашими странами<sup>5</sup>.

На наш взгляд, интересный историографический анализ современного состояния исторической науки КНР и тех аспектов, которые она изучает, содержится в китайском выпуске Московского центра Карнеги<sup>6</sup>. Здесь есть глубокий историографический обзор — панорама политических, исторических, политологических, социологических, культурологических, религиоведческих работ и идеологических исследований современных китайских ученых. Не только по отношению к России, а вообще — каковы реалии и перспективы в отношении развития китайского общества, КПК, внешней политики, баланс сил в АТР и мире.

Хотела бы обратить внимание исследователей на сборник статей «Образ Китая в современной России», где печатаются исследования российских и китайских ученых по китайской историографии. Эта работа вышла с пояснением на титуле: «Некоторые проблемы китайской истории и современной политики КНР в исследованиях российских и зарубежных ученых», где представлены оценки китайских исследователей уровня китайско-российского сотрудничества на современном этапе и в исторической перспективе (Ван Ци, Ху Сяньчжан, Чжоу Юндуна)<sup>7</sup>. А наибольший интерес в свете представляемой темы являются обзоры известного российского ученого РАН А. С. Ипатовой «О некоторых новых направлениях и тенденциях в исторической науке КНР (1980-е годы — начало XXI в.)» и ответственного редактора сборника Н. Л. Мамаевой «Новые подходы в исторической науке КНР при освещении истории Китайской Республики (1911—1949 гг.)» (с. 260—285).



В то же время нельзя воспринимать труды современных китайских историков столь же прямо и однозначно, как, скажем, работы европейцев или американцев. Любой процесс или явление в Китае воспринимается с сильнейшей специфической окраской, что объясняется иной традицией — исторической или методологической (так называемый «акцент восприятия»), связано ли это с социализмом, реформами, капитализацией или чем-то иным и имеет влияние на дальнейшую аналитику китайской исторической мысли. На наш взгляд, имеет смысл вводить погрешность «на местную специфику», чтобы избежать искушения напрямую делать выводы о тех или иных тенденциях в исторических умозаключениях китайских ученых.

Хотелось бы также отметить интересную последнюю работу акад. С. Л. Тихвинского «Восприятие в Китае образа России», по сути, это зеркальное отражение темы сквозь призму китайского восприятия<sup>8</sup>. В работе (гл. 3) исследуется восприятие Советской России (Советского Союза) правительствами и общественностью Китая (1917—1949), в главе 4 — влияние на Китай русской и советской литературы. Еще одна глава (гл. 5) посвящена опыту общения китайцев с россиянами в Китае в период пребывания там российской эмиграции (1919—1949), однако как раз об эмиграции ни слова (как будто ее там и не было). Книга отражает ярко выраженную советскую официальную историческую линию, является примером четко обозначенной гражданской позиции автора, воспитанного на принципах пролетарского интернационализма. Это ничуть не обедняет фактов, которые излагаются в сугубо личном авторском восприятии, заставляет уважать позицию автора.

За последнее время появился значительный массив работ, посвященных российской эмиграции, среди них монографические исследования и коллективные работы (У Вэньсянь, Чжан Сювань, 1993; Ши Фан и др., 1998; Ван Чжичэн, 1993; Ли Сингэн, 1997; и др.); статьи (Ли Шилиян, 1994; Ши Янь, Сунь Гуанмэй, 1997; Жао Ланлунь, 2000; и др.), посвященные взаимоотношениям России и Китая, в том числе истории КВЖД, Харбина и русской эмиграции в Китае. Традиционно широко в китайской историографии представлена японская колонизация северо-восточного Китая.

За последнее десятилетие опубликовано несколько монографий по истории Маньчжоу-го (Сунь Банчжу, 1993; Гао Лэцай, 2000). В целом для китайской историографии характерна негативная оценка последствий как российской, так и японской колонизации.

Работы китайских историков, как правило, основаны на обширной источниковой базе, что позволяет существенно расширить тематику исследования, сопоставить оценки масштабов миграции на Северо-Восток Китая с позициями российских и западных историков, более основательно изучить демографическую структуру эмигрантских колоний, правовой статус и основные направления экономической, политической и культурной деятельности мигрантов.

Исследование Ван Чжичэна построено преимущественно на русскоязычных материалах, в том числе эмигрантской и иностранной периодике г. Шанхая. В работе анализируются также статистические отчеты китайских морских таможен и Главного полицейского управления Особого района восточных провинций о численности иностранного населения. В 2008 г. эта работа была переведена на русский язык и вышла в издательстве «Русский путь» тиражом 2 000 экз.

В целом, если делать общий обзор китайских исследований по тематике, он охватывает все сферы человеческого бытия — от древности до сегодняшнего дня и изучает самые разные процессы мировой истории, политики, экономики и культуры. Если же брать лишь российское направление исследований, отсылаю читателей к работе Хуан Лифу, о которой упоминалось выше. Исследовательница взяла фонды государственной библиотеки Китая и проанализировала их, разбив на определенные четко выраженные исторические периоды и отметив время появления наибольшего объема печатной продукции (статей и монографий) по истории России — СССР — России. Так, исследователь отмечает: в 1920—1930-е гг. гоминдановская историческая наука обращается к опыту СССР в индустриализации, изучает причины и методы быстрого прорыва СССР в число индустриальных держав Европы. 1930-е гг. называются пиком интереса к изучению СССР, именно тогда появляются переводы и исследования по проблемам

российской/советской истории, политики, экономики, культуры, социологии, дипломатии, военного дела и др., причем за указанный 10-летний период этот объем печатной продукции составил около 50 % всей соответствующей литературы за предыдущие 50 лет! При этом в исследованиях по проблемам СССР приняли участие многие известные деятели, даже те, кто не был специалистом в данной области. К тому же в 1930-е гг. также были изданы в переводах с английского, немецкого, японского языков зарубежные исследования, главным образом, труды по экономике и вооружению СССР.

В 1930—1940-е гг. публикуются в первую очередь работы, знакомящие с историей России: Лоу Чжуансин. История России (1935); Ба Цзинь. История общественных движений России (1935); Гу Гуи. Очерки истории России (1935); Хэ Ханьвэнь. История китайско-русской дипломатии (1935); Хэ Ханьвэнь. История России (1939; сер. «Библиотека студента»); Чжоу Чуаньжу. История освоения Сибири (1943).

Вообще в первой половине XX в. китайские ученые переводили на родной язык и изучали работы западных и российско-советских авторов и значительно продвинулись в изучении своего северного соседа. По неполным подсчетам, переводные издания в 1,4 раза превышали количество оригинальных исследовательских работ. В целом в данный период внимание сосредотачивалось на пограничных вопросах, региональных проблемах России/СССР, вопросам китайско-российских и китайско-советских отношений и т. д. Большинство работ носило ознакомительный характер.

Уже в конце 1940-х гг. тематика исследований и их характер обусловили интерес 1950-х гг. к истории СССР. Выходят такие работы, как «Каким образом СССР так усилил свою мощь?» (1947) и «Общество и государственный строй СССР» (1948) и др. То есть внимание китайских ученых обращено к новой общественной системе в решающий период борьбы двух политических систем — социализма и капитализма.

В 1950-е гг. СССР рассматривался в контексте формулы «СССР — наш учитель», «Старший брат» и т. д. С энтузиазмом перенимался опыт Советского Союза. Тогда произошел второй

большой подъем (после 1930-х гг.) интереса к исследованиям советской истории. За эти 10 лет изданные работы, включая переводную литературу, составили 60 % всех изданий, выпущенных с 1950 по 1980 г. И здесь переводная литература сохраняла важное место: издано было более 110 различного рода брошюр, литературы по России и СССР, в то же время самостоятельных работ было издано 80. В этот период были завершены переводы 13-ти монографий по российской/советской истории, в том числе многотомного труда «История СССР» под ред. М. В. Нечкиной, «Курс истории СССР» под ред. А. М. Панкратовой и др. Эти переводы заложили прочную научную базу для систематизации представлений о России/СССР, основу для глубокого понимания истории страны и для подготовки большой группы китайских историков — специалистов по России/СССР.

С 1960—1970-х гг., в условиях полемики и пограничного конфликта между Китаем и СССР и, особенно, «культурной революции», значительно уменьшилось число изданий по российской/советской проблематике. Основное место среди них заняла критика советского ревизионизма и «царской агрессии». В эти годы выходят такие работы, как «История агрессии царизма в Китае» (1979), «Агрессия и экспансия царской России» (1979), «Экономика советского социалистического империализма: статистика и комментарии» (1977) и др. Разумеется, они несли на себе печать настроений тех лет, когда идеологическая полемика между СССР и КНР переросла уже в пограничный конфликт.

В 1976 г. закончилась «культурная революция». В 1978 г. был взят курс на реформы и открытость, благодаря чему произошло оживление во всех сферах, в том числе и в исследованиях по российской/советской проблематике. В то время китайское общество надеялось почерпнуть полезный опыт из истории реформ в СССР.

В 1980-е гг. наблюдается третий пик интереса к истории России/СССР. Ведущей силой этого периода стали ученые — выпускники советских вузов 1950-х гг., а также выпестованные новым социалистическим Китаем специалисты, находившиеся в расцвете творческих сил. В этот период выходят такие работы, как «История Октябрьской революции» (1980), «Краткая история по-

корения Россией Сибири» (1984), «Общая история России, краткое изложение» (1986), «Троцкий — биография с комментариями» (1986), «Краткая история народов Сибири» (1987), «Биография Бухарина» (1988), «История СССР: 1917—1937 гг.» (1991), «История Сибири» (1991) и др. Это первые объемные труды китайских ученых, вышедших со времени создания КНР.

Распад СССР в 1991 г. и массовое рассекречивание исторических архивов 1992 г. оказались большим толчком для исследований по истории СССР. Оба этих события повлекли за собой изменения в теории и методологии, в источниковой базе, проблематике исследований и историографической работе. Тем не менее Китай по-прежнему продолжал следовать курсу на социалистические преобразования, китайское общество продолжало интересоваться Россией и происходящими в ней сдвигами и изменениями.

В содержании научных работ с середины 1990-х гг. появились некоторые новые особенности. Были опубликованы комплексные исследования за предшествующие десятилетия: «Политико-экономический строй СССР за 70 лет» (1991), «Исследования по проблемам крупных перемен в Советском Союзе» (1995), «История роста и гибели СССР» (1993). Все эти работы подытоживали опыт реформ в СССР и уроки гибели КПСС, и они были знаменательными для китайской науки, стремившейся помочь стабильному движению китайских реформ.

КПК внимательно отнеслась к урокам событий 1991 г. в СССР, и одной из главных тем стали обобщенные исследования, выявлявшие причины кардинальных перемен в политическом строе страны. В 1990-е гг. получили развитие проблемы тематической истории и истории регионов. Начиная с 1996 г. выходят в свет монографии, посвященные культуре России, истории кадетской партии, церковной реформе, системе функционирования культуры СССР, проблеме принятия решений в высших эшелонах власти, по историографии, экономике восточной части России, истории китайско-российских торговых отношений. Тематикой докторских диссертаций становятся: история РСДРП, Государственная Дума, воззрения славянофилов, русская крестьянская община, история русского зарубежья и многие другие.

Все эти работы стали вехой, обозначившей переход от общих направлений к специализированным исследованиям. Одновременно в ключевых темах исследований и выводах появилась тенденция к большему плюрализму мнений.

Начиная с 2000-х гг. китайские историки все активнее стали стремиться к сближению с передовой международной исторической наукой. Появились более тесные международные контакты, мировая сеть Интернет. Благодаря этому китайские историки могут следить за новыми достижениями в изучении истории России. А учитывая реалии своей страны, историки могут одновременно корректировать направления собственных исследований. Здесь можно проследить несколько приоритетных направлений:

1) часть китайских историков продолжает делать акцент на вопросах сталинской политико-экономической системы, политических репрессий и чисток, причинах распада СССР. Эти исследования обычно вызывают активную полемику как в академической исследовательской среде, так и широко в обществе. Дело в том, что эта тематика вольно или невольно заставляет обратиться к таким же трагическим страницам китайской истории, приводит к историческим аналогиям и сравнительным обобщениям. Для властей эта тематика нежелательна или она обрастает таким количеством условных допущений, оговорок, дополнений к объяснениям, что разобраться в витиеватых выводах и целях ученых довольно трудно;

2) другая часть исследователей стремится, чего не было прежде, расширить горизонты исследований, пытается разобраться в таких сугубо специфических проблемах, которые и в России не всем доступны. Это такие темы, как истоки русской нации, пути модернизации России, история различных современных политических партий и биографии их лидеров, судьбы русской интеллигенции, история политической мысли, социальная структура СССР, национальные проблемы и национальная политика СССР, миграция и освоение Сибири и восточной части России, собственно проблемы миграции вообще, народные волнения в СССР (выступления советского народа), советские диссиденты, война в Чечне, проблемы современной молодежи и молодежные движения, линг-

вокультурологические аспекты изучения современного русского языка, исследования ментальности и влияние на нее исторических контактов и многое другое.

В 1990-е — начале 2000-х гг. китайские историки своевременно использовали возможности доступа к рассекреченным советским архивам для расширения источниковой базы и в 2002 г. выпустили 36-томное издание «Избранные материалы рассекреченных советских исторических архивов». По неполным подсчетам, период 2000—2005 гг. стал рекордным по количеству изданий, посвященных исследованиям истории России/СССР за пятилетие. Однако в целом продолжает наблюдаться отставание китайской исторической науки от передового международного уровня, пока что крайне недостаточным выглядит знакомство с состоянием западной исторической науки.

---

<sup>1</sup> Чэнь Дунлинь. Прошлое и современное состояние изучения истории КНР // ПДВ. 2001. № 5. С. 94—107; Ху Чэн. Баши няндай илай чжунго цзиньдай ши яньцзюды чуансинь (Проблема обновления изучения Новой истории Китая с начала 80-х годов XX в.) // Вэнь ши яньцзюды чуансинь. Вэньши чжэ Цзхинань. 1998. № 3. С. 24—31; У Цзяньцзе. Гуаньюй цзиньдай ши яньцзю «синь фаньши» ды жогань сыкао (Некоторые размышления о новой парадигме истории Китая периода Нового времени) // Чжунго Цзиньдай ши (фуинь баокань цзыляо). Пекин, 2001. № 7. С. 113—129; и др.

<sup>2</sup> См.: Романова Г. Н. Китайская историография об экономических отношениях России и Китая на Дальнем Востоке во второй половине 19 — начале 20 в. Владивосток, 2002.

<sup>3</sup> См.: Мясников В. С. Договорными статьями утвердили: дипломатическая история русско-китайской границы XVII—XX вв. М., 1996.

<sup>4</sup> Тихвинский С. Л. Восприятие в Китае образа России. М., 2008; Василенко Н. А. История российской эмиграции в освещении современной китайской историографии. Владивосток, 2003.

<sup>5</sup> Чжан Линьтао. Проблемы китайско-российских отношений в современной политической мысли КНР : дис. ... канд. полит. наук. М., 2004; Лю Цзайци. Китайско-российские отношения в 1991—2003 гг. (политико-дипломатические аспекты) : дис. ... канд. ист. наук. М., 2006.

<sup>6</sup> Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М., 2005.

<sup>7</sup> Образ Китая в современной России. М., 2007.

<sup>8</sup> Тихвинский С. Л. Указ. соч.

# ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

## КОНФЕРЕНЦИИ

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ: УНИКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ

III Всероссийская научная конференция  
25 апреля 2009 г.

Уральское отделение Российского общества интеллектуальной истории стало инициатором проведения III Всероссийской научной конференции, посвященной теме «Национальные историографические практики: уникальное и универсальное». Конференция состоялась на базе исторического факультета Уральского государственного университета (Екатеринбург). На конференции было представлено 45 докладов. Тезисы докладов были предварительно размещены на сайте исторического факультета, что определило увеличение общего числа участников конференции до сотни. Участие в конференции приняли представители региональных отделений Российского общества интеллектуальной истории из Москвы, Челябинска, Саратова и других городов. Также заметным было участие в конференции магистрантов и студентов исторического факультета УрГУ.

Пленарное заседание приветствием участников конференции открыл ректор Уральского государственного университета *Д. В. Бугров*. Он с удовлетворением отметил увеличение роли и значения исторического знания в современном мире в ситуации всеобщей глобализации и информатизации и пожелал участникам конференции творческих успехов. Далее слово было предоставлено декану исторического факультета УрГУ, франковеду и переводчику *В. А. Бабинцеву*. Свой доклад «Термины “ordres” и “etats”



в историографической практике Франции» он посвятил обобщению опыта в области перевода исторических сочинений таких авторов, как Ж. Ле Гофф, П. Шоню и др., сделав важный вывод о том, что терминологические расхождения французской и отечественной историографии препятствуют адекватной передаче смысла эволюции социальных структур западноевропейского средневековья: от сакрально-литургических «разрядов» (*orders*) к десакрализованным светским «сословиям» (*états*). В докладе представителя школы уральских византинистов *М. А. Поляковской* «Энигматичность артефактов поздневизантийского обрядника и историографический опыт их идентификации» были представлены результаты изысканий ученых в области атрибуции реалий предметного ряда дворцовых церемоний. Загадочность многих из них определена сложностью найти названным в обряднике реалиям (эпилурик, скараник, лапатза, минсос и др) соответствующий адекват. По мнению докладчика, наиболее продуктивным может быть путь поиска аналогий реалиям церемониальной книги либо по временной вертикали (вверх-вниз), либо в лингвистической сфере соседствующих этносов. Острую полемику вызвал доклад специалиста в области отечественной историографии *В. Д. Камынина* «Место историков “старой школы” 1920-х гг. в развитии отечественной историографии в XX в.». В нем был поднят вопрос континуитета между дореволюционными и советскими историками и обоснована глубокая преемственность в отечественной историографической традиции. Дискуссию вызвало отнесение крупного дореволюционного методолога *А. С. Лаппо-Данилевского* и его сторонников, *Л. П. Карсавина* и *С. Л. Франка*, к неокантианцам. Противоположное суждение, исходящее из гегельянских оснований методологии этих дореволюционных историков, объясняло тем самым их значимость в последующей отечественной историографии. Завершилось пленарное заседание точным и выверенным докладом ведущего специалиста Института всеобщей истории РАН *С. Г. Мереминского* «Исторические тексты англо-нормандской эпохи в английской историографии XVI — начала XXI в.».

Круглый стол «Универсалии исторического познания: концепции и артефакты» (ведущие *В. Д. Камынин*, *О. С. Поршинева*) объе-

динил специалистов в широком временном диапазоне. В наиболее раннем по хронологии докладе «К биографии ведийского бога Индры» известным уральским археологом *В. Т. Ковалевой* в соавторстве со студентом *Н. В. Солдаткиным* была предложена интерпретация загадочного антропоморфа на днище неолитического сосуда. Вместо головы у антропоморфа — верхушка дерева. В правой руке — дубина грома, а в левой — символическая молния. По мнению авторов, это бог Грозы, высекающий молнию. Такое изображение на Урале в каменном веке могло появиться только в результате миграции, как полагают авторы, из районов Передней Азии (Северная Месопотамия). Это самый древний образ бога Грозы — громовика, который сложился у хаттов и хурритов, позднее был заимствован хеттами, а еще позднее — ведийскими ариями. Византинисты в работе данной секции заняли господствующие позиции, что напрямую связано с ведущей ролью уральской школы *М. Я. Сюзюмова* в современном отечественном и зарубежном византиноведении. Новаторским и постановочным явился доклад *А. С. Мохова* «Микроструктуры византийской военно-административной (фемной) системы X—XI вв. в современной историографии». *В. П. Степаненко* в докладе «Олисей Гречин между Новгородом и Асколоном» прокомментировал существующие версии о судьбе персонажа конца XII в. по найденным в раскопанной новгородскими археологами в 1973—1977 гг. усадьбе грамотам. Докладчик убедительно показал несостоятельность всех существующих на сегодняшний день версий об Олисее Гречине, правда, предположив, что он все же был в Палестине как паломник. В сообщении *Т. В. Куц* «Изучение поздневизантийской интеллектуальности: историографический абрис» были представлены основные направления и подходы — сложившиеся с момента постановки данной проблематики американским исследователем *И. Шевченко* на XIV Международном конгрессе византинистов в 1971 г. и до начала 2000-х гг. — в изучении византийской ученой среды периода «финальной трагедии» конца XIV — первой половины XV в. Интересным по постановке темы и новизне исследования стал доклад *О. С. Поршневой* ««Настроение 1914 г.» как историографическая проблема». Как было в нем показано, пере-

осмысление начала Первой мировой войны в современной историографии идет за счет изучения культурных аспектов военного противоборства, в частности, гражданского консенсуса в воюющих странах по отношению к войне летом 1914 г. Доклад *И. В. Побе-режникова* «Параллели в эволюции теорий макроисторической динамики» точно отвечал тематике данного круглого стола и был нацелен на выявление общего «знаменателя» двух влиятельных в XX в. концепций: теория эволюции и модернизационная теория. Сообщение *О. Н. Яхно* «Повседневная жизнь горожан начала XX в. (через призму рекламы)» задело за живое участников круглого стола яркостью и красочностью приведенных докладчиком примеров.

Второй круглый стол «От универсального к уникальному: особенности зарубежной и отечественной историографии» (ведущие *В. А. Бабинцев, А. С. Козлов*) был разбит на две тематические секции — «Отечественная историография» и «Зарубежная историография». В первой секции «Отечественная историография» ряд выступлений был посвящен русской дореволюционной историографии. *Е. В. Бородина* в докладе «Судебная реформа Петра Великого в трудах историков “государственной школы”» показала богатство и многообразие данной проблематики в дореволюционной историографии и предложила структурировать ее по предметному принципу: работы, раскрывающие содержание непосредственно самих судебных преобразований в начале XVIII в.; ретроспективные исследования по истории государственного управления России; сочинения, рассматривающие реформы Петра I в комплексе. Также высокий уровень развития исторической науки в Российской империи был продемонстрирован в докладе *А. В. Шаманаева* «Организационные принципы деятельности Одесского общества истории и древностей» на примере одного из первых научно-исторических и первом археологическом обществе в России. Докладчик заострил внимание слушателей на институциональном аспекте возникновения и развития общества как свободной корпорации исследователей, сумевших привлечь необходимые средства для эффективной и долговременной исследовательской работы. К двум вышеупомянутым

докладам примыкало сообщение *С. Я. Гагена* «История права как наука в трудах М. В. Шахматова (1888—1943) и современность». Выступление являло собой яркий пример интерпретации актуальности исторических исследований историка-эмигранта в исторической ретроспективе. Вывод Гагена о забвении истории русского права в отечественной историографии XX в. звучал трагически и неутешительно в свете развития правового государства и гражданского общества в современной России. Молодой исследователь *И. А. Савинов* сделал доклад «“British raj” в произведениях русских путешественников второй половины XIX — начала XX в.», выделив три основные темы путевых «записок»: повседневная жизнь британской общины в Индии, статистические данные о «субконтиненте» и взаимоотношения британцев с индусами. Осмысление истории России советского периода было представлено в ярком и насыщенном конкретно-историческими примерами докладе *С. И. Быковой* «Материалы политического следствия 1930-х гг.: между фальсификацией и мистификацией». Квинтэссенцией накопленного опыта стала авторская методика источниковедческого анализа оперативно-следственных материалов периода сталинских репрессий. И наконец, завершали работу данной секции два доклада, посвященные проблемам межэтнического диалога в современной России. В сообщении *А. Н. Старостина* «Исламское духовенство России в борьбе за возвращение статуса интеллектуальной элиты» были представлены обобщенные результаты поездок и бесед с муллами Уральского региона. *С. С. Беляков* построил свой доклад «Творчество Германа Садулаева как источник по исследованию этнического национализма» на анализе литературных текстов романиста, сосредоточившись на противопоставлении Садулаевым культурных кодов чеченского и русского народов.

Во второй секции «Зарубежная историография» собрались специалисты по всеобщей истории. Работа секции была построена в соответствии с национальным принципом. Два доклада были посвящены немецкой историографии, два французской, британская историография была представлена четырьмя докладами. Германисты удивительным образом сошлись в обсуждении Вильгельмин-

ской эпохи, но с разных историографических «позиций». В докладе «К вопросу о современном состоянии немецкой историографии либерализма в Вильгельминской Германии» *Н. Н. Баранов* в качестве одной из главных ее тенденций выделил смещение исследовательского фокуса с собственно либерализма на само буржуазное общество с точки зрения женской и конфессиональной истории, а также исследования многообразий региональных проявлений либерализма. Это получило в немецкой историографии, как отметил докладчик, название «второй исторической реальности» либерализма. И если в докладе *Н. Н. Баранова* Вильгельминская эпоха обсуждалась «извне», то в докладе *А. С. Козлова* «Еще раз о месте Иоганна Густава Дройзена в немецкой историографии» та же эпоха рассматривалась «изнутри». Докладчик показал концепцию исторического развития Дройзена в качестве «буржуазной» альтернативы концепциям Маркса и Ницше, а «критический метод Ранке» не содержащим ничего, что уже не было бы воплощено в практике исторического правоведения, филологии и антиковедения эрудитов конца XVIII в. Доклады франковедов перенесли участников секции в современность, 1990-е — начало XXI в. В докладе «СССР 1930-х гг. в осмыслении современной французской историографии» *Т. В. Краева* дала обзор новейших работ французских историков по эпохе сталинизма, выделив их общую черту — стремление «деполитизировать дискурс о СССР». Сообщение *Д. О. Лабаури* «Проблема межэтнического конфликта в Косово в оценках французской прессы (1999—2004)» было посвящено анализу эволюции оценок французской прессы межэтнического противостояния на Балканах от пропагандистских, оправдывающих агрессивную политику НАТО, к более объективным, расценивающим его как национальную трагедию. Англоведческая тематика коснулась различных аспектов развития исторической науки в Великобритании. *В. В. Высокова* в докладе «Эдвард Гиббон, “История упадка и гибели Римской империи” и британские историки XX в.» сосредоточилась на имперском дискурсе в развитии британской историографии XVIII—XX вв. *К. А. Макрушина* в сообщении «Парадокс феномена Джейн Остен — взгляд на эпистолярное наследие писательницы в XX — начале XXI в.», опираясь на об-

ширную историографию, объяснила феномен нарастающей во времени популярности писательницы потребностью британцев XX в. в «идиллических картинках» английского прошлого. *М. В. Тимофеева* в сообщении «Журнал “Past and Present”: история создания, эволюция и вклад в британскую историографию» остановилась на так называемом «ренессансе» марксизма в западной историографии 1960—1970-х гг. на примере данного авторитетного периодического издания. Выступление *Д. Н. Федоровой* «“Britishness” vs “Englishness”: К вопросу о современной британской историографии национализма и национальной идентичности» было посвящено уточнению понятийного аппарата исследований по национализму, даны красочные примеры его проявления в современной Великобритании. Разные национальные историографии были объединены в докладе *В. Н. Земцова* «Историография Отечественной войны 1812 г.: 200 лет поиска истины». Докладчик затронул чрезвычайно важный вопрос вовлеченности национально-государственного интереса в исследуемое национальными историками событие, объясняя, прежде всего, этим разнящиеся национальные образы похода Наполеона в Россию в обширной западной историографии.

Прошедшая конференция, посвященная выявлению уникального и универсального в опыте разных национальных историографических традиций, по большому счету не достигла целей ее организаторов — уж слишком разнонаправленны и многогранны оказались представленные доклады. Универсальное методологическое ядро исторической науки в докладах присутствовало лишь имманентно. Наиболее ценными здесь оказались доклады *А. С. Козлова* и *И. В. Побережникова*. Особенности национальных историографических практик рельефно были представлены в докладе *В. Н. Земцова*, а также выступлениях, посвященных отечественной историографии. И тем не менее заявленная проблематика получила свое очертание и оказалась серьезно продвинутой в коллективном обсуждении докладов. Несомненным результатом было выявление универсального механизма историографических практик специалистов самых различных периодов и исследовательских направлений. Актуализировалась проблема строгости и точности

источниковедческого анализа. Стало ясно, что развитие историографии задается в каждый конкретный момент напряженностью между прошлым и будущим и определяется трехмерным «параметром»: национально-государственной властью, состоянием работанности историографии конкретной исследовательской проблемы и персональными качествами историка-исследователя или же целого исследовательского направления. Именно этот последний аспект задал тему будущей конференции Уральского отделения РОИИ «Тексты исторической эпохи: рождение нарративов».

*В. В. Высокова,*  
председатель Уральского отделения  
Российского общества интеллектуальной истории

## ИСТОРИК, ТЕКСТ, ЭПОХА

### IV Всероссийская конференция УрО РОИИ

На заседании Уральского отделения Российского общества интеллектуальной истории принято решение о проведении IV Всероссийской конференции УрО РОИИ. Дата проведения намечена на весну 2011 г. Тема будущей конференции определяется итогами III Всероссийской конференции УрО РОИИ. Темой прошедшей конференции, а также данного сборника является эпистемологическое напряжение между *историком*, *текстом*, который он создает, и *эпохой*, в которой живет он и его тексты. В рамках будущей конференции данная проблематика рассматривается в более широком контексте и сосредотачивается на текстах исторической эпохи и их интерпретации. На обсуждение выносятся следующие проблемы:

— Манифесты истории: идейно-политические и литературно-художественные тексты исторической эпохи.

— Прецедентные тексты исторической эпохи: официальные, альтернативные, маргинальные.

— Текстуальный анализ как путь создания «досье» автора.

— Дискурсивные практики историков и дискурс истории.

В заявке на участие в конференции необходимо указать ФИО, ученую степень и место работы, тему доклада. Сообщаем, что те-

зисы выступлений (до 5 тыс. печ. знаков) будут размещены предварительно на сайте исторического факультета УрГУ (<http://www.hist.usu.ru>). По результатам конференции выйдет очередной выпуск альманаха исследований всеобщей истории XVI—XX вв. «IMAGINES MUNDI», серия «Интеллектуальная история», размер статьи — до 20 тыс. печ. знаков. Заявки на участие и тезисы присылать до 1 января 2011 г. по адресу: [urogoii@gmail.com](mailto:urogoii@gmail.com), на имя ученого секретаря конференции Краевой Татьяны Васильевны.

## ЮБИЛЕИ



### **ИСТОРИЯ ВОСТОКА В СУДЬБЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К юбилею Валентины Николаевны Грак**

10 сентября 2009 г. исполнилось 70 лет доценту кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета, кандидату исторических наук Валентине Николаевне Грак. В 1957 г., окончив среднюю школу с золотой медалью, она была принята на исторический факультет Уральского университета. В годы учебы созрела и окрепла любовь Валентины Николаевны к Востоку, которую она несет на протяжении вот уже более чем



пятидесяти лет каждому новому поколению историков. Валентина Николаевна относится к тому редкому типу преподавателей, для которого лекция — это момент «живой» реконструкции прошлого. Это позволило ей привить любовь к Востоку, его высокой культуре многим поколениям студентов исторического факультета УрГУ. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с Валентиной Николаевной в юбилейные для нее дни.

— *Когда и как Восток впервые «появился» в Вашей жизни? Каким был этот Восток?*

— Восток появился в раннем детстве. Я родилась и до семи лет жила в Забайкалье (Читинская обл., г. Балей).

Во-первых, иногда в городе появлялись буряты. Они были совсем не похожи на окружавших меня людей. В памяти отпечаталась почти величественная фигура бурята в длинной просторной одежде с капюшоном. А взрослые, глупые люди (но не моя мама!), завидя его, пугали нас: «Ведите себя хорошо, а то бурят заберет».

Во-вторых, отец (он был военнослужащий) почти сразу после моего рождения отбыл в Монголию, затем участвовал в военных действиях против Японии. В связи с этим мама, беспокоясь за него, периодически повторяла незнакомые мне слова: «Монголия, Китай, Маньчжурия».

В-третьих, у нас дома была толстая, в зеленом переплете, книга про японских самураев. Я часто рассматривала ее (по-видимому, других книг было мало) и до сих пор помню один рисунок: японский самурай в традиционных доспехах расшибает голову о пограничный полосатый столб. Вероятно, книга отражала события 1939 г. на Халхин-Голе.

В-четвертых, в конце войны в нашем городе появилось много японских солдат. Это были военнопленные, все в серо-зеленой одежде. Они что-то рыли, вбивали в землю какие-то столбы. Иногда по двое-трое солдаты стучались в квартиру, просили хлеба, а взамен предлагали что-то шелковое. Запомнились яркие шарфы и белые носки. Мама всегда жалела их и говорила: «Бедные! Их заставили воевать».

Вот, пожалуй, и весь мой детский Восток, то есть он присутствовал, но я по малости лет не имела о нем представления, но уже осознавалось «другое», «чужое».

— *Кто и что повлияли на выбор азиатского направления в период учебы на истфаке УрГУ?*

— Полагаю, что влияние было двояким. С одной стороны, это бурные события в странах Азии и Африки во второй половине 50-х — начале 60-х гг. С другой — конкретный личностный фактор. На факультете появился первоклассный синолог Ю. А. Попов. Он защитил кандидатскую диссертацию в Москве, стажировался в КНР, владел китайским языком. Именно с Юрия Александровича ведет свой отсчет востоковедение на историческом факультете УрГУ. В эти же годы как востоковед формируется П. К. Тарасов.

— *Кого Вы считаете своими учителями (это относится не только к периоду учебы в университете, но и к последующим годам работы)? Что каждый из них вложил в Ваше становление как историка-востоковеда?*

— Я с благодарностью вспоминаю многих преподавателей, которые работали с нами: Е. Г. Сурова (Древний Восток), Н. Н. Белову (История Греции и Рима), Г. А. Кулагину (История России), В. В. Адамова (Отечественная история советского периода) и, конечно, М. Я. Сюзюмова (История славян в Средние века). Все они были блестящими профессионалами и, главное, исповедовали принцип «строг, но справедлив». Вероятно, именно поэтому из 50 человек моего курса истфак окончили только 26.

Интерес к Востоку формировался, прежде всего, под влиянием Ю. А. Попова. Признаюсь, что тема, предложенная им («Рабочее движение в Китае в восстановительный период»), меня не особенно увлекала. Своеобразной компенсацией стало изучение китайского языка. Мы, очень небольшая группа студентов, с удовольствием занимались под руководством Юрия Александровича, даже выучили и с энтузиазмом пели партийный китайский гимн. В результате я кое-что смогла перевести из китайских источников для дипломной работы.

Но так случилось, что мне пришлось расстаться с китайским языком и научной специализацией по Китаю. У Ю. А. Попова не было аспирантуры, кроме того, вскоре он перешел в Высшую партшколу. Поэтому в 1964 г. я поступила в аспирантуру к И. Н. Чемпалову. Темой моих научных штудий стало рассмотрение империалистических противоречий на Ближнем Востоке в начальный период Второй мировой войны. Главный ее аспект — борьба организации «Свободная Франция» за страны Леванта. Следовательно, в определенной степени удалось гармонизировать мои пристрастия к Востоку с научным направлением «школы Чемпалова».

Для выполнения поставленных в кандидатской диссертации задач пришлось проделать основательную работу по переводу источников и литературы с английского, французского и немного с итальянского языков. К сожалению, мое владение иностранными языками носило сугубо пассивный характер. Вместе с тем ближневосточная тематика убедила в необходимости заняться изучением арабского языка. Для этого нужно было ехать в Москву. И. Н. Чемпалов поддержал меня и обещал свое содействие. Но, увы, этот замысел не реализовался. Мне явно не везло с иностранными, особенно восточными, языками.

— *Каким образом отражались изменения в отечественном востоковедении 1960—2000-х гг. на Вашем видении истории афроазиатских стран, методологии и содержания Ваших учебных курсов?*

— Я благодарна провидению (или обстоятельствам) за то, что мне пришлось осваивать историю Азии и Африки почти во все хронологические периоды, за исключением древности. Еще в аспирантуре начала разрабатывать курс средневекового Востока и читала его довольно долго.

Между тем востоковедение на факультете усиливало свои позиции: на нашей кафедре к преподаванию истории Востока приступили В. А. Кузьмин и В. А. Бабинцев; на кафедре Древнего мира на протяжении многих лет прекрасно читала лекции Н. Ф. Шилюк, а затем «взялись за дело» такие знатоки Востока, как В. П. Степаненко и Л. А. Омелькова.

Естественно, учебный процесс 1960—1980-х гг. отражал господствующие идейно-политические установки и базировался на формационной парадигме. Поэтому в лекционных курсах, на семинарских занятиях большее внимание уделялось народным восстаниям, движениям протеста, революциям. Особенно это касалось новейшего Востока, в курсе которого доминировали темы, связанные с национально-освободительными движениями, борьбой освободившихся стран за выбор пути развития, варианты феномена так называемой «социалистической ориентации».

И надо признать, что в 1970—1980-е гг. как раз к этим темам, отражавшим ситуацию в афро-азиатском мире, проявляли значительный интерес студенты факультета. Это накладывало отпечаток на учебный процесс: темы курсовых и дипломных работ, специальные курсы. В частности, я читала спецкурс «Современные проблемы Тропической и Южной Африки». Более того, именно в эти годы на факультете проводились политинформации в форме «круглых столов», а наши политбойцы В. Кокшаров, Д. Бугров, Н. Баранов прославились не только в УрГУ, но и за его пределами.

Вместе с тем с конца 1960-х гг. и в 1970-е гг. в связи со второй Большой дискуссией по проблемам «азиатского способа производства» на страницах журнала «Народы Азии и Африки» публиковались статьи, авторы которых были крайне осторожны, но отличие от господствующего монизма в их позиции уже просматривалось.

Существенные изменения на содержательном и методологическом уровнях в преподавании Востока начинают происходить в 90-е гг. в связи с обсуждением проблем, связанных с цивилизационной парадигмой, что было определенным «вызовом». В качестве «ответа» потребовалась существенная перестройка лекционного курса. К этому времени мы с В. А. Бабинцевым мирно разделили сферы влияния, я предпочла историю Востока в Новое время. Проблемы в преподавании дисциплины остаются. Ведь мы отдаем предпочтение ведущим странам и совсем не изучаем или изучаем весьма поверхностно страны таких регионов, как Индокитай, Индонезия, Тропическая и Южная Африка. Но пока я не вижу пути преодоления этого недостатка.

— *Какие исторические периоды, сюжеты, герои, азиатские страны являются для Вас наиболее любимыми? Изменялось ли это со временем?*

— Меня привлекают многие сюжеты как общего, так и специальных курсов. Особый интерес вызывают: процесс модернизации традиционных обществ, проблема кросскультурных контактов и варианты адаптации «чужого», феномен просветительства на Востоке и его соотношение с европейским Просвещением. И, конечно, у меня на Востоке целый сонм героев: от Абд-аль-Кадира до Кан Ювэя. Но есть герои, которые вызывают глубокое восхищение: великий слепец Маарри, до конца не познанный Омар Хайям, поэт-суфий Дж. Руми, странствующий монах Мацуо Басё и др. Эти мудрецы Востока — герои одного из моих спецкурсов.

— *Актуальна ли сейчас средневековая мусульманская литература?*

— Великие арабские и персидские поэты, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой литературы, обращались к проблемам, которые не могут оставить равнодушными и нас. Для подтверждения приведу несколько примеров. Арабский поэт Маарри отстаивает идею взаимосвязи всего сущего, человек — часть окружающей природы и не должен возвышаться над ней:

Так далеко мы зашли в невежестве своем,  
Что мним себя царями над птицей и зверьем.

У него же постоянно присутствует мотив веротерпимости:

Какой бы ни была чужая вера,  
Но высота души — для веры мера.

Суждения лучших представителей культуры мусульманского Востока опережали свое время. Саади, проживший долгую жизнь, много испытавший (25 лет странствовал, побывал в плену у крестоносцев, был очевидцем трагических последствий монгольского завоевания Персии), отстаивал идею равенства людей перед Богом:

Всяк человек для Бога одинаков,  
Всем доля от плодов его и злаков.

Но знай, ты в нем защиты не найдешь,  
Коль ремеслом жестокость изберешь.

Будучи адибами, то есть образованными людьми, овладевшими комплексом знаний своего времени, поэты размышляли над проблемами мироздания и человеческого бытия. В одном из рубаи Омар Хайам задает вопрос себе, небу и окружающим:

Чья рука этот круг вековой разомкнет?  
Кто конец и начало у круга найдет?  
И никто не открыл еще роду людскому —  
Как, откуда, зачем наш приход и уход.

Творчество великих мусульманских поэтов свидетельствует об их сочувствии простому народу, сострадании к нему. Именно поэтому все стихотворные жанры (дастаны, газели, рубаи, маснави, фарды) пронизаны извечной мечтой народа о справедливом правителе. Маарри в XI в., откликаясь на эти мечты, вопрошает:

Когда же, наконец, объявится имам,  
Который цель и путь укажет племенам.

В XV в. последний выдающийся представитель классической поэзии на фарси Джами предупреждает:

Когда о подданных своих правитель не радеет,  
Он по миру пускает их, а трон его слабеет.

И главное, мусульманские поэты выступали с позиции нравственного совершенствования человека. Кредо Маарри:

Твори добро без пользы для себя,  
В нем благодарность за него любя.

Об этом же читаем у Саади:

Над горем людским ты не плакал вовек, —  
Так скажут ли люди, что ты человек?

Мой любимый поэт-суфий Дж. Руми в каждой из своих многочисленных притч, вошедших в «Поэму о скрытом смысле», так-

же затрагивает проблему нравственности человека и общества. И хотелось бы закончить наставлением Джами нам, преподавателям и студентам:

Коль знанием овладеть ты смог, дари его другим.  
Костру, что сам в душе зажег, не дай растаять в дым.

Следовательно, темы, к которым обращались арабские и персидские поэты периода классицизма, имеют гуманистическое, общечеловеческое содержание, поэтому они актуальны и в наши дни.

— *Какие источники изучения Востока являлись и являются для Вас наиболее важными?*

— Как историк сознаю всю важность официальных источников, тем не менее предпочитаю дневники, записки, мемуары и такой специфический вид источника, как художественная литература. К примеру, роман Д. Осараги «Ронины из Аки» дает более убедительный, яркий материал по вопросу кризиса сословия самураев, чем иная монография.

— *Что Вы можете сказать о состоянии современной африканистики?*

— После «бума» африканистики в 1960—1980-е гг. в девяностые годы ситуация меняется. Причины очевидны: распад СССР и соцлагеря, крах модели не только советского социализма, но и модели социориентации. Необходимо учитывать и снижение общественного интереса, в том числе студенчества, к проблемам Африки. Все это оказывало воздействие на науку, ученые заговорили о «познавательном кризисе в африканистике», «ускользающем объекте исследования».

Вместе с тем можно утверждать, что африканистика жива: пусть не сплошным потоком, как в прошлые годы, но публикуются статьи, монографии таких авторитетных специалистов, как А. Б. Давидсон, А. С. Балезин, И. И. Филатова, Н. Д. Косухин и др.; реализуется фундаментальный проект «История Африки в документах, 1970—2000 гг.» под редакцией А. Б. Давидсона; проводятся кон-

ференции африканистов; по-прежнему действуют Институт Африки РАН и Центр африканских исследований Института всеобщей истории; некоторые отечественные ученые работают в научных центрах африканских стран, в частности, в ЮАР. К сожалению, не могу с большой долей уверенности судить о состоянии африканистики на региональном уровне. Знакома с работами саратовской школы африканистов (И. Д. Парфенов, М. Д. Никитин, Н. С. Кревелева). Импонирует их позиция методологического поиска в рассмотрении проблем колониальной трансформации Тропической Африки. Но что вызывает серьезное беспокойство, так это «смена поколений»: сформируется ли новая генерация ученых, достойная наших замечательных африканистов прошлых лет.

— *Существует ли мусульманская угроза миру? В чем суть конфликта между Западом и исламским миром?*

— Это очень сложный вопрос, и, следовательно, ответ на него не может быть кратким. Проблема противостояния Запада и мусульманского мира зародилась не сегодня, истоки ее уходят в Средние века и Новое время. В течение десяти веков мусульмане, вначале арабы, а затем турки-османы, побеждали европейцев. Военно-религиозная конфронтация породила психологическое отчуждение между народами, в странах Европы формируется негативный стереотип ислама и мусульман. Со временем ситуация меняется, в результате колониальных захватов многие мусульманские страны становятся владениями европейских держав. Иностранный гнет воспринимался народами этих стран, как покушение на национальную самобытность и основы их религии. Результатом были отторжение, неприятие европейцев и всего западного. И хотя среди части мусульман возникали группы либералов-модернистов, выступавших с позиции вестернизации, большинство населения шло не за ними, а за теми, кто призывал возвратиться к истокам.

Ответом мусульман на колониальную экспансию Запада стали:

Во-первых, панисламизм, связанный с именем Дж. аль-Афгани. В последней трети XIX в. он призывал мусульманские народы объединиться для противодействия экспансии Запада. При этом



аль-Афгани приверженность религии ставил выше национальной принадлежности: «Мусульмане не знают иной национальности, кроме своей религии». В дальнейшем идеи панисламизма были развиты и оформлены в стройную систему сподвижниками и последователями Дж. аль-Афгани.

Во-вторых, политизация ислама. Это проявилось не только в деятельности Мусульманской лиги в Индии, приведшей в итоге к созданию Пакистана, но и возникновении многочисленных обществ, ассоциаций на религиозной основе в других государствах мусульманского Востока. Особое внимание обратим на образованную в 1928 г. в Египте ассоциацию «Братья-мусульмане». Ее лидер Хасан аль-Банна в своем послании «К свету» (1936) выступил за бескомпромиссную чистку общества от тлетворного влияния западной цивилизации, за создание теократического государства. Вооружившись идеями панисламизма и панарабизма, «Братья-мусульмане» создают отделения своей организации в других арабских странах. При этом они берут курс на применение насильственных методов.

Следовательно, в мусульманских странах всегда находились социальные силы, которые выступали за усиление роли ислама в решении вопросов внешней и внутренней политики. При этом нужно учесть разочарование широких масс народа политикой националистов-модернистов светского направления, проявивших неспособность справиться с тяжелыми постколониальными проблемами.

Еще один важный фактор — радикализация ислама — это обстановка в мусульманском мире во второй половине XX — начале XXI в.: неурегулированность ближневосточного конфликта, свержение под знаменем ислама шахского режима в Иране, советская интервенция в Афганистане в 1979—1989 гг. И, безусловно, нужно учитывать политику США и их союзников в Ираке, а теперь и в Афганистане. Проблема радикализации ислама и его возможных последствий активно обсуждается в научной литературе. Обобщая мнения ведущих отечественных специалистов, таких как

Р. Г. Ланда, З. И. Левин, В. В. Наумкин, А. В. Малашенко, А. Ниязи и др., осмелюсь сделать следующие выводы.

Исламизм, особенно исламизм джихадистского толка, — это реакция на процесс глобализации, которая является не чем иным, как очередным «подарком» Запада остальному человечеству (более ранними «подарками» были Крестовые походы и колониализм). Цель глобализации — научить, если не хотят, то заставить людей другой культуры жить, мыслить по западным нормам и тем самым лишить их собственной социокультурной идентичности.

Исламизм радикального направления сам начинает превращаться в своеобразный глобализм с претензией на мировое господство. В итоге столкновение этих «глобализмов» несет колоссальную разрушительную силу, губительную для мировой цивилизации. Политика наиболее значительных, весомых государств все больше замыкается на борьбе с международным терроризмом. Между тем борьба должна вестись не с последствиями, а с причинами, порождающими современные противоречия и конфронтацию.

И, наконец, особое внимание хотелось бы обратить на мнение Р. Г. Ланды: «В отношениях с миром ислама России лучше руководствоваться собственной линией, не отождествляя себя с Западом, а используя свой исторический опыт, включая традиции взаимодействия, взаимовлияния, сотрудничества и согласия».

— *Можно ли сказать, что в УрГУ существует востоковедение, и если да, то каковы перспективы его развития, на Ваш взгляд?*

— Я бы не осмелилась так утверждать, поскольку классическое востоковедение предполагает не только владение хотя бы одним из восточных языков, но и научно-исследовательскую работу в афро-азиатском направлении. Перспектива — возможна! Сейчас есть условия для изучения языка в Екатеринбурге. Остается немного — «болеть» Востоком!

Материал подготовили А. Г. Чевтаев, С. В. Смирнов

## НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

УОРРЕН ТРЕДГОЛД  
О РАННЕВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИКАХ

*Treadgold W. The early Byzantine historians.*  
Basingstoke ; N. Y. : Palgrave Macmillan, 2006. 431 p.

Профессор У. Тредголд преподает в Сент-Луисе. Он — византист широкого профиля (в сферу его интересов входят экономическая, социокультурная и военная история империи) и принадлежит к тем специалистам, которые считают, что модернистские (и особенно постмодернистские теории) препятствуют пониманию Византии. Взгляд на восточно-римскую цивилизацию, ее интеллектуальный мир «изнутри», через ценности самих византийцев, в известной мере присущ и рецензируемой книге. Однако сразу следует оговорить, что она является скорее подробным введением в историописание ранней империи, попыткой представить любознательному читателю современный взгляд на проблему, но не всесторонним углубленным исследованием темы. В то же время верность традиционному дескриптивному методу в преподнесении историографического материала здесь относительна, ибо автор не учитывает солидный пласт новейших изысканий по обозначенной проблематике и непоследователен в построении концепта природы ранневизантийской исторической литературы.

В самом деле, обзор разножанровых трудов от Евсевия Кесарийского и Аммиана Марцеллина (р. 23 ff.) до «Пасхальной хроники» включительно (р. 350) демонстрирует как творчество классической позднеантичной исторической мысли, так и интеллектуальный багаж хронистов с ярко выраженными средневековыми чертами (Малала, составители той же *Chronicon Paschale*). Отрадно, что Тредголд в каждом случае уделяет внимание биографии историка, состоянию дошедшего до нас текста, времени его составления, стилистическим особенностям. Однако анализа жанровых признаков описываемых сочинений, напрямую зависимых от приверженности античной литературной традиции или, наоборот, чуждающихся ее, в книге нет. Отсутствует даже учет сделан-

ного в этой области Х.-Г. Бекон и Х. Хунгером (я уж не говорю о работах С. С. Аверинцева, А. П. Каждана, Я. Н. Любарского; названий русскоязычных трудов в весьма неполных списках использованной литературы у Тредголда не найти). Исследователь предваряет обзор указанием на греческих историков (прежде всего — на Геродота и Фукидида), языку, образам и стилю которых подражали византийские интеллектуалы (р. 1—22). Однако непонятно, почему «методику» составления исторических сочинений, манеру подбора и использования источников византийцы заимствовали в большей степени у Полибия и такого, мягко говоря, вторичного автора, как Дионисий Галикарнасский<sup>1</sup>.

Множество конкретных наблюдений Тредголда только подтверждают его невнимание к принципиально значимым ориентациям ранневизантийских историописателей на античные или христианско-раннесредневековые образцы. Приведу несколько примеров. Аммиан Марцеллин характеризуется как последний латиноязычный (в классическом смысле) историограф (р. 79). Но после него творили такие популярные в V и VI вв. авторы, как Ренат Профутур Фригерид (о нем пишет Григорий Турский), Сульпиций Александр (чью «Историю» использовал тот же Григорий) и уж конечно Мемний Симмах<sup>2</sup>. Предположение же о том, что Аммиан перебрался на Запад из опасений преследований со стороны императора Валента (р. 57—58), остается предположением, ибо, во-первых, положительные оценки в адрес кадровой политики этого правителя у историка преобладают над критическими высказываниями, допустим, относительно политики финансовой, а во-вторых, я бы обратил внимание на предпочтение со стороны Аммиана для обозначения государства термина *res publica* (а не *res Romana* или *imperium Romanum*)<sup>3</sup>, — прием, культивируемый в IV в., прежде всего, западноримской политической мыслью. То есть историк просто мог искать более подходящую для него интеллектуальную атмосферу.

Другой пример касается известной проблемы числа изданий «Истории» такого столпа грекоязычной позднеантичной традиции, как Евнапий. Тредголд полагает, что упоминание Фотием «второй

публикации» сочинения Евнапия — плод неверной оценки патриархом характера и объема материала обоих изданий (р. 82—83). А. Бейкер же еще в конце 1980-х гг. остроумно предположил, что указанное упоминание Фотия объясняется работой благочестивого переписчика, упустившего в своей редакции труда языческого историописателя нападки на христиан<sup>4</sup>. Упоминание же Евнапием своего исторического сочинения в «Жизнеописаниях софистов» можно объяснить обнародованием его отдельных разделов еще до его завершения.

Наиболее показательна недооценка Тредголдом значимости литературно-исторических жанровых явлений, порождаемых конфликтом позднеантичных историописательских норм и возникавшими раннесредневековыми познавательными принципами в сюжетах, связанных с творчеством Евстафия Епифанейского (р. 114—120, 251—255, 311—327). Исследователь прав в констатации принадлежности творчества Евстафия к христианской ветви литературы, более того — к тем группам историописателей, которые видели принципиальность хронологии как инструмента понимания проявлений воли провидения в значимых событиях земной истории. М. Мейер и Д. Бродка, однако, дополнительно показали, что подобный подход позднеантичных авторов к материалу, конструируемому в рамках христианского понимания линейного времени, был пронизан эсхатологическими ожиданиями рубежа V—VI вв.<sup>5</sup> Считая Евстафия одним из самых влиятельных в то время грекоязычных историков, Тредголд констатирует полную зависимость от своего героя таких разных авторов, как Малала и Иоанн Антиохийский<sup>6</sup>. Мало того, хроника Малалы оценивается только как примитивное и неудачное переложение сочинения Евстафия (р. 252 ff.) — крайне слабо обоснованное заявление, противоречащее сделанным ранее фундированным выводам группы преимущественно австралийских исследователей<sup>7</sup>, признающих использование Малалой Евстафиевой хроники, но, разумеется, не в масштабе, декларируемом Тредголдом. Что же касается Иоанна Антиохийского, то, не говоря уже о жанровом и содержательном многообразии дошедших фрагментов его сочинения (что позволяет некоторым специалистам до сих пор говорить о нескольких Иоаннах

Антиохийских), принять тезис иллинойского византиниста о компиляции этих отрывков, прежде всего, из хроники Евстафия (р. 311 ff.) не представляется корректным. Рассуждения Тредголда по поводу зависимости указанных авторов от Евстафия логически построены на спекулятивных началах, контрастом чему является тезис о вероятном использовании Иоанном Антиохийским для описания событий V в. труда Прииска Панийского. К этому следует добавить, что упрощение подхода к проблеме взаимозависимости позднеантичных историков зачастую не позволяет выявить очень сложных оттенков культурно-исторического отражения ими принципиальных событий. Так, например, в характере констатации исчезновения императорской власти на Западе греческие историки (в том числе и Евстафий) далеко не однозначны. Как показал в отмеченной работе Д. Бродка, в соответствующих сообщениях Малалы (ср. с *Chronicon Paschale*), Прокопия, Евагрия, Иоанна Антиохийского и Феофана можно проследить, по крайней мере, две традиции, что противоречит тезису Тредголда о базисном характере сведений Евстафия для такого сюжета. Во-первых, обе группы сообщений расходятся в преподнесении существеннейших деталей событий 70-х гг. V в. Во-вторых, в сочинении Евагрия имеются два места с хронологическими выкладками, которые, по Тредголду, восходят к Евстафию, — сообщения о смерти Зинона и воцарении Анастасия и сообщение о переворотах на Западе, завершившихся воцарением Одоакра. Оба места содержат датировки по разным хронологическим системам, а значит, скорее всего, восходят к разным источникам. Бродка считает, что Евагрий мог использовать Евстафия только в первом из этих двух случаев<sup>8</sup>. Добавлю — это касается лишь содержательной стороны сообщения, но не его формы. Если же сравнивать именно формы данной информации с аналогичными текстами того времени, то скорее следует обратиться к «Хроникону» комита Марцеллина<sup>9</sup>. Но Марцеллин принадлежит вообще к иной, латиноязычной иллирийской традиции, зачастую использующей разножанровых латиноязычных авторов типа Орозия, городской хроники Константинополя и др. Даже его идейно-политическое осмысление событий 476 г. иное, чем в греческой традиции, — подчеркивание начала правления

готов на Западе<sup>10</sup>. Такая трактовка Евстафию, Малале и Пасхальной хронике чужда.

Можно приводить еще много примеров сочетания в монографии Тредголда интересных идей и наблюдений с достаточно противоречивыми трактовками, а то и с досадными упущениями, связанными с игнорированием значительного числа более ранних изысканий в сфере позднеантичной и ранневизантийской исторической мысли. Ограничусь общим замечанием — дело в данном случае, скорее всего, в необходимости сочетать в анализе насыщенного контроверзами историографического материала IV—VII вв. многоплановость собственно исторических методик с современными филологическими приемами (но, разумеется, без панацеи в лице постмодернизма и физикализма, здесь Тредголд, безусловно, прав).

А. С. Козлов

<sup>1</sup> Ср.: *Moravcsik G. Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung // Polychronion. Festschrift Franz Dölger. Heidelberg, 1966. S. 366—377; Jeffreys E. M. The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History // Byzantion. 1979. T. 49. P. 199—238.*

<sup>2</sup> См.: *Martindale J. R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire. Camb., 1980. Vol. 2. P. 1044—1046.*

<sup>3</sup> См.: *Blockley R. C. Ammianus Marcellinus. A Study of His Historiography and Political Thought. Bruxelles, 1975. P. 151.*

<sup>4</sup> См.: *Baker A. E. Eunapius' Nea ekdosis und Photius // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1988. Vol. 29. P. 389—402.*

<sup>5</sup> См.: *Meier M. Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert n. Chr. Göttingen, 2003. S. 460; Brodka D. Eustaphius von Epiphaneia und das Ende des Weströmischen Reiches // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 2006. Bd. 56. S. 59—78.*

<sup>6</sup> Подобную позицию автор подтвердил позднее. См.: *Treadgold W. The Byzantine World Histories of John Malalas and Eustathius of Epiphania // International History Review. 2007. Vol. 29. P. 709—745.*

<sup>7</sup> См., например: *Croke B. Byzantine Chronicle Writing. 1: The Early Developments of Byzantine Chronicles // Studies in John Malalas. Sidney, 1990. P. 37.*

<sup>8</sup> *Brodka D. Op. cit. S. 59—60. Anm. 9.*

<sup>9</sup> См.: *Capizzi C. L'imperatore Anastasio. Rome, 1969. P. 95—97; Cameron A. Porphyrius the Charioteer. Oxf., 1973. P. 233.*

<sup>10</sup> См.: *Croke B. AD 476: The Manufacture of a Turning Point // Chiron. 1983. Vol. 13. P. 81—119.*

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ И ЕЕ КОГНИТИВНЫЕ  
ОСНОВАНИЯ В ПОСЛЕДНЕМ СОЧИНЕНИИ  
О. М. МЕДУШЕВСКОЙ

*Медушевская О. М. Теория и методология  
когнитивной истории. М., 2008. 358 с.*

В отечественной историографии в последнее двадцатилетие очевиден небывалый интерес к вопросам теории истории. И это неудивительно — исторические исследования больше не должны соответствовать «единственно верному марксистскому учению». В отечественной историографии сложилась ситуация, которая часто характеризуется как плюрализм мнений или, точнее говоря, множественности методологических подходов. Логика этой ситуации заставляет профессиональных историков провести «учет и контроль» арсенала накопленного исторического знания, определиться с надежными методами добывания знаний о прошлом. И достаточно часто встречающееся суждение, что данная ситуация характерна только для отечественных историков, иллюзорно. Это качество — эпистемологического поворота — характерно для европейской историографии в целом. Монография О. М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» является ответом на этот вызов современности и имеет общецеховую актуальность по ряду принципиальных вопросов методологии современного гуманитарного знания.

В последнее десятилетие активно начал развиваться такой раздел исторической науки, как ее собственная история, что определяется не в последнюю очередь обязательностью данного курса в университетском образовательном стандарте исторических факультетов. Отнюдь нельзя этого же сказать о другом разделе исторической науки — методология истории, что объясняется аналитической сложностью этого «этажа» исторической науки. К сожалению, отечественные опыты Новейшего времени, как правило, не вносят методологической ясности в этот вопрос. Можно даже сказать, что модной стала точка зрения, что «историческое знание не располагает универсальным набором методов и инструментов познания... результаты труда историка в большей степени зависят от научных, этических и моральных предпочтений». Отсюда вытекает прямой



вывод: сколько историков — столько историй, «прошлое — это мир, который мы потеряли навсегда». Попросту говоря, история — это «высокое» искусство саморефлексии историка-профессионала посредством интерпретации исторических источников. Позиция О. М. Медушевой прямо противоположна такому взгляду на историческое познание и четко определена: историческая наука — это наука, добывающая «истинно строгое знание» о прошлом.

Методологическая неопределенность в отечественной историографии в значительной степени объясняется влиянием различных постмодернистских концепций западной историографии. Воистину — нет пророков в своем отечестве. В то время как опыт последних двух десятилетий делает очевидным вывод в том, что подобно тому, как великие русские писатели Толстой и Достоевский определяли лицо западной литературы рубежа XIX—XX вв., русские музыка, балет, театр задавали тон развитию европейской культуры, так и русская историческая школа являлась одной из самых развитых и передовой для своего времени. И это касается в первую очередь вопросов методологии истории и конкретно работы А. С. Лаппо-Данилевского «Методология истории». Надо заметить, что это его сочинение в силу разных обстоятельств находилось в забвении в течение многих десятилетий. И проблема здесь не столько в смене идейно-политических ситуаций, сколько (и сегодня это осознается остро как никогда) в кажущейся сложности методологии Лаппо-Данилевского. Монография О. М. Медушевой, ученицы А. И. Андреева — сподвижника и ученика Лаппо-Данилевского, является собственно разъяснением концепции русского методолога и ее адаптацией к понятийному аппарату исторической науки начала XXI в.

Ключевым понятием методологии истории, как показывает О. М. Медушевская, является понятие «информация». Исторический источник понимается как источник информации о прошлом. Вводится понятие информационного обмена, который имманентно был присущ человеку с момента превращения его в человека разумного. Информационный обмен интеллектуальными продуктами человеческого сознания (чаще всего получающих вещественную форму) постоянно происходит как на синхронном, так и диахронном уровнях. И наше представление об этом процессе не должно

затемняться новыми компьютерными технологиями — информационный обмен получил лишь небывалую скорость и новые возможности. И как сегодня миру — природа, жизнь и человек — присуще некое универсальное единство и упорядоченность, так это было имманентно присуще миру человека разумного всегда. И в этом смысле прошлое и настоящее представляют единую информационную сферу. Отсюда и вытекает принципиальный вывод о возможности объективного знания о прошлом. Этот тезис является золотым сечением методологии истории, если только она позиционируется как научное знание. Разъяснению этой простой и очевидной мысли посвящена первая и вторая главы монографии О. М. Медушевской.

Другой важный тезис, который четко проводится в монографии, — тезис об универсальности научного знания. Критерием универсальности научного знания является верификация добытой информации. Общей предметной областью всех наук, как убедительно показано в монографии, выступает феномен человека, реализующего себя в универсальной стратегии творчества. Четко проведена мысль, что исторический процесс является базовым параметром для осмысления феномена человека, а история как наука — обязательным отделом всего научного «здания». Показано, что эпистемологический поворот Новейшего времени позволяет преодолеть господствующее в XX в. представление о различии методологии наук о духе и наук о природе. О. М. Медушевская констатирует, что впервые данная идея была сформулирована А. С. Лаппо-Данилевским и стала базовой в его концепции. Известность сегодня получил его академический проект 1916 г. по изучению истории русской науки, в определенной степени реализованный в рамках Комиссии по изучению истории знаний под руководством В. И. Вернадского в 1921 г. Сегодня обрела реальные очертания самостоятельная область наукознания. Значимость истории в поле наукознания резко возрастает, она больше не может находиться в состоянии методологической неопределенности. Современная историческая наука переходит в новое качество и становится «зрелой наукой» (Э. Гуссерль) с развитым понятийным аппаратом, а самое главное — с инструментарием добывания надежной информации о прошлом.

Следующий аспект методологии истории, который автор монографии терпеливо и настойчиво стремится прояснить читателю, — субъектно-объектные отношения процесса познания. О. М. Медушевская в разных ракурсах показывает и доказывает, что четкий и высокий профессионализм историка практически не оставляет места для субъективизма и каких-либо предпочтений. Четко поставленная исследовательская задача объективно дает историку в ходе исследования четкий и определенный ответ. Автор монографии показывает механизмы добывания точности информации о прошлом. Сложившаяся в отечественной историографии концепция методологии истории определяется источниковедческой парадигмой или соответствием видовой упорядоченности исторических источников — изучаемой эпохе. То есть источниковедение здесь выступает как синоним понятия «методология истории». И здесь мы вступаем в область застарелого спора по вопросу: что такое источниковедение. Это комплекс вспомогательных исторических дисциплин, имеющих ярко выраженный прикладной характер — скажут многие. Источниковедение — это теория и методология истории, показывает нам О. М. Медушевская и посвящает этому разделу исторической науки целое монографическое исследование. Большим его достоинством является привлечение внимания к становлению этой источниковедческой парадигмы методологии истории в последней трети XIX — начале XX в. в творческом наследии И.-Г. Дройзена, К. Н. Бестужева-Рюмина, В. О. Ключевского и А. С. Лаппо-Данилевского. Обоснованию источниковедческих оснований методологии истории посвящены третья и четвертая главы сочинения «Теория и методология когнитивной истории».

Но, может быть, самым глубоко идущим выводом работы О. М. Медушевской является вывод, который буквально ею не прописан в тексте монографии, но логически вытекает из самой идеи источниковедческой парадигмы методологии истории. Понятая таким образом историческая наука обретает «власть знания». Точная и достоверная информация (о прошлом, в частности) сразу обретает свою цену на информационном рынке, так как естественным образом включается в эмпирическую реальность и дает действенные ответы на запросы человека. В ситуации глобализации инфор-

мационной сферы история объективно не сможет больше находиться в ситуации методологической неопределенности. Прошлое — это наше настоящее, оно будет иметь актуальность всегда. Смысл и назначение истории как научной дисциплины резко актуализируются в ситуации начала XXI в. Эпистемологическая революция является оборотной стороной этого процесса и ясно на это указывает. И в этом контексте О. М. Медушевская затрагивает один из самых насущных вопросов последнего времени — образовательной модели истории как университетской дисциплины. В пятой и последней главе монографии автор убедительно показывает, что нарративистский подход в процессе обучения больше не работает и не приемлем в ситуации информационного взрыва в глобализующемся мире. В основу образовательной модели должно быть положено научение методу добывания верифицированного точного знания о прошлом, а не само прошлое — время ставит перед историком новые исследовательские проблемы, он должен знать как (*know how*) их решать. Метод добывания информации о прошлом, в свою очередь, базируется на критериях истинности и доказательности.

И последнее, на чем следует остановиться в обсуждении монографии О. М. Медушевской, — это определение истории как когнитивной, что вынесено в заглавие всей работы «Теория и методология когнитивной истории». Это наиболее сложный и одновременно новационный аспект монографического исследования О. М. Медушевской. Автор обращается к когнитивной лингвистике в качестве успешного примера добывания точного знания о человеке среди прочих направлений гуманитарного знания. Полагаю, что вектор дальнейших теоретических исследований, намеченный О. М. Медушевской в данном монографическом сочинении, является центральным в развитии методологии истории. Здесь надо отметить, что в западной историографии нет столь ясно и изящно выстроенной концепции методологии истории. Английский историк Дж. Тош и его французский коллега А. Про только подступают к этой проблематике. И в завершение следует повторить основные положения концепции методологии истории, рассмотренные О. М. Медушевской в работе «Теория и методология когнитивной истории»: методология истории едина и универсальна; объективное знание о прошлом на ее основе возможно; источниковедческие основания методоло-

гии истории определяются видовой упорядоченностью исторических источников; цеховое воспроизводство профессиональных историков базируется на консенсусной модели истории как науки и универсальной методологии истории.

*В. В. Высокова*

## ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

*Le Goff J., Schmitt J.-Cl. Dictionnaire raisonné  
de l'Occident Médiéval. P., 1999.*

Среди такого множества появившейся в последние годы научной и научно-популярной литературы по истории Средневековья «Толковый словарь Средневекового Запада» заслуживает особого внимания по нескольким причинам. Во-первых, авторы отошли от привычного понимания назначения словарной статьи как справочной информации об определенном событии или исторической личности. Каждая из статей дает не просто краткие сведения, но представляет широкую картину развития исторических знаний и концепций, научных дискуссий по поставленной проблеме. Заслуга Ж. Ле Гоффа и Ж.-К. Шмитта состоит в том, что, пригласив к сотрудничеству ведущих медиевистов мира, они тем самым способствовали плюрализму в методологических подходах осмысления средневековой истории. При этом авторы статей оказались сплоченными одной общей идеей — обновления истории Средневековья с помощью различных способов (от исторической антропологии до зооистории, например).

Кроме того, «Толковый словарь Средневекового Запада» представляет интерес с точки зрения выделения самих проблем, сюжетов, отраженных в названии статей. Авторы намеренно отказались от традиционного деления на такие разделы в изучении Средневековья, как «Экономическая история», «История искусства», «Религия» и других — в силу их масштабности. Другой традиционный элемент энциклопедий — биографии исторических персонажей — также не нашел здесь отдельного воплощения, что вовсе не означает, что это не получило отражения в данном Сло-

варе. Напротив, находкой Ле Гоффа и Шмитта стала сетевая концепция изложения материала, что позволяет понять его целостно и только в комплексе всей панорамы жизни средневекового общества. В издании Словаря это воплотилось в игре перекрестных отсылок, расположенных в конце каждой словарной статьи, что образует целостную систему восприятия, определяет подсистемы, способствующие пониманию различных сфер средневекового общества и культуры. Так, например, статья под названием «История» отсылает к темам «Государство», «Память», «Король», «Время». Такой подход будит мысль и одновременно требует активного сотрудничества авторов и читателя.

Значительное внимание в Словаре сосредоточено на тех областях знания о Средневековье, которые получили свое развитие в академических исследованиях только недавно. Так, помимо традиционных сюжетов экономической, политической истории, истории повседневной жизни средневекового человека здесь нашли отражение материальные основы существования людей и проблемы экологической среды (в статьях «Природа», «Море», «Животные», «Питание»), символические и реальные нормы существования человека (в статьях «Смерть», «Сексуальность», «Бедствия», «Игра», «Охота»), социальные иерархии (в статьях «Мужское/женское», «Духовенство и миряне», «Знать», «Маргиналы»). Таким образом, структура Словаря в целом и каждая из статей задумывались авторами так, чтобы придать ценность разного рода сопоставлениям и предоставить читателю средства домыслить и самому выстроить те или иные связи.

На наш взгляд, особая ценность и значимость «Толкового словаря Средневекового Запада» состоит в том, что читатель сможет почерпнуть гораздо больше сведений, нежели он предполагал, обратившись к книге-энциклопедии. Поскольку данная работа скорее заботится о постановке вопросов, нежели о поиске «фактов», а логика изложения требует мышления в терминах структуры, терминах отношений, а не изолированных, разрозненных объектов.

Безусловно, издание «Толкового словаря Средневекового Запада» Жака Ле Гоффа и Жан-Клода Шмитта на русском языке станет важным импульсом для дальнейших исследований европейского Средневековья, а книга будет интересна как специалистам,

так и всем интересующимся и очарованным историей такой далекой и одновременно близкой нам Средневековой цивилизации.

Т. В. Краева

## ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИМПЕРСКОЙ ВЕНЕ: ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

*Komleva J. Elite Schooling in Vienna (1870—1910):  
Social Factors of Academic Performance. Saarbrücken :*  
VDM Verlag, 2009. 90 p.

Компактная, но содержательная монография Юлии Евгеньевны Комлевой «Элитное среднее образование в Вене (1870—1910): социальные факторы учебной успеваемости» представляет собой академический результат годичной стажировки автора при Центральном-европейском университете в Будапеште. Оригинальность работы проявляется уже в том, что она подготовлена русскоязычным исследователем на австрийском материале и опубликована в Германии на английском языке. Исследование выполнено в соответствии с методологическими установками направления социальной истории. Его основание заложено трудами В. Конце, Г.-У. Велера, Р. Козеллека, Ю. Коки и др. Это направление, пережив натиск неохисторизма и обогатившись новейшим квантитативным инструментарием, по-прежнему демонстрирует значительный эвристический потенциал. Непосредственно научным консультантом в процессе подготовки и написания работы выступал д-р Виктор Каради, специалист по социальной истории этнических и религиозных меньшинств в Центральной Европе. Сама исследовательская проблема решается автором в контексте концепции модернизации и теории элит, представляя собой часть более широкого пространства истории становления культурной и образованной элиты центрально-европейского общества в ситуации *fin-de-siècle*.

Хронологические рамки работы достаточно условны и призваны подчеркнуть напряженный характер процессов социальных трансформаций в Австро-Венгрии на рубеже веков и эпох. Объектом исследования выступает система гимназического образования

в Вене. Предмет исследования определяет выявление социальных факторов академической успеваемости гимназистов. Такой подход представляется вполне корректным: столица дуалистической монархии была крупнейшим городом континентальной Европы со сложным этноконфессиональным составом населения, выраженной социальной стратификацией, традиционно развитой системой образования<sup>1</sup>.

Исследование Ю. Е. Комлевой построено на анализе документальных источников одиннадцати венских гимназий — от старейшей академической гимназии, основанной в 1553 г. иезуитами в аристократическом первом округе, до гимназии имени императора Максимилиана в периферийном девятом округе с большой долей еврейского населения. Подобная выборка представляется вполне корректной. При этом автор впервые ввел в научный оборот документы, хранящиеся непосредственно в архивах Амерлинг-гимназии (ранее Мариахильфер-гимназии), федеральной реальной гимназии (ранее Софиен-гимназии) и Ваза-гимназии (ранее Максимилиан-гимназии) за 1872—1910 гг. Ю. Е. Комлева обращалась, прежде всего, к материалам экзаменов на аттестат зрелости. Количественные показатели обрабатывались при помощи специальной компьютерной программы. Основные результаты работы представлены в виде 52 таблиц, которые отражают динамику численности гимназистов, их долю в составе городского населения, соотношение между преподавателями и учащимися, социальное происхождение, родной язык, конфессиональную принадлежность гимназистов. Автором установлена зависимость академической успеваемости от комплекса социальных факторов. В целом исследование в концентрированном виде представляет богатый материал для дальнейшей разработки проблематики формирования и эволюции образованной элиты Австро-Венгрии в контексте модернизационных процессов.

*Н. Н. Баранов*

---

<sup>1</sup> См.: *Хаванова О.* Реформа элитарного образования в монархии Габсбургов в эпоху Марии Терезии и Иосифа II: общие цели — взаимоисключающие принципы // *Европейский альманах*, 2001. История. Традиции. Культура: реформы и реформаторы / отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2002. С. 66—73.



## МЕМОРИА



ПАМЯТИ  
ИВАНА НИКАНОРОВИЧА ЧЕМПАЛОВА  
(29.10.1913—11.11.2008)

Уход Ивана Никаноровича Чемпалова — патриарха уральских новистов — совпал с 70-летним юбилеем исторического факультета Уральского государственного университета. Это обстоятельство имеет глубокий символический смысл. Вся жизнь Ивана Никаноровича была неразрывно связана с историческим факультетом. Он был в числе студентов первого набора 1938 г., заместителем декана в конце 1940-х, деканом в 1950-е гг. Он стал основателем кафедры новой и новейшей истории. Все это позволяет говорить о значительном влиянии Ивана Никаноровича на развитие исторического факультета и Уральского государственного университета во второй половине XX в.

Иван Никанорович был ярким представителем эпохи, в которой ему довелось жить. Коммунист по убеждениям, открытый атеист, он гордился своей Родиной. Это в значительной степени обусловило его личный профессиональный выбор. Приход на исторический факультет определялся, помимо всепоглощающей жажды знаний, остротой борьбы с идейными врагами. Строительство светлого будущего стало мощной идеологией эпохи 1930—1950-х гг. Эти годы профессионального становления И. Н. Чемпалова были

периодом формирования в отечественной и зарубежной исторической науке марксистского направления. Марксистская методология, как показало развитие историографии в XX в., обладала мощным эвристическим потенциалом и обеспечила традиционной истории «царств, королей и их фаворитов» прочный социально-экономический познавательный фундамент. Ленинский тезис о борьбе великих держав за рынки сбыта и источники сырья в эпоху империализма повлиял на выбор И. Н. Чемпаловым темы научных исследований: борьба двух империалистических группировок за геополитическое преобладание в Юго-Восточной Европе и, особенно, за важнейший стратегический ресурс — нефть — на Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой войны. И хотя марксистская методология истории была в значительной степени дискредитирована в 1980—1990-е гг., Иван Никанорович твердо держался марксистских убеждений в дискуссиях и диссертационном совете в постперестроечный период, иногда посмеиваясь над «весенними перевертышами», а чаще разворачивая по-своему логически выверенную систему аргументации. Широкая эрудиция, полемический настрой, аналитический взгляд делали его «неудобным» оппонентом в научном споре. Это был живой марксист, вовремя и точно обращавшийся к первоисточнику. Его профессиональное и идейно-политическое кредо было выражено ярко и стало надежным фундаментом его самореализации, а также создания целой научной школы.

Творческое наследие И. Н. Чемпалова является поразительно цельным. В 1953 г. им была защищена *кандидатская диссертация* «Итало-германская агрессия против Греции и позиция Англии и США (1940—1941 гг.)». На волне «оттепели» он сумел добиться командировки для работы в архиве Министерства иностранных дел Болгарии в 1960—1961 гг. Собранный оригинальный документальный материал позволил И. Н. Чемпалову расширить рамки исследования хронологически и территориально и успешно защитить в 1973 г. *докторскую диссертацию* «Политика великих держав в Юго-Восточной Европе накануне Второй мировой войны (1933—1939 гг.)». В 1959 г. совместно с заведующим кафедрой всеобщей истории, крупным византинистом М. Я. Сюзюмовым Чемпалов добивается открытия *аспирантуры* по специальности

«всеобщая история». В многочисленных походах по инстанциям он часто вспоминал латинское выражение «Карфаген должен быть разрушен». И уже в 1960-е гг. тема политики великих держав на Балканах и Ближнем Востоке под руководством Чемпалова становится комплексной темой целого исследовательского коллектива кафедры новой и новейшей истории, организованной осенью 1964 г. на общественных началах, а с сентября 1973 г. ставшей штатным подразделением исторического факультета. Создание кафедры и формирование научной школы позволили И. Н. Чемпалову добиться регулярного издания сборников научных трудов «Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке накануне и в годы Второй мировой войны», в которых шла апробация результатов научных поисков молодых ученых. В 1970—1980-е гг. проблематика, связанная с происхождением Второй мировой войны и ее ходом, расширилась в исследованиях его учеников, чему способствовали их научные стажировки в Великобритании, Франции, ГДР, Югославии. Результаты исследований нашли выражение в защите кандидатских диссертаций. Творческая и научно-организационная деятельность И. Н. Чемпалова проявилась в создании фонда литературы при кафедре новой и новейшей истории. Активное участие в этом приняли его ученики. Тем самым была создана уникальная коллекция опубликованных документов о происхождении Первой и, в особенности, Второй мировой войны. Это имело большое значение в условиях практической недоступности материалов в архивных фондах в советское время. Сегодня это «документальное наследие» Чемпалова имеет не меньшее значение. Коллекция легла в основу открытого в 1996 г. Центра документации Европейского союза при Уральском государственном университете. Таким образом, Иван Никанорович и его ученики создали прочную базу для развития самостоятельного научного направления, получившего название «школы Чемпалова». Конечно, зачастую проведение тех или иных решений требовало от Ивана Никаноровича политической гибкости, настойчивости, а порой и жесткости.

Иван Никанорович был прекрасным лектором, обладая мощным потенциалом интеллектуального влияния. Результаты его научных исследований стали составной частью общего курса новейшей истории стран Запада, который в рамках господствующей

тогда методологии был новаторским. Зорким оказался Чемпалов и в отборе питомцев для своей школы. Его первенцем и любимым учеником стал Владимир Иванович Шихов, в 1963 г. защитивший кандидатскую диссертацию «План Годжи: чехословацкий план политико-экономического блока дунайских стран (1936—1938 гг.)». Блестящий лектор и интерпретатор современной ситуации в мире, Шихов перенял и развил лучшие черты своего наставника. В 1967 г. другой его способный ученик Анатолий Гаврилович Чевтаев защитил кандидатскую диссертацию «Участие Англии, Австралии и Новой Зеландии во Второй мировой войне. 1939—1941 гг.». Впоследствии А. Г. Чевтаев — заведующий кафедрой новой и новейшей истории, автор многочисленных статей, двух монографических исследований — защитил в 1990 г. докторскую диссертацию «Политика Великобритании в Средиземноморье в годы Второй мировой войны». В первой половине 1970-х гг. появляется новая группа его учеников. Знаменательным в ней стало появление Валентины Николаевны Грак, защитившей в 1971 г. диссертацию, посвященную борьбе организации Свободная Франция за страны Леванта в 1939—1941 гг. Она разработала и читала как общие курсы по новой и новейшей истории стран Азии и Африки, так и специальные курсы по взаимодействию культур Востока и Запада. Существенный вклад в исследование роли Италии в межимпериалистической борьбе на Балканах и в Средиземноморье накануне и в начале Второй мировой войны внес Валерий Иванович Михайленко. Как полагал сам И. Н. Чемпалов, учеником, который превзошел учителя, стал Валентин Александрович Буханов, защитивший в 1981 г. кандидатскую диссертацию «Германская экономическая экспансия в Юго-Восточной Европе накануне Второй мировой войны. 1933—1938», а в 1991 г., после научной командировки в ГДР, докторскую диссертацию «Гитлеровский “новый порядок” в Европе и его крах. 1933—1945». Очень скромный и крайне деликатный, Валентин Александрович преждевременно скончался в 1995 г., что стало большой утратой для учителя и всего коллектива новистов. Среди многочисленных учеников И. Н. Чемпалова особо отметим Владимира Алексеевича Бабинцева, Юрия Сергеевича Кирьякова, Вадима Александровича Кузьмина, которые не только продолжали тему своего учителя, но и выбирали само-

стоятельные научные направления. Под руководством И. Н. Чемпалова защищено более двадцати кандидатских диссертаций, при его активном участии и поддержке были защищены четыре докторских диссертации. Его ученики заняли достойные позиции в УрГУ и других вузах страны. Следовательно, аспирантура Чемпалова — это была путевка в жизнь. Последняя кандидатская диссертация под руководством И. Н. Чемпалова была защищена в 2007 г. Е. В. Гехт по теме «Нефть в политике Германии (1933—1943 гг.)». Балканские исследования сегодня развиваются вширь и вглубь под руководством Юрия Сергеевича Кирьякова. В 2005 г. на кафедре новой и новейшей истории создан Центр восточноевропейских исследований, в 2008 г. вышел первый сборник научных трудов «Балканика».

Иван Никанорович был красивым человеком. Изысканный костюм, даже в тяжелые послевоенные годы. Благородная осанка. Неспешная манера разговора. До последних дней жизни его интересовал вопрос о наступлении немецких войск в Арденнах зимой 1944/45 г. и его последствиях для Германии, ее союзников и держав антигитлеровской коалиции. Он изучал ставшие доступными документы и хотел завершить об этом собственное исследование. Иван Никанорович был счастливым человеком. Он испытывал глубокое удовлетворение, наблюдая за успехами своих учеников, сохраняя при этом изрядную долю критического заряда. Залогом жизненного успеха Ивана Никаноровича Чемпалова стала его любовь к избранному делу, своей жене и их большой, дружной семье, понимание и неизменную поддержку которой он постоянно ощущал. Жизнь и профессиональная карьера И. Н. Чемпалова оказались неразрывно связаны с эпохой, в которую он жил. Год 2013-й станет юбилейным для Ивана Никаноровича. А в 2014 г. его детище — кафедра новой и новейшей истории — будет праздновать свое пятидесятилетие. Подготовка к празднованию этих дат позволит пристальнее всмотреться и глубже понять жизненный и творческий путь ушедшего патриарха уральских новистов Ивана Никаноровича Чемпалова.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ	Археографический ежедневник
АТР	Азиатско-Тихоокеанский регион
ВВ	Византийский временник
ВДИ	Вестник древней истории
ВИ	Вопросы истории
ГААО СО	Государственный архив административных органов Свердловской области
ГУЛАГ	Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ЖМНП	Журнал Министерства народного просвещения
ЗАОО	Записки Одесского археологического общества
ЗООИД	Записки Одесского общества истории и древностей
ИВ	Исторический вестник
ИВИ РАН	Институт всеобщей истории Российской академии наук
ИНК	Историческое наследие Крыма
ИРИ РАН	Институт российской истории Российской академии наук
КСК	Комиссия советского контроля при СНК СССР
ЛДК	Лига демократического Косово
НАА	Народы Азии и Африки
ОЗ	Отечественные записки
ОИДР	Общество истории и древностей российских (при Московском университете)
ООИД	Одесское общество истории и древностей
ПДВ	Проблемы Дальнего Востока
ПСЗ РИ	Полное собрание законов Российской империи
РГАСПИ	Российский государственный архив социально-политической истории
РЖ	Реферативный журнал
РККА	Рабоче-крестьянская Красная армия
РОИИ	Российское общество интеллектуальной истории
РС	Русская старина
РСИ	Итальянская Социальная Республика (русская транслитерация итальянской аббревиатуры RSI — Repubblica Sociale Italiano)
РУДН	Российский университет дружбы народов
СЭ	Советская этнография
УЗТМ	Уральский завод тяжелого машиностроения
KFor	Kosovo Force (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово)
KLA	Kosovo Liberation Army
KPS	Kosovo Police Service (местная полицейская служба Косово)
УСК	Ushtria Çlirimtare e Kosovës (албан.)

## ОБ АВТОРАХ

**Алеврас Наталья Николаевна** — доктор исторических наук, профессор кафедры истории дореволюционной России Челябинского государственного университета. Сфера научных интересов — отечественная историография XIX — начала XX в., проблемы региональной истории Урала в XIX — начале XX в., интеллектуальная история русской эмиграции.

**Бабинцев Владимир Алексеевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — интеллектуальная история Франции. Занимается переводом источников по интеллектуальной истории Франции, является автором переводов ряда трудов историков школы «Анналов» (Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа Ладюри, П. Шоню и др.).

**Баженова Татьяна Александровна** — соискатель кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — начальный этап «холодной войны», история США во второй половине XX в.

**Баранов Николай Николаевич** — кандидат исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — история Германии Нового времени, история европейской идеи, идейно-политические концепции немецких либералов.

**Барлова Юлия Евгеньевна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Область научных интересов — социально-политические процессы в Великобритании в последней трети XVIII в.

**Беляков Сергей Станиславович** — кандидат исторических наук, доцент Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), заместитель главного редактора журнала «Урал». Область научных интересов — изучение этнонационализма и этнических конфликтов в XX в.

**Бородина Елена Владимировна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — административные и судебные преобразования на Урале в эпоху Петра I.

**Быкова Светлана Ивановна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведения России и стран СНГ Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — массовые репрессии и повседневность в СССР в 1930-е гг.

**Васютин Сергей Александрович** — кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Средних веков Кемеровского государственного университета. Сфера научных интересов — социальные и политические системы кочевников Евразии, кочевые империи раннего Средневековья.

**Высокова Вероника Витальевна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — вопросы методологии и теории истории, англо-русские культурные контакты XVIII—XIX вв. Председатель Уральского отделения Российского общества интеллектуальной истории.

**Гаген Сергей Яковлевич** — кандидат исторических наук, кандидат юридических наук. Область научных интересов — история философии Византии, антилатинская полемика.

**Земцов Владимир Николаевич** — доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета. Область научных интересов — история стран Европы в начале XIX в., межкультурное взаимодействие Франции и России в начале XIX в., Отечественная война 1812 г., международные отношения в Новое и Новейшее время, история Уэльса.

**Камынин Владимир Дмитриевич** — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой регионоведения России и стран СНГ Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — историография истории советского периода.

**Ковалева Валентина Трофимовна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории археологии, этнологии и специальных исторических дисциплин Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — реконструкция духовных культур по источникам первобытного изобразительного искусства.

**Козлов Александр Сергеевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — социально-политическое развитие и историческая мысль поздней Античности и раннего европейского Средневековья.

**Краева Татьяна Васильевна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного уни-



верситета им. А. М. Горького. Область научных интересов — история европейских левых интеллектуалов.

**Куш Татьяна Викторовна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — история культуры поздней Византии.

**Лабаури Дмитрий Олегович** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — история Юго-Восточной Европы в конце XIX — начале XX в., этнодемографические и этнокультурные процессы, проблема межэтнических отношений на Балканах.

**Макрушина Ксения Андреевна** — аспирантка кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — история повседневности английского дворянства начала XIX в.

**Маловичко Сергей Иванович** — доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории гуманитарно-педагогического факультета Российского государственного аграрного университета. Сфера научных интересов — локальная история, отечественная историческая мысль XVIII в.

**Мереминский Станислав Георгиевич** — кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории исторического знания Института всеобщей истории РАН. Сфера научных интересов — средневековое историописание в Англии.

**Мохов Антон Сергеевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — история Византийской империи, военные и административные реформы в Византии IX—XII вв., история военного искусства в Древнем мире и Средневековье, византийская сфрагистика.

**Нестеров Александр Геннадьевич** — доктор исторических наук, заведующий кафедрой европейских исследований факультета международных отношений Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — Итальянская социальная республика. Директор Центра документации Европейского союза при Уральском государственном университете.

**Нестерова Татьяна Петровна** — кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — итальянские интеллектуалы в годы фашистского режима.

**Нуждин Олег Игоревич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — дипломатическая история Столетней войны, советский коллаборационизм в годы Второй мировой войны.

**Побережников Игорь Васильевич** — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заведующий сектором методологии и историографии Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Сфера научных интересов — процессы в эпоху модернизации, переход от традиционного к индустриальному обществу, макроисторические теории.

**Поляковская Маргарита Адольфовна** — доктор исторических наук, профессор кафедры Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького, заслуженный деятель науки РФ. Сфера научных интересов — история и культура Византии Палеологов.

**Поршнева Ольга Сергеевна** — доктор исторических наук, профессор кафедры документационного и информационного обеспечения управления исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — методология истории, социальное поведение массовых слоев российского общества в 1914—1918 гг.

**Савинов Илья Александрович** — аспирант кафедры новой и новейшей истории Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — английская община в Индии в последней трети XIX в.

**Сидорова Ольга Григорьевна** — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой романо-германского языкознания филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — теория перевода, британский постколониальный роман последней трети XX в.

**Смирнов Сергей Викторович** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории, директор Института Конфуция при Уральском государственном университете им. А. М. Горького. Область научных интересов — история русской эмиграции в Китае, историография современного востоковедения.

**Соколова Елена Станиславовна** — кандидат юридических наук, доцент Уральской государственной юридической академии. Область научных интересов — методология историко-правовой науки, политическая и правовая культура сословий в России, *Historica Rossica* XVIII в., русские в Европе (XVII—XVIII вв.), политические топосы дворцово-парковых ансамблей Европы и России XVII—XVIII вв.

**Солдаткин Николай Викторович** — студент исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького.

**Степаненко Валерий Павлович** — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Сфера научных интересов — история Византийской империи, история стран Закавказья в IX—XII вв., византийская сфрагистика и просопография, история Крестовых походов, византийское искусство.

**Чепурина Мария Юрьевна** — аспирантка Института всеобщей истории РАН. Область специализации — интеллектуальная история Франции второй половины XVIII в.

**Черникова Лариса Петровна** — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Башкирского государственного университета. Сфера научных интересов — история Русского зарубежья в Китае.

**Шаманаев Андрей Васильевич** — кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и специальных исторических дисциплин Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Область научных интересов — история археологии и охраны историко-культурного наследия.

**Яхно Ольга Николаевна** — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Сфера научных интересов — культурный и бытовой уклад городского населения Пермской губернии на рубеже XIX—XX вв.

# CONTENTS

FROM EDITORIAL BOARD .....	8
----------------------------	---

## EPOCHES, EVENTS, PHENOMENA: HISTORIOGRAPHICAL INTERPRETATION

<i>Kovaleva V. T., Soldatkin N. V.</i> “The Thunderer”: the origins of the Vedic god Indra .....	11
<i>Mohov A. S., Stepanenko V. P.</i> Provincial Administration of the Byzantine Empire in the middle of the XI — the beginning of the XII century: military and administrative aspects .....	19
<i>Nuzhdin O. I.</i> Lancaster coup in 1399, its causes and consequences in the estimates of historiography in XIX — the beginning of the XXI century .....	34
<i>Polakowskaya M. A.</i> Enigmatic artifacts of late Byzantium ceremonial and historiographical experience of their identification .....	47
<i>Borodina E. V.</i> Judicial reform of Peter the Great in the writings of historians of “state-historical school” .....	55
<i>Sidorova O. G.</i> The first Russian English language textbooks: a sociocultural perspective .....	67
<i>Makrushina K. A.</i> The paradox of Jane Austen: the legacy of the writer in the XX — the beginning of the XXI century .....	81
<i>Savinov I. A.</i> “British raj” in works of Russian travelers in the second half of the XIX — early XX century .....	89
<i>Sokolova E. S.</i> Villa Suburbana in the face of time: historiographic controversy surrounding textual codes of Helbrunna .....	92
<i>Zemtsov V. N.</i> Historiography of the Great War of 1812: 200 years of searching for truth .....	105
<i>Porshneva O. S.</i> “Enemies of the second stage”: Allies in the eyes of society in Russia during the First World War (the historiography of the problem) .....	117
<i>Bykova S. I.</i> Proceedings of the political investigations of the 1930’s: from falsification to mystification .....	130
<i>Nesterov A. G.</i> Italian Social Republic: the battle of ideas in the Italian historiography .....	146
<i>Labauri D. O.</i> Ethnic conflict in Kosovo in the estimates of the French press (1999—2004) .....	155

## UNIVERSALE OF HISTORICAL KNOWLEDGE

<i>Alevras N. N.</i> Subject historiography: versions of modern science .....	173
<i>Poberezhnikov I. V.</i> Parallels in the evolution of theories of macrohistorical dynamic .....	190
<i>Smirnov S. V.</i> The concept of “Asian values” as an alternative to Western modernization theory .....	201
<i>Mereminsky S. G.</i> Historical texts of Anglo-Norman era in British historiography in the XVI — the beginning of the XXI century .....	214
<i>Ysokova V. V.</i> Edward Gibbon, “The History of the decline and fall of the Roman Empire” and British historians of the XX century .....	216
<i>Kozlov A. S.</i> Once more over the place of Johann Gustav Droysen in German historiography .....	224
<i>Shamanaev A. V.</i> Organizational principles of the Odessa Society of History and Antiquities .....	243
<i>Kamynin V. D.</i> Place of historians of the “old school” of 1920’s in the development of the domestic historiography in the XX century .....	254
<i>Hagen S. J.</i> History of Law as a science in the writings of M. V. Shakhmatov (1888—1943) and the Present .....	258
<i>Nesterova T. P.</i> The phenomenon of totalitarian culture: the confrontation of concepts in historical science .....	264
<i>Vasyutin S. A.</i> Revision of Stalinist Marxism in domestic studies of socio-political organization of nomads in the end 1960 — the middle 1980’s .....	271

FROM UNIVERSAL TO UNIQUE:  
FEATURES HISTORIOGRAPHICAL TRADITION

<i>Kushch T. V.</i> The late Byzantium intellectuals: historiographical outline .....	275
<i>Malovichko S. I.</i> Dispute between M. V. Lomonosov and G. F. Miller as a conflict of different cultures of historiography .....	283
<i>Barlova Yu. E.</i> “Whig narrative” and the evolution of views on the «old law on the poor» in foreign historiography .....	297
<i>Chepourina M. Y.</i> Conspiracy of Babeuf in Soviet and French historiography .....	315
<i>Baranov N. N.</i> On the current state of German historiography of liberalism in Germany under Wilhelm II .....	321
<i>Yakhno O. N.</i> Historical interpretations of everyday life of early XX century (through the prism of advertising) .....	326
<i>Kraeva T. V.</i> USSR of 1930’s in the understanding of modern French historiography .....	334
<i>Bazhenova T. A.</i> Origin of “cold war”: Revisionist “turn” in the American historiography of 60—70’s of the XX century .....	341

<i>Belyakov S. S.</i> Creativity Herman Sadulaev as a source for studies of the phenomenon of ethnic nationalism .....	346
<i>Chernikova L. P.</i> The main directions of research in modern Chinese historiography (based on scientific periodicals) .....	363

### CHRONICLE OF THE SCIENTIFIC LIFE

#### Conference

“National historiographic practices: unique and universal”, III All-Russian Scientific Conference (25 April 2009) ( <i>V. V. Vysokova</i> ) .....	375
Historian, Text, Epoch. IV All-Russian Scientific Conference of Ural branch of Russian Society of Intellectual History .....	382

#### Anniversaries

History of the East in the fate of a university teacher. The anniversary Valentina Grak ( <i>A. G. Chevtaev, S. V. Smirnov</i> ) .....	383
---	-----

#### New Books

Early Byzantine historians in interpretation of Warren Tredgold ( <i>A. S. Kozlov</i> ) ....	394
Methodology of history and its cognitive foundation in the last monograph of O. M. Medushevskaya ( <i>V. V. Vysokova</i> ) .....	399
Western European Middle Ages: An Encyclopedic innovation of the Millennium ( <i>T. V. Kraeva</i> ) .....	404
Elite schooling in Vienna: Experience of socio-historical research ( <i>N. N. Baranov</i> ) .....	406

#### Memoria

In memory of Ivan Nikanorovich Chempalov .....	408
--	-----

THE LIST OF ABBREVIATIONS .....	413
---------------------------------	-----

THE LIST OF AUTHORS .....	414
---------------------------	-----

I 55      **Imagines Mundi** : Almanac of Modern and Contemporary History  
of XVI—XX cent. № 7. Intellectual History. Iss. 4. — Yekaterinburg :  
The Ural State Univ. Publ. House, 2010. — 424 p.  
ISBN 978-5-7996-

The next issue of almanac **IMAGINES MUNDY** is devoted to the theoretical problems of a historiography as a separate part of a historical science: a source study historiography, a historiography of source study, methodological aspects of a historical science and their practical appointment. The historiographical practices are considered by authors as a classical example for working off and deepening of approaches of intellectual history to problems of interpretation of historical process and characterized by aspiration to order the saved up knowledge of the past.

The issue of almanac is addressed of historians, philosophers, students and teachers of the educational institutions.

Научное издание

IMAGINES MUNDI

Альманах  
исследований всеобщей истории  
XVI–XX вв.

№ 7

Интеллектуальная история  
Выпуск 4

Редактор и корректор С. Г. Галинова  
Компьютерная верстка Н. В. Комариной

Оригинал-макет подготовлен  
редакционно-издательским отделом университета

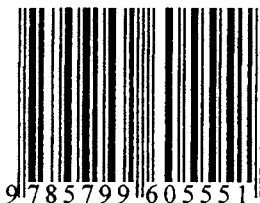


План изданий 2010 г., поз. 33. Подписано в печать 08.10.2010.  
Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Times.  
Уч.-изд. л. 23,5. Усл. печ. л. 24,6. Тираж 300 экз. Заказ 152

Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

ISBN 978-5-7996-0555-1



9 785 799 16 055 51